

Иосиф Гессен

В двух веках.

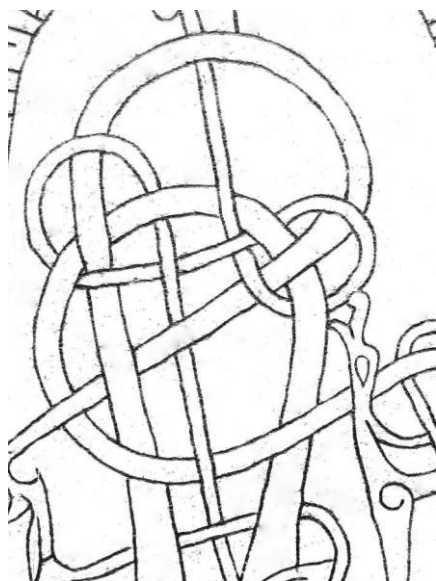
Жизненный отчет российского
государственного и политического
деятеля, члена II Думы

материалы по истории позднеимперской России
том 12

Издательство Упыря Лихого
2023

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

Иосиф Владимирович Гессен

В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена II Думы

Издательство Упыря Лихого

2023

Переиздание книги издательства «Центрполиграф», 2022

Все книги из серии «Материалы по истории поздней имперской России» предназначены для свободного распространения и размещены на сайте library6.com

library6@yandex.ru

Оглавление

Вступление	2
Детство (1865–1873)	11
Гимназия (1874-1882)	33
Университет (1883-1885)	70
Тюрьма и ссылка (1886–1888)	90
Тяжелые годы (1889–1893)	135
На государственной службе. Тула (1894–1895)	149
Министерство (1896–1903)	174
«Право» (1898–1904)	188
Борьба за конституцию (1904–1905)	230
«Речь» и Государственная дума (1906–1907)	270
На пути к катастрофе (1908–1913)	336
Война (1914–1916)	383
Революция (1917)	437
Перед оставлением родины (1918–1919)	481

Вступление

Несколько раз начинал я записывать свои воспоминания. Впервые лет сорок тому назад, вернувшись в 1889 году на родину после трех с половиной лет пребывания в петербургской тюрьме и ссылки на далеком Севере России. Ссылка приобрела в жизни моей огромное, скажу – решающее значение, и я почувствовал живейшую потребность в этом разобратся. Но не пришлось закончить начатое изложение, а двадцать пять лет спустя, в самом начале советского режима я очутился в крошечном финляндском городишке Сортавала и, отрезанный перерывом железнодорожного сообщения с Россией, засел за работу над воспоминаниями. Здесь я успел занести на бумагу четыре важнейших этапа жизни, в том числе вторично изобразил свое пребывание в ссылке. Вернувшись затем в Петербург, как только сообщение с Россией возобновилось, я поспешил сравнить два варианта сделанных мной записей, и оказалось, что они существенно между собой разнятся: хотя в обоих была только одна правда, но восприятие пережитого на протяжении 25 лет стало иным, сердце билось уже медленнее и слабее, это отразилось и на пере.

Впоследствии я многократно возвращался к написанному, подвергал новой обработке; как только по той или иной причине выдавался некоторый досуг, неудержимо влекло к продолжению работы, то в форме дневника, то в виде связанного изложения отдельных моментов.

Прекращение издания «Руля» и «Архива русской революции» оборвало напряженную деятельность, и вот уже четыре года, как досуга у меня более чем достаточно. Тут-то, казалось бы, и приступить к завершению работы над воспоминаниями. Но в смутной тревоге я останавливаюсь перед глубокой пропа-

стью – перед бездной, которая разверзлась между прошлым и настоящим, между двумя столетиями, в частях которых протекала жизнь моя. Правда, духовный разрыв между поколениями не представляет для России чего-то необычайного. В одном из замечательнейших стихотворений своих Пушкин утверждает, что на любви к родному пепелищу, к отеческим гробам зиждется «по воле Бога самого само-стоянье человека, залог величия его». Но в России, которую История двигала вперед резкими толчками, не сложилось условий для выработки и упрочения традиций. На это явление впервые обратил внимание знаменитый роман Тургенева «Отцы и дети», вызвавший взрыв негодования и острую полемику. Огорченный автор утешал себя, что это не больше чем «буря в стакане воды», о которой через несколько лет никто вспоминать не будет. Так оно и случилось, но открытая Тургеневым категория «отцов и детей» не только не исчезла, но напротив, все рельефней оформлялась и становилась все более яркой чертой русской общественности. Если уже до Тургенева различали людей тридцатых, людей сороковых годов, то засим были у нас шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники и т. д., и все эти термины отнюдь не представляют собой хронологических обозначений, а содержат указание на определенное мировоззрение. Реализм, нигилизм, позитивизм, материализм, идеализм, декадентство – все это промелькнуло со времени появления упомянутого романа, в сущности, на протяжении одной человеческой жизни. Ведь и теперь еще найдутся среди нас современники Тургенева, ведь и теперь еще здравствуют люди, пережившие крепостное право, осенний расцвет самодержавия при Николае I, разложение этого режима при Николае II. И теперь столько еще есть русских людей, которые всю свою сознательную жизнь посвятили борьбе с самодержавием, жертвенно подвергаясь правительственным преследованиям,

и вынуждены были покинуть родину и рассеяться в изгнании, когда наконец режим этот был свергнут. Неудивительно, что при столь быстром ходе событий отчуждение между следовавшими одно за другим поколениями все росло, а когда грянула революция, в своем стихийном порыве принципиально отрекающаяся от прошлого, это отчуждение, этот духовный разрыв должен был принять формы уродливые. В советских газетах то и дело печатаются заявления об отречении детей от отцов, и если в таком протivoестественном заявлении имеется бесспорно элемент непосильного гнета политической власти, то недалеко отсюда стоит и молодое поколение эмиграции, которое в своих газетах бесцеремонно квалифицирует отцов как «гниль и рухлядь». А ведь, казалось бы, за границей России молодежь и могла бы научиться уважению к традиции, которая в Европе давно уже играет большую культурную роль. Но в том-то и горе, что русская революция, как и можно было ожидать, широко развернула свое воздействие, однако не в смысле коммунистической пропаганды. Формально Коминтерн может торжествовать победу: он возвестил, что добьется мировой революции – пролетарской, революции он и добился, но только с «другой стороны», как, впрочем, и в самой России, под грубой маской «строительства социализма в одной стране» бешеными темпами, требующими чудовищных человеческих гекатомб, насаждается неприкосновенный капитализм, о судьбах коего в России так страстно спорили в восьмидесятих годах прошлого столетия народники и марксисты.

Это влияние русской революции, все шире распространяющееся, меньше всего привлекает к себе внимание, но все чувствуют, тревожно ощущают, что, говоря словами Гамлета, подлинно распалась связь времен, и самым модным ходячим определением переживаемого времени становится выражение: «возвращение к средневековью». У меня эти трагические

слова датского принца непрерывно звучат в ушах, и настойчиво в мозгу гвоздит мысль, нельзя ли чем-нибудь помочь связь времен восстановить. В 1920 году, став во главе основанного в Берлине русско-немецкого издательства, я предложил, между прочим, обратиться к наиболее выдающимся представителям науки и искусства во всем мире с просьбой изложить, как основная идея господствует в настоящее время в области их творчества. Внутренне я был убежден, что изданный сборник ответов даст возможность установить, что во всех областях доминирует одна и та же основная идея, один лейтмотив, и, во-вторых, выяснить, в какой мере эта идея была подготовлена и подсказана минувшим веком, от которого «дети» с таким презрением отрекаются. Но, одоббив всю программу, издательство именно это предложение категорически отвергло, как совершенно непрактичное. Я делал еще ряд попыток в Германии и Америке, но с тем же результатом, и неудача оставила мне одно, правда весьма слабое, утешение, что если бы десять-двенадцать лет назад собрать и опубликовать руководящие взгляды «треста мозгов», то легче было бы ориентироваться, найти ариаднину нить, по крайней мере, хоть уяснить себе – переживаем ли мы переходный период смуты, вызванной необычайными потрясениями последних десятилетий, или вступаем в новую историческую эпоху, присутствуем при муках рождения ее.

Более реальным утешением было бы возобновить работу над воспоминаниями, над составлением жизненного отчета, который мог бы дать некоторый материал для освещения второй половины проклинаемого минувшего столетия и бурного начала нынешнего. Но, как уже сказано, пугала бездна, разверзшаяся между прошлым и настоящим, удерживало горькое опасение еще сильнее обострить томительное, почти невыносимое чувство одиночества. Еще задолго до «Отцов и

детей» Пушкин выражал сожаление о несчастном друге, который переживает своих сверстников и станет «среди новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой». А сейчас и самое слово «гость» неуместно, вместо него нужно поставить «недруг»: сидя в своей одинокой комнате и слушая доносящийся с улицы шум мимо несущейся жизни, невольно различаешь в назойливых сиренах автомобилей, в резких звонках трамваев как будто бы укоризну, упрек, угрозу, и со дна души поднимается тревожное раздражение. Мне и казалось, что если совсем уйти мыслями и помыслами в прошлое, если оживить тени, окружить себя бледными призраками невозвратных лет, то, поневоле возвращаясь от работы над воспоминаниями к действительной жизни, еще болезненнее будешь ощущать свою чуждость, просто почувствуешь себя живым трупом. Страшно одиночество не само по себе: напротив, глубокой ночью, когда огромный город наконец затихнет и кругом воцарится спокойствие, полудремотная бессонница является блаженным состоянием. Но тяжело быть бездейственным свидетелем мятущейся беспомощно жизни и лишь сторониться от случайных или умышленных толчков.

Из этих опасений и воздержания вывел меня, так сказать, «внутренний враг», те мои сверстники, которые усердно упражняются над прошлым в догадках, что было бы, если бы было не так, как было, если бы когда-то. В таком-то случае поступили не так, а иначе, как оно теперь кажется правильным. Но ведь не арифметическая задача тогда решалась. Ведь и хорошо удавшийся лабораторный опыт дает часто совсем другие результаты при повторении его в широком масштабе. Кроме видимых слагаемых, над которыми теперь охочие

комментаторы оперируют при помощи угодливого «если бы», тогда были еще налицо какие-то *imponderabilia*¹, которые, как бациллы во время эпидемии, играют решающую роль. Теперь они улетучились и влияние их так бесследно исчезло, что даже не верится, что когда-то находился под его неотразимым обаянием. Слишком грандиозны были трагические события последних десятилетий, чтобы не слышать в них разгула стихии, и достаточно и без того развенчан человек, чтобы еще вбивать в могилу его царственной репутации осиновый кол запоздалых уверений, что судьба человечества могла бы быть иной, если бы или другое лицо, или политическая партия не сделали бы ошибки. Чаще всего, например, приходится слышать мнение, что если бы в последнюю роковую неделю июля 1914 года Распутин был не на родине в Сибири, а находился в Петербурге, то благодаря его влиянию на царя война бы не вспыхнула, а не будь войны, не было бы и революции. Само по себе и такое обидное предположение вполне отвечает вероятности, но, если бы оно осуществилось, война была бы лишь вновь отсрочена, как была уже однажды отсрочена за три года до этого, во время агадирского инцидента², и еще тремя годами раньше, когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Можно поэтому противопоставить означенному предположению совсем другое «если бы», а именно: если

- 1 Невесомость (англ., лат.), переносное значение: случайные факторы и обстоятельства в жизни человека.
- 2 Агадирский инцидент – обострение отношений между Францией и Германией по вопросу контроля над Марокко и разделу сфер влияния в Африке, связанное с появлением в 1911 г. немецкой канонерской лодки у марокканского побережья для запугивания размещенных там французский военных частей.

бы отсрочки не было, если бы война вспыхнула в 1909 году из-за аннексии Боснии и Герцеговины, последствия ее были бы, несомненно, менее ужасны (ибо тогда техника была менее совершенна), и, напротив, было бы, пожалуй, еще намного хуже, если бы в 1914 году была достигнута новая отсрочка на три года и сейчас нас отделяло бы от войны меньше лет. Мне думается, что, как бы ни расценивать роль личности в истории, нельзя опускаться до такого самоуничтожения и, быть может, оно и объясняется безжалостным развенчанием человека. Ибо если допустить, что капризы случая, комбинации «если бы» могут неожиданно и причудливо менять величавый ход истории, то чем же можно было бы жить и во имя чего работать? Нет, какое бы из всех «если бы» ни осуществилось своевременно, оно в лучшем случае могло бы задержать, завертеть на месте или, напротив, ускорить ход событий, но отнюдь не свернуть его круто с дороги, в муках подготовленной предшествовавшими поколениями. Поэтому *hic Rhodos, salta*³. Ревнивые комбинаторы слишком легко забывают язвительно мудрые слова Мефистофеля (к которым вполне присоединяется великий писатель земли русской Л. Толстой): *Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben*⁴.

Но были ли ошибки и можно ли было их избежать? Я искренно свидетельствую, что, хотя из чаши жизни пришлось

3 «Здесь Родос, здесь и прыгай» (лат.) – шутивное выражение, восходящее к басне Эзопа «Хвастливый пятиборец» про человека, хвалившегося на родине своими спортивными успехами на острове Родос, в ответ на что ему предложили продемонстрировать мастерство здесь же, на месте.

4 Ты думаешь, что двигаешь ты, а двигают тебя (нем.) (И. В. Гёте, «Фауст»).

выпить немало горя, мне нельзя жаловаться на прошлое. Напротив, я бесконечно благодарю и благословляю судьбу, которая сблизила меня с «орденом» русской интеллигенции. Такого ордена не было тогда в Европе, и больше не будет его и в России. Отличительным признаком интеллигенции было, что на первом месте стояло для нее общественное служение, подчинявшее себе все другие интересы. Это создавало особое возвышенное настроение, точно первая любовь, заставляло звучать в душе золотые струны и высоко поднимало над будничной суетой. Благословляю судьбу за то, что на долгом жизненном пути она сталкивала меня с целым рядом выдающихся представителей этой интеллигенции. Большинство уже перешло земной предел, но воспоминание о них приливает горячую волну, согревающую и возбуждающую усталое, холодное сердце.

Таковы настроения и выводы, к которым привел утомительный, долгий жизненный путь, на котором было пятьдесят лет политической и общественной деятельности. Я отнюдь, однако, не собираюсь навязывать другим свои выводы: мне лишь кажется, что для проверки их правильности мой жизненный опыт дает много интересного и ценного материала, который я и постараюсь изложить с доступной для человека правдивостью. Как колобочку в прелестной сказке удалось уйти и от зайца, и от волка, и от медведя, – так же, по моему мнению, нетрудно уйти от тенденциозности, от преувеличения и выдвигания своей личной роли и значения, которые теперь уже решительно никому не интересны. Но очень нужно опасаться, чтобы лисой, перехитрившей колобка и съевшей его, в данном случае не оказалась память. Русский крестьянин, приступая к рассказу о прошлом, непременно начнет с трогательного обращения к Богу: дай Бог не соврать! Нужна, ох как нужна помощь против памяти, потому что она-то большая мастерица

Глава I. Вступление

превращать желательные «если бы» в отошедшую действительность. Но и ограждения правды еще недостаточно, чтобы благополучно уйти от проделок памяти, потому что еще более затейливо она умеет сортировать громадные залежи свои и вызывать на свет Божий не все, что хранит в своих необъятных закромах. Вот где подстерегает опасность, и единственной гарантией против нее может служить возраст, который и на память действует отрезвляюще, ибо, как бы живо и ярко она ни воскрешала минувшее, но когда-то оно «неслось событий полно, волнуясь как море-океан», а теперь оно безмолвно и спокойно.

Страстной остается только одна мечта и жгучим одно только желание – перед смертью еще раз увидеть родину и там умереть.

1 января 1935 – 8 января 1936

Берлин–Париж

■ Детство (1865–1873)

Справедливо прозванная Южной Пальмирой, родина моя Одесса пользуется, однако, весьма незавидной славой и в общественном мнении, которое, как известно, считается гласом Божиим, и в литературе – немало выкормила она писателей и публицистов, но никто, кажется, не отплатил ей благодарной памятью. Лестное прозвище, которое Одесса заслужила главным образом своим красивым расположением на высоком берегу Черного моря, и является, в сущности, источником недоброй славы ее. Благодаря положению у моря Одесса и стала важнейшим центром русской хлебной торговли с заграницей и потеряла свое лицо, привлекиши двенадцать языков: были в Одессе улицы Еврейская, Греческая, Итальянская, Малая и Большая Арнаутская, Молдаванка. Хлебная торговля сопряжена была с постоянным, не поддающимся учету риском, в зависимости от колебания курса нашего бумажного рубля на заграничных рынках, от неожиданного замерзания одесской бухты и т. п., и риск создавал атмосферу спекуляции и авантюризма, окутывавшую весь город и определявшую его интересы, стремления и благополучие. Когда проведение Екатерининской железной дороги переместило центр тяжести в захудалый до того Николаев, а Виндаво-Рыбинская железная дорога, по инициативе одного из моих двоюродных братьев, отвлекала много грузов к балтийским портам, Одесса захирела. Теперь и от прежних названий ничего не осталось, и вообще мне трудно ориентироваться в лежащем передо мною новом плане города. Но в шестидесятых годах прошлого столетия, с которых начинается летопись моя, процветание Южной Пальмиры делало все новые успехи: раньше она притягивала к себе весь урожай с Приднестровья, а

потом младший брат отца вовлек в ее орбиту и Днестровский район, сконструировав новый тип баржи, годный для мелководного местами Днестра, и слово «гессенка» появилось в русских энциклопедических словарях раньше, чем уже в позднейших изданиях удостоилась упоминания и сама фамилия Гессен.

Я не знаю, откуда эта фамилия появилась в Одессе. Мы генеалогией не интересовались. Очень плохо помню я деда по отцу, он умер, когда я еще не отдавал себе отчет в окружающем, а сейчас не могу отдать себе отчета, помню ли я его образ по фотографии или по непосредственному восприятию. К памяти его относились с большим уважением, и «Еврейская энциклопедия» причисляет его к купцам, известным своей общественной и торгово-промышленной деятельностью. Отец, да и все братья его и мужья сестер так или иначе тоже были прикосновенны к хлебной торговле. Отец получал на комиссию огромные партии зерна, грузившиеся скупщиками-комитентами в днепровских портах, и продавал их в Одессе заграничным экспортным фирмам.

После утреннего чая мы с братом, который на два года меня старше, но учимся мы вместе, играем в вымощенном булыжником дворе нашего дома, поливаем двор из водопроводного крана, прижав отверстие пальцем, отчего вода распыляется фонтаном, то и дело обдающим нас самих, и наблюдаем за приземистым широкоплечим кучером Иваном, который запрягает в легкую коляску обожаемого нами бойкого Красавчика – он вполне стоит своего названия: светло-кофейный в яблоках. Вот Иван уже солидно уселся на козлах и важно покрикивает на Красавчика, высекающего искры из булыжника нетерпеливой стройной ногой. А отец все не показывается, и мы начинаем волноваться: не произошло ли опять раздражен-

ного разговора с матерью из-за просимых ею денег на домашнее хозяйство. Почему эти недоразумения так часто повторяются, почему раз навсегда не договорятся, сколько можно тратить? Этот вопрос нас очень занимает, потому что после такого разговора отец, маленький, щуплый, с чуть выющейся рыжевато-черной бородой, появится во дворе совсем угрюмый, как бы не замечая нас, молча сядет в коляску, и наши надежды на купание в море разбиты безжалостно. А может быть, задержал его Серебряник, старый, сгорбленный молчальник, самоучка-бухгалтер, и конторщик, и корреспондент, беззаветно преданный и щепетильно честный, но частенько путающий. Или принес он из гавани, где уже ранехонько утром побывал, какие-нибудь неблагоприятные вести, которые производят еще более нежелательное действие на настроение отца. Но вот он наконец во дворе, мы стараемся придать себе равнодушный вид, но быстро подбегаем, когда он, уже занеся ногу на подножку, приглашает ехать с ним.

Дом наш стоял в конце Ришельевской улицы, а мы отправлялись на другой конец: сейчас соображаю, что и всего-то требовалось не больше пятнадцати минут пешего пути, но тогда это казалось гораздо дальше, время, очевидно, тянулось медленнее. Чем ближе к этому концу улицы, тем становится люднее, а на последнем квартале настоящая толчея. Тротуар заставлен какими-то странными, окрашенными в ярко-зеленый цвет стойками, напоминающими ученические парты – за ними восседают тепло одетые мужчины и женщины – уличные менялы, производящие простейшие банкирские операции. Между стойками снуют люди, друг с другом встречающиеся и быстро расходящиеся, чуть не сбивающие один другого с ног. Это все голытьба, состоящая при маклерских конторах: она старается добыть для своих патронов сведения об идущих и прибывших грузах, выяснить средние цены, уговорить встре-

ченного продавца не дорожиться и затем сломя голову бежать в контору. По возвращении из ссылки мне пришлось быть на приеме у градоначальника Зеленого, прославленного щедринского помпадура. Один из просителей, еврей, горько жаловался на притеснения полиции и на грозный вопрос Зеленого: «Чем занимаешься?» – простодушно ответил: «Мы тремся около Тейтельмана», чем вызвал бешеный гнев помпадура, не оценившего, как метко проситель охарактеризовал свое безрадостное существование.

Этот отрезок улицы носит загадочное название Грецк, здесь расположена большая часть маклерских и экспортных контор. Вот один невзрачный человечек, с зонтиком в руках, даром что небо безоблачно, рывком выделяется из снующей толпы, сильно жестикулируя зонтиком, останавливает нашу коляску и, крепко ухватившись руками за крылья ее, быстро-быстро начинает заговаривать отца. Жаргон мы не совсем свободно понимаем, дома с родителями говорим только по-русски, но то, что юркий человечек с такой горячностью внушает, нам представляется просто бессвязным перечислением фамилий, отдельных слов и цифр: слышится: Анатра, Радоканаки, Юровский (это все крупные экспортные фирмы), Тейтельман, Клейн (маклеры), гирка, леи, вчера полкопейки, нет – копейка, плохой вес, пыль, шурф, проба и т. д. Минут через пять он недовольно отходит от коляски, но только что мы трогаемся, мановение другого зонтика вновь преграждает нам путь, потом отец замечает кого-то в толпе и, остановив Ивана, выходит на тротуар.

Ну, наконец раздается решительное «Трогай!», и Красавчик везет на довольно крутой спуск к гавани, скользя на отполированных ездой камнях. Иван изо всех сил натягивает вожжи (тормоза не полагалось), и лошадь так упирается, что

скрипит дуга, которую теперь можно увидеть только в кинематографе на так называемых русских картинах. Отец глубоко погрузился в размышления о полученных на Грецк предложениях, и о нашем присутствии он совсем забыл. Он страшно удивился бы и не поверил, если бы ему сказать, что мы принимали живейшее участие в его разговорах, силясь сочетать бессвязные слова и уловить смысл цифр, хотя бы со стороны зависимости от них его настроения. Он убежден, что мы впитываем лишь то, что специально для нас уготовлено: начальное училище (пансион) Вербеля, дома – уроки еврейского языка, ну, там еще книги из библиотеки, наконец, допустим – игры. Но так как он интересуется только результатами учебы, четвертными отметками и переходом в следующий класс и никогда даже не заглянет в лежащие перед нами книги, так и мы должны быть глухи к тому, что хоть и слышим, но нас явно не касается. Но вот поди ж ты: только и помню, что у Вербеля мы учились, но чему, и как, и с кем – ни-ни, и от бездарного учителя еврейского языка осталось только умение с грехом пополам читать, не понимая смысла. А людской гомон на Грецк и разговоры из коляски до сих пор отчетливо звучат в ушах. А в коляске еще лежит знакомый странный предмет, заставляющий сомневаться, едем ли мы прямо в купальню Исааковича. Этот предмет, имеющий рукоятку лопаты с довольно глубоким медным корпусом на конце, и есть упоминавшийся в разговорах шурф, которым зачерпывают со дна баржи зерно, чтобы проверить добротность. Наличие шурфа свидетельствует, что придется еще ехать на волнорез, где ошвартовалась баржа. Если отец в хорошем настроении, мы просим разрешения пешком сбежать с гигантской широченной лестницы, спускающейся с бульвара у памятника строителю Одессы Ришелье в гавань, и приходим к купальне раньше, чем отец возвратился с волнореза. Купание в гавани мало привле-

кательно, вода грязная, плавают арбузные и дынные корки, но купальщиков много, отец обучает нас плаванию и показывает, все с тем же сумрачным видом, разные «фокусы» в воде.

Домой возвращаемся прямо к обеду. Мать, высокая, пышная, черноволосая и белотелая, очень красивая, уже сидит за столом с сестрой, очень на нее похожей, если бы не нос, унаследованный от отца. Да и душевными свойствами она делится между веселой, беззаботной, жизнерадостной матерью и молчаливым, недоверчивым и нерешительным отцом. Эта печать двойственности лежит и на нас с братом.

Если ничего не случилось в широко разветвившейся семье отца, не получено письма из Екатеринослава от родителей матери, обед проходит в молчании: в дела свои отец никого не посвящает, политические и общественные новости интересуют его лишь с точки зрения влияния на хлебную торговлю: помню объяввший наш дом ужас, когда Русско-турецкая война 1877–1878 годов заперла выход из Черного моря и внезапно приостановила хлебную торговлю. Ф. И. Родичев⁵ любил рассказывать анекдот о Николае I: когда во время Крымской войны ему доложили, что население встревожено и волнуется из-за севастопольских неудач, император ударил кулаком по столу и воскликнул: «А им какое дело?» Отец, да и вся его и материнская семья считали, им действительно никакого дела нет, и были самыми непритязательными верноподданными.

5 Ф. И. Родичев – политик и общественный деятель, член Государственной думы всех четырех созывов, вместе с И. В. Гессеном являлся одним из основателей Конституционно-демократической партии.

Молчание вдруг прерывается громким голосом матери, заметившей, что кто-нибудь из детей уклоняется от еды и имеет недовольный вид: «Ты почему дуешься? Съешь хоть еще этот кусочек». Если уговоры не помогают, мать раздраженно замечает: «Прежде это называлось сумасшедший, а теперь, – голос звучит с иронией, – просто нервный». А мы этим способом частенько ее шантажировали, чтобы добиться исполнения какого-нибудь желания.

Из-за стола расходимся тоже молча, благодарить родителей не полагалось, это «нежности» и условности, которые вызывают насмешку, а я в особенности к ней очень чувствителен. Положительно не помню, чтобы отец или мать поцеловали нас, за исключением расставания на время; день рождения не праздновался и вообще ничем не отмечался, разве что единственный раз, при достижении мальчиком тринадцатилетнего возраста, духовного совершеннолетия, обязывающего утром молиться, надев на руку и на лоб два черных деревянных кубика со вложенными в них текстами молитв. Нежности проявлялись только тайно: притворившись во время болезни спящим, можно было, чуть приоткрыв глаза, наблюдать, как отец на цыпочках подходит и, низко склонившись над больным, долго прислушивается к дыханию.

После обеда бывал тягостный урок еврейского языка, тягостный потому, что в явный вред себе твердо держались принципа – числом поболее, ценою подешевле, и то только во второй его части. Когда позже отец принялся за перестройку дома, обошедшуюся в несколько десятков тысяч рублей, разработка плана была поручена доморощенному архитектору, и из-за экономии в 200–300 рублей обезображен был дом и уменьшена его доходность. При поступлении в гимназию старшему брату – учение давалось ему туго – пришлось взять

репетитора и приглашен был сын одного из жильцов, взрослый гимназист третьего класса, которому платили 4 рубля в месяц, притом не непосредственно, а предоставляя удерживать из неаккуратно вносимой квартирной платы. Репетитор завел тетрадку, в которой выставял брату отметки, и, к великому соблазну, я видел написанное им слово: «поведение» – у него не хватило смелости допустить, что среди трех звуков «е» ни один не пишется через «ять». Таков примерно был и учитель еврейского языка, и очарование Библии, равно, впрочем, как и древних классиков, я познал уже только в зрелом возрасте, собственными тяжелыми усилиями продираясь сквозь внушенное жалкими невеждами молодецкое отношение к величайшим творениям человеческого гения.

У сестры в это время бывал урок музыки на рояле, а позже и пения. Музыка вызывала всегда особые сладостно-волнующие ощущения; с неослабевающим наслаждением я всегда слушал и гаммы, и экзерсисы, и сольфеджио, и страстно сестре завидовал, но обучение мальчиков музыке считалось по меньшей мере неуместным: другое дело – девицы. Предлагая невесту, сваха не преминет на одном из первых мест упомянуть об умении играть на рояле, это крупный козырь, а мальчикам оно ни к чему.

После окончания урока мы все сбегаясь к матери – отца, как обычно, опять нет дома, и можно шумно выражать свое настроение – мы уверены, что у нее припрятаны какие-нибудь лакомства, в особенности тающие во рту пирожки – птифур из замечательных французских кондитерских, мать отнекивается, но на наши ласки быстро сдается, мы вместе уплетаем, и так до старости я и остался сластолюбом.

А затем с братом спешим в библиотеку, где, кажется, уже с семилетнего возраста были абонированы – в доме, кроме

наших учебников, не было ни одной русской книги, да и вообще никаких книг, кроме молитвенников и еще каких-то брошюр, которые сочинял дальний родственник матери – маньяк, еврейский вариант юродивого, бедный как церковная крыса. Все собранные за брошюры деньги он употреблял на печатание новых, а чем и как питался – было загадкой, он как будто в питании и не нуждался. Может быть, потому, что книга в доме была редкостью, я к ней питал большое беззаветное почтение и с неким благоговением входил в библиотеку Бортневского, в которой три комнаты по всем стенам были уставлены полками с книгами с золотым или черным тиснением на желтом корешке переплета. В библиотеке всегда царила серьезная тишина, и сам Бортневский, высокий блондин с приятным лицом и задумчивыми, где-то витающими глазами, говорил тихим, осторожным голосом, словно боясь нарушить покой книг. Я был убежден, что он все книги прочел – как же иначе – и в его серьезности видел проявление сознания своего превосходства над посетителями, которым не под стать одолеть и скольнибудь заметную часть его сокровищницы. Бортневский был, в сущности, единственным руководителем нашего самообразования, и ему я был обязан упоительным наслаждением, доставленным чтением, вернее – глотанием Майн Рида, Эмара, Жюль Верна, Вальтера Скотта. Мне казалось, что писатель, способный доставлять другим высокое наслаждение, сам должен быть существом сверхъестественным, литературное творчество рисовалось не житейским занятием, а священнодействием, и звание писателя недостижимым. Безжалостная действительность, среди многого другого, не только разрушила детское представление, но не раз, особенно в изгнании, мстила жестокими разочарованиями, однако след этого представления удалось, к великому счастью, пронести в душе через всю жизнь. А тогда меня все тянуло попробовать испытать, какие

чувства, какое состояние овладевает, что вообще происходит с человеком, когда он отдается сочинительству. В глубокой тайне, даже от брата, я приобрел изящную записную книжку и, крадучись, стал сочинять, конечно, беспомощное подражание прочитанному.

Однажды, когда вся семья сидела за вечерним чаем и я тут же погружен был в чтение, отец, находившийся в необычно хорошем настроении, вдруг сказал: «А вот я прочту вам нечто очень интересное». Я оторвал глаза от книги, но по близорукости не разглядел, что у него в руках моя тайна, а он, хитро подмигивая, с деланным пафосом прочитал что-то вроде: «Раздался громкий залп! Храбрый вождь как подкошенный упал на землю, но глаза все еще пылали мстью». Меня-то действительно словно подкосило, я так испугался, что перехватило дыхание, почувствовал, что краска заливает лицо, слезы вот-вот брызнут, и тогда впервые понял, что значит – желать провалиться сквозь землю. Отец, по-видимому, был удивлен неожиданным эффектом, на полуслове остановился и с доброй, смущенной улыбкой, еще обострившей мое замешательство, вернул книжку.

С тех пор от подражаний я решительно излечился, а став редактором, относился к охотникам до чужого литературного добра с преувеличенным ожесточением, раза три пришлось даже сражаться в судах чести. Но мне сдается, что это безобидное подшучивание потому так врезалось в память, что оно поколебало уверенность, и когда, много лет спустя, потянуло к писательству, приходилось преодолевать назойливые сомнения и в ушах вдруг звучало: «Храбрый вождь как подкошенный упал на землю». Но этим храбрым вождям я очень многим обязан: они пленяли рыцарским благородством и бесстраши-

ем, прямою и честностью, отвращением и противодействием насилию, покровительством слабым, жадой подвигов.

Странно, однако, что об одной важной черте я совершенно забыл упомянуть и спохватился лишь по окончании всей работы, перечитывая эти страницы. В характеристике Алеши Карамазова Достоевский подчеркивает его «исступленную стыдливость и целомудрие». Монашеских настроений и тяготений у меня и в помине не было, восьми лет я был уже влюблен в свою сверстницу, красавицу кузину, и ее фотография, выкраденная из семейного альбома, всегда была со мной, женская красота производила очень сильное впечатление. Но совсем как Алеша, я не мог слышать «известных слов и известных разговоров о женщинах», лицо заливалось краской, если товарищи, издеваясь, силой заставляли их выслушивать. И потом, во всю жизнь, этой интимной области я не касался в беседах даже с самыми близкими друзьями.

Вечерним чаепитием, около 10 часов, день заканчивался. Нам с братом отведена была – и для работы, и для сна – полутемная комната, выходившая окнами в застекленный коридор, хотя квартира была большая, а после перестройки имела двадцать девять окон по фасаду двух пересекающихся улиц. Но лучшая комната служила залой в пять окон с балконом, раскрашенным под паркет полом, от времени до времени так начищаемым, что дня два после этого стоял неприятнейший запах воска, смешанного с потом. В залу вообще, по молчаливому запрету, входить не полагалось, она предназначалась только для каких-либо торжественных случаев, к которым не относились редкие посещения гостей-родственников, довольствовавшихся столовой. Зала и была самой неудобной комнатой, какой-то безжизненной, и отличалась от других только дешевой нарядностью: кроме рояля, украшением были две

посредственные гравюры на сюжет из библейской истории и несколько пестрых безделушек, привезенных из Карлсбада, куда жирная еврейская кухня гнала для лечения катара и страданий печени. А во всех других комнатах стены были совсем голые, на столах ни одного цветка, вообще – ничего, что ласкало бы и радовало глаз, все это было ни к чему, совершенно так, как и «нежности». В большой, вместительной квартире всегда было душно и затхло, потому что потребность в чистом воздухе убежденно считалась предрассудком. Окна раскрывались только летом, зимой все щели заделывались ватой и покрывались замазкой, затвердевавшей, как камень. А вместо проветривания пускались в ход курительные свечи, дымом своим еще больше отравлявшие воздух. Но развитие физических сил вообще расценивалось как вздорная затея: сильным прилично и нужно быть «биндюжнику», о таких выдающихся силачах и повествует в своих одесских рассказах Бабель. А мальчику из «порядочного семейства» заботиться о мускулах и тем более заниматься спортом было бы крайне неприлично. Такие глубоко укоренившиеся взгляды и имели результатом, что мы, все трое, заболели противнейшей золотухой и всю зиму нас отпаивали рыбьим жиром, а лето мы впервые провели на даче и сразу же все оправились. Припоминаю еще, что брат болел scarlatinой и был от меня изолирован. Когда он поднялся с постели, мы разговаривали через закрытую дверь, и, так как я ни за что не хотел поверить, что у него сходит вся кожа, он стал просовывать мне кусочки ее в замочную скважину.

Если кто-то заболел, немедленно появлялся добродушный человек с грозными насупленными бровями, окладистой черной бородой, приятно щекотавшей при выслушивании сердца и легких, и каким-то специфическим запахом. Когда впоследствии в еврействе прогремело имя доктора Пинскера,

как пионера сионизма, и я прочел его пламенную брошюру «Автоэмансипация», я никак не мог сочетать этого пламенного трибуна с приветливым специалистом по всем болезням, с утра до ночи объезжавшим бесчисленных пациентов и больше, казалось, ничем не интересовавшимся. Был еще и фельдшер, с жесткой, как щетина, курчавой бородой и загадочным прозвищем Бинем – я так и не знаю, было ли это имя или обозначение профессии, – прививавший оспу, ставивший пиявки и банки и «отворявший» кровь. Но, например, ни врачу, ни, тем меньше, ему не приходило в голову порекомендовать употребление зубной щетки, тоже считавшейся прихотью. В общем, однако, мы, наперекор столь опасному презрению к гигиене, болели весьма редко и до старости пользовались завидным здоровьем, если не считать моего физического недостатка – рано развившейся близорукости. А ее никак нельзя скинуть со счетов – она оказала огромное влияние на формирование душевного склада. Недостаток этот обнаружился уже в первом классе гимназии, но ношение очков было тогда большой редкостью, и повели меня к окулисту лишь после настойчивых указаний гимназического начальства, что близорукость мешает учебным успехам, я и с первой парты не видел, что на доске написано. Постоянные опасения, что, того и гляди, попадешь впросак, развивали чувство застенчивости, неловкости, неуверенности, а когда стал носить очки, мальчишки на улице и в гимназии преследовали насмешками. Возможно, что этот недостаток способствовал и появлению вазомоторной неврастении, впоследствии отравившей несколько лет жизни. Но зато, с другой стороны, близорукость укрывала многое, что могло действовать отрицательно, люди казались красивее и лучше. Поэтому близорукость была, вероятно, источником наивности, если правильно (во всяком случае, настойчиво) друзья мои ставили ее мне на вид.

По разумению тогдашних врачей, очки давались слабые, далеко не восстанавливавшие нормального зрения. Только уже здесь, в Берлине, года три назад мне разрешено было пользоваться стеклами, почти полностью корригирующими близорукость, и, когда впервые посмотрел я сквозь них на свет Божий, мне показалось, что я вновь родился, и я пожалел себя, поняв, как суживались и обесцвечивались мои зрительные впечатления. Думаю все-таки, что баланс близорукости был в мою пользу.

Однообразие домашней жизни нарушалось приездами родителей матери из Екатеринослава. Дед был в то время очень богат и приезжал обыкновенно для участия в торгах на казенные подряды и поставки. Предлагаемые соревнователями цены и прочие условия подавались в запечатанных конвертах, и, насколько я помню, из опасения продешевить деду (руководил выработкой условий отец) ни разу поставки получить не удалось. Дед и бабка столь же были разны, как и родители, но она была недоверчива, неблагожелательна, зятя очень высоко ценила, считая его умнейшим человеком. А дед, высокий, благообразный старик, был импульсивен и щедр, поэтому для внуков его приезд бывал праздником. Но больше разнообразия вносили настоящие праздники, сопровождавшиеся, за исключением Судного дня, появлением на столе разных вкусных вещей. В Судный день Одесса замирала, жизнь останавливалась, весь день евреи и замужние еврейки проводили, по-стоясь, в синагоге.

Нижний этаж нашего дома состоял из двух квартир, занимаемых двумя сестрами отца, вдовами. У старшей, мнившей себя аристократкой, была единственная дочь, так и не дождавшаяся приличествующего ей, по мнению матери, жениха. Судный день мы, дети, и проводили с этой кузиной и жестоко

били себя по ритуалу кулаком в грудь, умолая Бога, в последний момент перед припечатанием судьбы на предстоящий год, о прощении содеянных грехов и даровании милости. Судному дню предшествовал явный пережиток жертвоприношения: все члены семьи, вертя над головой связанного петуха (женщины курицу), просили Бога обрушить на птицу наказания за прегрешения молящегося, а затем куры раздавались бедным или же раздача заменялась деньгами соответственно их стоимости, а куры служили основанием для необычайно жирного бульона, подаваемого вечером после поста.

Лет с восьми отец стал брать нас с собой в синагогу на наиболее торжественные моменты. Там у него, как у старшины, было почетное место, чем мы очень гордились. Эти торжественные моменты Судного дня оставляли глубокое, гнетущее впечатление: надрывно-напевное причитание мужчин в цилиндрах, падающие с хоров, где помещались женщины, громкие вопли, иногда разрешавшиеся истерикой, сопровождали чудесное пение хора с покрывающим его великолепным, бравурным тенором кантора, и в еврейском синагогальном песнопении мне всегда слышалась мольба покорная, но и мятежная, возбуждающая в душе вопрос: за что и почему?

Самым приятным, чарующим праздником была Пасха, ярко вспоминается радостное, весеннее настроение, вызывавшееся обширными приготовлениями – раскрываются после зимнего герметического закупоривания окна, сверкающие отблесками солнца, и в душные комнаты весело врывается теплый, ласковый бриз, напоенный возбуждающим ароматом. В доме царит невероятная сутолока – идет генеральная уборка квартиры, чтобы, Боже упаси, не завалилось где-либо крошки

хлеба, который на неделю должен быть заменен опресноками⁶. Во дворе найденные остатки сжигаются, и так забавно шипит в воде раскаленный чугунный шар, которым прокаливают кухонную посуду, чтобы можно было ею пользоваться и в течение Пасхальной недели. Отец везет нас в магазин готового платья, и мы долго осматриваем себя в обновках.

Предпраздничная сутолока усложняется настоящим потоком бедных евреев, преимущественно женщин, часто с детьми на руках – одни спускаются с лестницы, другие им на смену поднимаются и снова заполняют застекленный коридор. Они приходят за ордерами на получение опресноков и денежной помощью, чтобы иметь возможность справить у себя великий праздник. В качестве старшины главной синагоги отец заведует сбором благотворительных средств, производящимся два раза в год, при наступлении зимы, для снабжения бедноты углем, и перед Пасхой, и – спасибо ему – привлекает нас к участию в распределении и проверке талонов по счету записей и т. д. Сомневаюсь теперь, доверял ли он нашему умению и внимательности, вероятно, сам вновь все проверял, и скорее это было первым уроком общественной деятельности, к которому мы относились с серьезностью, присущей сознанию ответственности.

Наконец все сделано, все успокаиваются, и чем ближе к вечеру, тем все выше приподнимается настроение, тем нетерпеливее ожидание сейдера – этой необычной трапезы за чтением молитвенного рассказа об исходе евреев из Египта. Отец в кресле откинулся на подушки – он должен «возлежать»,

6 Опресноки – пресный хлеб, приготовленный без использования закваски.

а я, как младший сын, открываю трапезу, прочитывая по Агаде⁷ – забавно иллюстрированной эпизодами по истории исхода – «четыре вопроса», в ответ на которые и начинается чтение, прерываемое странными, напоминающими заклинания обрядностями. Нас больше всего занимает оставленное за столом пустое место, на котором, однако, тоже стоит полный прибор и большой бокал вина, рукой отца тоже участвующий в обрядах. Место это предназначено для пророка Илии, который в определенный момент невидимо войдет в комнату: для этого настужь раскрываются двери, и я вздрагиваю от шелеста пронесшегося сквозняка – разве и вправду пророк посетил нас?

Увы, на моих глазах все эти религиозные традиции стали быстро выветриваться, исчезли с косяков дверей маленькие свитки с молитвой, предохранявшей дом от несчастий, и трогательные, волнующие напоминания о тысячелетнем страдном пути превращались в сухую формальность, которую – волей-неволей – нужно отбыть, как скучную повинность. Раз начавшись, приобщение к русской культуре шло вперед семимильными шагами. Таково было влияние «эпохи великих реформ» Александра II, едва ли не самой светлой, и вместе с тем самой трагической эпохи русской истории. Теперь – и в России, и среди эмиграции – появляется обостренный интерес историков и беллетристов к Ивану Грозному и Петру Великому. Уделяемое им внимание, несомненно, подсказывается – сознательно и бессознательно – стремлением выяснить, что развитие России вообще совершалось резкими толчками, стоившими невероятных жертв. Эпоха шестидесятых годов представляла пробу эволюционного начала, проба оказалась неуве-

7 Агад – часть талмудической литературы.

ренной, колеблющейся и не выдержала испытания. Но вначале, тотчас после отмены крепостного права в 1861 году, она произвела на общество такое же впечатление, как на нас, детей, раскрытие закупоренных на зиму окон, до самозабвения увлекла всех блеснувшими заманчивыми перспективами. От этого воздействия не могло остаться свободным и русское еврейство, и на себе непосредственно ощутившее ослабление ограничительных законов.

В 1871 году в Одессе разразился погром, но мне было пять лет, и я ужасов его не испытал и не видел. Осталось лишь смутное воспоминание, как няня выходит с иконой за ворота и мы тщетно расспрашиваем, в чем дело, но ощущаем разлитую в воздухе тревогу. Этот погром был, по утверждению Еврейской энциклопедии, явлением случайным, в отличие от позднейших, организованных сверху, и не поколебал еще настроения, а одесская община считалась в еврействе очагом свободомыслия и ереси. В тяготении к русской культуре был, бесспорно, и практический соблазн: ряд крупных реформ – судебная, земская, городская – предъявили небывалый спрос на людей с высшим образованием и поставили их в привилегированное положение. Но, сопоставляя обрывки воспоминаний, я все же думаю, что гораздо важнее и значительнее было моральное влияние этой замечательной эпохи. Меньше всего тогдашние отцы, и тем более матери, способны были усвоить мудрую педагогическую мысль Льва Толстого, что в интересах разумного формирования детской души родители должны себя воспитывать и за собой следить, – не было иначе и в нашей семье. Но ради успешного приобщения к русской культуре сделано было едва ли не единственное исключение, стоившее больших усилий: между собой говоря на жаргоне (мать была еле грамотна), с детьми и при детях родители объяснялись по-русски, при еврейской прислуге няня у нас была православная,

благодаря чему с детства русский язык стал родным и диктовки в классе я писал лучше всех.

Обособленность еврейства была основательно подточена, и внутри его произошли большие сдвиги: прежнее стойкое расслоение по признаку религиозному – аристократами считались потомки раввинских семей – уступило место образовательному цензу: университетский диплом устранял существеннейший, особенно при заключении брака, вопрос «откуда?» и открывал все двери. Однако всякое лицо имеет и изнанку: подтачивание обособленности естественно сопровождается разложением сложившегося уклада жизни и упомянутым уже выветриванием традиций. Кстати сказать – новых традиций мое поколение, и не только еврейское, так и не успело, к сожалению, нажать вследствие быстрой капризной смены политической и общественной обстановки. Ассимиляция всегда и неизбежно начинается с усвоения того, что наиболее крикливо, что резче бросается в глаза, с прельщения пеной, поднимающейся и заманчиво волнующейся на поверхности.

Такая тенденция сказалась, конечно, и в обширной гессенской семье. Ее гордостью долго считался один из двоюродных братьев, самый старший (лет на десять старше меня) – прилизанно смазливый, настоящий сноб и прожигатель жизни, непререкаемый законодатель мод и хорошего тона. Перед ним преклонялись все дяди и тетки, но нам, кузенам, он нимало не импонировал. Младший дядя, изобретатель «гессенки», открывший молдавским магнатам новые пути к обогащению (на месте им приходилось продавать хлеб за бесценок), сумел установить с ним не только деловые, но и личные отношения и дом свой устроил совсем на светский лад. Однажды он пригласил к обеду приехавшего из Никополя своего двоюродного брата, о котором речь будет еще впереди. Неожиданно в тот же

день приехал из Кишинева богатейший помещик, предводитель дворянства Катаржи, которого тоже нужно было позвать к обеду. Когда двоюродный брат, по провинциальному обычаю – спозаранку, явился на приглашение, дядя стал его заботливо осматривать, щеткой смахивать пылинки с платья и, придя в отчаяние от добротного, но старомодного сюртука, сказал: «Знаешь ли, Исаак, сегодня должен приехать к обеду Катаржи, и я боюсь, что он тебя будет стеснять. Вот тебе три рубля, ты с большим удовольствием пообедаешь в Лондонской гостинице». Связи с бессарабской знатью помогли ему добиться для сына небывалого исключения: он поступил вольноопределяющимся в кавалерию и, по окончании службы, вышел в офицеры. А дочь, первая любовь моя, редкая классическая красавица, была во втором браке замужем за сановником и от семьи своей отреклась. О ней упоминает государыня в одном из опубликованных писем к государю, ходатайствуя об оказании ей покровительства.

Однако такие уродства, исчерпывающе отмеченные, чтобы предотвратить упрек в нарочитом замалчивании, остались единичными. В общем же крушение традиций и приобщение к русской культуре отразилось среди моего поколения целым рядом обращений в православие из-за браков с христианами и других житейских побуждений. Но этому обращению уже ничего не оставалось прибавить к исповедуемому примату интересов родины, горячей любви к ней и неразрывной спаянности с русской культурой – равно как, с другой стороны, не могло оно ослабить боли и горечи от ударов, сыпавшихся на еврейство. А с переходом в христианство сочеталось среди нас другое массовое явление – тяга вон из Одессы, в центр умственной и политической жизни России.

К концу прошлого века в Петербург переселилась добрая дюжина кузенов и кузин, представлявших все интеллигентные профессии – академическую, публицистическую, медицинскую, инженерную, а также и крупную промышленность, и никто из этих пионеров не затерялся в холодной и строгой столице, а иным довелось даже сыграть некоторую роль в общественной жизни родины.

Расставаясь здесь с детскими воспоминаниями, я с пронзительной ясностью вижу перед собой единственную семейную фотографию – сниматься тоже относилось к числу «нежностей». В центре группы, в овальной золотой рамке, как живая сидит задыхающаяся от смеха мать, держа на руках недавно родившуюся сестренку нашу, испортившую ее нарядное платье как раз в торжественный момент, когда фотограф, подняв палец, произнес магическое: спокойно! – и мать не смеет шелохнуться. Она сидит между бабушкой, в отживающем уже парике, и своей кузиной, женой брата ее, тоже улыбающимися неожиданному происшествию. А по краям стоят два мальчика в бархатных курточках, коротких штанишках, длинных белых чулках, заложив, очевидно по приказу фотографа, ногу на ногу. Я смотрю на того, что стоит слева, доверчиво прижавшись к бабушке, и скажу откровенно: он нравится мне, этот круглолицый человечек, строго исполняющий требование сохранять серьезный вид и устремивший сосредоточенный взгляд вопрошающих глаз в указанную ему точку. Но я не ощущаю никакой связи с ним, не могу ощутить преемства и даже не мысленно, а так-таки вслух спрашиваю: ты-то мне нравишься, но доволен ли ты мною? Он все сосредоточенно смотрит в одну точку, а мне так хотелось бы внушить, что иначе быть не могло, и, если бы с проделанным уже опытом жизни начать сначала, в той обстановке, в тех условиях, которые только таковыми и могли быть, – получилось бы прибли-

зительно то же самое. И вдруг начинает шалить воображение: а может быть, потому он и смотрит так сосредоточенно в одну точку, что она была пред-указана на всю жизнь.

Гимназия (1874-1882)

В 1874 году, когда мне исполнилось только что девять лет, я, в виде особого исключения (требовался десятилетний возраст), допущен был к экзамену в первый класс Одесской второй гимназии, одновременно с братом, старшим меня на два года. Экзамен выдержан был удачно, ибо любознательности было много, а решение арифметических задач доставляло даже какое-то эстетическое наслаждение. С радостью и гордостью затянулся я в гимназический однобортный мундир с блестящими пуговицами, с высоким воротником, украшенным серебряным позументом, кепи⁸ с лакированным козырьком и оловянным гербом, состоявшим из двух скрещенных дубовых листьев, между которыми помещались буквы «О II Г». Но уже с первых дней знакомства с новой обстановкой и гордость, и радость быстро стали идти на убыль. Не помню, было ли у меня вообще какое-нибудь представление о том, что меня в гимназии ожидает. Вероятно, над этим я и не задумывался. Но, во всяком случае, то, что пришлось увидеть и испытать на своих боках в течение девяти лет, никак не могло соответствовать детским ожиданиям и доверчивым надеждам.

Школа как будто ставила своей единственной целью отнять у воспитанников всякую радость, уничтожить всякие порывы, с корнем вырвать все ростки самобытности, индивидуальной личности, погасить всякий интерес к науке. Твердо и буквально наставники держались принципа, что корень учения должен быть горек, и с безоглядной последовательностью проводили его на практике. А ученики, конечно, никак не

8 Кепи – форменная гимназическая фуражка.

соглашались с этим мириться, и отношения между ними и наставниками нельзя иначе представить, как два замкнутых враждующих лагеря, которые с одинаковой ревностью изошрялись: одни на чем-нибудь поймать, уличить, сделать неприятность, а дети – обмануть, улизнуть, напакостить. Победы случались на обеих сторонах, но не счесть, сколько мальчиков и юношей было загублено, выброшено за борт просвещения. Примерно из сорока с чем-то учеников первого класса, в который я поступил, только двое (третий – я; перешел потом и окончил другую гимназию) дотянули до аттестата зрелости.

Уже в первом классе половина были второгодники, не выдержавшие экзамена и застрявшие на второй год. Среди них были парни семнадцати–восемнадцати лет, искушенные, не говоря уж о курении, в разных соблазнах жизни и усиленно просвещавшие малышей. Эти великовозрастные (если не ошибаюсь, в год моего поступления установлен был предельный возраст, и в следующих классах я уже их не помню) считали себя аристократией класса, и даже некоторые учителя их побаивались.

Внутренней вражды в ученическом лагере не было, связующим цементом была ненависть к общему врагу, и в помощи против врага никогда отказа не было. А о доносах, конечно, и речи не могло быть. Принцип «товарищества» над всем неограниченно доминировал и приобретал уродливые формы, заставляя, по крайности – пассивно, принимать участие в таких деяниях, которые претили разуму и чувству. Но близости, приятельства у меня ни с кем не было в этой гимназии, не помню, чтобы вне ее с кем-то из товарищей я встречался.

В школе мы проводили от 8 с половиной утра до 2 часов: на первом плане стоял латинский язык, которому отведено

было 8 часов в неделю, русскому – 6 часов, 4 посвящались арифметике, 2 – чистописанию, 2 – географии и 2 – Закону Божию (евреи были в эти часы свободны). После первых трех уроков была большая перемена в полчаса, раз в неделю занятая гимнастикой (вернее, шагистикой), а в прочие дни предоставлявшая свободу действий. Переменами пользовались, чтобы сбежать за ворота в съестную лавочку Менделя, жирного еврея с сине-черной курчавой бородой, охотно отпускавшего и в долг свои бутерброды с окаменевшей паюсной икрой, обильно политой для смягчения уксусом. Но важнее было после бутербродов – глубоко до головокружения затянуться папиросой. Здесь можно было предаваться этому удовольствию безмятежно – в противоположность весьма примитивной уборной («нужник»), куда то и дело заглядывал огромный, налитой помощник классного наставника Карл Иванович Фохт и, раздосадованный, что благодаря хорошей организации предупреждения ему не удавалось курильщиков накрыть с поличным, заставлял учеников дышать себе в лицо и больно ущемлял волосы, чтобы преодолеть сопротивление.

Главный предмет – латинскую грамоту – преподавал в первых трех классах сам директор Аким Константинович Циммерман, приземистый человек лет шестидесяти, с большим отвислым животом и отвислой губой. Не смел бы я утверждать, что он владел членораздельной речью: мы слышали только отрывистые восклицания, прерываемые громким выдыханием: незавидно, вон, в карцер и т. п. Учеников он не называл по фамилии, каждый имел свое прозвище: тигр, собака, дубина, остолоп, книжица... и т. д. К неуспевающим он вообще обращался только коллективно: «Гуща, вали!» Перед его уроком в класс входил другой помощник классного наставника Сила (больше мне не приходилось слышать такое имя) Иванович Добровольский, тонкий, злобный, с редкой русой

бороденкой, олицетворенный Молчалин, и производил переключку. С небольшим опозданием являлся директор, всегда в пальто, накинутом на плечи. Сила Иванович подобострастно снимал с начальственных плеч пальто, а затем еле слышным ровным голосом докладывал, все ли ученики на месте и не было ли каких-либо происшествий. Если все было благополучно, директор шумно отдувался и садился на кафедру, а Сила Иванович, пятась, удалялся. Пытливым оком Циммерман обозревал класс, стараясь по выражению лиц узнать, кто не приготовил урока, который обычно состоял в том, чтобы наизусть затвердить расположенные белыми стихами существительные, глаголы, представляющие то или иное отклонение от общего правила и т. д. Бессмысленная зубрежка словно нарочно была придумана, чтобы затруднить усвоение латинской грамоты и поселить непобедимое отвращение к ней.

Если наблюдательность директора обманулась, и вызванный отвечал удовлетворительно, он отпускался на место с миром: «Незавидно! Садись!» Но если жертва вызвана была удачно, восклицания становились все крикливее: «Не знаешь, осел, лентяй, звать, в карцер, вон!» Роковое слово «звать» обозначало вызвать отца жертвы для назидания, и это, конечно, было для ученика максимально неприятным. Когда раздавалось восклицание: «звать!», один из учеников, на то уполномоченный, отмечал фамилию жертвы в своей записной книжке (отсюда и прозвище «книжица»), чтобы после урока передать приказ Силе Ивановичу. Если же негодование переливалось через край и выражалось формулой: «сильно звать!», то нужно было немедленно призвать в класс Силу Ивановича, которому директор передавал приказание непосредственно.

Иногда, при более благодушном настроении, директор спрашивал плохо затвердившего урок, есть ли у него репети-

тор, и, если таковым оказывался ученик старших классов, репетитора тут же «звали» в класс. Он появлялся, и старик весьма вежливо, обращаясь на «вы», указывал ему на плохую подготовку и необходимость подтянуть лентяя. Репетитор почтительно обещал приложить свои старания. Однажды случилось, что явившийся репетитор сам не по форме был одет, и, окончив вежливый разговор, директор сразу резко переменял тон: «Ну, ты, репетитор, а теперь ты-ка нам скажи, почему ты без галстука? Звать и в карцер!» Тут как тут Сила Иванович, и злополучный репетитор отправляется в темницу.

Бывало, что вызванные отцы и матери десятками собирались в приемной, а вышедший к ним директор терялся и не знал, что сказать, ибо уже успел позабыть, в чем тот или другой провинился, да и вообще фамилии учеников безнадежно путались в голове его с данными прозвищами. В число вызванных случилось попасть и отцу моему. Пыхтя и тщетно силясь вспомнить, что нужно сказать, директор вдруг буркнул: «Сын ваш, да, да, возьмите его, женить пора». На замечание отца, что сын самый младший в классе, директор, нимало не смущаясь, ответил: «Да, да, малец славный, подтянуть нужно».

Четыре раза в году давалось генеральное представление, которое самим директором так и расчленялось на «драму, комедию, водевиль, дивертисмент». Это происходило перед окончанием триместра, когда ученикам выставлялись средние баллы за три месяца. Недели за две, за три до этого директор провозглашал, что начинается «испытание», и приглашал «добровольцев». Выходили, по два, лучшие ученики, наиболее в себе уверенные, и начиналась детальнейшая проверка знаний всего пройденного. Таких находилось не больше пяти-шести: не дай бог добровольцу на чем-нибудь сорваться, ему грозило новое унижительное прозвище и утрата репутации

навсегда. Когда с добровольцами было покончено, директор сам вызывал, начиная с лучших, и чем дальше, тем все реже слышалась высшая похвала: «незавидно!», и тем чаще и все крикливее раздавалось: «звать, сильно звать!» В последний день «испытания» директор победоносно озирает класс и зычным протяжным голосом восклицал: «Гуща, вали!»

Выходили человек десять–пятнадцать и тесным кольцом окружали кафедру. Обращаясь к ближайшему, директор задавал вопрос, но, не ожидая ответа, кричал: «Не знаешь, пшел!» А затем к следующему: «Ну, ты! Не знаешь, пшел!» и т. д. В несколько минут испытание гущи было закончено криком: «Всех звать, сильно звать!»

Раз попавши в гущу, выбиться из этой касты было уже невозможно, члены ее были как бы обреченные. За все время ни один ученик не получил отметки «5». Этот высший балл он, очевидно, присваивал мысленно себе самому и действительно знал наизубок программу первых трех классов, как нищий знает свой единственный грош.

Один только раз директор сменил образ Юпитера-громовержца на роль Силы Иваныча. В Одессу приехал знаменитый в истории русского просвещения Д.И.Толстой (тогда еще не граф, впоследствии еще более знаменитый министр внутренних дел, ликвидировавший реформы Александра II) и посетил, между прочим, нашу гимназию, в частности урок директора, который трепетал гораздо сильнее, чем ученики, развлекаемые блестящей свитой, сопровождавшей министра. Отвислая губа заметно дрожала. Выслушав стихотворные переложения неправильных глаголов, произнесенные самым маленьким учеником, министр задал коварный вопрос: «А как ты переведешь, друг мой, *ave, ave cum ave?*» Без малейшей запинки малыш ответил: «Здравствуй, дед с птицей!» (Смутно вспоми-

нается, что слабость министра к этому омониму была известна, и для малыша вопрос не был сюрпризом.) Министр потрепал мальчика по щеке: «Очень хорошо, молодец! А красивей сказать – дед с птичкой!» Затем, обратясь к директору, поблагодарил его пожатием руки, которую тот, низко приседая, благоговейно принял, и на лице отразилось блаженство, совершенно преобразившее столь знакомое лицо нашего мучителя. А на другой день, как ни в чем не бывало, снова раздавалось: «Звать, сильно звать, в карцер!»

Другим монстром, но в ином роде был сын директора от первого брака – Михаил Акимович, преподававший русский язык. Тоже порядком уже разжиревший, с всклокоченными волосами и бородой, он на грамматику не обращал никакого внимания, а увлекался «выразительным чтением» басен Крылова и, стараясь читать в лицах, проявлял патологическую импульсивность – неожиданно вскакивал со стула таким резким движением, что стул сваливался с кафедры, ученики шумно сбегались, чтобы водворить его на место, и тут между ними возникала драка.

Вообще на этих уроках роли менялись: ученики превращались в мучителей, а наставник становился мучеником, каждый день изобретался новый способ издевательства над несчастным; однажды ухитрились привязать колокольчик к фалдам его вицмундира. Когда, увлекшись чтением Крылова, Михаил Акимович вскочил и колокольчик задребезжал, он принял этот звонок за окончание урока и направился из класса в учительскую, продолжая звонить. Разыгрался большой скандал, все преподаватели приостановили уроки, чтобы узнать, в чем дело, во всех классах поднялся невероятный шум, а сам Михаил Акимович только тогда уразумел, что является пассивным виновником скандала, когда в учительской Сила

Иванович, отведя в уголок, освободил фалды от подвешенного колокольчика. Весь класс, отказавшийся назвать активных участников проделки, оставлен был на несколько часов после уроков, но вскоре Михаилу Акимовичу пришлось уйти, и я не сомневаюсь, что он закончил свою карьеру в доме для душевнобольных.

Мне кажется, впрочем, что не только этот, но и большинство тогдашних преподавателей в той или иной степени страдали душевной неуравновешенностью.

Начиная с пятого класса преподавание латинского языка принадлежало невысокому, худощавому человеку в очках, с широкой бородой и шикарными усами, вытянутыми в стрелку и явно составлявшими гордость обладателя: на уроках он то и дело легким прикосновением пальцев проверял, не сломалась ли стрелка. Как и директор, приходил он в класс в пальто, накинутом на плечи, или, вернее, на одно плечо, на манер римской тоги. Имя у него тоже было необычное – Ермил, говорил он медленно, тягуче, сильно напирая на букву «р», и нес такую галиматью, что невозможно было удержаться от улыбки, а улыбка грозила в лучшем случае переселением на заднюю парту, а то и карцером. В пятом классе занимались переводом Кая Саллюстия Криспа. Два часа под диктовку мы должны были записывать биографию, а когда наконец на третьем уроке приступили к переводу, то сразу же случился скандал. Вызванный ученик подошел к кафедре, но, прежде чем успел раскрыть рот, услышал: «Ну, пожалуйста вон!» – и в полнейшем недоумении вышел. Такая же участь постигла и второго вызванного. Наконец, третьему Ермил, сверкая глазами, грозно заявил: «Разве вы не знаете, что полагается стоять на дистанции двух аршин от кафедры?» Класс прыснул со смеха, двум с первой парты пришлось переселиться вглубь.

Установившись на требуемой дистанции, ученик правильно перевел первую фразу: «Напрасно род человеческий жалуется на слабость свою» – и хотел продолжать читать следующую фразу, но был резко прерван вопросом: «Но позвольте! Что же означает первая фраза?» Спрошенный недоуменно пожал плечами и беспомощно оглянулся на товарищей. Бросив затем общий вопрос, не возьмется ли кто объяснить, и не отпуская стоявшего на дистанции, Ермил торжественно обвел всех глазами и до конца урока произносил проповедь на тему о бессмертии Бога, не успел кончить и посвятил ей и весь следующий урок, причем вызванный опять должен был стоять час на дистанции. Ход мыслей его был, по-видимому, таков: не вправе человек жаловаться на свою слабость, она дана, чтобы всегда помнить и славить всемогущество Бога...

От директора Ермил отличался тем, что тот был все же простак, и на ум ему, вероятно, не приходило, что он мучает и калечит детей, а этот был глубоко убежден, что мальчики даны ему для того, чтобы производить эксперимент *in anima vili*⁹.

Подражателем директора был учитель географии Иван Иванович Тищенко, который требовал, чтобы, не глядя на карту, ученик перечислял по порядку города, лежащие по Рейну, по Волге и т. д. Другой должен был повторить то же самое вверх по течению, третий – пропуская один город и т. п. Беззастенчивым невежеством славился и учитель истории...

Самое тяжелое впечатление оставляли уроки русского языка, которыми в пятом классе заведовал Геннадий Каликинский, по-видимому, глубоко несчастный человек, искавший

9 На малоценном организме (лат.).

утешение в вине. Бывали часы, когда он, объясняя урок, говорил какими-то загадочными, отрывистыми предложениями, на наш взгляд не имевшими никакого отношения к делу, и, прервав объяснения на полуслове, лишь только раздавался звонок, стремительно выбегал из класса, точно звон возвещал какую-то опасность. Я был его любимцем и баловнем, мне все прощалось, сочинения мои читались вслух.

Однажды он сказал фразу, значения которой я тогда не оценил, но впоследствии она стала моим писательским лозунгом. Прочтя вслух мое сочинение, он обратился к классу: «Вот как нужно писать. Прямо в центр, сжато, без предисловий!»

Случалось, однако, что за сочинение я получал единицу и, задыхаясь от беззвучного хихиканья, Каликинский прочитывал его вслух как образец нелепости и озорства. Но это относилось уже ко второй половине пребывания в гимназии, и, прежде чем к ней перейти, я могу отдохнуть душой, ибо досталось мне совершенно неожиданное в еврейском быту противоядие против растлевающей ум и душу гимназической обстановки. Если не ошибаюсь, как раз в год поступления в гимназию дед мой по матери приобрел большое поместье Мало-Софиевку в 5000 десятин земли, а еще через год-другой соседнее имение Корбино, тоже в 5000 десятин. Это огромное богатство явилось источником разорения семьи деда и отца, но по отношению ко мне оно оказалось истинным Божиим благословением. Было оно расположено в Верхне-Днепровском уезде Екатеринославской губернии. В первом был вместительный дом, без всяких затей построенный, а во втором оставались только руины аляповатого дворца с двусветным залом и стеной живописью, большим парком с разбитыми статуями, провалившимися мостиками, заплесневевшими беседками. Оба имения принадлежали дворянским родам, разорившимся

после отмены крепостного права, о котором в Корбине можно было еще наслушаться ужасов.

Управлял латифундией дядя, не имевший ни малейшего представления о сельском хозяйстве, и к тому же, несмотря на столь грандиозные размеры – засевались тысячи десятин, овец насчитывалось до 15 000, – не ведший решительно никакой бухгалтерии. А так как доходы от продажи зерна, шерсти и т. д. поступали, в зависимости от места платежа, в разные руки (деда в Екатеринославле, отца в Одессе и дяди при расчете на месте), то никто не имел понятия, дает ли имение доход вообще и какой именно. А между тем весь интерес только тем и исчерпывался, чтобы получить максимальный доход, и притом сейчас, а не завтра, не через год. Думаю, что если бы предложено было сделать какую-нибудь затрату, обещающую в будущем значительное увеличение доходности, то, как бы велика ни была вероятность расчета, предложение было бы отвергнуто, как «журавль в небе»: мало ли, что может завтра случиться, а сегодня нужно извлечь как можно больше, до минимума довести расходы, как бы производительны они ни были. Поэтому ничего не было застраховано, не было ветеринара при огромных отарах овец, большом количестве лошадей и рогатого скота, отличный фруктовый сад не имел садовника, проточный пруд, подковой окружавший сад, превратился в стоячее болото, и одним летом я схватил жестокую лихорадку, от которой долго не мог избавиться. За все годы я ни разу не видел и не слышал о враче, да и фельдшера не было. Лечил крестьян дядя – от «лихоманки» лошадиными порциями хинина, с которым конкурировала касторка. А против порезов, для остановки кровотечения, лучшим средством считалось обволакивание паутиной. И – ничего, заражения крови не случалось. Вообще, культурный уровень хозяйства был абсолютно тот же, что у крестьян прилегающей к «экономии»

малороссийской деревни, и стоял под знаком: «Авось да небось».

Мало-Софиевка находилась в 75 верстах от Екатеринослава и от Никополя. Помню это совершенно точно и отчетливо и все же вынимаю из книжного шкафа географический атлас, якобы для того, чтобы проверить память свою, а по правде сказать, только для того, чтобы дать схлынуть пленительно волнующемуся приливу воспоминаний о поездках в деревню. Как мучительны были последние дни перед роспуском на летние вакации!

Одесса и сама была в это время года очаровательна. Комнаты напоены сладким, одуряющим ароматом белой акации, простиравшей свои ветки в открытые окна; купание на Ланжероне: неподвижно распластавшись на спине, под жгучим солнцем и совершенно забыв, что существует еще что-нибудь, кроме развернувшегося над тобой синего-синего неба... А катание на греческих парусных лодках с резкими поворотами, когда один борт скользит вровень с поверхностью, вот-вот зачерпнет воду. Но все соблазны блекли перед напряженным ожиданием утра, когда нас отвезут в гавань, чтобы сесть на пароход «Тотлебен». И мы по-своему тревожились: мало ли, что может еще случиться, слишком заманчива была мысль о поездке, слишком велико ожидавшее нас счастье, чтобы не опасаться какой-нибудь неожиданной помехи. Убийственно медленно тянулись дни, возбуждавшие тревожные ночные сны, и как же мчались мы домой, придерживая карман с полученным из гимназии «отпуском»... Теперь остается собрать вещи в дорогу, но это нас мало интересует. А вот что важно: купить на сделанные сбережения разных фейерверков. 20 июня в деревне большое торжество – день рождения младшего кузена. До него у дяди было пятеро детей, но все умирали

вскоре после рождения... Поэтому шестого, Сашу, берегут как зеницу ока, и день рождения, который в нашей семье ничем не отмечался, – большое торжество.

Накануне отъезда нам приказывают рано лечь в постель, потому что вставать нужно в 6 утра, но мы с братом улаживаемся не спать и долго шепотом обсуждаем, какой эффект произведет наш фейерверк, пока не засыпаем мертвым сном, и утром сразу не можем понять, зачем нас расталкивают. Отец везет нас на пристань, и вот он – красавец «Тотлебен», так важно пыхтящий небольшими клубами дыма и как будто только нас и поджидающий. Погода чудесная, но за волнорезом порядочная зыбь, брата сразу укачивает, а я тем более горжусь, что морская болезнь меня не берет, стою на носу, воображаю себя настоящим морским волком и радуюсь соленым брызгам... Часов в пять дня мы в Херсоне, ах, каком ненавистном Херсоне: здесь приходится, пересев на речной пароход, ждать до полночи, слушая однообразные выкрики грузчиков: вира-майна! Но под эти мерные восклицания и лязг цепей, на которых опускают в трюм грузы, отлично спится в каюте, и когда утром просыпаемся, то уж давно ползем медленно вверх по Днепру.

После долгих остановок на многочисленных пристанях мы покидаем пароход в Никополе. В те времена это было благословенное местечко, с пыльными или непролазно грязными улицами, состоявшими в полном распоряжении свиней с поросятами и всякой домашней птицы. Дома больше похожи на деревенские избы, за исключением двух двухэтажных каменных домов, из коих один принадлежал кузену отца. Это был крупный, жирный, добродушный человек – два сына его впоследствии стали видными промышленниками в Петербурге и назывались в семье «богатые Гессены». Жена его была еще

жизнерадостнее моей матери (они были двоюродными сестрами) и радушнейшая хлебосолка. Нас встречали чрезвычайно приветливо, засыпали вопросами, как поживают родители, как мы выдержали экзамен, а нам прежде всего хотелось узнать, присланы ли за нами лошади, и перекинуться хоть несколькими словами с кучером. Но не тут-то было. Надо было садиться за стол, буквально заставленный всякой снедью: рыбный холодец, индейка, гусиные шкварки, кныши, которые тетка пекла с исключительным мастерством, вареники с вишнями, густейшая сметана, не говоря о яйцах, зеленых огурцах, редиске и редьке, и к этому отличный хлебный квас. Всего нужно было отведать. Лишь после ужина удавалось выскочить во двор, насладиться видом знакомых лошадей и коляски, жадно расспросить кучера о наиболее интересующих нас предметах, и тут мы уже ощущали непосредственную близость окружающего нас рая.

Ранним утром, по холодку, переночевавшие в жарких постелях и снабженные провизией примерно на неделю, мы покидали гостеприимный дом и отдавались переполняющему душу восторгу поездки на «долгих», так гениально изображенной в «Детстве» и «Отрочестве»¹⁰. Мы ехали ровной степью с редкими курганами, неглубокими балками и ставками, мерно бежали лошади среди волнующихся, ароматных, ласково шепчущих нив, и эта ширь, эта бескрайность так дорога была нам, родившимся у моря и сжившимся с ним. Но там бесконечный горизонт как бы вызывал на бой, на соревнование с ветром и бурей. Здесь же он нежно звал и манил таинственны-

10 «Детство» и «Отрочество» – автобиографические произведения Л. Н. Толстого.

ми обещаниями. Лучше всего была ночь, которая сразу падала на землю, и дневная тишина, столь пленительная после городской неумной сутолоки, переходила в торжественный благодостный покой... И я слушал эту многоговорящую тишину, широко раскрыв глаза навстречу бархатной ночи, и верилось, что «звезда с звездой говорит». Не рискну настаивать, что так это именно и было... Быть может, все это задним числом подсказываю теперь тому беззаботному, страстно влюбленному в жизнь мальчику, но определенно знаю, что «звук этой песни в душе молодой остался без слов, но живой», и так на всю жизнь запомнились эти часы и так они и дороги мне, потому что тогда был неповторимый момент беспримерной чистоты и непорочности души.

Однажды – это было, должно быть, в 1889 году – к нам с братом в Одессе неожиданно присоединились три троюродных кузена с теткой. Остаться такой большой компанией в Николаполе было неловко, и я предложил кучеру немедленно закладывать лошадей. Недовольный уже тем, что вместо двух ожидаемых пассажиров явилось шесть – мудрено таки было разместить их в экипаже, – он стал спорить, но вдруг догадался, в чем дело, и сказал: «Понимаю, паньч. Вы тут заночевать не хотите. Гарно! Нам, значит, доехать только до первой корчмы, тамичка и заночуем».

Я похвалил его за догадливость, и, отъехав пятнадцать верст, мы остановились на ночь в корчме, носившей странное название. Нам отвели единственную чистую комнату, в ней стоял диван, на котором улеглась тетка, а нам на земляном полу постлали свежего сена. Но мы и не собирались спать, а занялись репетицией «Женитьбы», которую собирались скурпризом разыграть в торжественный день 20 июня.

Около сорока лет спустя, застряв в начале 1928 года в Финляндии, в Сортавале, я стал излагать свое прошлое и, остановившись на приведенном эпизоде, никак не мог вспомнить название корчмы. Как раз в этот момент получены были из Швейцарии немецкие газеты... И первое известие, бросившееся в глаза, было, что немецкие войска заняли Чертамлык и подходят к Никополю. Что это? Забавный сон или фантастическая явь? Чертамлык и было название той затерянной в степях корчмы, куда, казалось бы, три года скачи – не доскачешь. И вот теперь тяжелая пята врага ступает по богоспасаемому гоголевскому краю, и грохот колес артиллерии разрушает очарование вековой тишины. И тут впервые я не то что понял, а ощутил, что прошлое ушло безвозвратно.

Только один раз мы и остановились в Чертамлыке, обычно же на полпути нас ждала подстава, то есть свежая четверка или тройка лошадей (великорусская тройка считалась в Малороссии щегольством, здесь пара лошадей шла в дышле, а третья пристяжной). Наскоро перекусив и напившись чаю, мы снова у экипажа, стараемся личным участием ускорить раздражающе медленную перепряжку лошадей, хохлацкая лень истощает наше терпение, кучер все громче бурчит в ответ на понукания и упрашивания и, сердито кивая на нас, ищет сочувствия у окруживших экипаж собеседников, делающих замечания и дающих советы насчет упряжки. Ссориться с кучером никак нельзя, потому что дорогой придется ему поклониться, чтобы получить в свои руки вожжи, а что может быть приятнее, чем разобрать между правой и левой рукой остро пахнущие вожжины и внимательно следить, чтобы, не дай бог, кнут не затянуло в колесо.

Поздним вечером подъезжаем к парадному крыльцу с большим балконом, украшенным колоннами, выходящим на огромную, обнесенную палисадником поляну, и с трудом различаем по другую ее сторону контуры конюшни и каретного сарая. На крыльце встречают нас хозяева с прислугой, и снова те же расспросы и комплименты, а мы стараемся выведать, каковы виды на урожай, потому что от него целиком зависит капризное настроение дяди. Если урожай предвидится, у нас будут отличные верховые лошади и своя тройка, повеликорусски запрягаемая в небольшую легкую бричку, будут пикники в Корбино, где у большого холодного пруда похоронены последние владельцы имения «раб и рабыня Божии Мандрыкины», мы будем получать «ответственные» поручения к соседям-помещикам (отношения с ними были чисто деловыми, знакомства домами с окрестными дворянами не было), по вечерам будут танцы и, сверх того, мы будем пользоваться неограниченной свободой действий. Если же предвидится неурожай или неблагополучно с овцами, настроение испорчено, так сказать, в квадрате, ибо дядя угнетен не столько самим фактом неудачи, сколько тем, что она лишает его права веселиться. Дурное настроение обостряет и вспыльчивость, какой мне за всю жизнь больше не приходилось встречать и за которую ему не раз доводилось платить и по суду, и собственными боками. Тяжелое настроение сильнее всего отражалось на безответной, любящей, красивой жене его, закрывавшей глаза на постоянные измены бесшабашного бабника. Когда муж бывал в гневе, она силилась стать совсем незаметной, сойти на нет.

«Ну, довольно балакать, это вам не Одесс (так на жаргоне называлась Одесса), – внезапно прерывал дядя беседу, как только мы кончали еду, – вставать надо рано». – «Пожалуйста, разбуди нас, как только встанешь!» (кроме него, ко всем дядям

и теткам и, конечно, к родителям мы обращались на «вы»). А вставал он рано, с петухами, между четырьмя и пятью часами, когда солнце только еще всходило и поляна была вся в росе. Нас он будил часов в шесть, когда возвращался после первого объезда экономии.

Первый визит наш был в конюшни, где старший кучер радостно встречает в ожидании «подарочка» из Одессы. Это был крупный, широкоплечий благообразный крестьянин из примыкающей к экономии деревни с целым выводком красивых дочерей, одна из которых служила горничной, а другую, сверстницу мою, я позже вообразил дамой сердца по всем книжным правилам и вызвал однажды на свидание, но не знал, что сказать, а биение сердца не позволяло поцеловать, и наш роман на том и кончился. «Усе готово, хоть сейчас седлай, – успокаивает нас кучер на своеобразной смеси великорусского и украинского наречий, – лошадки хоть куда, и под верх, и в пристяжку, и коренник гарный для брички. И седла как новые, одно аглицкое, другое казацкое». Но нам нельзя задерживаться, потому что приказано пойти на утопающий в навозе скотный двор, чтобы напиться молока из-под коровы с густой пеной, чуть-чуть папахивающей навозом. Дядя объявляет состязание, кто больше выпьет, и к вечеру оно разрешается расстройством желудка. После молока спешим заглянуть в кузницу и в плотницкую, прежде чем вернуться уже под жгучим солнцем в дом к утреннему чаю с яйцами, огурцами, сметаной и так далее.

За чаем не сидится, волнует надежда, что дядя отправится обозревать полевые работы и возьмет нас с собой. А он, как нарочно, медлит, но вдруг, подойдя к окну, недовольно спрашивает: «Когда же вы кончите чаевничать, ведь уже лошади поданы». Мы принимаем это подшучивание как признак

хорошего настроения, стремглав выскакиваем и видим беговые дрожки, в которые запряжен горячащийся жеребец, и верховую лошадь для меня (у брата поранена нога от купания на каменистом Ланжероне). Лошадь долго артачится под неумелым седоком, никто нас верховой езде не обучал, но я считаю себя лихим кавалеристом. Объезд продолжается часа два-три и представляет чудесную прогулку, но хозяйственное значение его равно нулю. На пять-десять минут останавливаемся у «косовицы»: десятка три угрюмо сосредоточенных косцов гуськом продвигаются вперед, ритмически, как под команду, одновременно взмахивая косами, и их строго согласованные движения еще резче выделяются на фоне беспорядочно следующей за ними пестрой группы босых женщин, вся одежда которых состоит из рубашки и плахты. Они сгребают сено, и здесь непрерывно звучит смех, крикливые шутки, а под вечер и песни. Дядя приветствует косцов словами: «Бог в помощь!», они останавливаются, передовой выходит из ряда, отвешивает низкий поклон, докладывает, что все обстоит благополучно, и, видя хозяина в хорошем настроении, просит прибавить кусок сала в кашу к обеду, а то и чарку горилки.

Выкурив папиросу, дядя продолжает объезд: вот одна из тысячных отар, с громким лаем овчарки бросаются на нас, подходит пастух в лаптях, тоже с рапортом о благополучии, напоминает, что пора приняться за стрижку, мы едем к другой «косовице», где рабочие, совсем мокрые от пота, уже полдничают галушками, запивая их теплым квасом. На обратном пути задерживаемся на одном из хуторов, у крупного арендатора, высокого русого мужика Остапа, который насквозь видит ничего не понимающего в хозяйстве дядю, почтительной лестью умеет обвить его вокруг пальца и из года в год за его счет богатеет. Он угощает нас отличным хлебным квасом, упрашивает зайти в хату перекусить, но мы уже торопимся к

обеду и быстрым аллюром, запыленные, проголодавшиеся, возвращаемся домой. Все домашние поджидают нас на крыльце, мне хочется показать свою удаль ловким прыжком с лошади, но, очутившись на земле, я к ужасу чувствую, что стою беспомощным раскорякой, с трудом передвигаю негнушиеся ноги и, густо краснея, слышу громкий хохот. Конечно, такой конец не трудно было предвидеть и не пускаться сразу в продолжительную прогулку...

К обеду за стол садилось человек пятнадцать–двадцать. Кроме временных гостей, всегда было много бедных родственников. Простой, но более чем сытный и жирный обед съедался с жадностью, и после него в доме водворялось сонное царство часа на два, а молодежь уходила в сад, где, разлегшись под старой грушей, мы читали вслух. Дядя получал «Вестник Европы», «Живописное обозрение» (потом «Ниву») и одесскую газету. Мы привозили с собой Некрасова и усердно скандировали «Русских женщин», «Дедушку», «Убогую и нарядную», «У парадного подъезда», которые тогда декламировались со сцены Андреевым-Бурлаком под бурные аплодисменты публики.

После пробуждения обед обильно запивался квасом, а то подавалось мороженое, и затем помещик снова отправлялся в объезд. Если мы его не сопровождали, то играли в крокет, и страстное состязание – рыцарское отношение к противнику было неведомо, и поражение воспринималось как личная обида – вырабатывало замечательных мастеров. А вечером – танцы под рояль, за который тетка охотно садилась, угощая новой кадрилию или полькой, ноты коих прилагались к «Живописному обозрению». Когда бывали гости (в округе было еще несколько евреев, мелких помещиков и арендаторов), пре-

имущественно около 20 июня, устраивался примитивнейший любительский спектакль с обильным дивертисментом.

Так протекала наша деревенская жизнь, казавшаяся нам необычайно разнообразной и содержательной. Когда через несколько дней на нас переставали смотреть как на гостей и предоставляли самим себе, добивались права принять участие в работе: чистили на конюшне лошадей и водили их на водопой, в кузнице раздували меха, в плотницкой строгали, тщетно пробовали косить. Но помимо таких более или менее невинных занятий, я вообще не понимаю, как удалось сносить голову на плечах: сколько раз я падал с лошади, сваливался с высокого дерева, каким-то чудом увернулся на скотном дворе от разъярившегося быка и т. д. Однажды и случилось большое несчастье: троюродный брат взобрался на молотилку, барабаном захватило его ногу, он истек кровью. Но и этот тяжкий урок ничему не научил: год спустя мы на пари с дядей взялись заменить рабочих у барабана, которые должны были развязывать подаваемые с возов снопы и бросать в барабан. Проработали мы полчаса под палящим послеобеденным зноем, и два дня пролежал я с повышенной температурой. Об этом, впрочем, можно было только догадываться по самочувствию, потому что термометра не было.

Я искренне убежден, что, поскольку у меня есть положительные качества, развитием и укреплением их я прежде всего обязан этой степной деревне с ее бескрайними просторами и трогательно нежной природой. В последний раз «вновь я посетил знакомые места»¹¹ после долгого промежутка в конце

11 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Вновь я посетил...», написанного в 1835 г. во время посещения Михайловского.

зимы 1895 года. Поездка на «долгих» отошла уже в прошлое. С проведением Екатерининской железной дороги Мало-Софиевка оказалась в девяти верстах от одной из станций (Милорадовка). Я приехал на свидание с матерью, которой после нашего разорения и смерти отца некуда было деваться. Корбино давно было продано с молотка, а от Мало-Софиевки Остап отхватил порядочный кус. В доме, когда-то столь шумном, было уныло, и, увы, я сам был уже не тот: после четырех лет изнуряющих неудач судьба вновь повернулась ко мне лицом. Чем меньше было в этом моей заслуги, чем больше это было вроде выигрыша в лотерею, тем самодовольнее впервые я стал оглядываться на себя, и вместе с тем впервые, как ни странно, стала зарождаться неуверенность в будущем. Чем ласковой судьба улыбалась, тем меньше я ей доверял.

Во время одной из поездок в деревню – это было после успешно сданных трудных экзаменов из четвертого в пятый класс – мы на пароходе познакомились с двумя гимназистами, из которых я хорошо запомнил одного, щедедушного, со страдальческим выражением лица и ровным, тихим голосом, звучавшим с неподдельной искренностью. Поздним вечером сидели мы на палубе в ожидании отбытия и вели оживленный разговор о гимназических порядках. Оживление вносил я, со свойственной мне словоохотливостью изображая наших «монстров» и нашу молодецкую борьбу с ними. Гейман – так звали моего собеседника – слушал внимательно, серьезно, ни разу не улыбнувшись, и затем стал рассказывать, что в их гимназии не лучше, но иначе и быть не может, потому что такова система, а она, в свою очередь, является неизбежной принадлежностью всего режима. И как странно: тогда я весь был поглощен новизной услышанного от него и жадно впитывал каждое слово, ничего вокруг себя не замечая. Совершенно не помню спутника Геймана, точно он был лишь тенью его,

улетучилось и живое содержание беседы, может быть, даже не точно воспроизвожу ее смысл, но твердо уверен, что с этой ночи мое мирозерцание стало по-иному формироваться, Гейман открыл передо мной потайную дверь, существование которой тщательно маскировала безраздельно довлеющая домашняя обстановка, и с тех пор я стал ее стесняться. Гимназию я уже в достаточной мере ненавидел, но взор, так сказать, был устремлен не вперед, а назад: я знал из «Очерков бурсы»¹², что бывало и много хуже... Теперь мне стало ясно, что от гимназии нужно как можно полней эмансипироваться и найти другой центр жизни и интересов, конечно, вне домашней обстановки, которая, как теперь мне стало ясно, скрывала от меня столь важную тайну.

Два деревенских месяца рассеяли эти новые впечатления, но уже на обратном пути они бодро и весело зашевелились. Манило что-то новое и неизведанное, и я вернулся домой со своим особым внутренним миром, отчуждавшим меня и от гимназии, и от домашней среды.

Ближайшие последствия перемены принесли мне, однако, мало приятного. Я вошел в один из так называемых кружков самообразования – формально нейтральных, а фактически сеявших антиправительственные устремления. Руководителем кружка был наш же гимназист восьмого класса, он читал нам «лекции по русской истории», сводившиеся к тому, что самодержавие вероломно погубило народоправство и за это платится восстаниями Стеньки Разина, Пугачева, которые раньше

12 «Очерки бурсы» – автобиографическое произведение Н. Г. Помяловского, рассказывающее о жестоких нравах в духовных училищах.

или позже свергнут нынешний режим. Бездарному, невежественному учебнику Иловайского, по которому нам вбивали даты и исторические анекдоты, нетрудно было противопоставить и такую упрощенную «концепцию», но меня отталкивала от общественного ментора напускная мрачность и неприкосновенная претензия на непререкаемость суждений. Если бы я был свободен, я тотчас бросил бы кружок, но я уже чувствовал себя связанным предубеждением в пользу «революционеров», которое не должно контролироваться личными симпатиями и антипатиями. Весьма метко В. Розанов, на подъеме освободительного движения, сказал, что в привилегированном моральном положении находятся не хозяева положения, а угнетенная оппозиция, которая окружена непроницаемой атмосферой общественного сочувствия и поддержки. Но уже и в те годы не один ловкач строил свою карьеру на этом парадоксе.

Во время войны мой ментор, сильно разжиревший и украсивший себя великолепной бородой, вернулся из длительной эмиграции в Петербург рьяным сотрудником суворинского «Вечернего времени», и, судя по тому, как уклонялся от разговора об Одессе, можно было понять, что он считает свое прошлое так же похороненным, как и фамилию свою, которую заменил литературным псевдонимом и которой в Петербурге, кроме меня, пожалуй, никто и не знал.

Предубеждение в пользу революционеров внушалось главным образом Добролюбовым и Писаревым, сочинения коих для членов кружка заменили Библию. Род человеческий вообще делился для членов кружка на два стана: «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» и, с другой стороны, «погибающих за великое дело любви». Наиболее вредно было влияние Писарева, этого разухабистого трубадура и предтечи большевистской любви «без черемухи». Сам ду-

шевно неуравновешенный, он кастрировал у человека душу и превращал его в гомункула. Личные склонности должны были отступать на задний план даже в вопросах брака. Один приятель женился на соседке по тюремной камере, которой он до женитьбы не знал, и только потому, что она умела хорошо перестукиваться. Профанированное великое дело любви как бы сменило прежнюю сваху, сводившую совершенно незнакомых людей... Простую, конкретную заповедь любви к ближнему материалисты заменили абстрактным понятием общего блага и тем самым узаконили разлад между личным и общественным поведением, достигавший уродливых форм. Вообще, я не преувеличу, если скажу, что для нас писаревщина проявлялась как подлинная тирания, которая не стеснялась размениваться и на мелочи. Всякая забота о красоте, изяществе и даже чистоте считалась изменой. Вздумалось мне как-то переменить прическу, и мрачный ментор не упустил случая связвить двустиишем из презируемого Пушкина: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Мне, право, совестно признаться, что это был упрек, который я тогда наиболее болезненно воспринял. Тирания находила и ревнивых последователей – это были будущие ловкачи, большинство же тупо покорялось, а некоторых, а именно юношей с сильной индивидуальностью, она превращала в мучеников, ибо они душевно не могли примкнуть ни к одному, ни к другому стану, и часто жизнь их разбивалась.

Роль и значение Писарева в общественной жизни России уже достаточно выяснена, и меня больше тянет отметить странное сочетание этого воздействия с влиянием Тургенева. Тургеневу я безгранично обязан неисчерпаемыми наслаждениями величавой музыкой русского языка, равно как и незабываемыми минутами звучания золотых струн в душе и светлого парения над грешной землей. Но именно потому, что

произведения Тургенева неизменно отображали мимолетный отрезок жизни, когда звучат в душе золотые струны, у нас создавалось неправильное представление о серой действительности, усугублялось преклонение перед героями и игнорирование будней, которые предъявляют человеку гораздо более обширные требования героизма в смысле жертвенности и преодоления слабостей своих. Нигде, пожалуй, не было такого класса замечательной интеллигенции, то есть людей, подчинявших свою жизнь требованиям общественного служения, но как часто герои на общественном поприще оказывались очень маленькими людьми в своей будничной обстановке. И замечательно, что ни они сами, ни их почитатели не отдавали себе в этом отчета, слепо и тупо веруя, что Юпитеру все позволено.

Конечно, тогда такие мысли на поверхность не всплывали, но неприятные сомнения уже глодали, и я думаю, что они-то и заронили зерно, из которого развился скепсис, причинявший мне потом немало мучительных минут. Уже и тогда я не мог преодолеть неуютности, овладевшей мной в кружке, и все-таки не вышел из него, а лишь трусливо перестал посещать. А так как с гимназией я морально порвал, то почувствовал еще острее свое одиночество и вот тогда-то и стал писать любящему меня наставнику сочинения, за которые он мне лепил единицы. Особенно помню «кол» за сочинение о «Евгении Онегине», которого даже и не прочитал, а хватил прямо по Писареву... Кончилось тем, что, отлично выдержав трудный экзамен из четвертого в пятый класс, я в этом классе позорно остался на второй год. Каникулы в деревне были отравлены, я чувствовал на себе косые взгляды и был даже рад, когда заболел сильной лихорадкой. Но эта первая жизненная неудача обернулась очень благоприятно: если бы я остался во 2-й гимназии, вероятно, и совсем свихнулся бы с разумного пути. А я перешел в 3-ю, там как раз появилось несколько молодых,

только что выпущенных из университета преподавателей (по истории и русской словесности), которые видели свою задачу не в муштре учеников, а в обогащении и разворачивании их умственного горизонта. Кроме того, я увлекся физикой и математикой, чем дальше, тем больше: тригонометрия и космография служили восхитительной гимнастикой ума и внушали самодовольное сознание его силы: из пятерок я не выходил. Но, вероятно, и тут был какой-то дефект преподавания, а может быть, моих способностей. Уже вскоре по окончании университета я бесследно забыл, что такое логарифмы и как с ними обращаются и чему учила тригонометрия...

Но важнее всего было, что умственный и моральный уровень товарищей здесь был гораздо выше (один стал видным адвокатом, другой – отличным земским врачом, третий – секретарем Троцкого), образовался самостоятельный кружок без руководителя, основана была своя библиотека, устраивались загородные прогулки. Коноводом был будущий земский врач, крупный юноша, года на четыре старше меня. Он был принципиальным противником революции, а для этого тогда требовалось немалое мужество, столь редкое в стадной обстановке гимназии. Он «уважать себя заставил» благородной безукоризненностью поведения, высокоразвитым чувством собственного достоинства, и к тому же был первым учеником, охотно приходившим каждому на помощь. Поэтому он считался как бы совестью класса и, в частности, на меня имел самое благотворное влияние.

На почве отстаивания своего достоинства и разыгралась в шестом классе небывалая в гимназических летописях история. Не помню, с чего она началась, но вижу перед собой грузного величественного директора-громовержца (и фамилия у него была звучная – Порунов), который в сопровождении инспекто-

ра и классного наставника входит во время урока в класс, чтобы торжественно объявить состоявшееся в данной четверти распределение учеников по трем разрядам. Ученики встали и подтянулись, а директор рокочущим басом начал: «Первого разряда нет! Срам!» Следует значительная пауза, чтобы обвести взглядом всех воспитанников, и продолжение: «Первый ученик – Серебряник, а по поведению у него тройка, за дерзость инспектору. В случае повторения волчий билет¹³. Второй ученик...» Должна была быть названа моя фамилия, но директору продолжать не пришлось. Совершенно спокойно, но твердо Серебряник, перебивая директора, заявил: «Я дерзостей не говорил и тройки не заслужил».

Порунов побагровел от неожиданности и крикнул: «В карцер!» – «В карцер не пойду!» – «Немедленно вон! Ступайте домой». Серебряник стал укладывать книги в ранец, а синклит шумно удаился. Во время этого молниеносного диалога инспектор стоял с каменным лицом, точно происходившее его вовсе и не касается.

Не только наш класс, но вся гимназия горячо волновалась, а невежественное начальство давало волнению все сильнее разыгрываться, прервав урок для экстренного заседания педагогического совета. Примерно через час тот же синклит вновь появился в классе, и директор сообщил постановление об увольнении Серебряника из гимназии, прибавив, что сегодня уроков больше не будет. Но прежде чем разойтись, мы порешили собраться в квартире одного из товарищей, и там вечером было постановлено поддержать Серебряника «забастов-

13 Волчий билет – отчисление из гимназии без права восстановления.

кой» (не первой ли она была в освободительном движении?), к которой обещали на другой день присоединиться седьмой и восьмой классы. Из тридцати учеников оказалось двое штрейкбрехеров, на другой день число их увеличилось до шести, еще один день мы тщетно прождали присоединения старших классов и на четвертый день явились в гимназию. Встречены мы были, словно ничего не произошло, даже предупредительно. Первым был урок физики: тщедушный преподаватель вызвал меня к доске, преувеличенно одобрял ответ и отправил на место, сказав, что заслуживаю высший балл. Я не успел дойти до своего места, как дверь распахнулась, снова вошел директор со свитой и, сияясь принять как можно более зловещий вид, возгласил, что решение нашей участи последует из министерства, куда дело о бунте переслано. «А до получения ответа из Петербурга считаю необходимым оберечь вверенную мне гимназию от посещения бунтовщиков». Недели три мы наслаждались неожиданными каникулами, а когда по приглашениям вернулись в гимназию, нам было объявлено, что двое, у которых на квартире состоялись собрания, увольняются, остальные, конечно за исключением штрейкбрехеров, приговариваются к заключению в карцер на срок от 6 до 48 часов и могут возобновить посещение уроков только после отбытия очистительного наказания. А еще через месяц инспектора все же убрали, но, кажется, не больше чем через полгода он вновь водворился у нас, уже значительно изменившийся в отношении к ученикам, да и громовержец поблек: вероятно, начальство тоже получило выговор, который оно гораздо болезненнее восприняло, нежели мы карцерное заключение.

Пронесшаяся гроза значительно освежила гимназическую атмосферу и резче всего изменила мое положение: я передвинулся по успеваемости на первое место, а главное – оказался

преемником Серебряника на посту коновода, что мне чрезвычайно льстило и тоже оказывало самое благотворное влияние, ибо, к счастью, я не испытал головокружения от успеха, а, напротив, впервые осознал, что положение обязывает, и всячески заботился не уронить своего авторитета. А тут мне еще очень посчастливилось: в Одессу переехала тетка, вдова с тремя сыновьями, один из которых был моим сверстником, но классом выше.

Сеня был очень некрасивым юношей, но прекрасной, добрейшей души. У него были выдающиеся умственные способности, и гимназию он окончил с золотой медалью. Мы и раньше были знакомы, встречаясь летом в деревне, но теперь очень близко сошлись, одиночество кончилось, и я начал ощущать под собой твердую почву, как будто нашел свое место в мире. К концу учебного года я стал страдать глазами, а экзамен из шестого в седьмой опять предстоял трудный, требовавший усиленной подготовки, врач решительно протестовал против этого, и, вероятно, тоже последствием пронесшейся грозы было, что меня перевели без экзамена, отпустив на каникулы месяцем раньше. Сеня давно уже болел легкими, я убедил его тоже добиться освобождения, что ему и удалось, и мы уже в мае уехали в деревню. Теперь обычные удовольствия перемежались серьезными спорами... Споры наши вращались вокруг вопроса о свободе воли, и я горячо защищал детерминизм. Когда приехали другие, мы устраивали правильные собеседования, и первый реферат, мной прочтенный, был на тему: все понять – все простить.

В Одессу мы вернулись вполне оправившимися, но моя болезнь действительно прошла, а милый Сеня, который благосклонной судьбой послан был мне в критическую минуту жизни, по окончании гимназии переехал в Харьков на меди-

цинский факультет, на втором курсе был арестован, увезен в уездную сырую тюрьму и там умер от разыгравшегося туберкулеза.

Седьмой класс принес новое беспокойство отцу: устроен был оперный спектакль в пользу недостаточных учеников нашей гимназии, и мне впервые пришлось слушать оперу. Это были «Гугеноты». В Одессе всегда была итальянская труппа, в которой выступали первоклассные певцы, и меня охватило сильное увлечение. А тут, как нарочно, приехала на гастроли труппа петербургского театра, и я не только зачастил в театр, но, полный чудесных мелодий, непрерывно звучавших в ушах, ни о чем другом говорить не мог. Это было совсем как опьянение. Мы с братом все деньги наши тратили на покупку нот и заставляли сестру проигрывать их на рояле. Беспокойство отца на этот раз было неосновательно, потому что положение в гимназии стало очень прочным. В связи с уходом Толстого¹⁴ в отставку и «диктатурой сердца» графа Лорис-Меликова весенний ветер проник и в гимназические твердыни. Начальство заметно смирилось, и больше всех, пожалуй, вернувшийся инспектор, который ко мне просто ластился. Однажды в коридоре он крепко обнял меня и стал предрекать блестящую будущность, а четверть века спустя я неожиданно столкнулся с ним на прогулке в Сестрорецке... Это было время Второй Государственной думы, так сказать, апогей моей славы, и он опять обнял меня, сказав, что гордится своим предвидением.

14 Д. А. Толстой оставил пост министра народного просвещения в 1880 г. Позже он был назначен на пост министра внутренних дел.

Но именно сознание прочности своего положения делало пребывание в гимназии все более тягостным, и живо вспоминаю душевное томление, овладевшее мною в восьмом классе: получение аттестата зрелости не вызывало никаких сомнений, и посещение гимназии ощущалось как бессмысленная, тяжелая повинность. Опасность подстерегала с другой стороны: активного участия в революционном движении я не принимал, но у меня завязывались связи с народовольцами, квартирой моей пользовались как явкой, приходилось хранить подпольные издания, и отец чуял это и волновался. Сеня был уже в Харькове, и собирались мы у двоюродного брата, маленького, невзрачного человека с козлиной бородкой. Он был студентом, жил в комнате отдельно от родительской семьи и вместо или поверх пальто носил плед. При постановке «Чайки» к Чехову обратился актер с просьбой разъяснить характер действующего лица, роль коего он должен был играть, а Чехов на это ответил: «Да он же носит клетчатые штаны». Так еще в большей степени ношение пледа было как бы «послужным списком», символизировало передовой образ мысли и бережное хранение государственной тайны.

Собирались мы еще у очень красивой, пышной и богатой молодой женщины Клебановой, гражданской жены видного народовольца Герасима Романенко, перешедшего уже на нелегальное положение. Клебанова была еврейкой, но и это не помешало ему, после первой революции, стать еще более видным членом Союза русского народа¹⁵ и активным погромщиком в Кишиневе. Но тогда Клебанова ревниво афиширова-

15 Д. А. Толстой оставил пост министра народного просвещения в 1880 г. Позже он был назначен на пост министра внутренних дел.

ла, что она именно гражданская жена, а не законная, что девочка ее незаконнорожденная. В этом она усматривала какую-то заслугу свою, вероятно, потому, что в своей семье, принадлежавшей к религиозному минскому еврейству, ей пришлось выдержать жестокую борьбу. Клебанова высоко ценила красоту свою и мое почтение к ней истолковывала по-своему: кухня моя, по ее просьбе, предостерегала меня от «безнадежного увлечения». Напрасно! Я тогда действительно был равнодушен ко всякой красивой женщине, а благодаря близорукости и жизнерадостности почти все казались мне привлекательными, но потому-то влюбиться мне было трудно. А в отношении «гражданской жены» мне, право же, и в голову не приходило, что я, «революционный щенок», могу соперничать в сердце ее с маститым нелегальным.

Собирались мы для совместного чтения и обсуждения прочитанного. Это было время максимального безраздельного влияния «Отечественных записок», а молодежь просто бредила Михайловским¹⁶, Щедриным, Успенским, Гаршиным и т. д. Мне больше всего импонировал Щедрин, потому что насмешка, ирония казались самым убийственным оружием... Щедрин оказал большое влияние на мои литературные вкусы, он был несравненным ментором эзоповского языка, на котором

16 Михайловский Николай Константинович – писатель, литературовед, переводчик, публицист, теоретик народничества, сотрудничал с журналом «Отечественные записки»; после смерти Н.А.Некрасова стал одним из редакторов журнала. В XX в. его стали забывать и путать с Н.Г.Михайловским (Гариным-Михайловским), который полемизировал с Н.К.Михайловским, публикуя «антинароднические» очерки, хотя по возможности избегал открытого конфликта.

русской прессе долго приходилось изъясняться, но было несомненно и весьма вредное влияние в преувеличенном тяготении к красному словцу, которое не щадило ничего святого.

Что же касается Михайловского, то недавно мне попался том его «полного собрания сочинений», и я не только не смог вызвать ощущения былых чувств восхищения и воспламенения, но просто не верилось, что молодежь могла видеть властителя дум в авторе односторонне унылой публицистики. Особое место занимали в «Отечественных записках» статьи В. В. (Василия Воронцова), изданные потом отдельной книгой под заглавием «Судьбы капитализма в России» и составлявшие теоретический фундамент народничества. Автор доказывал, что в силу ряда условий Россия не должна и не может в своем хозяйственном развитии пройти через стадию капитализма, она изыщет поэтому самобытные пути. В то время русские марксисты только начали оперяться, и статьи В. В. имели огромное влияние на молодежь. Воображение рисовало его мне молодым, задорным, смелым бойцом, пионером, дерзкой рукой прокладывающим «самобытные пути», и я был горько разочарован, когда, познакомившись с ним уже в начале нынешнего столетия, увидел скромного, молчаливого, бесцветного человека с невыразительным, плоским лицом. Казалось, что он сам находится под гнетом наступившего уже краха его прельстительной конструкции.

Наши совместные чтения внезапно были оборваны арестом двоюродного брата: по просьбе одного народовольца он передал взятый для себя заграничный паспорт нелегальному, а получив известие о его благополучном переезде через границу, заявил о потере паспорта. Эта примитивная проделка легко была раскрыта жандармами, его несколько месяцев продержали в тюрьме, а потом сослали в Дерпт, где он быстро излечился

от своих увлечений и уже неуклонно следовал фамильному завету: моя хата с краю. Известие об аресте кузена разразилось в нашем доме как удар грома, и отец настойчиво, но мягко, с влажными глазами, упрасивал меня, по крайней мере, гимназию окончить. Быть может, в душе отцы тогда начали сознавать, что другого пути для детей нет.

С приближением окончательного экзамена началась лихорадочная зубрежка. Формально грозой считались устные экзамены, но, в сущности, они были делом домашним: волея-неволей учителя должны были проявлять большую снисходительность, ибо оставление заметного числа учеников в восьмом классе выдавало скверный аттестат и учительским способностям. Другое дело – письменные испытания по русскому, латинскому, греческому языкам и математике. Порядок установлен был такой, что во все гимназии рассылались из канцелярии попечителя учебного округа одни и те же темы и задачи. В день экзамена на глазах учеников директор торжественно встречал запечатанный пятью печатями пакет и возвещал трепещущим ученикам тему. Но большей частью трепет был напускной: то, что было секретом для директора, ученикам заблаговременно раскрывала канцелярия попечителя в обмен на содержимое тощих гимназических кошельков, в сумме дававших солидную цифру – помнится, нормальной платой было 10 000 рублей. Представители от каждой гимназии сходились, долго торговались при раскладке этой суммы на отдельные гимназии, после чего следовала внутренняя раскладка. Покупка тем совершалась (по крайней мере в одесском округе) регулярно из года в год и ни разу не была разоблачена, хотя ежегодно число участников тайны доходило до нескольких тысяч... По-настоящему волновался в классе я один, как ответственный за покупку, которая совершалась вслепую и не исключала возможности обмана. Камень отваливался от серд-

ца, когда ухо улавливало наконец из уст директора давно знакомые темы и задачи.

У нас самым слабым местом был греческий язык. Узнав тему, лучшие ученики собрались, перевели ее с помощью словарей и грамматики и раздали товарищам, причем во избежание подозрений в копиях для слабейших оставляли нарочитые ошибки. Но предусмотрительность оказалась излишней, и лучший ученик получил за тщательно подготовленную работу тройку, которая и лишила меня медали. Что же было бы, если бы нам пришлось писать, не зная заранее темы? Так, последним обманом достойно завершились девять лет гимназической учебы.

Картонный лист, который за подписью всего состава педагогического совета удостоверял мою зрелость, совсем не вызвал радости, как я себе представлял, и в этом была собственная вина. Чтобы преодолевать невыносимое душевное томление последних весенних месяцев, я давал волю и еще нарочно раздражал свое воображение – это опаснейшее человеческое свойство, которое впоследствии отравило мне несколько лет жизни. Оно услужливо и все ярче разрисовывало картину ожидаемого счастья прощания с гимназией, но затянувшееся предвкушение, к которому присоединялась усталость от зубрежки и волнений, связанных с покупкой экзаменационных тем, притупило восприятие действительности, и я тщетно старался преодолеть вялость и усталость.

Родители были, по-видимому, уязвлены отсутствием медали, и «счастливейший день моей жизни» оказался совсем сереньким, будничным. Переход на новый жизненный этап совершился как-то незаметно (так случалось неоднократно и впоследствии) и был лишь отмечен получением старинных золотых часов отца, шелкового кремового зонтика (как курь-

езно это теперь звучит – для защиты от солнца) и модной тросточки с набалдашником вроде молотка.

■ Университет (1883-1885)

Хотя в то время евреи еще не подвергались никаким ограничениям при поступлении в университет, фактически они были значительно стеснены в выборе факультета. Государственная служба была для них закрыта, свободными профессиями были врачебная и адвокатская, на инженеров было еще мало спроса, а поэтому евреи и устремлялись преимущественно на медицинский и юридический факультеты. В Одессе врачами были почти исключительно евреи и двое даже щеголяли красными генеральскими отворотами пальто (один из них – Финкельштейн – во время Русско-турецкой войны вылечил главнокомандующего великого князя Николая Николаевича-старшего, другой – Розен – состоял тюремным врачом). Но меня вопрос практического устройства не только не интересовал, а даже не вставал в голову: «Юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты». К юности присоединялось унаследованное материнское легкомыслие, беззаботность, я не мог бы себе представить, что и я буду таким бородатым, морщинистым, озабоченным, как отец или дед, они были для меня не людьми другого возраста, а другими существами... При таких условиях решающую роль должна была сыграть начинавшая уже складываться мысль об общественном служении, о долге перед народом, о борьбе с «реакцией». Хорошо еще, что в это время нигилизм уже уступил свое руководящее среди молодежи место народничеству, во главе с Н.К.Михайловским, признававшим необходимость серьезной научной подготовки. Таковой тогда представлялось изучение естествознания, успехи коего сильно действовали на юношеское воображение и манили близким разрешением загадки мира. Отсюда и возникло скороспелое решение поступить на естественное отде-

ление физико-математического факультета. Это отделение включало и кафедру анатомии, которая послужила бы, вероятно, серьезным препятствием для осуществления моего решения: в нашей семье очень жива была еврейская религиозная традиция, считавшая труп нечистью. Человек, прикоснувшийся к трупу, сам считается нечистым. Это развило не то неприязнь, не то страх перед мертвецом, и впервые мне привелось близко увидеть и поцеловать мертвеца в Берлине в 1922 году, когда был убит бессмысленно злобной рукой соратник мой В.Д. Набоков. Прикосновение губ к угрожающе холодному лбу впервые дало мне реальное ощущение смерти, непроходимой пропасти между жизнью и смертью, и лишь с этого момента, когда мне было уже под пятьдесят, я перестал смерти бояться. Не знаю, как здесь сказать – кстати или некстати, – Новороссийский¹⁷ университет тогда еще не имел медицинского факультета, а потому и на естественном отделении анатомия не преподавалась.

Меня увлекала работа в лабораториях, вероятно, потому, что она наиболее ярко подчеркивала резкий переход от пассивного затверживания гимназического урока к самостоятельным занятиям, которые поднимали уважение к себе самому. От этих занятий осталось... да, пожалуй, ничего не осталось – помню химическую формулу воды, знаю, что такое хлорофилл, вспоминаю удовольствие лицезрения новых миров под микроскопом, но, например, менделеевская теория элементов уже давно утратила в сознании свою отчетливость. Правда, многое из тех «успехов», и притом наиболее важное, что нам тогда

17 Одесский университет носил в то время название Новороссийского.

авторитетно внушалось, самой наукой развеяно по ветру или опрокинуто на голову. В частности, подорвано стройное здание дарвиновской теории, но именно она оставила глубокие следы в общем мировоззрении нашего поколения. Еще резче следы обозначились, когда Иеринг претворил принцип борьбы в основное начало правовой жизни и дал народничеству лозунг: «В борьбе обрешь ты право свое!» Однако. Страстное увлечение молодежи Дарвином и Иерингом, внушавшим «ставку на сильных», нисколько не мешало исповедовать и некрасовский завет: «Где горе слышится, где трудно дышится, будь первым там!» И сейчас мне думается, что причудливое скрещение противоположных лозунгов и дало толчок отчуждению любви к ближнему от любви к дальнему, отчуждению, которое среди радикальной молодежи превращало эти единокровные стремления в не помнящих родства. Отчуждение это выразилось в презрительном отношении к «малым делам»: под этим крылатым выражением и понималось проявление любви к ближнему, судьба и интересы которого должны были смиряться под грандиозной задачей общего блага.

Здесь, впрочем, я уже вступил в область общественной жизни студенчества, которая сразу стала центром притяжения всех помыслов и душевных тяготений.

О профессорах, читавших нам лекции, у меня остались смутные, ускользающие представления. После инквизиторских взглядов учителей, словно прожектором ощупывающих, все ли пуговицы мундира застегнуты, после ежедневной проверки заданных уроков профессора казались холодными, чужими, с которыми никакого контакта не чувствовалось. А переход от унылой, принудительной спаянности класса к шумной встрече с новыми юношами, к свободному выбору общения, полупризнанному самоуправлению был не менее резок, чем замена

механического затверживания урока самостоятельной работой.

Я был почтен избранием в старосты курса (помнится, официально такого звания еще не существовало), и это мне очень льстило, думаю, что тогда впервые зародилось ощущение честолюбия, желание быть первым. Это стремление поддерживалось некоторыми из друзей, которые льнули ко мне, смотрели снизу вверх. Тут и стала проявляться новая черта характера: такое отношение расхолаживало, такие друзья переставали занимать. Напротив, интересовали те, кто относился равнодушно, казался независимым. Больше всего привлекал обрусевший грек Пекаторос, высокий, стройный, смуглый, всегда задумчивый юноша (впоследствии мне очень напоминал его член Второй Государственной думы, очаровательный Церетели). Мы и сдружились с ним, но лишь на почве общих интересов и взглядов, на определенной дистанции, а меня влекло сойтись с ним душевно, узнать, что он скрывает под меланхолической задумчивостью, тайна души его представлялась интересной...

Думаю, что тяготение к личностям, представлявшимся самодостаточными и независимыми, диктовалось потребностью в твердой опоре, хрупкостью собственного душевного стержня, внутренним разладом, с которыми связана была подпольная деятельность и которым в конце концов приходилось подчиниться. Поэтому, сам бессознательно ища опоры, я мало дорожил теми, кто ко мне привязывался, кто жаждал о меня опереться. Неприятно сознаваться в этом, потому что я вдруг нахожу здесь источник эгоизма, которым меня впоследствии близкие люди не раз попрекали, а я считал, что всю свою сознательную жизнь отдал другим – и ближнему. И дальнему.

Вместе с тем встает сейчас и другой вопрос, на который хотелось бы самому себе искренне ответить: что же влекло некоторых друзей ко мне, в чем усматривали они превосходство? Я был вспыльчив, резок, неустойчив в настроениях, это все минусы, но вспыльчивость обуславливала смелость и дерзость до самозабвения, даже до готовности пожертвовать жизнью (ох, как прав Достоевский, утверждая, что «жертва жизнью есть, быть может, самая легчайшая из всех жертв»!), а в жизнерадостности соперников я не знал, она была через край, и хотелось обнять весь мир. Конечно, чем шире был обхват, тем он был легковесней, менее цепок, но жизнерадостность была сопряжена с горячей искренностью и простотой, которые, смею утверждать, сохранились на всю жизнь.

Внеуниверситетским главой нашим был тогда Лев Яковлевич Штернберг – даже больше, чем главой. В некотором роде революционным гувернером. Он тоже был студентом последнего курса юридического факультета, уволенным из Петербургского университета и принятым в наш, и был старше меня. С удивлением читаю сейчас в «Еврейской энциклопедии», что он родился в 1861 году, то есть был старше меня на 4 года, – я определял разницу не меньше чем в 10 лет. Высокий, очень худой, кожа да кости, с большой черной бородой, густой шевелюрой и болезненно изможденным лицом, подергивающимся сильнейшим тиком, – говорил он с весьма заметным еврейским акцентом, но вообще говорил мало и очень веско и держал себя весьма конспиративно. Мы очень глубоко уважали и порядком побаивались его и все поручения и приказы исполняли беспрекословно. Обязанности наши сводились к пропаганде революционных идей среди студенчества, к добыванию денег, к хранению и распространению подпольной литературы, мой адрес служил для революционных явок и т. п.

Два года спустя Штернберг был арестован, больше трех лет провел в одиночном заключении и был сослан на Сахалин, в отдаленное селение. Никак нельзя было рассчитывать, чтобы этот истощенный, больной человек мог вынести столь тяжкое испытание. Уже один переезд из Одессы на Сахалин по Индийскому океану в трюме парохода, в железных клетках, должен был погубить его, а фактически он не только превозмог невозможное – единственно силой духа, – но отлично изучил местное первобытное население и вернулся с большими знаниями по антропологии и этнографии. Его работы привлекли внимание ученых, и по возвращении в свой родной Житомир он приглашен был Академией наук на службу в качестве старшего этнографа музея, предварительно, однако, выдержав еще окончательный экзамен по юридическому факультету. Из Житомира он прислал мне свою фотографию с трогательной надписью, а затем, к великой радости моей, приехал в Петербург и выглядел гораздо бодрее, оживленнее и здоровее, чем 15 лет назад. От революционной деятельности он совсем отошел, сменив ее на интересы еврейской общественности, и наши пути разделились, став параллельными.

Одно из поручений, на меня выпавших, было уже более серьезно и рискованно: нужно было доставить из Харькова в Одессу транспорт девятого выпуска журнала «Народная воля». Чтобы объяснить родителям неожиданный отъезд, пришлось пуститься на обман: я уверил, и то не отца, а мать для передачи ему, что должен проведать заболевшую приятельницу. Подобные выдумки доставались мне очень дорого, я краснел до корней волос, но в данном случае смущение не могло заронить никакого подозрения: и само по себе такое признание должно было вызвать краску на лице и немало огорчило отца опасениями о неравном браке или, еще хуже, о внебрачном сожительстве. Тем сильнее я был тронут, когда за час перед

отъездом отец зашел в мою комнату и с вопросом: «А разве у тебя есть деньги?» – протянул мне несколько кредиток.

Явка в Харькове была дана к студенту последнего курса Тиличеву, уже женатому, и у него я встретил знаменитую Веру Фигнер (конечно, под псевдонимом, который я раскрыл уже много позже, и тем беспристрастнее будет мое утверждение, что она производила обаятельное впечатление изумительной цельностью своего прекрасного облика). Тиличев, по окончании университета, поступил на службу по дворцовому ведомству и жил в одном из флигелей Аничкова дворца, куда я, переселившись в Петербург, носил ему нелегальщину, которую он принимал уже не очень охотно.

В Харькове тогда учился Сеня, и с ним я приятно проводил время, свободное от «обязанностей», но больших усилий воли требовала одна из самых священных обязанностей и на него распространить тайну истинной цели моего приезда. Сеня убедил воспользоваться пребыванием в Харькове, чтобы проконсультироваться у тогда уже на весь Юг славившегося профессора-офтальмолога Л.Л.Гиршмана, на редкость очаровательного человека. Небольшого роста, поджарый, очень подвижный, он поражал любовной внимательностью и отеческой заботливостью о посетителе, точно вы – единственный пациент и не ждут в переполненных приемных еще десятки жаждущих его помощи. Меня он успокоил насчет состояния зрения, но думаю, что и неблагоприятный диагноз не мог бы ослабить душевного умиления, которое оставалось после посещения его...

Я уезжал из Харькова вечерним поездом, конечно, в третьем классе, в переполненном вагоне. И сейчас еще отчетливо вижу небольшую плетеную корзину, в которой среди дорожного багажа хранилась драгоценная кладь – штук сто экземпля-

ров «Народной воли». Я был очень взволнован, но отнюдь не мыслью об опасности, а предвкушением удовольствия за умело выполненное поручение и, намереваясь всю ночь бодрствовать, скоро уснул, сидя в неудобной позе, сном праведника. Это не было, однако, пренебрежением, готовностью встретить опасность, «пострадать за правду», а просто не было места для мысли, что предвкушение удовольствия, доводившее меня иногда до состояния опьянения, может разрешиться арестантской камерой. Но хотя груз доставлен был благополучно, предвкушение снова оказалось ярче действительности: суровый губернатор ограничился только улыбкой, сопровождаемой усиленным тиком лица.

Очень крупным событием, ярко отпечатавшимся в памяти, было закрытие правительством «Отечественных записок» в марте 1884 года. Подробно мотивированное указаниями на связь журнала с народовольческим движением, запрещение произвело в университете сенсационное впечатление, и студенчество глухо волновалось. Постановлено было, если память не изменяет, послать адрес Щедрина, но отсутствие «Отечественных записок» оставалось весьма ощутимым.

Среди подпольного угара меня захватило новое увлечение, которое, думается, могло оказать решительное влияние на всю будущность, если бы не было насильственно прервано. Еврейское благотворительное общество предложило мне преподавание в старшем классе бесплатной школы. К этой деятельности я был не больше подготовлен, чем мои гимназические учителя, оставившие такую печальную память. Но отличие было в том, что я отнесся к поставленной задаче со жгучим интересом, искренней любовью и пытливой вдумчивостью. Мне уже приходилось давать частные уроки. Но теперь передо мной было около 30 мальчишек, обстреливавших со всех

сторон своими веселыми глазками. Закрытые двери класса как бы отрезали нас от всякого постороннего вмешательства, дети были в полном моем ведении, это вызывало какое-то сердечное умиление, с языка готовы были сорваться слова: «Не волнуйтесь! Я передам вам все, что сам имею». Занятия в школе доставляли такую чистую, светлую радость, какой больше никогда уже не приходилось испытывать. Бесспорно, впоследствии были радости и более бурные и глубокие, но к ним уже всегда примешивался чуждый элемент честолюбия, тщеславия, признания, одобрения, торжества над противником, здесь же радость была тихой, именно светлой, без всякой посторонней примеси. Не потому ли, что в передаче своего умственного капитала «племени младому, незнакомому», в формировании духовной личности воспитанника по своему образу и подобию ощущается таинственный зов бессмертия. Уроки проходили живо, детвора проявляла большую активность и интерес, и мне все чаще стала приходить в голову мысль, что здесь и есть мое призвание, но грубая случайность оборвала мои педагогические потуги.

Лето этого года оказалось чревато и крупным домашним событием. Началось оно тревожным ожиданием больших выгод от значительного расширения хлебных операций, а разрешилось крахом, от которого отец так уже и не оправился. Так как он совсем не посвящал нас в дела свои, то и сейчас я точно не знаю причины краха, но, по-видимому, была тут и собственная неприспособленность. «Ропит» (Русское общество пароходства и торговли), во главе которого стоял тогда Чихачев, впоследствии морской министр, предоставил отцу крупный кредит для выдачи ссуд подкупаемый на Днепре хлеб. Это и дало толчок значительному развитию хлебных операций, но по скупости торговый аппарат не был приспособлен к такому расширению. Серебряник не мог справиться со своими

разнообразными обязанностями, и вызванная этим путаница усложнилась неурожаем, повлекшим за собой несостоятельность многих поставщиков хлеба. Так и врезался в память угнетенный вид отца, когда я встретил его на пароходной пристани по возвращении из поездки по Днепру... В доме нашем стало совсем мрачно, но обстановка жизни еще не менялась: крутые, отчетливые решения были не в характере обоих родителей при всей разнице их душевного уклада.

Тем временем, несмотря на все увлечения, я вполне успешно сдал испытания с первого курса на второй, но в начале нового семестра мы с Грицером решили (подсознательно, быть может, влиял в этом отношении и отцовский крах), что события развиваются слишком быстро, чтобы можно было тратить время на получение солидного образования, а нужно как можно скорей добиться общественного положения, которое даст возможность шире развить подпольную деятельность. Наша оценка политической обстановки была более чем наивна. В 1885 году вышел последний (11-й) номер «Народной воли». Как раз наступала пора гнетущего затишья после убийства Александра II¹⁸, поставившего кульминационную точку в бурной истории «Народной воли». Мы, несомненно, вступали в полосу ее неуклонного упадка, сопровождавшегося моральным разложением, губительным влиянием лозунга – цель оправдывает средства. Лозунг этот все шире стал применяться и в личной жизни. На поверхность всплывали охвостья героического движения, расплодилось предательство, а общественное сочувствие остыло, средства перестали притекать... Но тогда мы,

18 Император Александр II был убит террористом в 1881 г., а не в 1885-м.

зеленые юнцы, не могли отдать себе отчета в совершившемся уже переломе, беззаботно смотрели в будущее и вдвоем решили бросить естествознание и перейти на юридический факультет, намереваясь кончить его ускоренным темпом в три года.

Юридический факультет был тогда совсем захудалый, не было ни одного сколько-нибудь выдающегося профессора. Настоящим ученым был лишь историк русского права Леонтович, наводивший, однако, лекциями своими неотразимую скуку. Большой популярностью пользовался профессор философии Н.Я.Грот, красивый брюнет, с пленительным одухотворенным лицом и горящими глазами. После одной его лекции, которая убежденно защищала теорию свободы воли, я написал ему взволнованное письмо, в котором изложил мучившее меня втайне сомнение, втайне потому, что революционеру не полагалось такими вопросами интересоваться. Грот пригласил к себе и очень приветливо встретил, но вместо того, чтобы указать путь, наставить, как следует подойти к работе над разрешением этого вопроса, стал горячо спорить со мною, как с равным, и двухчасовая беседа лишь сильнее растравила душевную рану. А затем наступило событие, которое совсем не входило в мои расчеты.

Не помню точно, в каком месяце 1885 года оно произошло, но разразилось совершенно неожиданно. Проходя однажды после лекции через сборный зал, я наткнулся на шумное сборище студентов, которое вот-вот перейдет в рукопашную. Стыдно и досадно, что никак не могу вспомнить, из-за чего произошла ссора. Ясно вижу в центре сборища ненавистного, с налитым кровью лицом, страстно жестикулирующего Петриковца, моего постоянного противника на студенческих собра-

ниях, от которого студенты сторонились, как от лица, близкого к начальству. Вижу старенького, сгорбленного педеля¹⁹, в золотых очках со злобными, шныряющими по лицам студентов маленькими глазками, с которым я столкнулся в дверях... Но память упорно отказывается сказать, что, собственно, произошло. Пусть память вправе мстить за легкомысленное отношение к щедрым и незаслуженным дарам судьбы, возбуждавшим лишь все более неутолимую жажду жизни. Но в юности я полностью отдавался переживаемой минуте, меньше всего думал о будущем и тщетно искал объяснения, почему же столько незначащих мелочей из юношеской жизни так ярко сохраняется в памяти, а вот это событие, сыгравшее столь важную роль, бесформенно расплылось. Но совершенно определенно утверждаю, что решительно никакого участия в столкновении не принял, не произнес ни слова, хотя требовалось немало силы воли, чтобы молча пройти мимо. Я должен был так поступить, потому что «революционерам» строжайше запрещено было вмешиваться в студенческие стычки, мы должны были стоять выше «малых дел». Я задержался в зале, пожалуй, не больше одной-двух минут и вместе с моим спутником, очень милым, добродушным болгаринном Ивановым, направился к входным дверям, у которых мы и встретили педеля, впившегося в нас своими сверлящими глазами.

Велико же было удивление, когда дня через два получена была повестка из университета с приглашением явиться в заседание правления, но все же, сознавая свою полную непричастность, я еще не придавал делу никакого значения.

19 Педель – надзиратель в высших учебных заведениях дореволюционной России.

Заседание состоялось вечером под председательством ректора, известного профессора математики Ярошенко, у которого на лице играли чахоточные пятна. С явным раздражением он задавал вопросы, на которые я отвечал спокойно и уверенно, а через день получил извещение о моем увольнении из университета, причем один из судей, декан юридического факультета, профессор Богдановский, старый знакомый отца, рассказал, что, когда я выходил из заседания, Ярошенко заметил: «Вот один из способных евреев, который всем руководит, а потом разыгрывает святую невинность». (Десять лет спустя Ярошенко сам оказался «жертвой режима» – был выслан из Одессы на основании положения об усиленной охране.)

Уволен был также и Иванов, горячо отстаивавший на суде мою непричастность, и его увольнение потом оказалось для меня весьма благодетельным. А пока несправедливость была еще значительно отягчена суровым недовольством Штернберга, хотя он и не сомневался, конечно, в моих уверениях, что я влетел как кур во щи. Сам же я не сомневался, что попаду в другой университет, и втайне даже радовался новым перспективам. Я решил попытать счастья в Петербурге, хотя отцу это было очень не по душе – он словно предчувствовал неизбежный конец, но все же снабдил меня кучей рекомендательных писем. Помню, был я у Чихачева, тогда уже начальника Главного морского штаба, у бывшего одесского городского головы Новосельского, у редактора «Еврейской газеты» Цедербаума, приятеля графа Делянова, и у самого, впадавшего уже в детство, графа Делянова на приеме, и везде меня поражала холодная, застегнутая любезность, огражденная от просителя строго определенной дистанцией.

Но сам Петербург очаровал меня, я сразу и навсегда в него влюбился, как в неприступную красавицу. Был конец марта,

когда солнце заливало город яркими лучами, как бы для того, чтобы резче выделить величавую, строгую красоту его. Больше всего меня пленяло, что он так выгодно отличался от меркантильной Одессы, что здесь был совсем иной воздух. А кроме того, многое, самое прекрасное, оказалось не только давно знакомым, но и близким, родным, и не верилось, что воочию все это увидел. Вот Адмиралтейская игла, вот «Петру I Екатерина II»²⁰, Сенатская площадь, Летний сад – все будило в душе тот или иной волнующий отзвук. Иван Карамазов собирался за границу, чтобы плакать над камнями, под которым лежат самые дорогие покойники. Но здесь для меня было не кладбище, а фундамент новой прекрасной жизни, и, ступая по Невскому, я чувствовал себя окрыленным и совершенно игнорировал, что, как студент-еврей, не имею даже права жить в Петербурге вне черты оседлости, и так и прожил около двух месяцев.

Обивание высокопоставленных порогов оказалось безрезультатным, холодной любезности было недостаточно, чтобы восстановить грубую несправедливость. В приеме мне было отказано. Но что было вовсе не в моей натуре, на этот раз я заупрямился, осенью вновь приехал в Петербург вместе с Ивановым и отправился на прием к ректору, профессору полицейского права И.Е.Андреевскому. Я вошел первым и, увидев весьма доброе, симпатичное лицо, услышав мягкий голос еще молодого профессора, проникся к нему полным доверием и искренне рассказал об учиненной надо мной несправедливости. Он слушал очень внимательно, и казалось (в чем я и не ошибся), что он мне сочувствует. Он меня обод-

рил, но сказал, что должен еще раз послать в Одессу запрос обо мне. Я не стал ожидать приема Иванова, ибо было ясно, что и он получит тот же ответ, а меня ждала кузина, слушательница высших курсов, чтобы отправиться на поклонение в Новую Деревню, где на даче жила маленькая радушная старушка, мать повешенного народовольца Квятковского, с дочерью-курсисткой, весьма некрасивой, но привлекательной.

А дома меня ждал сюрприз. Я застал моего милого Иванова, который сначала пожурил меня, что я поступил не товарищески, не подождав его, а затем сообщил, что, когда он по требованию ректора вновь рассказал, как все происходило, и рассказ очевидно полностью совпал с известной уже Андреевскому моей версией, ректор смущенно спросил: «А вы разве еврей?» – «Нет, я православный, болгарин». Еще больше запинаясь, ректор спросил: «А ваш папаша тоже православный?», на что не менее изумленный Иванов спросил: «А как же иначе?» – «Отлично, вы будете приняты, но формально требуется отзыв из Одессы». Тогда Иванов спросил: «А как же мой товарищ Гессен?» – «А, хорошо, что вы о нем спросили. Ему скажите, что он уже принят».

Вот эта курьезная подробность несколько заполняет досадный пробел памяти и позволяет утверждать, что выходка Петриковца была антисемитская и что в первом отзыве университета дело было представлено как обида русских евреями, каковую версию беспощадно разбил «папаша» Иванова.

Итак, я своего добился – уволенный из захудалого провинциального университета, был принят в столичный, казалось бы, наиболее оберегаемый от «вредных элементов». Таков был парадокс самодержавного режима. Для меня было прежде всего важно, что мне не нужно изощряться в придумывании способов отстоять свое жительство в Петербурге, теперь я был

полноправный гражданин и не представлял себе, что можно расстаться с Петербургом и жить где-либо вне его.

Принят я был на первый курс, на котором читали лекции – по истории римского права бесцветный Ефимов; о профессоре политической экономии Вредене сложилась поговорка, что «Вреден не столько вреден, сколько бесполезен»; серьезными учеными и отличными преподавателями были Коркунов, читавший энциклопедию права, Янсон, преподававший соблазнявшую меня статистику, к которой я чувствовал настоящее «влечение, род недуга», и в особенности величественный Сергеевич, его интересные и содержательные лекции я по возможности аккуратно посещал и даже прочел в его семинаре реферат.

Но мне давно уже не терпится перейти к важнейшему, чем одарил меня тогда Петербург, и отдаться одному из самых отрадных и самому трагическому воспоминанию. При нашем расставании в Одессе Штернберг снабдил меня письмом к своему старому приятелю и революционному соратнику Альберту Львовичу Гаусману, меня, так сказать, препоручил ему. Гаусман жил летом на даче в Териоках²¹, где я его впервые и посетил. Был пасмурный, ветреный день, после Черного моря териокская лужа производила отвратительное впечатление... Мы гуляли по пляжу, разговор шел о подпольной деятельности, о видах на будущее, и я, вероятно, был больше занят собой, чем своим собеседником, которому мне хотелось внушить выгодное о себе представление. Разговор вязался тягуче, и первое впечатление было, что в Петербурге, кроме

21 С 1948 г. Териоки носит название Зеленогорск; в 1994 г. включен в состав Курортного района Санкт-Петербурга.

холодной любезности вообще ничего встретить нельзя. Даже и внешность Гаусмана я оценил только при втором свидании, которое состоялось уже в его городской, столь памятной мне, скромной квартире на Невском проспекте за Николаевским вокзалом. Гаусман был сверстником Штернберга, но выглядел моложавее. Высокий, стройный, со смуглым матовым лицом и небольшой черной бородой, с живыми добрыми глазами. Гаусман познакомил меня со своей женой, очень некрасивой, но милой, простой и, как впоследствии оказалось, бесконечно доброй женщиной с грустными еврейскими глазами, так подходившими к ее библейскому имени Ревекка. Согретый ее душевной теплотой, я сбросил стеснительный революционный мундир, почувствовал себя весьма уютно и загорелся дружеским доверием к ним обоим, так что, когда Гаусман неожиданно предложил поселиться у них, я с радостью принял это предложение, и сразу между нами установились дружеские отношения, которые с каждым днем все более крепили. Ценнейшим дополнением незабвенной обстановки была их дочь Надя, хорошенькая, в отца, девочка лет шести, впечатлительная, делившая привязанности между отцом и мной. Больше всего она любила слушать, сидя на коленях и в упор смотря на меня расширенными бархатно-черными глазами, чтение рассказов из первых четырех «книжек для чтения» Льва Толстого. Впервые тогда я оценил гениальное проникновение великого писателя в детскую душу и изумительно благотворное влияние на ее формирование. Эти книжки можно бы назвать на современном наречии настоящим душевным витамином.

Скажу прямо, что в такой приятной, ни одним диссонансом не нарушаемой и духовно возвышенной домашней обстановке мне уже больше не приходилось жить. В отличие от Штернберга Гаусман не держался гувернером, а был старшим

товарищем, старшим братом и отнюдь не имел вида конспиратора, хотя умел отлично конспирировать и, судя по некоторым признакам и дальнейшей печальной судьбе его, занимал в революционной среде видное положение. Наше общение выходило далеко за пределы подпольной деятельности. В то время под воздействием все укреплявшейся реакции, захватывающей и общественные настроения, стало развиваться среди молодежи *taedium vitae*²², против чего выступил с сердечно написанной книгой К. Кавелин. С другой стороны, разложение «Народной воли» обострило опасность лозунга – цель оправдывает средства, и под этим влиянием мне, вероятно, меня стали волновать вопросы морали.

Со всеми своими сомнениями я обращался к Альберту Львовичу, на эти темы мы много беседовали, и моему лоскутному образованию Гаусман противопоставлял широкую, разностороннюю начитанность, глубокий ум и, может быть, для меня самое важное – любящее сердце. В нем я впервые нашел моральную опору, как бы защиту от самого себя. А подпольная деятельность шла своим чередом, это был, так сказать, общий множитель, который стоял за скобками. Отпала обязанность добывать деньги, просто потому, что в Петербурге у меня не было никаких «буржуазных связей». Отпало и кружковое самообразование – мы уже вышли из этого возраста. Прибавилось зато печатание и гектографирование воззваний и брошюр. Я лично, впрочем, был от этого освобожден, но зато работал по составлению их. Конфузно теперь вспоминать, но на меня было возложено написать возражение на вышедшую тогда за границей брошюру Плеханова «Наши разногласия»,

представлявшую едва ли не первое оформленное выступление русских социал-демократов против народников. Эта брошюра, появившаяся в 1885 году, и является моим литературным дебютом. Таким образом, пятидесятилетие литературной деятельности совпадает с моим семидесятилетием. Помню лишь, что это был лихой кавалерийский наскок на Плеханова, и ясно вижу фиолетовую краску гектографа на обложке, на которой горделиво значилось: «Издание группы молодежи партии „Народная воля“».

Так мы и жили, безоблачно и беззаботно. Впервые я заметил за собой «гороховое пальто», как окрестили шпиков, в ноябре, возвращаясь домой с собрания, но не придавал этому серьезного значения. На рождественские каникулы я собирался по настойчивой просьбе родителей в Одессу, получил деньги на дорогу, как вдруг, чуть ли не накануне отъезда, пришло письмо из Дерпта. Содержание было самым безобидным, но это-то и указывало, что искать нужно между строк то, что там написано химическими чернилами. Проявив чернила, я прочел: «Ни вы, ни Альберт Львович ни в коем случае не уезжайте на Рождество из Петербурга. Скоро приеду с грузом. Анатолий». Коротко и ясно! Я почувствовал себя очень неловко перед родителями... Но послушаться приказа – даже и мысль об этом не могла возникнуть! А в ночь с 26 на 27 декабря около трех утра явились «гости», обманув вышедшую на звонок прислугу уверением, что звонит рассылный с телеграммой. В мою небольшую комнату вошли трое полицейских, остальные сгрудились в прихожей. Молнией промелькнуло воспоминание о «гороховом пальто», задним числом пояснившее, что этого надо было ожидать, и я так и не успел удивиться и взволноваться. Пристав предъявил ордер на обыск и арест и просил постучать в спальню Гаусмана, чтобы он с женой оделся. Я оделся уже с помощью пристава, который подавал мне части

туалета, предварительно тщательно осмотренные им. На вопрос, разве и Гаусмана приказано арестовать, пристав ответил: «Нет! Только обыскать». Я искренне обрадовался, потому что считал, что у Гаусмана ничего нелегального нет, но впоследствии выяснилось, что любезность пристава, не решавшегося войти в супружескую спальню, дала ему возможность сжечь два компрометирующих документа. Но выяснилось впоследствии и другое – что радоваться было более чем преждевременно, напротив, следовало встревожиться именно тем, что Гаусмана, которому уже приходилось иметь дело с жандармами и у которых он был на примете, оставляют на свободе, а меня, у которого молоко на губах не обсохло, приказано арестовать независимо от результатов обыска. Уже одно это было по отношению к Альберту Львовичу угрожающе загадочным, и так оно и разрешилось. Радоваться же аресту должен был я – он был загадочным даром судьбы, точно какая-то заботливая, любящая рука вырвала меня из готовящейся уже захлопнуться ловушки. Воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь!

Я горячо распрощался со своими дорогими друзьями, увы, не подозревая, что с Альбертом Львовичем прощаюсь навсегда – и было уже солнечное прекрасное зимнее утро, когда мы с приставом уселись на извозничьи дрожки, чтобы отправиться на Шпалерную, в Дом предварительного заключения...

Тюрьма и ссылка (1886–1888)

Дом предварительного заключения, куда доставил меня судебный пристав, примыкал со Шпалерной улицы к сожженному в первые дни революции зданию Судебных установлений со знаменитой на нем надписью: «Правда и милость да царствуют в судах». Дом предназначался для подследственных арестантов, но по мере надобности часть верхних этажей отводилась для «политических». В то время тюрьма эта считалась образцовой, и действительно, одиночные камеры были чистыми, сухими, теплыми, в небольшое окно, расположенное выше человеческого роста, проникало достаточно света, обращение тюремщиков было безукоризненным, пища, правда, была совсем неважная, но за свой счет можно было получать обеды из тюремного ресторана, два раза в неделю допускались передачи любых пищевых продуктов от родственников и друзей, а также и книг. Передача ожидалась с величайшим нетерпением, потому что, после придирчивого осмотра, заключенный сам начинал тщательно ее изучать и частенько находил весточку с воли, умело скрытую от взоров начальства. Тюрьма имела и свою недурную библиотеку, а так как разрешались и письменные принадлежности, то, сидя на откидывающейся от стены железной доске, за такой же побольше, которая служила столом, можно было и писать. Немало литературных произведений, появившихся тогда в журналах, было так и написано.

Жизнь в тюрьме начиналась около шести часов утра. Пробуждение вызывалось появлением в камере подследственного арестанта, очищавшего парашу, а потому было всегда очень неприятно. Вслед за тем слышны были выкрики в коридоре: «Кипяток, кипяток!», в дверях камеры отваливалось крошечное оконце, сквозь которое заключенный передавал свой

чайник или казенную кружку, но чай нужно было иметь свой. Через час новые громкие возгласы: «Письма, прошения!» На звонок заключенного вновь откидывалось окошечко, и в щель подносимого тюремщиком ящика можно было опустить письмо или прошение, конечно, в незапечатанном виде. Около полудня разносился по камерам обед, еще через два-три часа прогулка, для которой во дворе отведен был большой круг, обнесенный высоким деревянным забором и разделенный такими же перегородками на пятнадцать сегментов; в каждый сегмент, длиной 8–10 метров, впускался один заключенный, а в центре круга возвышался сторожевой пост, на котором поворачивался во все стороны тюремный надзиратель, следивший за поведением гуляющих. Если встать на парашу, положив предварительно несколько книг на нее, то с грехом пополам можно было дотянуться до окна и, держась за его решетку, увидеть тюремный двор и гуляющих в сегментах. Было очень интересно наблюдать на ними: иные быстро шагали взад и вперед, другие рассыпали хлебные крошки, на которые слетались голуби, третьи спешили проделать гимнастику, а некоторые производили тяжелое впечатление опущенным в землю взглядом и полным безучастием ко всему окружающему.

Около четырех часов вновь подавался кипяток, потом ужин, и в девять часов гасилось газовое освещение, двери запирались на второй замок, но разрешалось иметь свечи и при их освещении работать хотя бы и всю ночь. От времени до времени заключенных водили в тюремную баню, тоже совсем опрятную, а в воскресенье и по праздникам желающие могли присутствовать в тюремной церкви... Раз, а то и два в неделю заключенному давались свидания с родными, и это, конечно, было самым желанным моментом в тюремном быту, хотя обстановка была угнетающая: заключенного вводили в кле-

тушку, перед собой на расстоянии метра он сквозь другую решетку не без труда различал знакомое лицо посетителя и напряженно должен был вслушиваться в его слова, ибо клетушек было много, одновременно все были заняты и стоял оглушительный, раздражающий гомон, от которого после свидания наступала сильная нервная усталость.

Впервые я очутился в одиночестве, и мне, привыкшему и избалованному постоянным общением с людьми, оно давалось нелегко. Но, в сущности, настроение не изменилось: если выдавался яркий солнечный день и в открытое окно доносились с Литейного звуки конки, врожденное легкомыслие помогало бодрости разыграть, и стены камеры широко раздавались, а то и вовсе ускользали из глаз. Днем я много читал (помню перечитывание «Преступления и наказания» – в тюремной библиотеке, по-моему, Достоевскому не должно быть места), вслух декламировал Некрасова и иногда входил в такой раж, что в дверном окошечке вдруг появлялось усатое лицо надзирателя и раздавалась сердитая угроза перевести в карцер.

Но первым делом, только что оглянувшись, я вспомнил, что можно разговаривать с соседями постукиванием в стенку. Опять же по легкомыслию, своевременно не позаботился ознакомиться с тюремной азбукой и теперь тщетно пытался установить сношения с соседями. И вот однажды на прогулке я вдруг увидел на снегу небольшую блестящую трубочку, а потом и другую такую же и, когда надзиратель отвернулся, быстро поднял их и спрятал в карман. Вернувшись в камеру, с трепетом развернул свинцовые бумажки от конфет и внутри нашел две записки, на которых была написана тюремная азбука: тридцать букв по пяти в горизонтальном ряду разделялись шестью вертикальными рядами, и каждая буква определялась числом звуков соответственно занимаемому ей месту в гори-

зонтальном и вертикальном ряду (например, е – один удар, чуть заметный перерыв и пять ударов). Уже через неделю я так наловчился, что бегло мог вести разговор. Но беда, что уголовные арестанты также вели разговоры по трубам центрального отопления, и приходилось быть невольным слушателем отвратительных, циничных бесед, и эти разговоры, от которых нельзя было укрыться, положительно отравляли существование.

Мой сосед задал мне тяжелую загадку. Он сидел несколько лет и даже был осужден уже на каторжные работы по обвинению в соучастии в убийстве с корыстной целью богатой старухи в Новгороде. Но так как на суде выяснились данные, указывающие на политический характер преступления, совершенного в интересах партийной кассы, то его продолжали держать как политического в целях раскрытия революционного сообщества. Мне впервые пришлось столкнуться с таким страшным, конкретным применением принципа «цель оправдывает средства», и это знакомство совершенно ошеломило. Я старался найти оправдание в утилитарной морали, которая, однако, давала больше удовлетворения рассудку, чем совести, и смутно уже тогда, в тюрьме я ощущал, что почва подо мной колеблется.

Смушение значительно усилилось, когда однажды на свидании вместе с кузиной, аккуратно меня посещавшей, появился и отец, поспешивший в Петербург на выручку. Не сомневаюсь, что ему было бы легче видеть меня в гробу (вернее сказать – мертвым, потому что видеть мертвого в гробу евреям не полагается), чем за решеткой. Об этом свидетельствовал его растерзанный вид, воспаленные глаза, всклокоченные волосы, он с трудом выдавливал из себя слова, явно опасаясь, что брызнут слезы. За отца говорила кузина, уверяя, что уже

удалось найти протекцию, которая вызволит меня, но ее угнетенное настроение более красноречиво говорило об отражавшемся на ней душевном состоянии отца. Я вернулся в камеру совсем разбитый, охваченный тупой тоской, не хватало мужества принять на себя ответственность за нанесенный тяжкий удар, тем более что теперь разорение принимало уже угрожающий характер, и многочисленная семья возлагала все надежды на меня, как на будущую опору. Тревожно спрашивал я себя, нет ли эгоизма в моем увлечении идеей спасения России, которая обойдется без меня, и не благороднее ли принести себя в жертву интересам семьи, которой грозит нищета и распад. Но я чувствовал, что такая жертва будет напрасной. И мысленно начинал горячо и любовно убеждать отца, что не должен сходить с избранного пути, что «долг другой – и выше и святей – меня зовет», а потом опоминался, что отец и слушать не станет, а сразу скорбно скажет: поступай как знаешь! Это-то и было самое невыносимое. Встреть я сопротивление, нужно бы выдержать бой, я не задумался бы ринуться. Но непотворение, беспомощность, покорное принятие нанесенного удара звучало в душе громким упреком и бесплодно мучило совесть.

Еще до приезда отца, по совету соседа, я после двухнедельного заточения обратился с прошением выяснить, за что меня арестовали и держат, мешая университетским занятиям. Быстрым результатом был вызов на допрос в Охранное отделение, куда два жандарма доставили меня в закрытой карете со спущенными занавесками. Молодой, франтоватый жандармский офицер, узнав на допросе фамилию деда в Екатеринославе, всплеснул руками и горячо стал говорить, что он там служил, знает, какая это почтенная семья, и потому не сомневается, что я по недоразумению оказался среди «этих негодяев», и, если откровенно расскажу, от кого получил вот эту

дрянь, меня освободят. При этом он презрительно отшвырнул лежавшую перед ним, столь хорошо знакомую мне брошюру, моего литературного первенца, – это был первый укол моему авторскому самолюбию.

Стараясь сделать ответ как можно более конкретным, я сказал, что за два дня до ареста в таком-то часу занял место в такой-то аудитории и сбегал в буфет, а когда вернулся, нашел среди оставленных мною книг эту брошюру. Но ведь в приказе значилось, что меня должно арестовать независимо от результата обыска: в чем же меня обвиняют? Тон офицера сразу резко изменился, вопрос мой был оставлен без всякого ответа, и ледяным тоном он предложил записать показание, после чего я водворен был обратно в тюрьму. Я считал, что, если никакого обвинения не предъявлено, дело кончится не хуже, чем высылкой из столицы, и мой опытный сосед авторитетно подтвердил правильность моего расчета. Поэтому, когда после упомянутого посещения отца на следующее свидание кузина пришла одна, торопливо сообщила, что отец занят хлопотами и совсем оправился, так как ему положительно обещали на днях освободить меня, и как мы тогда кутнем – я лишь укрепился в своем расчете и не мог уже преодолеть предвкушение, как я выйду за ворота тюрьмы, как трогательно будет встреча с отцом, как крепко стисну в объятиях обожаемого Альберта Львовича.

Среди таких заманчивых мечтаний вновь наступил день свиданий, и, когда меня вызвали, я спускался по бесконечным лестницам с пятого этажа в сладкой уверенности, что узнаю от отца день освобождения. Но его опять не было, а кузина была так бледна и растерянна, так упорно избегала моего взгляда, что, подозревая какое-то несчастье с отцом (он и права жительства в столице не имел), я во весь голос крикнул: «Что

случилось?» И еле слышный ответ был еще заглушен окриком надзирателя. Кузина как-то виновато сообщила, что я приговорен к ссылке в Вологодскую губернию, но она не знает точно, на три или, кажется, на два года. Это было так неожиданно, что на меня нашел столбняк. Три, как и два, года одинаково казались мне вечностью, ощущение было таково, что жизнь кончена, и я онемел. Не то чтобы язык отказывался повиноваться, а сказать было нечего. Кузина стала описывать безмерное отчаяние отца, это заставило меня несколько опомниться, и мы стали обсуждать, прийти ли ему на свидание проститься со мной. Но в эту минуту меня увели в камеру. Отец так и уехал, не простившись, но прислал очень ласковое письмо, а этот день, эта неожиданность оставила впечатление на всю жизнь. Навсегда осталась смутная тревога, что неожиданность подкарауливает.

И впоследствии, как бы правильно ни было рассчитано то или другое начинание, как бы ни были бесспорны планы его осуществления, я не верил, пока реализация не наступала. Может быть, правильнее сказать – я не позволял себе верить, чтобы не испытать вновь такого шока, а так как всю жизнь я стремился к новым начинаниям, то недоверие или неверие стало яркой чертой характера, отравило немало минут и парализовало настойчивость в достижении цели.

Я еще недели две провел в камере, возмущаясь строгостью приговора, поскольку никакого обвинения не было предъявлено. Никаких планов строить я не мог, потому что не имел ни малейшего представления, в каких условиях окажусь, к чему придется приспособливаться и как существовать, чем дышать. А о том, что ссылка может иметь благотворное действие, что она может стать пусть суровой, но настоящей школой жизни, о которой пока было самое фальшивое представле-

ние, – это, конечно, и в голову не приходило. А если бы кто вздумал меня так утешить, я счел бы, что он надо мной издевается.

В конце февраля двери камеры открылись, и приказано было собираться с вещами. Опять карета со спущенными занавесками, но теперь я различаю, что два рослых жандарма везут меня на Николаевский вокзал. В почтовом поезде нам отвели крайнее отделение третьего класса, и пассажиры переполненного вагона тщетно пытались к нам проникнуть, настойчиво стучали в дверь, дергали за ручку, ища свободных мест. Наконец в стекло, вставленное в перегородку над дверью, один из наиболее ретивых пассажиров заглянул и громко ахнул от изумления, увидев, что в отделении, рассчитанном на добрый десяток человек, удобно разместились два жандарма с юношей, у которого и молоко еще на губах не обсохло. Он сообщил соседям о своем открытии, и по моему адресу посыпались совсем нелестные замечания: «Вешать их надо, а их вон как возят! Порядочные люди как сельди в бочке, а каторжник вишь как развалился, отчего ж ему и не бунтовать». Негодование еще обострилось к ночи, когда пришлось в тесноте укладываться спать, и тут стало слышаться: «В окно его выбросить! Вся тут и недолга!» И если бы им удалось заполучить меня в руки, то недалеко было бы до исполнения угрозы.

В Москве меня сдали жандармы в какое-то «управление», где я и провел ночь в камере, со стен которой буквально текло. Ах, Москва-матушка: для предупреждения побегов на ночь унесли мою шапку и шарф. А утром два новых жандарма – на всех московских есть особый отпечаток – резко отличавшихся от питерских своим простоватым добродушием и разговорчивостью, отвезли на Ярославский вокзал. Нам предоставили целый вагон, и на остановках проводящие не мешали мне

гулять по перрону, пока какой-то офицер не сделал строгого внушения. Из Ярославля в Вологду шла узкоколейная железная дорога, и нас поместили в общем переполненном вагоне, причем жандармы держались поодаль. Против меня сидел толстый купец, вступивший в разговор, и так я ему понравился, что на станции он стал приглашать меня в буфет «раздавить рюмочку». Чем больше я отнекивался, тем настойчивее он приставал, и я вынужден был глазами указать ему на жандармов. Он разинул рот, долго молча переводил глаза с жандармов на меня и обратно и наконец спросил: «Да где ж ты их подцепил?» – на что я ему: «Не я их, а они меня подцепили». Качая головой, он вышел один, а вернувшись в вагон и похлопывая меня по колену, отечески утешал, что время пройдет скоро, что «в нашей губернии» люди хорошие, добрые, что от суммы и тюрьмы зарекаться нельзя, что и самому пришлось пережить неприятность – воспользовавшись чужим паспортом, долго не мог отделаться от преследований полиции и суда. Весь вагон слушал и соболезнующе поддакивал, как бы иллюстрируя репутацию «нашей губернии». В Вологде он трогательно распрощался, горячо обняв меня, и все пассажиры приветливо кивали, выражая добрые пожелания.

Здесь кончалось железнодорожное сообщение. Меня снова сдали, на этот раз огромному, толстому полицмейстеру, который поместил меня в отличной, светлой даже не камере, а просто комнате и первым делом спросил, есть ли у меня средства на дальнейшее путешествие на лошадях в сопровождении двух полицейских, обратную дорогу которых тоже надо оплатить. У меня было около сорока рублей, и те, конечно, не в моем кармане, а у полицмейстера. «Ну, этого весьма недостаточно. Значит, я отправлю вас по этапу». Слово «этап» вызывало представление не только тяжелого пути, но и чего-то позорящего, и я так далек был от мысли применения этого способа

передвижения ко мне в обществе уголовных преступников, что принял слова начальства не за угрозу, а за шутку... А это была отнюдь не шутка, и если я все же по этапу не был отправлен, то лишь потому, что судьба вновь решила меня побаловать. В течение нескольких лет ссылка в северные губернии не практиковалась, и поэтому в управлении накопились суммы, ассигнуемые ежегодно на перевозку ссыльных из привилегированных сословий; я, еврей, сын купца, студент, к таким сословиям не принадлежал, и предоставление мне льготы было милостью, вероятно, губернатора. Отправить меня надлежало в отдаленнейший город Усть-Сысольск²³, отстоящий на север от Вологды на 900 верст.

Выехал я с околоточным и полицейским в санях, больше напоминавших розвальни, и сидел между ними порядком стиснутый с обеих сторон. Был уже март, дорога совсем испортилась за зиму, нас то и дело вываливало из саней. Ехали мы днем и ночью безостановочно, меняя через каждые 20–25 верст ямщиков, дорога почти все время шла густым лесом, и при ярком лунном свете картина разворачивалась совсем сказочная. Спутники мои крепко спали, мне было между ними крайне неудобно, и я дремал и грезил... На третью ночь мы подъехали к Великому Устюгу, сделав полпути, и провожатые, угрожавшие, что приказано везти день и ночь, стали заговаривать, не переночевать ли там. Комната на почтовой станции натоплена была, как баня. Я разделся, улегся на диване, а спутники остались в подпоясанных шинелях с шашкой на одном и револьвером на другом боку, ибо, заявили они, ин-

23 Усть-Сысольск – ныне Сыктывкар (переименован в 1930 г.), столица Республики Коми.

струкция не позволяет раздеваться. Но, проснувшись ночью весь в испарине, я увидел их раскинувшимися на полу, уже без шинели и мундира, а шашки и револьверы беспорядочно валялись около них. Утром вид у них был очень сконфуженный, и отношение переменилось, сделалось дружеским, общи́нским.

Усть-Сысольска достигли мы на седьмой день, под вечер, и лихо подкатили к единственному, кроме церквей, каменному зданию, в котором помещались все присутственные места. Высокий, худой и прямой, словно аршин проглотил, исправник встретил меня сурово, но с явным любопытством – как-никак, я был «столичная штучка». Петербург здесь представлялся чем-то легендарным. Он тут же ознакомил меня с основными правилами поведения, главным образом – запрещением выходить за черту города, и предупредил, что для наблюдения будет приставлен особый полицейский, который утром и вечером будет проверять, на месте ли я. Вручив мне полученные от провожатых деньги и часы, он приказал отвезти меня на почтовую станцию. Спутники решили переночевать, но, походив по городу, заявили, что так скучно, что немедленно они пустятся в обратный путь. Я прилег на диван и, вероятно, моментально, как был в одежде, заснул мертвым сном.

Проспав часов двенадцать, я ранним утром проснулся и из соседней комнаты услышал громкий шепот, заставивший усомниться, не сплю ли я еще. Какой-то голос с резко выраженным еврейским южным акцентом спрашивал, спит ли еще «приезжий». Но откуда же взялся еврей на далеком Севере, вне черты оседлости? Дверь чуть-чуть приоткрылась, я позвал хозяйку, а вместе с ней вошел – о, диво! – подлинный еврей, старый, жирный, приземистый, с большой окладистой бородой и острыми бегающими глазами и, осведомившись, откуда я

приехал и как доехал, предложил свои услуги по отысканию комнаты. Отвечая на его вопросы, я со своей стороны задал ему вопрос на жаргоне, как он попал сюда. Теперь была его очередь изумиться. Он буквально присел на корточки, широко раскрыл глаза и задыхающимся радостным голосом воскликнул: «Как, вы еврей? Так вы еврейское дитя? Кто же ваш отец? Так вы откуда? А есть у вас братья, сестры?» И, не ожидая ответов, тут же поведал свою биографию: он тоже административно сосланный на три года, родом из Чернигова, сослан за ссудную кассу, то есть за ростовщичество, здесь он с сыном, но жены – его и сына – остались дома и продолжают «дело», присылая сюда заложенные и невыкупленные вещи, которых там сбыть нельзя, «а тут зыряне все купят, дураков много!». Был и другой еврей, из Минской губернии, тоже высланный за ростовщичество, внешне уже ассимилировавшийся и лучше владевший русским языком, молчаливый и скрытный. Со своими коллегами по несчастью он был весьма сдержан, в деловом отношении они глухо конкурировали и друг о друге отзывались неодобрительно.

Отличная, большая комната найдена была в тот же день у немолодого бездетного портного с женой, любившего выпить, но очень спокойного и, как и жена его, доброго. Плата за комнату положена была 4 рубля в месяц, а за «полный пансион», конечно весьма примитивный, еще 6 рублей. Теперь надо было осмотреться и выработать программу жизни. Курьезно: к «программам» к планам вообще было какое-то отвращение. Они были «клочком бумаги», который течение жизни незаметно унесет и завертит. Я предпочитал отдаваться смутным ощущениям, и так как обычно кривая вывозила, то лщу себя догадкой, что такие ощущения были сродни интуиции. Но зато в домашней жизни, напротив, нужен был строгий и точный распорядок. И чем старше становился, тем тревожнее и беспор-

мощнее чувствовал себя, когда порядок жизни нарушался, и часто сам себя укорял, что душа у меня чиновничья.

Не требовалось много времени, чтобы в Усть-Сысольске осмотреться. Город красиво расположен на высоком берегу Сысолы, при слиянии ее с притоком Северной Двины Вычегдой. Звание «город» мало подходило к поселению с 2000 населения, проживавшего в своих низеньких домиках и промышленявшего на полях вокруг города тощим земледелием, а также рыболовством. Большая часть жителей были чиновники, земские служащие в управе, больнице, школах, приказчики винного откупщика и двух-трех лавок, члены церковных причтов, кое-какие ремесленники. Можно сказать, что город существовал в основном за счет получаемого от казны и земства жалованья, а расходы казны покрывались преимущественно доходами от винного откупа.

Коренное население было зырянское, в городе порядком русифицированное, но большинство чиновников говорило и по-зырянски, ибо население колоссального уезда, раскинувшегося на несколько сотен верст в длину, ни слова по-русски не понимало. Весь город по периферии я обходил за полчаса, весной и осенью можно было передвигаться только по деревянным мосткам, проложенным вдоль домов, улица утопала в непролазной грязи, а зимой была покрыта снегом в аршин высоты, и для ходьбы можно было пользоваться узенькой вытоптанной дорожкой, сойти с нее – значило провалиться в глубокий снег. Уже привыкшему к петербургским белым ночам, вызывавшим у чуждого сумеркам южанина тревожное томление духа, здесь мне было еще тяжелее, в разгар белых ночей одна заря буквально сменяла другую. Гораздо тяжелее была долгая, бесконечная суровая зима, когда солнце на миг, неохотно и лениво показывалось, а беспросветной ночью при

сорокапятиградусных морозах спугивал громкий, как удар пушки, треск бревенчатых стен.

Добродушный утешитель в вагоне оказался прав: население относилось приветливо, за все три года я не видел косого взгляда, а некоторые просто льнули ко мне. Больше всех привязался молодой, но постарше меня, секретарь земской управы, который навещал по вечерам, норовя незаметно проникнуть, чтобы не возбудить подозрения в неблагонадежности, но, раз преодолев опасения, засиживался по пяти-шести часов, жадно расспрашивая решительно обо всем; сам он из Усть-Сысольска никогда не выезжал. У него я однажды был на посиделках – вероятно, из-за столичного гостя очень чинных и жеманных, пили водку и тенериф, закусывая местным лакомством – треской, но беседа не оживлялась, и парни больше играли в карты.

Самым заманчивым пунктом была больница, куда я часто захаживал около полудня. Во главе ее стоял еще молодой, лет тридцати пяти, необъятной толщины врач, считавшийся усть-сысольским крезом, потому что получал двойное жалованье, занимая две должности – уездного и земского врача, а всего что-то около 4000 в год, которые, будучи холостяком, буквально не знал, куда девать. Первая должность, обязывающая ко всяким медицинским освидетельствованиям и вскрытиям трупов, его вообще ничем не утруждала: за три года при мне не случилось ни одного убийства или случая подозрительной смерти. А по другой должности на нем лежало заведование больницей и оказание медицинской помощи населению. Он являлся часов в десять и, прочно усевшись в кресло, начинал деятельность с амбулаторного приема. Мне не пришлось видеть, чтобы при этом он встал со своего места и выслушал больного, да я и не видел у него стетоскопа и молоточка. В

лечении соперничали между собой касторка и хинин. По окончании приема начиналась игра в шашки с фельдшерами: их было трое – пожилой поляк, застрывший после ссылки за последнее восстание и женившийся на молодой смазливой землячке, бесцветный молчаливый зырянин и третий – любимец доктора – разбитной малый, широкоскулый, с густой черной шевелюрой и такой же, закрывавшей чуть ли не все лицо, бородой, совсем оперный ассирийский царь. Проигравший должен был купить в находившемся насупротив больницы местном «Вулворте»²⁴ полфунта мармелада к сервировавшемуся в это время чаю, стаканов по пяти на человека. А затем, тяжело переваливаясь, в сопровождении двух фельдшеров врач обходил больных, но все это были хроники, и, собственно, была это не больница, а богадельня. На том служба и кончалась. Медленным шагом толстяк направлялся домой: он снимал у хозяйки-вдовы три комнаты, платя ей, к великому соблазну всего Усть-Сысольска, 30 рублей в месяц за полный пансион. Сытно пообедав и отдохнув, он вновь предавался чаепитию, теперь уже с вареньем, которое заготавлилось пудами: в будни подавалось яблочное, по праздникам или при гостях – морошковое, а в торжественных случаях – из поляники.

Он почти ни с кем в городе не знался, не посещал и местного клуба, где азартно жарили в карты, по его словам, и пили водку. Ко мне доктор очень благоволил, даже как-то бравиро-

24 «Вулворт» – крупнейшая торговая сеть розничных магазинов, зародившаяся в США в конце 1870-х гг. и действовавшая до конца 1990-х. В Вологодской губернии представительства фирмы «Вулворт» не было, так что, скорее, автор так шутливо называет местную лавочку.

вал своим покровительственным отношением к ссыльному и всячески старался развлекать. Одним из развлечений было приглашение попариться с ним в бане, которая так натапливалась, что во рту горело при вдыхании, а он забирался непременно на верхнюю полку, сынок хозяйки что было мочи хлестал его раскаленным березовым веником. Мне думалось – того и гляди, кондрашка хватит, а толстяк только кричал от удовольствия и все требовал прибавить пару... А затем, распарившись докрасна, он, к величайшему моему изумлению и испугу, выскакивал в чем мать родила из бани и бросался на снег, быстро возвращался назад, на верхнюю полку и опять подвергал себя экзекуции. Так это продолжалось с добрый час, а потом следовало бесконечное чаепитие с моршкой.

Случилось мне побывать и в доме многосемейного священника. Как-то ранним зимним утром хозяйка заявила, что они с мужем на весь день уходят в гости к отцу Константину на именины и вернутся лишь поздно домой. Но, подходя к дому днем, после обычной прогулки, я увидел ее у подъезда и извинился, что заставил ждать у запертой мной входной двери. «Нет, – ответила она, – я не домой пришла, а за тобой. Там все жалеют, что ты один сидишь, и батюшка велел просить тебя к нему». Долго я отнекивался и придумывал разные предлоги, прежде чем она, недовольная, ушла. Но минут через десять вернулась в сопровождении красивой, рослой дочери священника, и они твердо заявили, что без меня им не велено возвращаться. Пришлось сдаться, и я попал в большое общество, сидевшее за столом, перегруженным не бутылками, а бутылками водки, разных настоек и вина. Выпивка служила и главной темой беседы. Каждой рюмке предшествовало ободряющее и приглашающее предисловие, вроде: «Первая колом, вторая соколом, а третья мелкой пташечкой», а после выпитой рюмки

возобновлялись и продолжались воспоминания о былых выпивках.

Все гости были уже на взводе, а хозяин и лыка не вязал, так что с большим трудом мы с хозяйкой, держа его под руки, довели по узкой дорожке домой, сами то и дело проваливаясь в снег. Утром я проснулся с тяжелой головой и отвратительным вкусом во рту, водка у откупщика была сомнительного качества – и еще лежал в постели, проклиная весь свет, как ввалился мой портной с упреком: «Вот те на, ты еще в постели, а нужно же идти». – «Куда идти?» – «Как куда? Да к отцу же Константину – опохмеляться». Но я пришел в ужас от этого предложения и потому не видел, как клин клином вышибают. Знаю лишь, что эта задача требует времени, хозяева вернулись домой часов через пять.

На своих ежедневных послеобеденных прогулках я обычно встречал коллегу по несчастью – польского ксендза, пострадавшего за соращение униатов в католичество. Он весь пропитан был ненавистью к русскому правительству и презрением к народу, но держался осторожно. Был неизмеримо интеллигентнее православного батюшки, обо всем имел свое мнение, и я донимал его вопросами веры, жалуясь на свое неверие. Сначала он со мной спорил, я же настойчиво излагал свои сомнения, и вдруг голос его понизился до свистящего шепота, и он мне сказал буквально так: «Вы человек умный, вам я могу сказать, что и сам не верю. Ну а если я ошибаюсь, если Бог есть? Каково же мне будет на том свете? Не лучше ли на всякий случай верить?»

Я невольно отшатнулся и был рад, когда вскоре приехала к нему высокая, полная бальзаковская женщина, которую он выдавал за свою племянницу, и он прекратил совместные прогулки и даже стал избегать меня. Но вместо него появилась

другая, еще доселе невиданная мною фигура – уже немолодой, отлично сложенный человек с барским, сильно поношенным лицом, окладистой бородой и зычным голосом. Это был присяжный поверенный²⁵ округа Петербургской палаты, запойный пьяница. В трезвом виде он горько жаловался на людскую несправедливость, явно стараясь в напыщенности речи расставить конкретные указания на причину ссылки своей. Когда же наступал период запоя, он большими шагами мерил улицу, не переставая во весь голос орать: «Сейте разумное, доброе, вечное!» – и перемежая этот лозунг грубейшими ругательствами. Уже издали заслышав его, прохожие бросались в подворотню, а знавшие его запирались на замок, чтобы избежать визита. Трудно понять, как он существовал: получаемое ссыльными казенное пособие в 6 рублей с копейками он пропивал немедленно после получения, становился буйным и попадал в каталажку. Через несколько дней его выпускали оттуда трезвым и невероятно грязным, и как он умудрялся питаться и даже напиваться до следующей получки, понять невозможно.

Первым политическим ссыльным был крестьянин Пензенской губернии, внешностью совсем похожий на описанного барина, но в неотесанном виде. Он был на сходе избран ходоком к начальству с жалобой на аграрные притеснения со стороны помещика и угодил в ссылку. Мне предстояло серьезное практическое испытание: это был представитель народа, которому я служил, сам тоже пострадавший, как и я, «за правду», и, очевидно, я должен держаться с ним на равной ноге как

25 Присяжный поверенный – в Российской империи адвокат при Окружном суде или Судебной палате.

товарищ. Но я никак не мог найти с ним общего языка и чувствовал себя невыносимо, в фальшивом положении. В это время, так как портной стал нередко запивать и надоедать мне разговорами, я переехал в крошечный домик из двух комнат с кухней и пригласил к себе этого крестьянина. Он охотно принял приглашение, но, будучи очень себе на уме, решительно уклонился от равноправия и стал в отношения слуги к барину, который был ему в душе очень за это признателен, так что жили мы очень дружно, да к тому же и недолго: срок его ссылки месяца через три кончился, и, взвалив котомку за спину, зашагал он в далекий путь, рассчитывая, что в дороге не без добрых людей, нет-нет, кто-нибудь и подвезет.

А вскоре после его ухода ввалилось ко мне целое семейство: супружеская чета с двумя детьми, переведенная к концу срока своего из соседнего Яринска. Оба, и муж и жена, были уже настоящими политическими ссыльными, хотя тоже не любили рассказывать, за что именно они пострадали. Во всяком случае, гораздо больше пострадали они не от ссылки. Они (больше она) были типичной жертвой того поветрия, которое бурно пронеслось в 70-х годах под влиянием начавшейся острой борьбы за эмансипацию женщины, за освобождение от родительской опеки. Одним из наиболее распространенных проявлений опеки было решительное противодействие неравным бракам детей, породившее немало тяжелых семейных драм, но гораздо больше молодых жизней было замучено и загублено карикатурным возведением неравного брака в принцип, в демонстрацию отказа от сословных привилегий и презрения к «священным узам законного брака». Если родительская опека не считалась с сердечными влечениями детей, то теперь дети сами подчиняли голос сердца требованиям принципа. Муж – мелкий мещанин и жена – столбовая дворянка были совершенно чужими, и оба безнадежно опусти-

лись, утратив всякий интерес к духовным запросам. Он, поджарый, с неприятной змеиной улыбкой, стал чуть ли не профессиональным картежником. Хотя они очень нуждались, у него был неприкосновенный карточный фонд, которого он не трогал, даже если в доме недоставало хлеба. Случилось, что я не удержался и высказал ему негодование, но он совершенно спокойно ответил: «А что же дальше? Через неделю мы будем в том же положении, с той лишь разницей, что я буду лишен единственного удовольствия». Увы! Безупречная логика может сожигать с величайшей гнусностью.

Таково было мое окружение в первые полтора года пребывания в Усть-Сысольске. Ну а я сам? Новая обстановка не могла не занимать, ведь я впервые видел подлинную будничную жизнь, спустился с заоблачных высот на грешную землю и, преодолевая свои недоумения и отталкивания, повторял себе: полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Мы были во власти аберрации, принимая тонкий слой интеллигенции за всю Россию, и, когда Чехов – осторожно и нежно, но безжалостно – вскрыл удручающую пошлость сереньких, мертвящих будней провинции, то есть всей матушки России, прогрессивный Петербург решительно отказался ему верить, готов был разбить зеркало, так тонко и талантливо Чеховым отшлифованное. Как я был изумлен, когда уже после Первой революции один из выдающихся представителей русской интеллигенции В.А.Мякотин, руководитель «Русского богатства»²⁶, категорически отклонил предложение посмотреть «Три сестры» в незабываемом исполнении Московского

26 «Русское богатство» – ежемесячный общественно-политический, научный и литературный журнал, издававшийся в России в 1876–1918 гг.

художественного театра, пояснив, что для Чехова только и света, что в окошке его мещанского дома в Таганроге, и что с него, Мякотина, довольно скуки, испытанной при чтении произведений Чехова... Быть может, именно ссылке, подневольному трехлетнему барахтанью в засасывающей будничной гуще я обязан тем, что уже не мог закрывать глаза на действительность, что она, напротив, глухо волновала и растравляла скептицизм.

Однако первые месяцы пребывания все помыслы и чувства были прикованы еще к Петербургу, к Невскому за Николаевским вокзалом. Не считаясь с тем, что Альберт Львович не предоставлен всецело себе, а очень занят по-прежнему, я писал ему длинейшие письма, которые помогали самому кое-как разобраться в хаосе мыслей и ощущений... Памятно мне, что в последнем письме, полученном от бесценного друга, Альберт Львович с присущей ему мягкостью убедительно возражал на мои доказательства, что человек должен вести себя так, чтобы в любую минуту быть готовым спокойно встретить смерть.

Упоминание о последнем письме подводит к страшной драме, можно сказать, трагедии, ибо в том, что произошло, звучал для Альберта Львовича голос рока. На упомянутое письмо его я немедленно ответил весьма обстоятельным посланием, которое недели через три (письмо в Петербург шло 10 дней) получил обратно от жены Альберта Львовича, сообщавшей, что 17 апреля он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Впоследствии выяснилось, что Анатолий действительно приехал с грузом подпольной литературы, но за ним уже следили, и, когда установлены были все его связи, он был схвачен. Арестован был и Альберт Львович, и в Одессе группа во главе со Штернбергом, причем один из арестован-

ных обнаружил излишнюю словоохотливость и был выпущен из тюрьмы без наказания. Все остальные подверглись тягчайшим карам... Альберт Львович около двух лет просидел в казематах Петропавловской крепости, после чего был отправлен по этапу в Якутскую область. За ним последовала жена с дочерью, а в Якутске, как подробно рассказано в известной книге Кеннана²⁷ о Сибири, заключенные отказались повиноваться зверскому приказу губернатора, распорядившегося отправить их в разгар зимы в расположенный за полярным кругом Нижнеколымск. Губернатор приказал применить силу и отрядил взвод пехоты. Из дома, в котором ссыльные заперлись, раздался выстрел, войска стали стрелять, одного убили, другого тяжело ранили. Поведение ссыльных квалифицировано было как бунт, и военный суд жестоко расправился с ними, приговорив тяжело раненного Когана-Бронштейна и Гаусмана к повешению. Вдова с дочерью вернулась в Петербург, в 1896 году, когда и Штернберг туда приехал, я предложил навестить ее, чтобы от живого свидетеля узнать о последних днях друга. Мы очень волновались перед свиданием, я душевно трепетал, но нашел не то, что ожидал. Она мало изменилась внешне за десять протекших лет, только глаза стали еще печальнее, и, сообщив, что вторично вышла замуж, тем же спокойным, скорбным голосом отвечала на наши вопросы о якутском происшествии. Моей очаровательной Нади, тоже вышедшей замуж, не было дома, и все показалось так чуждо, так остро ощущалось исчезновение былых сердечно-дружеских отношений, что внутри что-то оборвалось, и, когда мы вышли на лестницу, я, как мальчик, истерически разрыдался, а Штерн-

27 Русское издание: Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. СПб., 1906.

берг, всегда сдержанный и нежно меня успокаивавший, сам был недалек от моего состояния.

Однако забежал я далеко вперед, за эти десять лет так много переменилось в жизни. Тогда же, в ссылке, по получении известия об аресте Альберта Львовича я почувствовал себя осиротевшим, и, вероятно, чувство это не было свободно от эгоистического элемента: мне не с кем было больше делиться моими теориями и душевными тревогами, и только теперь я болезненно ощутил свое одиночество. Но мысль о смертной казни, конечно, в голову не приходила, хотя заключение в Петропавловку и предвещало суровый приговор. В дальнейших письмах жена Альберта Львовича предупредила, что, как рассказал ей муж на свидании, его несколько раз допрашивал П.Н.Дурново, тогда директор департамента полиции, а потом задушивший, в качестве министра внутренних дел, Первую революцию 1905–1906 годов. Дурново неизменно допрашивал Альберта Львовича о его отношениях ко мне... Когда же отец вновь приехал в Петербург и перед тем же Дурново ходатайствовал о сокращении срока ссылки, тот недвусмысленно намекнул, что мое наказание не соответствует содеянному, что вряд ли оно ограничится назначенным сроком. Но намеки и угрозы не реализовались, и так и осталось загадкой, чья рука и почему выхватила меня из западни, в которой уже находились обе группы – в Петербурге и Одессе. Если они так подробно были прослежены, то департаменту не могло не быть известно мое участие. Правда, после разоблачений Азефа²⁸ выяснилось, что такие капризы судьбы, и много более странные, не раз

28 Евно Азеф – лидер боевой организации эсеров, проводившей террористические акты; оказался одновременно агентом полиции.

случались и объяснялись желанием укрыть роль предателей, но в данном случае и такого мотива найти мне не удалось. А дважды все же пришлось пережить минуты неприятные: казалось, что мой час пробил.

В первый раз – это было вскоре после ареста Альберта Львовича – ко мне явился исправник с помощником и полицейскими и, не объясняя причин, сказал, что имеет приказ произвести обыск, забрал несколько писем, а попутно обратил внимание на охотничье ружье: я пытался развлекаться охотой (отлучки за город были молчаливо разрешены, я лишь предупредил моего цербера), но, по близорукости, только смешил людей. Исправник напомнил, что держать огнестрельное оружие ссыльным запрещено, а по окончании обыска, уходя, заметил, что у него есть отличная двустволка, которую он мог бы дешево уступить...

Второй случай оставил в памяти болезненный рубец, который долго не заживал. В 2 часа дня, сильно проголодавшись, я посматривал в окно, не несут ли обеда, который тогда я получал из местного клуба. Вместо этого я вдруг увидел большую процессию, конную и пешую, остановившуюся у ворот: в почтовом тарантасе сидели жандармский полковник и штатский, это был товарищ²⁹ прокурора, они прикатили за несколько сот верст из Вельска. Пешком шли исправник с надзирателем и цербером, а за ними почтительно продвигалось несколько обывателей, которые должны были исполнять роль понятых при обыске. Процессия заполонила всю комнату, жандарм предъявил ордер на обыск, который и был произведен с большой тщательностью, и большая часть бумаг и писем

была забрана; а затем, ни слова не говоря, незванные гости удалились, и меня вдруг обуял животный, безумный страх... Было невыразимо стыдно, тщетно я пытался логическими доводами это отвратительное чувство пересилить. Измученный внутренней борьбой, я часов в шесть вышел погулять, но в это время с двух противоположных сторон прибежали полицейские и повели меня в полицейское управление.

Исправник, недовольный пренебрежительным отношением к нему приезжих, успокаивал, наивно уверяя, что меня никому не отдаст, а я, стискивая зубы, отвечал, что нисколько не волнуюсь. Мы вошли с исправником в его кабинет, где уже сидели жандарм и товарищ прокурора, развалившись и ковыряя в зубах после сытного обеда. Предложив исправнику оставить их одних со мной, они еще с минуту продолжали сидеть молча, и вдруг страх как рукой сняло, он уступил место злобному раздражению. Странно было, что как бы в ответ их отношение изменилось, у прокурора послышались даже заискивающие нотки, когда он пояснял, что при аресте в Одессе найдено было письмо на мое имя, которое не успели отправить: некоторые места представляются загадочными и требуют с моей стороны разъяснений, которые я, конечно, не откажусь дать. Я просил дать мне письмо, чтобы ориентироваться в его содержании, они не согласились, прочитывали мне отдельные предложения, из которых нетрудно было понять, что письмо составлено крайне неосторожно. Однако отказ дать прочитать письмо очень облегчал задачу, и ответы мои явно раздражали, чему я злорадствовал, как бы вымещая позорное чувство страха. «Мы вас сейчас же отпустим, если вы объясните, что означает фраза: «Вообще перспективы проясняются»». – «Если я не знаю связи этой фразы с предыдущей, то могу лишь предположить, что корреспондент мой, собирающийся вскоре жениться, предстоящей радостной перемене жизни

приписывает прояснение перспектив». Опять, как и в Петербурге, резкая перемена тона, сухое: «Запишите!» и потом: «Можете идти!» А в соседней комнате торжествующий исправник: «Я же сказал вам, что никому не отдам!»

За вычетом этих сюрпризов, жизнь отличалась усыпляющей монотонностью, которой нужно было противопоставить разнообразие умственных занятий. С таким увлечением и настойчивостью предался я изучению английского языка по отличному самоучителю, что через два месяца мог не читать, а жадно глотать «Записки Пиквикского клуба» и вырос в собственных глазах.

Труднее было справиться с главной задачей – подготовиться к окончательному университетскому экзамену. Полнейшее отсутствие руководства, системы и последовательности в изучении юридических наук оставило зияющие пробелы, и если впоследствии удавалось кое-как их заполнить, то недостаток фундамента так уж и остался навсегда, и не раз я испытывал горькое бессилие развить и обосновать мысли, которые тревожно копошились в голове. Мне прислали лекции по римскому праву пользовавшегося большой популярностью профессора С.А.Муромцева. Предложенное им историческое изложение русского римского гражданского права заронило догадку, что развитие гражданского права, определяющего область частной инициативы, похоже больше на качание маятника, что границы этой области то сокращаются, то раздвигаются. Казалось непонятным, что об этой, для меня ставшей основной, проблеме исторического изложения Муромцев говорит мимоходом, в примечании, а утверждение, будто «развитие индивидуализма идет рука об руку с развитием ответственности», ударило по больному месту и вызвало протест, которого обосновать я не мог бы.

Лет через пятнадцать я имел высокое удовольствие познакомиться с Муромцевым – невозмутимым благородным красавцем, с изящными, с оттенком торжественности манерами и такой же размеренной и внушительной речью. Это было в начале 1905 года, на крутом подъеме освободительного движения, когда все кругом возбужденно волновалось, а Муромцев властно заставлял нас, как учеников, корпеть над выработкой деталей «Наказа» для Государственной думы, которая только еще в перспективе вырисовывалась. Эта вера в силу и значение «Наказа», который потом он с таким неподражаемым величавым достоинством тщетно пытался проводить в бурной Первой Думе, живо напомнила «примечание», которое так легко и просто разрешало на бумаге трагическое противоречие между человеком и человечеством.

Если лекции Муромцева вызвали неудовлетворенность и поставили вопросы, которые я тогда даже и формулировать отчетливо не мог, то другая книга озарила и совсем покорила меня. Еще будучи студентом в Одессе, я приобрел в русском переводе два тома «Логики» Милля, но, почтительно на нее поглядывая, все не решался приняться за штудирование. Я опасался, что, отвлекаемый принятыми на себя общественными обязанностями, не одолею ее, и это удерживало: берясь за толстую серьезную книгу, я как бы вступал в бой с ее автором, и отложить ее неоконченной – значило потерпеть поражение, которое подрывало неустойчивую веру в себя и потому неприятно всегда ощущалось.

Я захватил Милля с собой в Петербург, но там еще меньше было возможности посвятить себя чтению с надеждой дойти благополучно до конца. Теперь, в ссылке, став полным хозяином своего времени, я решил уделять ежедневно два часа штудированию «Логики». С большим трудом, как наложенное

послушание, преодолевал я отвлеченные рассуждения первого тома о названиях, вещах, определениях, силлогизмах, несколько раз порывался бросить, не будучи в состоянии дать себе отчет, правильно ли я усваиваю сущность мыслей автора. Но упрямство брало верх, и в таком мучительном настроении я подошел к отделу об индукции и ошибках мышления. Сторичей была вознаграждена настойчивость. Передо мной открылось нечто совершенно неведомое и неподозреваемое, точно покров сняли с глаз, и бурная радость охватила меня. Конечно, ярко вспыхнувшая вера во всемогущество разума и логики в дальнейшем не выдержала испытания жизни, немало ошибок весьма чувствительным грузом лежит на совести, но Миллю я обязан умственной честностью и искренностью, которая заставляла сознавать и сознаваться в своих ошибках.

А после Милля меня уже ждала другая вдохновенная радость. Надо же было так случиться, чтобы в это время появилось первое дешевое издание полного собрания сочинений Льва Толстого. Некоторые произведения я уже знал, но они не находили в душе такого горячего отклика, как романы Тургенева, да и в кружках самообразования Толстой был не в чести. И как поверить, что революционеры только тогда стали пропагандировать Толстого, когда он оборвал свое несравненное художественное творчество ради проповеди непротивления злу насилием, которая резко противоречила народовольческому лозунгу: «В борьбе обрешь ты право свое!» Вспоминаю свое недоумение, когда, еще в Одессе, член ЦК «Народной воли» передал мне для продажи тючок гектографированных изданий «В чем моя вера» и «Исповеди», под фирмой «Народной воли» выпущенных. Эти запрещенные цензурой проповеди имели в публике большой успех и распространялись по высоким ценам... Был тут, впрочем, и другой своеобразный расчет: пусть эта проповедь вредит нам, но, как антиправи-

тельственная, она содействует разложению режима. А значит, как это выражено в грубоватой народной поговорке – хоть морда в крови, а наша взяла.

Я прочел все, кажется, их было десять, пухленькие тома от доски до доски. Читал и перечитывал, иногда сердце так кололось от радостного волнения, что приходилось откладывать книгу, и я все вспоминал Надю, которая, бывало, вдруг расплачется от жалости или ужаса, так что я должен был прерывать чтение.

Впоследствии мне много раз приходилось по поводу разных юбилейных дат писать и выступать с публичными речами о Толстом, и я так формулировал свое восприятие его творчества: оно впервые приподняло перед нами завесу повседневной жизни, с гениальной простотой показало, что именно здесь лежит центр нашего бытия, а не в тех мимолетных героических взлетах души, которые остаются лишь тяжелым напоминанием о глубине падения. Я так возгордился Толстым, точно в его творчестве было нечто мое – в благородной простоте, углубленной до мистической проникновенности, в дерзновенном срывании покровов, под которыми задыхается живая мятущаяся жизнь, ощущался национальный характер его гения. Для меня лично он был в полном смысле слова учителем жизни: если логика Милля принесла умственное откровение, то сочинения великого писателя земли русской дали нравственное просветление.

Поделиться обуревавшими меня мыслями было не с кем. Таить их в себе я не мог, они переливались через край. Я стал испытывать страстное желание изложить свои мысли на бумаге, это был, вероятно, что называется, писательский зуд, который с тех пор и перешел в хроническую болезнь. Однако все мои литературные упражнения в ссылке постигла странная

судьба. Я получал из редакций лестные отзывы, но статьи не появлялись, а мне тогда казалось, что не может быть высшего счастья, чем увидеть свою статью напечатанной и, вместо одиночества, вдруг ощутить духовное общение с тысячами людей.

Сколько, однако, ни ходи вокруг да около, надо переходить к тому, что сильнее всего давило в разгар моих занятий и литературных упражнений на настроение и стало серьезным жизненным испытанием. Я снимал тогда две комнаты в семье сидельца одной из винных лавок, очень доброго, иногда запивавшего. Зато жена его, еле объяснявшаяся по-русски, была сварлива и вечно ссорилась с детьми – двумя взрослыми дочерьми и сыном – писцом в управе. С младшей дочерью, прошедшей через русскую начальную школу, я сошелся, и результат, которого следовало ожидать, для меня был неожиданным. Помню – в начале лета, на обратном пути с дачи доктора, я рассказал ему о своих отношениях к Анне Ивановне и просил освидетельствовать ее состояние, внушавшее подозрение. Вернувшись домой, истерзанный комарами, грязный от пота, в отвратительном настроении я направил Анну к врачу. Через полчаса она вернулась и огорченно сообщила, что подозрения оказались правильными.

Я стал ее успокаивать, но сам почувствовал себя в тупике, не понимал, как связать настоящее с будущим, не представлял себе, что можно было найти какой-нибудь выход. Но доктор ждал меня к чаю, и, переодевшись в чистое белье, освободившись, после умывания, от зуда, я почувствовал себя бодрым и жизнерадостным. Я пытался конкретней представить себе, что ожидает ее и меня и как преодолеть предстоящие осложнения, но легкомыслие рассеивало все комбинации и властно подсказывало: «Все образуется!» И что же – ведь действительно все

образовалось. О, были минуты тяжелые и бурные тревоги. Кажется, никогда больше я не волновался так, как при разговоре с отцом Анны. Но вероятно, это волнение в связи с полной искренностью и способствовало тому, что объяснение закончилось более чем миролюбиво. Он обещал воздействовать на семью, чтобы она не причиняла дочери никаких неприятностей, и лишь старуха не отказалась от своей ворчливости.

Мальчик родился 20 августа 1887 года. Еще накануне родов я совсем не представлял себе сущности и силы отцовского чувства, а на другой день после рождения само собой, именно само собой решилось, что с этим беззащитным, безответным существом я не расстанусь. Как это осуществить, я не задумывался, напротив – всячески заглушал тревожный вопрос, потому что ответа на него не было, но достаточно было взять ребенка на руки, чтобы сложился разливавший душевную теплоту ответ: пустяки, все образуется. Ребенок доставлял большую радость, смущало лишь, что он спокоен до флегматичности, и тогда меньше всего можно было угадать в нем будущего до суетливости подвижного, беззаветно доверчивого, страстно работоспособного профессора, ставшего, кстати, вместо меня специалистом по педагогике и, в противоположность мне, охотником до абстрактного мышления.

Чтобы еще больше воздействовать на семью, мы устроили торжественные крестины с отцом Константином, доктором-крестным. Акушерка, добродушная немолодая женщина, была крестной и потом очень о ребенке заботилась. Месяца через три меня потрясла внезапная смерть ее: она звала меня в лес по грибы, но в последнюю минуту я был чем-то задержан, и она отправилась вдвоем с девочкой-подростком. На обратном пути лошадь чего-то испугалась, понесла, выбросила седоков,

и Мария Ивановна, ударившись виском о выступ избы, на месте скончалась.

Положение осложнялось тем, что как раз в это время, после рождения ребенка, стали прибывать один за другим новые ссыльные, и это меня сильно стесняло, я чувствовал себя виноватым. Уже на крестинах присутствовал такой новенький, немолодой, совсем лысый кавказец Голиев, бывший сельский учитель, неугомонное, но добродушнейшее, безобиднейшее существо, и, вероятно, я очень обязан был дружескому, за моей спиной, вмешательству Голиева, что фактически ни малейшей неловкости не пришлось испытать.

А в общем, жизнь заметно изменилась. Образовалась целая колония из людей, как на подбор разных, друг другу чуждых, так что состав был центробежный. Я и думаю, что она распалась бы, не будь среди нас замечательного В.Ф.Данилова. Сын вдовца-священника Курской губернии, инженер – он имел невзрачную внешность: маленький, лысый, с вьющимися на затылке остатками волос, широким лицом, всегда готовым расплыться в добрую улыбку, он был олицетворением доброты, мягкости и нежности, услужливости и отреченности от своего «я». Казалось, у него нет вообще никаких желаний и потребностей – хотите веселиться, читать, в винт играть, песни петь – за чем же дело стало? Давайте, я с вами. Хочется ли о чем-нибудь попросить, он непременно предупредит: а вам ведь статью перебелить нужно, давайте-ка, у меня почерк лучше, а делать мне нечего. Только возникнет недоразумение, он, как будто не замечая его, вмешивается и отвлекает внимание в другую сторону. По окончании ссылки он занял самое недоступное для «неблагонадежного» место – был директором технического училища в Баку и, несомненно, показал себя выдающимся педагогом. Думаю, что и к нам он относился как

к детям, несмышленишам, и нельзя сказать, чтобы для этого в обстановке вынужденного безделья не было никаких оснований. Он вошел в сношение с Академией наук, и нам прислали приборы для метеорологических наблюдений³⁰, в которых человек пять принимали участие.

Полную противоположность ему представлял студент Петровско-Разумовской академии Щекотов. Профессиональный забияка и спорщик, он представлял живой календарь революционного движения и в этом видел свое бесспорное превосходство над всеми прочими, для которых у него и было любимое словечко – балда, получившее широкое право гражданства в колонии.

Совсем бесцветным, но уже вполне законченным обывателем был московский юрист Степанов, которого сильно тянуло в усть-сысольское общество. Он и застрял навсегда в Усть-Сысольске, женившись на смазливой вдове умершего при нас фельдшера. Степанов имел литературную работу – для какого-то московского народного издательства составлял отрывные календари.

Двое рабочих, как теперь выражаются, от станка, тоже представляли друг другу яркую противоположность. Лютеранин Райх, здоровенный слесарь, всегда и надо всем язвительно подшучивал, в том числе и над собой, а сам был очень себе на уме. Другой, Ильченко – простой, добродушный, с ленцой, беззаботный хохол с застывшей улыбкой, оживлявшийся, как только начинали петь хором малороссийские песни. Я не мог

30 Как правило, ссыльным либо членам их семей, производившим регулярные метеозамеры (температуру воздуха и воды и т. д.) в отдаленных областях, выплачивали за это жалованье.

понять, как и почему жена его решила соединить жизнь свою с таким простофилей. Винцентина Болеславовна, на мой взгляд, была женщина совершенно исключительная, от нее веяло святостью, и мне больше не пришлось встретить человека, к которому я бы относился с таким любовным, почтительным уважением: высокая, хрупкая, идеально сложенная, с безукоризненно правильным, точеным лицом, омраченным прозрачной тенью неизбывной грусти, и большими серыми глазами... Думаю, один взгляд этих глаз мог бы расшевелить сердце закоренелого грешника еще до того, как она начинала говорить своим проникновенным, ласковым, чуть надтреснутым голосом. Совершенством было каждое движение ее, каждый жест, поворот головы, все дышало покоряющим благородством, и все было в ней так просто и естественно. Через несколько лет после окончания ссылки она скончалась в Саратове от туберкулеза. Ревниво берегу о ней светлую память и горячую благодарность до последнего издыхания: у нее около года пробыл Сережа (сын) в обществе ее дочурки, его сверстницы, прежде чем я смог взять его к себе.

Самой видной фигурой, занявшей особое положение, был молодой врач, окулист, Ф.П.Поляков, с которым и после ссылки судьба меня тесно сводила и вновь разводила по разным местам. Не раз я буду возвращаться к нему на дальнейших страницах с дружеской признательностью. Всех он располагал к себе приятной наружностью, веселым смешком, мягкими, вкрадчивыми манерами и чуткой отзывчивостью. Получив, в виде редкого исключения, разрешение заниматься медицинской практикой, он произвел в больнице настоящий переворот, которому благодушный толстяк нимало не препятствовал. Больницу узнать нельзя было – в приемные часы она переполнена была пациентами, приезжавшими часто за сотни верст, ибо слава о чудотворце все дальше распространялась. Да,

никогда не видевшие настоящей медицинской помощи зыряне искренне считали его чудотворцем. Как же иначе, если они вдруг прозревали после снятия катаракты и т. п. Но ему приходилось лечить от всяких болезней и делать разные операции, и руки у него были подлинно золотые: какое-то чудесное умение, усиливаемое психическим воздействием и сердечной заботливостью, умалять боль и, главное, своими манерами вызывать безграничное доверие. В больнице Федор Петрович работал бесплатно, но небольшие средства, достаточные для жизни в Усть-Сысольске, зарабатывал частной практикой среди чиновников и служащих, которые теперь впервые стали вообще лечиться.

Для полного счета нужно упомянуть еще о Князеве, московском студенте пятого курса, коренастом, невысокого роста человеке, и жене его... Они держались упорно в стороне, и можно было только понять, что он сознательно чуждается нашего общества и совершенно случайно попал в ссылку.

С каким волнением я перехожу к последнему члену нашей колонии А.Н.Александровскому, сознавая, что не найти мне слов, чтобы передать отраду и тревогу, которую мне доставляло близкое общение с ним – несколько месяцев мы прожили в одной квартире. У него было много общего с обаятельной Винцентиной Болеславовной: такой же высокий, тонкий, хрупкий, чудесное бледное лицо с небольшой темно-русой бородой казалось совсем прозрачным, такое же благородство манер и движений. Но такие же большие серые глаза застыли в беспокойстве и избегали смотреть на собеседника, а были обращены внутрь, как бы для того, чтобы не выдать своей глубоко затаенной грусти. Он рад был случаю посмеяться, но именно смех его, надрывный смех сквозь слезы, вызывал

прилив участливой симпатии, желание обнять и приласкать его, как встревоженного ребенка.

Мне думается, что его сходство с женой Ильченко определялось одинаковым мироощущением, а разница – что ее это мироощущение привело к святости, а его – к душевному надлому, который он тщетно пытался залечить.

Попробую рассказать все по порядку, отрешившись от личных впечатлений. А.Н. был сыном священника подгородной Саратовской слободы. Отец общался с Чернышевским до осуждения его на каторгу, мать не позволяла никому повышать голос в присутствии детей. По окончании гимназии в Саратове А.Н. поступил в Киевский университет и, получив диплом кандидата филологических наук, назначен был учителем русского языка в высших классах кременчугской женской гимназии и оставался в этой должности в течение трех лет, до своего ареста, который в захолустном Кременчуге, где его знал весь город, произвел, конечно, большую сенсацию. В тюрьме по провинциальным порядкам его продержали долго, месяцев восемь, и камера всегда была заполнена разнообразными приношениями учениц, родителей и друзей. Беда была лишь в том, что в тюрьму не пропускали ничего алкогольного, и это было для А.Н. большим лишением.

Приговоренный к ссылке в Вологодскую губернию, А.Н. решительно отказался от собранных его поклонниками денег для поездки на свой счет и предпочел идти этапом, в партии, состоявшей из нескольких десятков арестантов, преимущественно беспаспортных бродяг. Выросший на Волге, среди народа, он знал и любил его не абстрактно, как мы, а подлинной живой любовью и воспользовался случаем, чтобы после долгого пребывания среди оторванных от народа слоев снова поглубже заглянуть в душу его.

Этапный путь из Вологды в Усть-Сысольск длился 55 дней – два дня ходьбы по 20–30 верст и «дневка» – отдых на третий день. На остановках и в особенности на дневках А.Н. вел беседы со своими подневольными спутниками и читал им народные произведения Толстого. Сельское начальство на этапных пунктах смотрело, конечно, косо... А.Н. отнюдь не имел в виду заниматься антиправительственной пропагандой и только давал толчок беседе, чтобы развязать языки, наслаждаться и жадно впитывать в себя слышанное.

Он пришел к нам физически измученный и весь переполненный путевыми впечатлениями, совершенно неспособный ориентироваться в новой обстановке. Встретив на улице через несколько дней после его прихода, исправник задержал меня, остановился и, заботливо показывая пальцем на лоб, сказал: «За ним надо присмотреть. Все ли у него тут в порядке?»

В этом действительно можно было усомниться. Домишко, в котором мы обитали, всего-то состоял из двух комнат с кухней, а он путался, и приходилось водить его в уборную. В первые дни трудно было вытянуть из него слово. Он то лежал на диване, то кружил по комнате, то присаживался к столу, на котором лежала стопка почтовой бумаги, и медленно писал крупным, заостренным, четким почерком. Все, что было написано, отсылалось в Париж, где в Сорбонне училась его невеста – медичка, обрусевшая француженка-киевлянка. Почта приходила к нам по понедельникам и четвергам, а на другой день уходила, и большую часть привозимой и увозимой из Усть-Сысольска корреспонденции составляла переписка ссыльных. В эти промежутки между прибытием почты и укладывались отрезки жизни А.Н. Отнеся на почту толстое письмо, он возвращался домой, заметно успокоенный, заходил в мою комнату, усаживался на лежанку и пытался заговаривать... Я пытался

взобраться на своего конька и вовлечь его в беседу о Толстом – он вообще прекрасно знал всю русскую литературу, он начинал рассказывать о Кременчуге, о своем младшем брате, который сознательно отказался от университетского образования, по отбытии воинской повинности поселился в уездном городе на должности библиотекаря и жил затворником, подробно и интересно описывая брату свою жизнь. С течением времени он постепенно оттаивал, его научили играть в винт, и то была потеха, когда партнером его был Щекотов и слово «балда» гудело в воздухе, а он заливался своим больным смехом. Но с приближением весны, которая обычно сразу вступала в свои права, он проявлял все больше беспокойства, совсем перестал обращать внимание на внешность – я называл его Прекрасной Еленой, потому что одна штанина распоролась снизу до колена, и Данилов тщетно упрасивал отдать ему для починки.

Наконец, А.Н. открылся мне, что с началом судоходства по Двине придет из Парижа его невеста; он снял для нее комнату и стал ждать, так мучительно и болезненно напряженно, что заразил всех, и все утратили душевное спокойствие, точно к каждому должна невеста приехать. На пароходе она могла добраться до Сольвычегодска, и 400 верст ей нужно было отмахать в безрессорной таратайке, а кроме того, нельзя было точно предупредить о времени приезда. Поэтому с момента получения телеграммы из Сольвычегодска А.Н. стал сам не свой, последние ночи спал, не раздеваясь, вернее, не спал: просыпаясь, я слышал, как он тяжело ворочается и что-то бормочет. В последнюю ночь и мной овладела неуютная тревога, и, услышав около 6 часов утра почтовый колокольчик, я громко крикнул: «А.Н.!» – но он уже стремительно выскочил из дома, только я и видел его. Я оделся, бесцельно вышел на улицу и, проходя мимо дома, где была наша «столовка», к величайшему своему удивлению, увидел, что там собралась

уже вся колония. Не только я, но, как оказалось, все прислушались и облегченно вздохнули, когда колокольчик зазвенел... Кто-то сбегал на реку, зачерпнул ведро воды, раздули самовар и стали пить чай за здоровье жениха и невесты. Она пробыла у нас месяца три и уехала с последним пароходом, но мы впервые ее увидели за несколько дней до отъезда, когда уже началась неприветливая осенняя погода, увидели настоящую француженку – изящную, подвижную, светски общительную и совсем непринужденно державшуюся (она, конечно, всех нас знала до тонкостей по рассказам А.Н.), с энергичным выражением лица, ясными черными глазами и уверенным тоном речи.

В течение этих трех месяцев они всецело принадлежали друг другу, ни с кем не виделись, утром уезжали на лодке к затону на реке, днем он приходил к нам с судком за обедом, в жаркие дни возвращались на реку, и я тревожился, как он перенесет разлуку. Такой беззаветной, всепоглощающей любви мужчины к женщине мне больше не приходилось видеть, а А.Н. потом поразил меня, рассказав, что больше трех месяцев подряд они жить не могут, приходится разъезжаться. А.Н. проводил ее до пересадки на другой пароход (для этого пришлось сломить свое органическое игнорирование всякого начальства и просить разрешение у исправника), а вернувшись через три дня, съехал, как и надо было ожидать, от меня в комнату, которую она занимала, чистенько, даже нарядно убранную, и сам имел теперь опрятный, франтоватый вид. Но не прошло и месяца, как он снова превратился в Прекрасную Елену, и комната пропахла табачным дымом...

Переезд А.Н. дал возможность углубиться в подготовку к университетскому экзамену, и это было необходимо, ибо наступала для меня последняя зима. Я сходил с товарищами

за обедом и ужином, вечером оставался редко, только когда получалась новая книжка журнала (редакции либеральных газет и журналов посылали нам свои издания бесплатно) и происходило чтение вслух. Но я не помню, чтобы происходило обсуждение и споры по поводу прочитанного. Еще решительнее можно утверждать, что ни разу не возникало принципиального разговора о революционном движении, к нему как-то не проявлялось интереса, определилось молчаливое соглашение о прошлом не говорить. Правда, все были только сочувствующие, и все пострадали из-за оплошности... именно поэтому, вероятно, разложение «Народной воли», к которой наша колония имела отношение только по касательной, сразу и легко дало почувствовать оторванность от революционной деятельности. Когда через несколько лет снова стала подниматься волна подпольной работы и на сцене появились социал-демократы и социалисты-революционеры, сменившие народовольцев, – идейные споры определяли все бытие ссыльных колоний. Кажется, для всех членов нашей колонии ссылка была лишь эпизодом, замутившим на время ровное течение жизненного ручейка, но не засорившим русло и не свернувшем его в другую сторону.

Пост директора технического училища, занятый очаровательным Даниловым, несомненно, как нельзя лучше соответствовал его душевным влечениям. Рейх умудрился устроиться в Петербурге на известном заводе «Айваз» и переменил лютеранскую веру на православную. Ильченко после смерти жены переселился в Саратов, где вновь женился и приезжал в Петербург на какой-то съезд освободительного движения, был очень оживлен и ко мне, как к кадету, относился несколько свысока. От прежнего Щекотова ничего не осталось, он как будто признавал это и стеснялся. Приехал он в столицу к профессорам, чтобы лечить одного из сыновей своих от туберкулеза. Окон-

чив после ссылки Петровско-Разумовскую академию, он вернулся на родину свою в город Тотьму, дослужился до лесничего, женился и имел кучу детей. Он сильно обрюзг, утратил весь свой молодой задор, «балда» исчезло из лексикона, и говорил он только о житейских заботах, о том, как трудно жить. У меня были тогда связи в министерстве земледелия, и я предложил ему помощь для перевода на службу в Петербург, но он только руками замахал: пусть в Тотьме никаких перспектив не имеется и приходится перебиваться с хлеба на квас, но там свой домишко, огород, и тронуться с места большой семьей было бы неоправданной авантюрой. Блестящий успех сопровождал врачебную деятельность Полякова, сначала в Туле, потом в Петербурге, куда он переселился годом позже меня и получил звание лейб-медика: его имя упоминается в переписке государя с государыней в связи с болезнью наследника, которого он лечил.

Остался в полном смысле слова неприкаянным только А.Н.Александровский, уехавший после ссылки в Париж, где занял место преподавателя в русской школе. Невеста его тем временем получила диплом врача, и они поженились. В старых моих записях упомянуто, что «ему предстояло получить кафедру», но теперь не могу сообразить, о какой кафедре идет речь. Во всяком случае, он предпочел принять приглашение известного киевского миллионера-сахарозаводчика Терещенко поступить к нему воспитателем сыновей. А.Н. соблазнился яхтой, на которой семья проводила значительную часть года – это отвечало его непоседливости, душевному беспокойству. Одним из его воспитанников был М.И.Терещенко, сначала чиновник особых поручений при Императорских театрах, впоследствии министр финансов и иностранных дел Временного правительства.

Мы с А.Н. долго поддерживали переписку, два раза он обрадовал присылкой оттисков своих очерков, помещенных в «Русском богатстве» и напоминавших лучшие рассказы Глеба Успенского. Два раза мы виделись в Туле, где А.Н. проездом на короткое время останавливался для свидания с Поляковым и мною, и впечатление беспомощности и душевной растерянности было еще ярче и тревожнее. Во времена Третьей Думы я ежедневно видел в недолговечной газете «Страна» подпись издателя: А.Н.Александровский, но бесконечно далека была мысль, чтобы это был мой А.Н., такое предположение никак не могло бы прийти в голову. А потом, уже в начале войны, он явился ко мне, постаревший, осунувшийся и съездившийся, с потухшими глазами, робкий и молчаливый. Явно делая над собой усилие, он на мои вопросы рассказал, что издателем «Страны» был именно он: Терещенко, дав профессору М.М. Ковалевскому, воскресившему на рубеже нынешнего столетия русское масонство, средства на издание газеты, возложил на А.Н. распоряжение ими – менее подходящего человека для этого найти было бы невозможно. Когда «Страна» закрылась, он уехал в Киев к жене и детям, а сейчас приехал навестить старшего сына, студента политехникума. «Чем же вы теперь заняты?» – продолжал я донимать его. Я чувствовал, что вопросы ему удовольствия не доставляют, но и сам не мог тогда похвастаться душевным равновесием... «Да, так, вообще, ничего! Так, старые книжки хорошие перечитываю, по букинистам хожу, много забавного, интересного найти у них можно и поговорить с ними любопытно. А вечерами с младшим сыном Чехова в лицах читаем».

Революция, беспорядочно разбросавшая близких людей в разные стороны, разлучила меня с А.Н., больше о нем я не слышал, но нет никаких оснований утешать себя, чтобы его хрупкая душа, с трудом переносившая «нормальную обстанов-

ку», могла уцелеть в революционном хаосе. Я спрашивал себя: вот чудесный человек, умный, образованный, добрый, страстно любящий свою «нищую Россию» и народ ее, готовый все силы и способности отдать ему. Для чего же нужно было парализовать эти недюжинные силы, дав и ему «трепещущее сердце, истаивание очей и томление души».

Трагическая судьба А.Н. опять увлекла на многие нелегкие годы вперед, а мне предстоит еще расстаться с Усть-Сысольском. Предвкушение конца ссылки отравлялось опасениями, что срок будет продлен. Эти опасения настойчиво поддерживались Щекотовым, авторитетно ссылавшимся на ряд случаев, когда ссылке преподносили сюрприз в последний момент или даже возвращали с дороги. Теперь, когда на руках был сын, а из дома приходили самые неутешительные известия о материальном положении семьи, мысль об оставлении в Усть-Сысольске приводила в содрогание. А вместе с тем не давала покоя забота, на кого же оставить Сережу, каково будет к нему отношение семьи матери и ее самой, когда меня тут не будет.

Но пессимизм революционного оракула не оправдался, а судьба, напротив, улыбнулась. Незадолго до отъезда мы получили известие, что в Усть-Сысольск по этапу идут два старых друга моих – Перехватов и Демянник, – и я решил встретиться с ними дорогой и умолить понаблюдать за мальчиком. Трогательно напутствуемый товарищами, я уезжал в конце января. Стояла суровая зима, морозы доходили до 35 градусов по Реомюру. Ехал я на «вольных» – это обходилось много дешевле, но езда была медленнее, ночью ямщики с трудом соглашались везти, кроме того, нужно было так приноровиться, чтобы встретить этап на дневке.

Останавливался я в курных крестьянских избах, обычно заставал только хозяйку, которая, склонившись у дымящей лучины и ногой качая зыбку с ребенком, занята была плетением знаменитых вологодских кружев. Разъедало глаза дымом, и больше получаса оставаться в избе было невозможно. Но страшнее была темнота духовная: горизонт женского мирозерцания обрывался у крайней избы, мужчины имели превосходство: они доезжали до соседних деревень. Усть-Сысольск здесь представлялся чем-то сказочным, и меня о нем жадно расспрашивали. Было такое ощущение, что духовных интересов здесь вообще не существует и что с этими людьми меня объединяют только животные инстинкты. Теперь-то я понимаю, что это была гордыня невежества, мне самому можно было кое-чему здесь поучиться. Но тогда мысль работала в другом направлении, и за время бесконечного пути, под унылое позвякивание бубенцов, я терзался неотвязным вопросом, что же мы сделали за три года пребывания среди этих людей, бросили ли в них хоть «единый луч сознания», какую память о себе оставили? А бубенцы все так же уныло позвякивали, и так мы доехали наконец до этапа, сразу заставившего обо всем остальном позабыть. Я опасался помехи со стороны конвойных, потому что свидания и разговоры с препровождаемыми по этапу были строго запрещены, но взволнованная просьба нашла отклик в сердце молодого солдата, лицо которого до сих пор помню. С расцветшей улыбкой, точно ему самому предстоит получить удовольствие, он проводил меня к совершенно изумленным неожиданностью друзьям, и мы часа три провели вместе. Оба были бодры, но у Перехватова заметна была нездоровая полнота и тюремная желтизна лица, оба горячо отозвались на мою мольбу, обещав поселиться в моих комнатах и оградить ребенка от нежелательных влияний.

К концу десятого дня я добрался до Вологды и, сев в вагон, испытал чувство, как будто приехал с того света. Вагон был до отказа набит, и один купец громко выражал свое недовольство, а когда другие пассажиры пытались его урезонить, он отвечал: «Вам-то с полгоря, вы только что сели, а я уже третий день мотаюсь».

«А я вот, – как-то само собой вырвалось у меня, – уже одиннадцатый день передвигаюсь». Он так и замер с широко расставленными руками: «Да что ж вы, с того света, что ли?» Это неожиданно громкое чтение моих мыслей вызвало настоящий припадок смеха, а пассажиры стали требовать, чтобы я рассказал им, в чем дело, и рассказ привлек единодушное сочувствие.

Москва буквально оглушила меня уличным шумом, звонками конки, окриками кучеров, колоссальными расстояниями. Здесь встретил меня первый родной человек, двоюродный брат – адвокат. И он, и жена его ни за что не соглашались отпустить меня тотчас же дальше, но, на манер пушкинской капитанской дочки, я не захотел посмотреть Москву и вечером выехал дальше в Екатеринослав, где в то время проживал с дедом и дядей отец. Здесь меня ждала необычайно горячая встреча, мы с трудом сдерживали слезы. Отец, видимо, был доволен новинкой на мне: в Усть-Сысольске я отрастил рыжеватуую бороду: он расстался три года назад с юношей, а встретил мужа, вероятно, он надеялся, остепенившегося. Через два дня, согретый и ободренный родственными ласками, я радостно выехал в Одессу, не подозревая, какими тяжелыми годами окажется чревата столь много давшая мне ссылка.

Тяжелые годы (1889–1893)

Явкой в полицию по прибытии на родину и обменом проходного свидетельства на паспорт формально ликвидировалась административная ссылка. Фактически же негласный надзор, оставление на примете сохранялось и давало себя знать еще пять лет спустя, когда я уже состоял на государственной службе в Туле, а еще двумя годами позже, когда из Тулы я был назначен в Петербург, в министерство юстиции. Состоявшие под негласным надзором являлись для полиции неприятной обузой – мало ли, что им в голову может взбрести, и естественно, что одесская полиция, помещавшаяся в двух шагах от нашего дома, в мрачном здании с высокой пожарной каланчой, гостеприимства не проявила. Но это возмещалось горячими родственными объятиями, братья и сестры встретили меня как героя и проявляли трогательную заботливость, а мать энергично взялась меня подкармливать, она была убеждена, что вне ее попечения я голодал.

За время моего почти четырехлетнего отсутствия в семье произошли большие перемены. Половина большой квартиры сдана была внаем, но уплотнение служило лишь подтверждением, что в тесноте, да не в обиде. Отец большей частью жил в Екатеринославле или в Белгороде, управляя снятым в аренду большим винокурным заводом, хотя и это дело было ему совершенно незнакомо и тоже принесло большие убытки. Две сестры-погодки кончили гимназию, имели много поклонников, и дом совершенно преобразился: табу, наложенное на лучшую комнату-залу, было снято, она стала центром домашней жизни, там танцевали, вели разные игры, среди поклонников были отличные рассказчики анекдотов, и смех и веселье, сопутствуя разорению, сменили прежнюю тишину и угрю-

мость, царившую при материальном благосостоянии. Так и прожили, пока дом не продали с молотка, и семья не распалась, совсем по-дворянски, как в «Вишневом саду», чудесное представление которого в Художественном театре всегда заставляло вспоминать эти годы.

В числе сестриных гостей частыми посетителями были два кузена, окончившие гимназию в Николаеве. Оставшись круглыми сиротами, они переселились в Одессу, к своим деду и бабке. Они тоже были погодками, но один – высокий, видный красавец, а другой – маленький скромный добряк. Я только теперь с ними познакомился и с первым постепенно все дружественнее сближался – это был Владимир Матвеевич, будущий профессор государственного права, а тогда студент, пленявший всех недюжинным поэтическим талантом. Он тоже страдал гессенской неуверенностью в себе, я же был большим почитателем его таланта и тайком посылал его стихотворения в печать, рискуя его гневом в случае отказа, впрочем, нестрашным – сердиться он не умел, да и поводов жизнь ему не давала: все его любили и баловали.

Из прежних товарищей я нашел в Одессе только Ф. и Пекатороса. Ф. уже кончил университет, был женат и собирался в Лодзь, где получил должность в конторе текстильной фабрики. Тяжелое разочарование принесла встреча с Пекаторосом. Я считал его крепким, негнушимся дубком, а он оказался гибким и податливым, и передо мной стоял другой, совсем чужой человек, который так и смотрел, точно спрашивая недоуменно, зачем я пришел и что мне от него нужно. Он был всецело на стороне ретроградного режима Александра III, как отвечающего требованиям национализма, которым он оправдывал и воздвигнутые тогда московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем жестокие гонения на

евреев. Мне впервые пришлось тогда увидеть столь резкую перемену миросозерцания, и я отказывался верить ушам, сначала думал, что он меня мистифицирует, тем более что внешне он совсем не изменился. Но чем настойчивее я выспрашивал, тем он становился резче и определеннее. Я думаю, однако, что и теперь он был честен и искренен, но бывает у людей такая же чрезмерная, иногда даже патологическая восприимчивость к идеологическому заражению, как к физическому. Больше я его и не видел, но в начале нового столетия, уже будучи в Петербурге, встречал в газетах его имя среди видных деятелей освободительного движения. Он был очевидно гораздо более экспансивен, чем позволяло предполагать его вдумчивое лицо и спокойная, уравновешенная речь.

С первых же дней в центре внимания встал вопрос об экзаменах, предстоявших весной. Я стал усиленно готовиться и неформально сдал даже несколько экзаменов по соглашению с более покладистыми профессорами, как вдруг разразился удар. В этом, 1889 году осенью должны были состояться первые государственные экзамены, введенные университетским уставом 1886 года. Новизна казалась молодежи очень страшной, и много студентов третьего курса бросали университет, чтобы держать экзамены экстернами весной по прежним правилам. Так как это явление приняло массовый характер, оно обратило на себя внимание министерства, и граф Делянов издал циркуляр, воспретивший допущение экстернов к экзамену. Этот циркуляр рикошетом больнее всего ударил по мне.

Покровитель мой профессор Барановский телеграфировал Делянову, прося сделать для меня исключение, а тот через полную тревоги неделю ответил на манер пифии: «Ввиду циркуляра Гессен должен держать экзамен в государственной комиссии». Это само по себе было бы еще с полгоря, но к

экзамену допускались студенты, имевшие свидетельство о зачете восьми семестров, такового у меня не было и быть не могло, и так до самого начала экзамена я оставался в неопределенном положении, не зная, согласится ли председатель государственной комиссии истолковать слово «должен» в смысле разрешения быть допущенным к экзамену без соблюдения требуемых уставом условий. К счастью, председателем был назначен профессор Киевского университета Владимирский-Буданов, человек столь же ученый, сколь и добрый, и он принял телеграмму за министерское разрешение. Мой диплом и представлял некоторый уникум, так в нем и напечатано было: вместо слов: «по предъявлении свидетельства о зачете 8 полугодий» – «на основании телеграммы его сиятельства г. министра народного просвещения».

Нас держало экзамены 60 человек, я был 61-й, они были разделены на четыре группы по 15 студентов в день. Накануне первого экзамена по римскому праву вывешен был в университете список распределения по группам, и – о ужас! – моей фамилии в списке не оказалось. Сомнения оправдались, я к экзамену не допущен. Но, бросившись к Буданову за разъяснением, я узнал, что пропуск – случайный, и тут же он записал меня в первую группу. На другой день, уже достаточно истомленный сомнениями и усиленной подготовкой, я далеко не оправился от вчерашнего потрясения и явился на экзамен в состоянии тупого безразличия от нервной усталости. Но выручил меня благодетельный курьез: я вынул билет, на котором, между прочим, значилось – вещи движимые и недвижимые. После короткого ответа профессор Табашников перебил меня предложением объяснить разницу между названными вещами, на что я сказал, что недвижимые прикреплены к месту, а движимые могут быть переносимы. Профессор, мне показалось, насмешливо, спросил: «А вот в Америке нашли способ

передвигать дома с места на место?» Не без раздражения я ответил, что если бы римляне этот способ знали, то, несомненно, нашли бы другое определение, и считал, что диплома первой степени уже в любом случае не получу. И вдруг председатель улыбнулся и, обратившись к профессору со словами: «Я думаю – довольно!», протянул мне руку: «Отлично!» Я вышел в недоумении. Вероятно, неожиданным успехом я обязан был каким-то личным счетам между профессорами, во всяком случае, после этого чистосердечно не понимаю, как это произошло – экзамены сходили очень легко, и я не только получил диплом первой степени, но предложено было оставить меня при университете для подготовки по кафедре гражданского права.

Радость продолжалась недолго, министерство отказало в утверждении ввиду политической неблагонадежности. Оставалось записаться в помощники присяжного поверенного, и меня принял известный тогда на юге адвокат В.Я.Протопопов. У жены его, жеманной генеральши по первому браку (в буддуре стоял портрет brave генерала), было большое состояние, и они занимали роскошную большую квартиру. Уезжая в провинцию по делам, Протопопов оставлял на меня кабинет, а возвращаясь, проходил со мной гражданские законы, которые благодаря ему я отлично изучил. Позже он был выбран городской головой Одессы, а во времена Третьей Думы вдруг появился в Петербурге и оживленно рассказал, что, так как падчерица, вопреки его настояниям, вышла замуж за несимпатичного ему инженера, «я схватил шапку в охапку и переехал к вам в Петербург, принимайте гостей!».

У Протопопова я работал с полгода, пока в Окружном суде затягивалось рассмотрение моего ходатайства, завершившееся отказом в зачислении в адвокатуру – патент неблагонадежно-

сти и тут проявил свое действие. Председателем Одесского суда был М.Г.Акимов, впоследствии министр юстиции и председатель Государственного совета. Теперь, после отказа Окружного суда начались бесконечные мытарства. Куда я только ни бросался и чем только ни готов был заняться, лишь бы добыть заработок. Знакомые исхлопотали место в конторе крупного торгового дома готового платья Мандель и даже вызвали меня в Москву, но, по-видимому, я не понравился хозяевам и принят не был. Обещана была должность в одном из многочисленных банков еврейского миллионера Полякова, если я готов ехать в Персию. Хотя я, не задумываясь, согласился, но и из этого тоже ничего не вышло.

Однажды пришел я с отцом к виднейшему одесскому адвокату Т. для консультации по сложному гражданскому процессу, возникшему из аренды упомянутого винокуренного завода в Белгороде. По окончании консультации Т. предложил мне заведовать его канцелярией за вознаграждение в 75 рублей в месяц. Нечего и говорить, что я с радостью и благодарностью согласился, и мы условились, что я уже с завтрашнего дня приступлю к работе. В сущности, это предложение ничего заманчивого не представляло, не открывало никаких перспектив, но на голодухе по занятию и какому-нибудь заработку смущаться не приходилось, и мы вышли с отцом довольными совершенно неожиданной удачей. Но радость была опять непродолжительна. Уже через несколько часов получено было извинительное письмо, в котором Т. запутанно объяснял, что он несколько поторопился, что он известит, когда можно будет приступить к работе, если, конечно, к тому времени я еще буду свободен.

После этой неудачи, столь нелепой и тем более обидной, юридический факультет по собственной инициативе профес-

сора Табашникова постановил вторично возбудить перед министерством ходатайство об оставлении меня для подготовки по кафедре гражданского права. Но так как со времени окончания университета уже прошло два года, то для проверки, не отстал ли я в науке, мне предложено было представить новую письменную работу, а тема для нее выбрана была весьма актуальная, поставленная А.Л.Боровиковским в наделавшей много шума книге его «Отчет судьи». Приведя ряд решений из своей практики, Боровиковский выставляет основным тезисом, что судейская совесть должна служить коррективом оказавшегося несправедливым закона. Трудно, думаю мне, найти более яркую жизненную иллюстрацию к афоризму, что добрыми намерениями дорога в ад вымощена, и наш автор сам же напоминает, что «никакая благонамеренность побуждений не может оправдать смуты, вносимой в гражданскую жизнь судейским произволом». Проповедь Боровиковского пробуждала засыпавшее уже неуважение к закону, нашедшее презрительное отражение в народной поговорке: закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло.

Как выяснилось потом, одесская профессура, считавшая откровение Боровиковского ересью, не решалась открыто выступить против своего коллеги и воспользовалась случаем, чтобы пустить меня в ход, как голову турка. Но во всю жизнь я оставался очень плохим чтецом задних мыслей, а тогда даже не предполагал их. Тема же была весьма увлекательная, и я с удовольствием принялся за работу. Предварительно прочел ее в небольшом товарищеском кружке и встретил безоговорочное одобрение. Весьма положительно отнесся и факультет (Боровиковский, как приват-доцент, в заседаниях факультета не участвовал) и направил вторичное ходатайство в Петербург об оставлении меня при университете. Кажется, уже после получения вторичного отказа из министерства Боровиковский

выразил мне удивление, что до сих пор незнаком с моим произведением, о котором в университетских кругах все только и говорят, отзываясь с большой похвалой. Мне ничего не оставалось, как принести рукопись, от которой он пришел в ярость и вернул исчерканной возмущенными пометками вместе с очень обиженным письмом, полным упреков.

От своей губительной тенденции Боровиковский ни на йоту не отказался, но в отношении ко мне быстро и великодушно сменил гнев на милость. Но как же мне отказаться видеть перст судьбы в том, что навязанная мне с задними мыслями тема, непосредственно ничего, кроме неприятностей, не принеся, пять лет спустя стала боевым лозунгом всей дальнейшей жизни и воспитала общественного деятеля.

Тогда я об этом не гадал и не думал, а лишь еще согнулся под новым отказом министерства народного просвещения и стал искать других путей для получения заработка. Не помню, какие деловые соображения побудили меня попытаться счастья в Кишиневе, среди тамошней адвокатуры, с которой, однако, удалось установить только личные хорошие отношения. Не оправдались надежды и на знакомства старшего брата, тогда он владел в Кишиневе аптекой. Но главным притяжением было то, что там поселилась моя будущая жена с детьми. В Кишиневе жили многочисленные родственники ее покойной матери и среди них дядя, доктор М.О.Блюменфельд, пользовавшийся большой популярностью во всей Бессарабии и даже за пределами ее. Сын просвещенного кишиневского раввина, Михаил Осипович, сухопарый, подвижный, приветливый, был блестящим хирургом и выдающимся врачом-терапевтом, излюбленным одинаково и всей молдаванской, очень притязательной аристократией, и еврейской беднотой. Трудно было понять, как он справляется со своей домашней практикой, будучи и

ординатором еврейской больницы, и остается неизмеримо бодрым, добродушно спокойным, неистощимо терпеливым с невежественной беднотой, которая, уплачивая за совет 10–15 копеек, проявляла капризную требовательность. Блюменфельд был не только врачом, но фактически по наследству нес на себе и отцовские обязанности: его осаждали и просьбами о житейских советах, об улаживании семейных недоразумений, избирали арбитром в спорах и тяжбах, и никому никогда любвеобильное сердце этого идеального бессребреника не в состоянии было отказать в помощи и содействии.

Такое же любвеобильное сердце составляло основную черту его любимой племянницы, моей будущей жены, черту, отодвигавшую в тень все другие свойства беззаботного, жизнерадостного характера. Это чуткое сердце было усыплено тяжелой домашней обстановкой после преждевременной смерти матери, которая, начав с зеленой стойки на Грецк, создала своими руками большое состояние и открыла банковскую контору в Одессе. Очень добрый, но недалекий и безвольный отец вскоре после смерти матери вторично женился на еврейской «аристократке», народившей ему большое потомство и оказавшейся настоящей мачехой для детей от первого брака. Семнадцати лет Анна выдана была замуж за человека вдвое старше ее, брак оказался неудачным, и в течение нескольких лет муж не соглашался дать ей развод. Когда же мы поженились и осели в Петербурге, я недооценил силы сердца ее и думал, что она удовлетворится домашними заботами и уходом за детьми. Но Петербург разбудил сердце, и оно проявило такую активность, такую необузданную энергию, которая мне, с годами профессионально черствевшему, иногда казалась безрассудной. Делать добро людям было для нее такой же непреодолимой потребностью, как утолить физический голод, и это не воспринималось как исполнение обязан-

ности, а как ощущение высшего наслаждения. Случилась беда – рассуждать и поздно, и преждевременно; сейчас нужно помочь, а разговаривать будем потом. Ничего не видевшая и не усвоившая в замкнутой семье, лишенной всяких общественных интересов, она проявила тончайшее чутье и умела окружить себя искренними, преданными делу людьми, создала свой мир и жила полной, насыщенной жизнью.

В те тяжелые годы на мне произошла, так сказать, проба ее душевных сил. Сомневаюсь, чтобы я в состоянии был вынести сыпавшиеся одну за другой неудачи, если бы не встретил ее моральной поддержки, если бы не опирался на ее несокрушимую уверенность. Кишиневский опыт тоже оказался безрезультатным, и я вернулся в Одессу, куда через некоторое время переселилась и моя спасительница с детьми. И вот наконец, к явному ее неудовольствию, я нашел занятие за те же 75 рублей в месяц в крупной торговой фирме иностранных земледельческих машин и орудий. Я начал деятельность с записей в особую книгу торговых векселей, сразу напутал и получил сердитое замечание от бухгалтера за то, что помаркой нарушил девственно непорочный вид каллиграфического фолианта. В тот же день я заболел, и легкая дизентерия решила мою судьбу: Анна Исааковна воспользовалась несколькими днями моей болезни, чтобы неудержимым красноречием убеждать меня и всех окружающих, что я должен отказаться от службы в коммерческом предприятии, и, само собой разумеется, наиболее охотно резонность приведенных ею доводов признал сам владелец предприятия. Мое место занял приятель Л., очень умный, талантливый юрист, и сделал блестящую карьеру, позже сам стал в Петербурге и Москве представителем крупнейших германских и американских фирм.

Между тем известия из Усть-Сысольска становились все менее утешительными. Перехватов сильно пострадал от длительного пребывания в тюрьме, и ему труднее стало бороться со слабостью к алкоголю. Демяник должен был от него съехать, колония разлагалась, случались даже уличные дебоширства, и надо было торопиться Сережу оттуда взять. Я упоминал уже, что Ильченко взяли его к себе, там мальчик был в идеальных условиях, влияние жены Ильченко было предельно благотворным, но ее болезненное состояние заметно обострялось, чужой ребенок обострял обузу, с другой стороны – чуждая мне флегматичность сына еще резче бросалась в глаза, и я убедился мыслью и сердцем, что нельзя ему больше мыкаться, что нужно разрубить этот гордиев узел. А разрубила его Анна Исааковна, взяв Сережу к себе и придумав затейливую комбинацию, чтобы появление четвертого – пятилетнего – мальчика не вызвало лишних толков и пересудов, которые могли бы поставить ребенка в фальшивое положение. Это была вторая проба ее сил, которая дала результаты изумительные: до зрелого возраста, когда ему случайно попало в руки письмо из Ташкента, где мать Сережи, вышедшая замуж, очутилась, он считал Анну Исааковну своей матерью, был к ней привязан нежнее, чем сыновья, и отношения между четырьмя мальчиками, а потом юношами не оставляли желать лучшего...

Прибытие Сережи обострило вопрос об урегулировании его юридического положения. Как раз в это время появился благодетельный закон 1891 года, введивший институт усыновления, дотоле допускавшегося только по царской милости. Но для усыновления требовалось, чтобы я принял православие, что должна была совершить и жена для устранения препятствий к нашему браку. Вместе с тем последствием крещения было устранение формальной препоны к поступлению на

государственную службу. Но именно потому, что крещение предвещало избавление от ограничений, личные выгоды, – отречение от веры отцов далось нелегко. Настоящей привязанности к религии, конечно, не было, потому что ассимиляция быстро продвигалась вперед, в нашей семье еврейский ритуал давно уже стал сходить на нет, все определеннее принимая форму мертвой обрядности, ничего не говорящей уму и сердцу. Оставалось только инстинктивное сопротивление вынужденности перехода и стыд перед отцом, которого я лишаю загробного утешения, не имея права, как мешу-мед³¹, произносить поминальную молитву об упокоении души умершего. Не сомневаюсь, что, если бы я спросил отца, он не противился бы моему решению, но я предпочитал не делить с ним ответственность за свой шаг.

На дочерях обязанности поминальных молитв не лежит, да и вообще Анне Исааковне стремительное сердце не позволяло колебаться, и она поддерживала решение, которое ради сына необходимо было принять. Было нечто символическое в том, что крещение совершено было в тюремной церкви: одесская тюрьма завершила цикл событий, начавшихся с петербургского Дома предварительного заключения.

После этого начались усиленные хлопоты перед министерством юстиции о принятии на службу, и здесь немало помог обиженный мною Боровиковский. Министерство не соглашалось разрешить мне служить в округе Одесской судебной палаты. На запрос председателя Варшавской судебной палаты из Петербурга был получен ответ, что ввиду исключи-

31 Мешумед – выкрест, человек, перешедший в христианство из другой религии.

тельно лестных отзывов министерство не видит препятствий к принятию на службу в Варшавский округ, где, однако, я не должен рассчитывать на занятие самостоятельных ответственных должностей, и, со своей стороны, рекомендовало служить вне черты оседлости, где карьера будет беспрепятственной. Я готов был согласиться, потому что моим бесплодным изнуряющим исканиям минуло уже четыре года... Но жена опять решительно воспротивилась, убеждая, что теперь ждать уже недолго, и хлопоты перенесены были в Московскую судебную палату, во главе которой еще стоял накануне назначения товарищем министра В.Р.Завадский. Он и написал на прошении четким, размашистым почерком: «Полагал бы принять». Но назначение совершалось по соглашению с прокурором судебной палаты, а прокурором в это время был старый знакомец, нанесший один из ударов, М.Г.Акимов. Теперь он прямо не противоречил, но сделал существенную оговорку: «Ввиду прошлого Гессена полагал бы сначала назначить его в провинцию», и под этим Завадский подмахнул: «В Тулу».

На этот раз Акимов оказал мне бесценную услугу: если бы я остался в Москве, то среди бесчисленного количества кандидатов на судебные должности затерялся бы, а в Туле ждала меня большая удача, и когда, с полгода спустя, переведенный из Тулы в Москву товарищ председателя, отцовски меня полюбивший, предложил перевод в Москву, я, уже освоив тульские преимущества, отказался от лестного предложения, и поступил правильно.

Не думаю, чтобы выбор Тулы был случайным. Конечно, Завадский не знал, что Тула мне не совсем чужая, потому что на ней остановил свой выбор по окончании ссылки Ф.П.Поляков и там поселился. Но, вероятно, Завадский имел в виду отдать меня попечению замечательного человека, назначенно-

го председателем Тульского суда, – Николая Васильевича Давыдова.

В эмиграции мне посчастливилось встретиться с сыном Завадского, бывшим сенатором. Я сказал ему, что переносу на него сердечную благодарность, которую навсегда сохранил к его отцу. Он восторженно об отце отзывался, как о человеке блестящем, и неожиданно прибавил: «А вот я во сколько раз образованнее и разностороннее отца, а человек совсем тусклый...»

В конце июля я уехал в Тулу, потрясенный семейной драмой: за месяц до отъезда отец, не перенеся разорения, внезапно скончался, как раз когда я стоял на пороге осуществления его надежд найти во мне поддержку семьи. Но тогда у меня у самого была надломлена вера в будущее.

На государственной службе. Тула (1894–1895)

Невеселые размышления сопровождали мое путешествие в Тулу, однообразное постукивание колес не давало никаких оснований предполагать, что тяжелые годы остались позади, а впереди ждет большая незаслуженная удача. В Харькове подсел словоохотливый молодой человек и, выведав, что я еду в Тулу на службу, радостно воскликнул: «Так я же служил там кандидатом на судебные должности и все могу вам описать». Описание «всего» потребовало одной лишь черной краски: хуже Тулы вообще ничего себе и представить нельзя, и больше полугода там выдержать невыносимо, город грязный, скучный, люди злобные, неприятные. «Я из евреев. И хотя ныне я православный, тем не менее только ленивый не тыкал мне в глаза мое еврейство». Говорил он громко, обращался не только ко мне и со стороны одного купчины вызвал резкое непечатное замечание, поддержанное злорадным смехом всего вагона. На ближайшей остановке оратор перешел в другой вагон.

В Туле я Ф.П.Полякова не застал: он летом уезжал обычно на два месяца в Берлин знакомиться с новыми успехами медицины в лечении уха, горла и носа, сменившем прежнюю его специальность. Но его мать, добрейшая, радушнейшая старушка, и сестра ее, бездетная вдова, встретили меня, как горячо любимого сына, и окружили такой нежной заботливостью и лаской, к каким я не привык и в родном доме, отрицавшем «нежности».

Поляков занимал большую квартиру в двухэтажном доме, выходившем на базарную площадь. С утра до позднего вечера на столе кипел самовар, чуть он остывал, его выносили на короткое время, чтобы вновь подать в бодром виде со вновь вымытыми чашками и свеженаполненными вареньем вазоч-

ками. Гости не переводились и почти не сменялись, а лишь прибывали все новые. И к пяти-шести часам составлялся настоящий раут, преимущественно из женщин, не отличавшихся цветущей молодостью и красотой. Тут были и замужние женщины, и совсем немолодые девицы. Одна – дочь члена Окружного суда с таким бюстом, какие бывали у ярмарочных комедианток, появляющихся с чайным подносом на груди. Другая – классная дама в местной гимназии, огромная, как медведь, напоминающая его всеми ухватками, равно как и рыкающим голосом. Каждая вновь появляющаяся гостя обязательно начинала с вопроса, что пишет Федор Петрович и когда ожидается его приезд. Старушка охотно, в пятый и десятый раз отвечала, как заученный урок, и все присутствующие с видимым удовольствием повторение выслушивали, а если рассказчица упускала какую-либо деталь, все наперерыв подсказывали. Дамы и во мне приняли горячее участие по приисканию мебелированной комнаты.

Поляков вернулся из-за границы со свежими силами, по-прежнему бодрый, тотчас взялся за работу, и уже в первые базарные дни не только приемная полна была пациентов, но и по всей лестнице тесно стояли крестьяне из пригородных деревень. Новостью для меня было, что мой друг стал учиться пению, проявляя «охоту смертную», и теперь вечерами (днем гости видели его лишь урывками, когда он появлялся, чтобы наскоро перекусить) упражнялись певцы и певицы: девица с необычайным бюстом обладала пронзительным сопрано, а учитель железнодорожного училища – высокий, чахоточного вида – поражал меня пробами своего могучего, раскатистого баритона.

Годом позже произошла настоящая драма: Федор Петрович решил жениться, и притом не на ком-либо из завсегдатаев

раутов, а на скромно проживавшей в своем мещанском домике офицерской вдове с двумя маленькими сыновьями. Дамы разузнали о его намерениях и, собрав все самые мельчайшие детали и сплетни, пичкали ими мать и тетку, тщетно надеясь, что им удастся отвлечь его от такого намерения. Но и после того, как все старания привели только к порче отношений между матерью и сыном, часть дам не в силах была от привычных посещений отказаться. В особенности и жалко, и противно было видеть медведицу: медленно переваливаясь, она подходила к дому, нерешительно останавливалась, озиралась кругом и затем, резко мотнув головой, хваталась за ручки двери... Уже в Петербурге, где мы с Поляковым три года спустя вновь встретились, я пришел к нему на Рождество и так был поражен, и здесь увидев медведицу, что вскрикнул и вызвал общий хохот.

Все, чем встретила меня в первые дни Тула, было невиданно и очень забавляло, но само собой разумеется, что все мысли были прикованы к старинному угрюмому зданию Окружного суда, где один этаж был отведен под гражданское отделение, а два верхних – под прокуратуру, нотариат и два уголовных отделения. К моему приезду состав суда значительно обновился: прокурор Н.В.Давыдов назначен был председателем суда, товарищ прокурора А.А.Мясново – членом гражданского отделения, из Москвы прибыли новый прокурор и два товарища председателя – Волынский и Мотовилов, и обновление оказалось для меня крупным козырем. Далеко не весь состав получил университетское образование. Большая часть состояла из разночинцев, для которых скромное жалованье было единственным источником существования. Меньшая часть принадлежала к дворянскому сословию и, дополняя жалованье остатками больших состояний или женитьбой на богатых московских купчихах, жила в полное свое удоволь-

ствие, сладко пила и ела, поигрывала в винт для времяпрепровождения и с разночинцами домами не зналась. А я, единственный еврей, был радушно принят именно в дворянской среде и с некоторыми, несмотря на разницу служебного положения, впоследствии был на «ты». Служба проходила под знаком: «Работа не волк, в лес не убежит». В делопроизводстве царила рутина, а единственный толковый юрист, член гражданского отделения, сильно запивал.

На первых же шагах моей служебной карьеры «негласный надзор» звучно о себе напомнил и, если бы не Давыдов, оборвал бы ее сразу. Я замещал заболевшего секретаря прокурора – должность прокурора еще исполнял временно Мясново, – когда, отозвавшись на телефонный звонок жандармского управления и сообщив звонившему свою фамилию, я по тону дальнейшего разговора почувствовал, что собеседник неприятно удивлен. Через полчаса вошел бравый адъютант жандармского управления и окинул меня уничтожающим взглядом, подтвердившим основательность моего предчувствия. Когда же через месяц-другой Мясново перешел в гражданское отделение, и мы с ним сблизились, он с бесцеремонной откровенностью рассказал, что, действительно, жандарм обратил его внимание на то, что я состою под надзором и что мне «хода давать не следует».

«Я, – продолжал Мясново, – тотчас предупредил Давыдова, но он меня отшиб, сказав, что ему ничего об этом не известно и он не может ставить вас в особое положение».

Этот инцидент, грозивший весьма неприятными последствиями, дал, напротив, толчок удачам. Давыдов обратил на меня внимание и с тех пор стал всячески выдвигать, а впоследствии подарил своей дружбой, которой я чрезвычайно дорожил. Но право же, личная привязанность не делает меня

пристрастным: он действительно был человек замечательный и очень интересный. Николай Васильевич происходил из старинной дворянской семьи, из поколения в поколение служившей по судебному ведомству и имевшей большие связи. Приезжая в Петербург, он останавливался обычно у своей кузины фрейлины Озеровой, в Зимнем дворце, где и я у него бывал. Студентом Московского университета он вел рассеянную жизнь и женился на балерине, которую я узнал уже немолодой, изящной, со следами былой красоты, приветливой и тактичной женщиной. В Туле у них не садились за стол без водки и вина, но никогда не переходили границ легкого, приятного возбуждения, создававшего атмосферу непринужденности. И в винт – у него и при нем – играли весело, пересыпая шутками и остротами, водка и карты были для человека, а не наоборот.

Высокого роста, узкий, с донкихотовской бородой клинышком и скрыто насмешливыми глазами, нарочито подчеркиваемым низким басом и уморительно серьезным видом, он везде становился центром, душой общества и умел легко и незаметно переводить беседу с шуток на серьезные темы и обратно. Но в Туле он никогда не забывал, что делу время, потехе час, и чем дальше, тем все больше час сокращался в пользу времени. Предметом его сердечной заботливости был приют для несовершеннолетних преступников, и для увеличения средств Давыдов ежегодно устраивал в Туле театральные представления, давшие мне счастливую возможность познакомиться с обаятельным К.С.Станиславским, Лилиной, Федотовым и др. Меня Николай Васильевич, как я ни отнекивался, заставил напялить рыжий парик и показаться на сцене бессловесным лакеем. Помню, как меня поразило, что за ужином, несмотря на все усилия Давыдова, актеры упорно пережевывали жвачку, только о том и говорили, как была произнесена та

или иная фраза, жаловались друг другу и т. п., причем каждый был занят собой и собеседника не слушал.

А несколько лет спустя, в зените славы своей К.С.Станиславский, приезжая на гастроли в Петербург, ежегодно устраивал с труппой чудеснейший закрытый вечер в пользу благотворительных учреждений жены моей, с которой у Давыдова было душевно много общего. Между прочим, он тоже умел придумывать оригинальные способы добывания средств для своего приюта: уже в Петербурге мне пришлось по его просьбе заняться исследованием исторических привилегий «нежинских греков» (до того я знал только нежинские огурчики), чтобы отстоять в департаменте герольдии Сената их право на потомственное почетное гражданство. Свояк Давыдова, женатый на сестре его жены, от имени своих земляков обещал отвалить порядочный куш приюту, если Сенат признает их почетными гражданами.

Спровадив меня в Петербург (он энергично ускорял мой перевод из Тулы), Давыдов сам получил назначение на почетный пост председателя Московского суда. Первопрестольная разбудила его дремавшие душевные силы, и на шестом десятке он не задумался переменить карьеру, отказался от видного поста, выдержал магистрантский экзамен по уголовному праву, получил приват-доцентуру в университете, избран был ректором Вольного университета имени Шанявского и стал едва ли не самой популярной и любимой фигурой в Москве. А квартира его в деревянном особняке в одном из переулков Пречистенки, куда переселились и старая няня, и придурковатый, добродушный лакей Иван, и несколько тульских дворняжек, которых Екатерина Михайловна выхаживала, – эта старомодная, необычайно уютная, радушная квартира – сделалась одним из центров умственной и общественной жизни москов-

ской интеллигенции, и тяжело было Давыдову умирать в самом разгаре разбушевавшейся революции, под впечатлением, что она бесследно смела все результаты его выдающейся душевной энергии.

Я не успел еще обжиться в Туле, как Давыдов командировал меня в уездный город Ефремов «в помощь» городскому судье Лохвицкому, сыну известного криминалиста, сильно запустившему делопроизводство. По установившемуся обычаю, командированный поселялся в квартире того, к кому он был прикомандирован, но несчастный Лохвицкий сам ютился в двух полутемных комнатах в квартире сравнительно еще молодой женщины, тощей, с красными пятнами на щеках, настоящей ведьмы, перед которой он дрожал как осиновый лист. Я отлично устроился у высоченного белобрысого судебного следователя, которому мало шло дружеское прозвище Ваничка. По сердечным делам Ваничка тяготел к Туле, где проводил пять дней в неделю, и очень негодовал на местных воров, которые в своих столкновениях с законом не считались с его расписанием. Я тоже был ими недоволен, потому что, оставаясь вдвоем с его письмоводителем, был сам себе хозяин и в свободное время вздумал штудировать Савиньи³², а когда Ваничка приезжал, надо было расплачиваться выслушиванием его плаксивых жалоб на неудовлетворенность жизнью.

Делопроизводство Лохвицкого представляло собой подлинно авгиевы конюшни, и пришлось энергично приняться за их расчистку, но я мог только готовить дела к слушанию, а потом писать решения и приговоры. От Лохвицкого же требо-

32 Фридрих Карл фон Савиньи – немецкий юрист и правовед, один из основателей исторической школы права.

валось выслушать в заседании стороны и потом написать резолюцию, проект коей был уже готов, но у него был какой-то паралич воли и энергии, он буквально умолял не торопиться и часами валялся на продавленном диване, напряженно прислушиваясь к разговорам ведьмы, доносившимся из соседней комнаты, и приходил в ужас от моего громкого голоса. Однажды он подобострастно сообщил, что у него большая просьба ко мне – принять участие в устраиваемом ею любительском спектакле. Я замахал руками, но он свои молитвенно сложил, лепетал, что я не представляю, какие неприятности доставил бы ему своим отказом, и что зато он быстро двинет дела и никогда не забудет одолжения. Я присутствовал при одном или двух обсуждениях предстоящего спектакля и ясно помню странное ощущение: я забывал, что идет подготовка любительского спектакля, казалось, что присутствую на инсценировке чеховского рассказа, и неизменно с улыбкой вспоминал эти обсуждения, когда смотрел нашумевшую пьесу Пиранделло «Шесть персонажей в поиске автора».

Мне пришлось побывать в командировках и в некоторых других уездах, и всюду я неизменно встречал царство Чехова. Выездные сессии в уезды, к которым меня прикомандировывали в качестве защитника подсудимых по назначению, больше напоминали пикник. Приезжие размещались у местных чинов судебного ведомства, и кипение жизни начиналось именно после окончания судебных заседаний, в которых живой, активный интерес к скамье подсудимых проявляли только присяжные заседатели. Для них роль судьи была делом новым, необычным, поэтому они усердно работали мозгами и напрягали все силы разума и чувства, в противоположность профессиональным судьям, у которых привычка к судебному заседанию вырабатывает трафаретное отношение, которое чем дальше, тем сильнее затвердевает, и слушание дела пре-

вращается в досадную, ненужную формальность. У меня привычки еще не сложилось. К обязанности защитника я относился серьезно и добросовестно.

Помню одно страшное дело, которое слушалось в городе Веневе. Супружеская чета молодых крестьян вместе с работником зверски убили с целью ограбления двух татар, торговцев вразнос. Судьба их, конечно, была предрешена в сердце присяжных. Но были данные, что жена участвовала пассивно, что подчиненное положение женщины в крестьянской семье лишало ее возможности противоречить приказаниям мужа. На этом основании я рассчитывал добиться признания в ее пользу смягчающих вину обстоятельств... На другой день, весь поглощенный предстоящей речью, я пришел в заседание, но подсудимая лишила меня ораторских лавров, заявив, что «наняла» себе другого, настоящего адвоката. А этот адвокат, местный венеvский мещанин, даже и с делом не был знаком. Она, наравне с соучастниками, была приговорена к бессрочной каторге.

Однако я еще не расстался с Лохвицким, которому без вины моей причинил все же большую неприятность: раньше чем мы разрешили страстные споры о выборе пьесы, Давыдов отозвал меня из Ефремова для занятия должности помощника секретаря гражданского отделения. Лохвицкий побелел, когда я сообщил об этом, и все не решался допустить меня к даме, чтобы с ней проститься. Она и сделала мне выговор: «Это странно, вы же обещали, а на Рождество можно получить отпуск!» Спускаясь с лестницы, я слышал ее хриплый яростный голос.

Лохвицкий и кончил плохо, был отдан под дисциплинарный суд, а лет пятнадцать спустя появился вдруг жалкий,

потрепанный в редакции «Речи», прося помочь найти какое-нибудь занятие.

Возвращению в Тулу предшествовала слава, которой я обязан был Ваничке, налево и направо трубившему во время приездов в Тулу, что «он весь день работает, а по вечерам читает Савиньи». Меньше всего я мог предполагать, что Савиньи упрочит за мной репутацию крупного цивилиста. Эта неожиданность, однако, вполне понятна, если сказать, что ни у кого из чинов судебного ведомства я не видел ни одной юридической книги. С большой, может быть, излишней горячностью взялся я за свою работу, просил возложить на меня постоянное ведение протоколов судебных заседаний и старался с максимальной сжатостью изложить содержание речей сторон. Если слушалось юридически сложное дело, я просил докладчика предоставить мне написать проект решения, на что все охотно соглашались, а для меня составление таких проектов явилось прекрасной умственной гимнастикой. Как раз в это время и случилось, что Мясново из товарищей прокурора перешел в члены гражданского отделения. Он, конечно, предпочел бы заседать в уголовном отделении, но освобождающиеся там вакансии поспешно занимают старейшие члены гражданского отделения, ибо выездные сессии дают возможность остатками от прогонных и суточных несколько увеличить размер недостающего на жизнь жалованья. Мясново в этом не нуждался, он был женат на единственной сестре богатейших московских купцов, имевших свои замечательные картинные галереи и музеи и нет-нет налагавших заплаты на дыры в бюджете породнившей их со старинным дворянством сестры. Материальная сторона его поэтому не заботила, но, просидев беззаботно лет десять на должности товарища прокурора, он, естественно, утратил и те смутные представления о гражданском праве, с которыми вышел из университета. Вот почему, полу-

чив новое назначение, он приехал к тульскому Савиньи с запоздалым визитом и тут-то и рассказал с покоряющей развязностью, как убеждал Давыдова серьезно отнестись к предупреждению жандармов о моей неблагонадежности. «Я и сейчас не уверен, – закончил он уже в шутиливом тоне, – что у вас под кроватью не спрятана бомба. А теперь давайте говорить о деле. Мне нужна ваша помощь». Я охотно согласился, а он ни от кого не скрывал и даже афишировал, что я делаю за него всю работу.

Он был искренне и глубоко убежден, что его предназначение исключительно в том и заключается, чтобы наслаждаться жизнью, и только в этом умении черпал он притязания на уважение к себе со стороны других. Умение у него и впрямь было незаурядное: большая квартира обставлена с аристократической, не режущей, а незаметно ласкающей глаз роскошью и удобствами. Отличный повар, изысканное меню, присылаемые братьями французские вина и неистощимое балагурство хозяина за столом превращают еду из насыщения в наслаждение. А лакей Адриан в белых перчатках – такого больше я и не встречал! Он также беззаветно был убежден, что для того только и был рожден на свет Божий, чтобы помочь барину осуществить его предназначение. Выполнял эту роль свою он истинно с телячьим восторгом, и, когда я видел их вместе, казалось, что они разговаривают глазами, что между ними какой-то тайный уговор.

Жена Мясново, маленькая, бесцветная, была в доме как бы гостьей и блистала лишь умением одеваться. Из двух болезненных детей, девочки и мальчика, преувеличенное внимание принадлежало сыну, как хранителю дворянского рода, очень милая девочка была в тени и считала, что ей на роду так и должно быть написано. Такое уродливое отношение к детям

совсем подчеркнуто выступало у матери, по-видимому гордившейся, что хоть и купчиха, но сумела разрешить священную задачу продолжения рода и понимает высокое значение заботы об ограждении последнего отпрыска. Но подлинной любви и к сыну не было: когда перед заседанием вечером мы сидели за работой, тяжело дававшейся, ибо была она органически противна, и сын вбегал проститься, Мясново несколько раз его целовал, крестил со словами: «Господь с тобой, голубчик!» – но чувства и мысли были бесконечно далеки от совершаемых нежностей и произносимых слов. Часа через два, услышав из соседней комнаты – супружеской спальни – шуршание юбок, он стремительно убегал туда, опять слышались поцелуи и «Господь с тобой, душечка!», и через мгновение он опять был весь в мучительной власти докучливой головоломки. Меня впервые тогда поразила машинальность и автоматичность, налагающая мертвенность даже на самые интимные чувства, куда же разумней и человечней представилось отсутствие всяких нежностей в нашей семье...

Летом семья Мясново уезжала в деревню Мясновку, верстах в тридцати от Тулы. По субботам я садился с портфелем, плотно набитым подготовленными к слушанию делами, в севастьяпольский курьерский поезд, непременно в первый класс, и победоносно всех озираю, уверенный, что все чувствуют почтение к портфелю и форменной летней фуражке. Проехав первую станцию Козлова Засека, у которой расположена знаменитая Ясная Поляна, я у второй – Скуратово – покидал поезд, здесь меня ждала лихая мясновская тройка с кучером в плисовой безрукавке и твердой шляпе с павлиньими перьями.

В течение уик-энда часов шесть-семь уходило на изучение дел, а остальное время принадлежало еде, питью и отдохновению. Ровно ничем Мясновка не напоминала моей Мало-

Софиевки, по отношению к ней сами собой напрашивались слова: прелестный уголок. Это был остаток большого старинного родового имения, постепенно частями отчуждавшегося, теперь сохранилось лишь триста заложенных и перезаложенных десятин, но с отличным садом и английским парком, красивым прочным барским домом, в котором жила мать с тремя немолодыми дочерьми-девицами – одна была начальницей, а другие учительницами женской гимназии. Старый дом ревниво хранил дворянские традиции и таил неодобрение мезальянсу сына и брата. Для себя Мясново выстроил новый дом, простенький, но все было мило, изящно и продуманно удобно, чтобы не умалять наслаждения жизнью. Между домами не заметно было никакого общения, лишь иногда, в воскресенье мы на несколько минут заходили в женское царство, как иронически выражались в новом доме, почтительно отвечали на шаблонные вопросы и, выслушав жеманную благодарность за оказанное внимание, откланивались, чтобы больше не встречаться, дамы как будто не покидали комнат.

В понедельник утром я возвращался в Тулу, уже вместе с Мясново, а большей частью и Ваничкой, который норовил по субботам присоседиться ко мне. Вечером на холостую ногу обедали со щедрым возлиянием шампанского, а на другой день после судебного заседания мой амфитрион тотчас уезжал в деревню...

Когда после моего перевода в Петербург Давыдову удалось перевести Мясново в Москву, он, хотя и значительно поднаторел в гражданских делах, снова испугался – там дела были куда сложнее, разбираться придется в доводах крупнейших адвокатов – и приехал в Петербург с предложением мне перейти в московскую адвокатуру, обещая золотые горы, в частности, выгодное юристконсульство в невзрачном, но

хранившем подлинно золотые горы текстильного товара «лабазе» старшего шурина его, миллионщика, на Никольской улице. Соблазн был большой, но, к счастью, я, опять поддерживаемый женой, устоял, в это время мы были уже на пороге издания «Права». А здесь, уже в эмиграции, я узнал случайно, что нелепо избалованный, болезненный сын Мясново героически участвовал в Белом движении и скитается за границей, а родители остались в Москве и прозябают на иждивении выраставшей в тени дочери, ставшей учительницей. Можно ли было предположить, что Мясново перенесет на старости лет безжалостное разрушение единственного жизненного убеждения в своем предназначении и приспособится к созданным большевиками ужасающим условиям. Для полноты картины нужно бы еще, чтобы Андриан – такие примеры я знаю – превратился в рьяного большевика.

Мои попытки всколыхнуть судебную рутину вполне совпали со стремлениями вновь назначенного товарища председателя Н.Г.Мотовилова. Николай Георгиевич, с добрейшей душой, но вспыльчивый, вводил свои порядки круто и с первых же шагов вооружил против себя всех членов своего отделения, тем сильнее, что был моложе их и возрастом, и служебным стажем. Окружившая его враждебная атмосфера и способствовала преувеличенной благосклонности ко мне, и уже после недельного знакомства мы из суда отправились в ресторан; обед, конечно, сопровождался возлиянием, сразу и сильно на него подействовавшим, я тут же узнал всю его биографию, и мы выпили на брудершафт.

Основной определяющей чертой его личности выступало, что он был, а главное – считал себя сыном знаменитости: отец

был видным пионером судебных уставов, первым председателем первым открытого Петербургского суда³³, и его почти-тельно отметил в своих воспоминаниях А. Ф. Кони. Много раз я имел случай убедиться, что эта позиция крайне невыгодная. Она маскируется обветшалым заграждением, что по отцу и сыну честь, и лишает человека самостояния. Пока министром юстиции был Манасеин, друг и почитатель отца, вера Николая Георгиевича оправдывалась, и он делал быструю карьеру в Петербурге, но тем сильнее было разочарование после смерти Манасеина, вызвавшее чувство обиды и раздражительность. Не награди его судьба знаменитым отцом, широко развернулись бы лучшие свойства его ума и души – неподдельная искренность и прямота, рыцарская честность и природная интеллигентность, которыми он, вероятно, обязан был матери, очень толковой, чудесной старушке; отца я не знал, он рано умер. Благодаря этим качествам и влиянию на него Давыдова, сочувствовавшего модернизации суда, Мотовилову все же удалось преодолеть недружелюбие, в особенности среди дворянской части. Этому немало способствовала его очаровательная жена, выделявшаяся среди тульских дам свежей молодостью и подчеркнутой детской непосредственностью.

Мотовилов тоже не засиделся в Туле, и вскоре мы вновь встретились в Петербурге. Он настойчиво претендовал на пост председателя суда в Туле и пускал в ход все свои связи, особенно рассчитывая на брата жены, влиятельного при дворе

33 Отец Н.Г.Мотовилова, видный юрист Г.Н.Мотовилов участвовал в разработке судебной реформы 1864 г., занимался составлением судебных уставов и при их введении в 1866 г. был назначен председателем Санкт-Петербургского окружного суда, организованного по новым правилам.

лейб-медика. Но у него произошло резкое столкновение с прославившимся притеснением крестьян земским начальником Сухотиным. Сухотин бросился к губернатору, тот донес в Петербург, возникла переписка, завершившаяся назначением Мотовилова товарищем обер-прокурора Сената. В Петербурге он жил весьма скромно, сошла вся искусственная спесь, и мы встречались и друг у друга, и в заседаниях Сената. В 1910 году, на Масленицу по случаю приезда Давыдова у нас был завтрак, к которому пригласили и Николая Георгиевича с женой. Давыдов был в ударе, весело балагурил, а Мотовилов явно пересиливал себя, стараясь выдавить улыбку. Через два часа по уходе от нас он, сидя за изучением дел, внезапно скончался от кровоизлияния в мозг, как в свое время и его отец.

При Мотовилове я назначен был секретарем гражданского отделения, на место долго не соглашавшегося выйти в отставку старого служаки без всякого образования, которого молодой товарищ председателя сразу невзлюбил. Теперь преобразование канцелярии пошло быстрым темпом, и это было весьма кстати, потому что вскоре к нам на ревизию приехал известный юрист Носенко, занимавший в то время пост старшего консультанта в министерстве юстиции. Это не была ревизия в узком смысле слова – министр юстиции Муравьев решил подвести итог изменениям, внесенным в судебные уставы за тридцать лет их существования, и придумал созвать комиссию из юристов и судебных деятелей, которая должна была снять с него тяжесть ответственности. Изменения касались не только уголовного процесса, главным образом суда присяжных. В гражданском процессе тоже накопилось много изменений, но они имели более или менее удачный, чисто деловой характер и вызывались быстрым развитием и усложнением экономических отношений. Комиссия составила длинный список вопросов для выяснения фактического состояния правосудия, а в

некоторые суды командировала своих членов для непосредственного обследования.

Еще до приезда Носенко я, по поручению прокурора, составил ответы по вопросам уголовного судопроизводства, теперь ревизор просил Давыдова предоставить меня на короткое время в его распоряжение, и в течение трех дней я выходил из его помещения в гостинице только для того, чтобы доставить из суда те или иные нужные ему данные. По окончании весьма детального обследования, давшего возможность установить правильность применения устава гражданского судопроизводства, Носенко поблагодарил меня и вдруг задал странный вопрос: «А почему вы тут сидите?» Я вздрогнул и смутился. Вздрогнул потому, что примерно за месяц до этого в Туле проездом останавливался мой кузен Владимир Матвеевич, только что выдержавший в Одессе магистрантский экзамен по государственному праву и направлявшийся в Петербургский университет в расчете получить там приват-доцентуру. Его приезд расшевелил меня, я почувствовал опасность засасывания провинциальной тиной, захотелось на вольный воздух, и мечты о Петербурге становились все настойчивее. Неожиданный вопрос заставил вздрогнуть, я смутился, потому что не знал, что ответить, и лишь пролепетал: «Я сюда назначен».

«А в Петербург хотели бы?» С неслужебной порывистостью и громче, чем следовало, я воскликнул: «Да, это моя сокровеннейшая мечта». Носенко загадочно улыбнулся и сказал: «Ну, посмотрим». Давыдов расшифровал этот разговор, углубив бас до самых низких нот: «Ну и отлично, и смотреть нечего, вы и будете назначены в министерство». Чтобы подготовить этот переход, мы устроили маленький трюк. Я подал прошение об отставке и получил «послужной список», а рас-

пухшее дело обо мне сдано было в архив, и таким образом отрезанный хвост неблагонадежности там упокоился. Через два дня по новому прошению я опять определен был на службу, о чем заведено было новое чистенькое дело, ничего, кроме послужного списка, не содержащее. А Носенко обо мне не забыл. Через месяц мне прислали решенное уже дело «из консультации, при министерстве юстиции учрежденной». Это учреждение представляло собой какой-то ненужный придаток к административно-судебным департаментам Сената. Если в одном из департаментов не могло состояться решение по делу из-за разногласий сенаторов, то дело переходило в общее собрание Сената. Если же и там не удавалось собрать требуемого числа голосов, дело передавалось в консультацию и подготавливалось в юрисконсультской части министерства к слушанию. Производство по таким делам, обычно чрезвычайно сложное и запутанное, длилось иногда десятки лет. Одно из таких головолomных дел, касавшееся каких-то прав туземцев в Туркестане, и было мне прислано для проверки моих знаний и способностей: согласительное предложение генерал-прокурора было изъято, и я должен был вновь таковое написать. Повидимому, работа признана была удачной, потому что еще через месяц я был вызван в Петербург...

Но я еще должен был посетить департамент полиции, чтобы ликвидировать тяготевшее запрещение въезда в столицу. Это легко удалось, да и обещание оправдалось – я был назначен, но, во-первых, со значительной задержкой, во-вторых, не в юрисконсультскую часть, а в самую захудалую, пенсионную, и, в-третьих, с некоторым понижением класса должности.

Мне, однако, не приходится жаловаться на отсрочку, ибо она дала мне счастье сохранить в памяти яркое воспоминание

о целом дне, проведенном возле Л. Н. Толстого и с ним. Великий писатель закончил тогда «Воскресение» и читал его в рукописи Давыдову, навещавшему Ясную Поляну. Давыдов, между прочим, оспаривал печатное утверждение Кони, будто бы он, Кони, дал Толстому тему «Живого трупа». Не знаю, кто прав, во всяком случае, при разборе дел для составления ответов на запросы комиссии Муравьева я наткнулся на судебное производство по делу Гиммера, послужившему канвой для популярной драмы Толстого. Относительно же «Воскресения» Давыдов отметил несколько неточностей в изложении хода судебного разбирательства и условился дать знать в Ясную Поляну, когда в суде будет слушаться какое-нибудь интересное дело, чтобы Толстой приехал непосредственно ознакомиться с ходом судебного заседания.

Такой день наступил, но Толстому не дано было увидеть обычное заседание. Оно не было бы торжественней, если бы в зале присутствовал сам министр юстиции: судьи одеты были строго по форме, а не в разнокалиберное штатское платье с заменой лишь пиджака небрежно напяленным сюртуком, и не только докладчик, но и остальные судьи, обычно не отрывающие глаз от лежащих перед ними поверхностно подготовленных дел, внимательно следили за допросом подсудимого и свидетелей, и присяжные заседатели старались не ударить лицом в грязь, хотя украдкой все посматривали на знаменитого гостя, сидевшего в пальто в глубине зала и тщетно старавшегося сделать себя незаметным, и судебный пристав тоже отдавал себе отчет в величавости обстановки и громко и четко возглашал, обводя публику строгим взглядом: «Суд идет! Прошу встать!»

К слушанию назначено было дело по обвинению мещанина в нанесении раны девице, а сущность заключалась в том,

что молодой молчаливый парень долго убеждал девицу из публичного дома бросить свое ремесло и выйти за него замуж, она же водила своего поклонника за нос, пока тот не вышел из себя и не пырнул ее ножом в живот. В качестве свидетельниц и были вызваны все девицы из публичного дома, в котором происшествие разыгралось, во главе с пухлой хозяйкой, все густо нарумяненные, в модных огромных шляпах, и насытили зал запахом духов. Конечно, и я не преминул забежать на короткое время в зал, чтобы внимательно разглядеть обожаемого писателя, которого видел впервые. А позже ко мне явился курьер Давыдова: «Вас просит председатель». В кабинете у него я увидел Толстого и переминающегося с ноги на ногу крестьянина. Представив меня Толстому, Давыдов сказал: «Возьмите, пожалуйста, этого просителя и выясните, что ему нужно. Это, очевидно, по вашей части».

Я поклонился и пригласил незнакомца следовать за мной, а Толстой, строго на меня смотря из-под густых бровей, заговорил своим грудным голосом, объясняя, о чем крестьянин ходатайствует. Не прошло и получаса, как меня вновь вызвали к Давыдову. Теперь я застал его одного и понял, что разговор предстоит неслужебный. «Я, собственно, и сам знал, что просителю не к вам, а в нотариальный архив следует обратиться, но не сетуйте, что вас потревожили, мне хотелось познакомить вас с Львом Николаевичем». Я рассыпался в благодарностях; если бы это было не в служебном кабинете, бросился бы его целовать. «Ладно, – продолжал он, – если вам приятно, приходите к обеду. Будет Толстой». Это лестное приглашение совсем вскружило голову. И такое исключительное внимание погубило меня.

Придя к Давыдовым, я застал дам в большой агитации. Настроение было не менее торжественным, чем в суде. Пер-

вым делом приказано было убрать с закусочного стола водку, без которой никогда за обед не садились, той же участи обречено было и вино, и папиросы, и даже «зольницы» – так называл Давыдов пепельницы. Хозяин с гостем приехали с небольшим опозданием, и Лев Николаевич был явно раздражен. Присяжные заседатели вынесли – вероятно, не без влияния присутствия Толстого – оправдательный вердикт, которым пострадавшая и ее окружение остались очень недовольны. Лев Николаевич подошел к ней и стал убеждать выйти замуж за оправданного, чтобы искупить грех, в который она его вовлекла. А она вызывающе подбоченилась и нагло ответила: «А вам какое дело?»

Небрежно, так сказать, бесчувственно, здороваясь с нами, Толстой спросил: «А если бы его признали виновным, какое было бы наказание?» – и, услышав, что угрожали арестантские роты, всплеснул руками: «Как это ужасно! Какой размах маятника от свободы до арестантских рот! Что должен бы сегодня перечувствовать этот несчастный человек!»

Хозяйка пригласила к закусочному столу, и, разглядывая сощуренными глазами блюда, Лев Николаевич спросил: «А что это такое?» – «Это закуска, Лев Николаевич». – «А зачем закуска?»

Хозяйка смешалась: «Обед у нас не обильный, так подкрепим закуской». Но Толстой не унимался: «А зачем обильный обед?» Тут пришел на выручку Давыдов: «Не то чтобы обильный, но жена не рассчитывала, что мы будем иметь удовольствие видеть вас за столом, а вот и Иосиф Владимирович пожаловал, жена и испугалась, что все останутся голодными».

За столом Толстой сразу стал совсем другим: Давыдов только что вернулся из Москвы, где в театре Корша видел первое представление «Власти тьмы», и очень живо излагал

свои впечатления. Толстой весь превратился в слух, но не сделал ни единого критического замечания, а как будто только себя проверял, сумел ли он правильно выразить то, что его гений подсказывал. Весь обед прошел очень оживленно, в рассказах и репликах Давыдова, после чего мы перешли в будуар, где на вопрос, желает ли он чаю или кофе, Толстой опять с раздражением ответил: «Я не потребляю ни того ни другого, но после этого ужасного дня разрешу себе выпить чашку кофе». Я сидел с дамами, а Лев Николаевич стоял у стола и взял в руки лежавшую толстую книгу Вышеславцева о Рафаэле. Давыдов заговорил об иллюстрациях в этой книге. Лев Николаевич несколько минут молча слушал, но становился все угрюмей и вдруг с силой швырнул книгу на стол. «Нет! Я не могу успокоиться. Помилуйте, схватили человека, проделали над ним отвратительную комедию и отпустили на все четыре стороны. Кто дал им право присваивать себе такую власть над человеком и издеваться над ним, устраивая эту комедию суда!»

То, что за сим последовало, я и до сих пор простить себе не могу. Померещилось, что для того и позвал меня Давыдов, чтобы поддержать его в разоблачении ложности взглядов Толстого на роль и значение суда, и я воспылил желанием оправдать его надежды. Было, конечно, до дерзости наивно вообразить, что удастся поколебать тяжело выстраданные убеждения, и единственным утешением осталось, что Толстой обрушил на меня все накопившееся за несносный для него день раздражение и сразу успокоился, когда Давыдов догадался замять спор и что-нибудь почитать.

«Вы что любите, Лев Николаевич?» – «Из современных писателей я признаю только Чехова». Я и тут вскинулся: «А Короленко?» Уже совсем иным тоном, медленно, как бы про себя, Толстой сказал замечательные слова, которые многое

мне осветили и позже, в редакторской деятельности, превратились в меру, которой я мерил. Лев Николаевич ответил мне: «Короленко – не художник. В одном из его сибирских рассказов арестант, в ночь под Светлое Воскресение, пытается бежать из тюрьмы, но, когда он перелезает через забор, часовой, увидев отбрасываемую луной тень арестанта, стреляет в него и убивает. Все это придумано. Пасхальная ночь всегда – безлунная. А художник не придумывает, а изображает лишь то, что перечувствовал и пережил».

Мысль эта кажется глубоко правильной, и еще выше оценил я его замечание, когда прочел позже изумительное описание пасхальной ночи в «Воскресении».

Давыдов принес томик Чехова и с неподражаемым мастерством прочел «Дочь Альбиона», мы все искренне смеялись, но Лев Николаевич буквально задыхался от хохота, и слезы катились у него из глаз. Было уже больше 9 часов, когда он попросил привести его упитанную смирную лошадку, легко на нее вскочил и ровной рысцей тронулся в Ясную Поляну, оставив в благодарной памяти неизгладимое впечатление.

* * *

Тем временем в феврале 1896 года, ровно через 10 лет после невольного расставания с Петербургом, пришло мое назначение туда. Не без сожаления расставался я с «теплой ароматной ванной» и завоеванным положением. Канцелярия поднесла трогательный адрес и альбом с фотографиями, но я отнюдь не обольщал себя, понимая, что с моим отъездом (моим преемником был человек без высшего образования) они вздохнут свободно, избавившись от инородного элемента. Дамы устроили в мою честь очень приятный прощальный вечер: к ним я искренне привязался в благодарность за то, что они с таким

гостеприимством и радушием приняли чужака, который, вероятно, не раз шокировал своими повадками и манерами традиции их воспитания и уклада. Тут было, однако, довольно оригинальное взаимодействие. Мне эти традиции нравились, как невиданная до сих пор новинка. Для этого дворянского круга я, в свою очередь, тоже был новинкой, во всяком случае вносившей некоторое разнообразие в застоявшуюся атмосферу.

Проводили меня несколько членов суда во главе с Давыдовым, и расстались мы только на вокзале при отходе поезда. Испытывая сильную усталость, я надеялся тотчас же заснуть на приятно укачивавшем диване, но расчет тут же споткнулся о возбуждение последних шумных дней, прощальное шампанское разгоняло сон, и хаос мыслей тесно обступил меня. Отвязаться было невозможно, я почувствовал себя в полной их власти и должен был сдаться, несмотря на отвращение к бухгалтерии. Дебет получался весьма внушительный: способность противостоять окружающей обстановке, несомненно, была ослаблена, я приобрел вкус к чревоугодию, научился понимать тонкий букет вина и поддался головокружению от успеха, зависевшего больше всего от случая и капризов судьбы. Я защищался, уверяя самого себя, что здесь не было увлечения, а просто было интересно изучить дотоле неведомую любопытную среду, вспоминал, что для упражнения воли отказался от курения, но все же не мог отрицать, что погружение в эту жизнь доставляло удовольствие и даже возбуждало вспышки зависти к возможности так жить.

Да, оспорить дебет было трудно, и утешаться оставалось только тем, что теперь это все уже позади, что я вовремя опомнился и, выскочив из расслабляющей ванны, добровольно вступаю на путь, который розами усыпан не будет. Напротив, я

был убежден, что в министерстве сосредоточена элита судебного ведомства, среди них тульским Савиньи никого не удивишь. С чем же я еду туда, в чем мой актив? Тульский суд оказался превосходной практической школой, и написанные мной тысячи полторы решений по разнообразнейшим гражданским спорам выработали здоровое юридическое мышление и способность к правильному анализу. А обследование состояния правосудия для комиссии Муравьева дало в руки новое оружие против опасной проповеди Боровиковского о приспособлении старого закона к изменившимся запросам жизни, и этим оружием я потом усердно в «Праве» боролся.

Быть может, тульская школа впервые заронила в сознание мысль о юридическом органе, которая через два года, неожиданно для меня самого, и осуществилась. Но тогда усталость брала свое, и в итоге опять получалось: «Пустяки! Все образуется». И я заснул с мыслью, что вот ведь в Туле и образовалось главное: перед моим отъездом в суде состоялось решение об усыновлении Сережи, и в кармане лежало, за подписью Мотовилова, судебное метрическое свидетельство, передававшее ему мою фамилию.

Министерство (1896–1903)

Первое мое появление в скромном, ничем не выделяющемся здании на углу Екатерининской и Итальянской улиц ознаменовалось сюрпризом, не меньшим, чем первое мое пробуждение в Усть-Сысольске. Пенсионная часть, в которую я был назначен, включена была в «распорядительное» отделение, и когда я пришел представиться начальству, то увидел перед собой маленького пожилого человека с некрасивым, но ласковым лицом и довольно заметным еврейским акцентом. Неужели же в центральном ведомстве министерства начальник отделения – еврей? Эффект еще усиливался явным сходством с покойным отцом. И как же случилось, что меня именно к нему назначили, не опасаясь, что он будет мирволить соплеменнику? Я долго не верил глазам, думал, что это просто игра природы, пока, сблизившись с сослуживцами, не узнал, что Яков Маркович Гальперн действительно еврей и некрещеный. Их только и оставалось тогда двое – он и Я.Л.Тейтель, но этот застрял на должности провинциального судебного следователя и лишь к концу своей карьеры стал членом Окружного суда, а Гальперн свыше 40 лет прослужил в центральном ведомстве, досиделся до должности вице-директора, имел звезду и красную ленту и вышел в отставку уже при Щегловитове, превратившем суд в капище беззакония. Яков Маркович, родом из Вильны³⁴, происходил из бедной семьи и всем был обязан своему трудолюбию, исключительной добросовестности, высокой честности и порядочности. Он ко всем относился благожелательно, и решительно никто не мог отказать ему в уважении,

34 Вильна – ныне Вильнюс (с 1940 г.).

а кто ближе знал его, искренне любил. И ко всем поступавшим в отделение прошениям он относился с вниманием и сердечностью, и эти качества делали его в министерстве чудачком, ибо здесь было настоящее бумажное царство, культ стилистики в значительной мере поглощал интерес к содержанию бумаги. Нельзя было дважды на одной странице то же слово употребить, и, чтобы такого несчастья не случилось, самая пустячная бумага проходила через несколько рук. Мне, например, нужно было сочинять ответы вроде следующего: «На прошение вдовы тайного советника Имярек по приказанию его высокопревосходительства г. министра юстиции, сим объявляется, что ходатайство об определении сына ее на казенную вакансию в Императорское училище правоведения оставлено без удовлетворения». Такой ответ поступал к делопроизводителю, вносившему свои поправки: он заменял слова, «ходатайство» заменяя «прошением» и наоборот, и так далее. От делопроизводителя бумага переходила к начальнику отделения, который тоже вносил поправки, иногда восстанавливая прежний текст, и возвращалась для переписывания набело и составления препроводительной бумаги для доклада министру или товарищу. В переписанном виде ответ вновь поступал ко мне для проверки и затем проделывал прежний путь, а начальник отделения представлял директору или вице-директору, который уже докладывал министру. Кроме того, для вящего сохранения незыблемости традиций архивариус – старая канцелярская крыса, – кладя на мой стол порученное начальством для ответа прошение, должен был еще приложить «примерное» (то есть аналогичное) дело, которым и надлежало строго руководствоваться. Отнюдь не следовало думать, что вносимые поправки должны были только доказывать усердие и оправдывать получаемые по службе содержание и чины, нет! – среди однозначных выражений, из которых профан готов был бы

выбрать любое, в бюрократической практике каждому довела своя интонация, и нужно было иметь особый нюх, чтобы выбрать для данной тайной советницы надлежащее выражение.

При назначении пенсий чиновникам выработался особый, предвосхищавший тенденцию Боровиковского порядок. Установленные устарелым законом, времен очаковских и покоренья Крыма, оклады пенсий давным-давно уже отстали от реальной стоимости жизни и теперь стояли в резком несоответствии даже с потребностями полуголодного существования: высший оклад за 35-летнюю службу составлял 428 рублей в год и обрекал бы и самого крупного сановника буквально на нищенское прозябание. Никакого труда не стоило бы приноровить отжившие свой век оклады к новой экономической обстановке. Но вместо того, чтобы издать закон, обеспечивающий чиновнику на старости лет определенные требования к государству, бюрократия не упустила случая расширить пределы своего усмотрения: по соглашению с министерством финансов в Комитет министров вносились представления о назначении, в виде исключения, усиленных пенсий, до 5 тысяч рублей в год, и такие исключения превратились в правило – законная пенсия назначалась лишь захолустным чиновникам, не знавшим о практике усиленных выдач, страдали, как полагается, слабейшие. А размер усиленных пенсий определялся в зависимости от благоволения начальства, от связей просителя и т. п. Затем «положение» Комитета министров представлялось при всеподданнейшем докладе на утверждение государя.

Изготовление докладов царю составляло интенсивную, углубленную напряженнейшим вниманием часть работы. Это было настоящее священнодействие. В десять рук рассмотренный и исправленный доклад нерешительно – не посмотреть ли

еще раз – сдавался наконец в переписку особым каллиграфам. Пишущая машинка еще только входила в употребление, но пользование ей для всеподданнейших докладов считалось недопустимым. Два чиновника вслух сверяли изображенную на толстой веленовой бумаге рукопись. Тем же порядком сверял ее начальник отделения с помощником, затем, при особой препроводительной бумаге, доклад представлялся директору и товарищу министра, которые тоже с изощренным вниманием его читали и отмечали свое участие на препроводительной бумаге. Наконец, министр, одобрив доклад, отчетливо выводил под ним свою подпись, чтобы на завтра отвезти в Царское Село или Петергоф. И тем не менее – у семи нянек дитя без глазу – случались комические описки. Какая была паника, когда однажды на благополучно вернувшемся от государя докладе увидели, что перед подписью стоит: «за министра товарищ финистра».

На первой странице доклада царь писал, обычно цветным карандашом, свою резолюцию или, большей частью, ограничивался небольшой косой чертой между двумя точками (парафа), означавшей, что он ознакомился с докладом. По возвращении с аудиенции министр под упомянутой чертой писал: «Собственной его императорского величества рукой начертана парафа (или такая-то резолюция) в Царском Селе такого-то числа», а самая парафа или резолюция покрывалась лаком, и доклад передавался в архив для хранения в качестве реликвии.

Переход от живой, разнообразной работы в Тульском суде к бюрократической переписке с тайными советницами нельзя было воспринять иначе как издевательство. Но независимо от личной обиды нельзя было не удивляться, что как раз там, где такое решающее значение имело юридическое образование, с этим не считались, и даже члены суда не все имели универси-

тетский диплом, а здесь, напротив, все щеголяли университетскими значками, однако, вопреки моим провинциальным представлениям, не только не хватало звезд с неба, но все было ниже среднего уровня. Очень красочную фигуру представлял делопроизводитель – сын царского кучера, женатый на богатой купчихе, могучий, краснощекий, кровь с молоком, считавший себя наверху блаженства, если ему удавалось получить билет в Михайловский манеж на военный развод в высочайшем присутствии. На другой день все служебное время было занято пережевыванием с другим сослуживцем сладостных впечатлений, вынесенных из общения с high life³⁵.

Службу нашу никак нельзя было назвать обременительной. До половины второго дня министерство вообще являло пустыню. А после шести начинали уже собираться домой, так что служба походила больше на five o'clock³⁶, и все интересы лежали вне ее. Я нашел тотчас же дополнительное занятие, с лихвой возместившее утрату тульской работы. Министр Муравьев задумал оживить никем не читаемый официальный орган «Журнал министерства юстиции» и назначил редактором профессора В.Ф.Дерюжинского. Он горячо взялся за дело и, в свою очередь, пригласил в сотрудники несколько молодых ученых, в том числе и моего кузена, обратившего уже на себя внимание профессуры. А кузен порекомендовал редактору меня для постоянной работы, на которую я и набросился с жадностью: редакция получала большое количество лучших иностранных юридических изданий – германских, австрийских, швейцарских, французских, – поступивших в полное мое распоряжение

35 Высшее общество (англ.).

36 Традиционное английское чаепитие в пять часов вечера (англ.).

и давших уму изысканную пищу, какой мне еще не доводилось отведать. В Австрии, Германии, Швейцарии введены были новые гражданские, материальные и процессуальные кодексы, построенные на началах, противоположных нашему, и применение их на практике представляло для России сугубый интерес. Во Франции, напротив, царил кодекс Наполеона 1805 года, совсем уже не видный за лесами кассационных решений, ставших приспособить его к существенным изменениям в социальном укладе страны. Мне кажется, что окаменелость наполеоновских кодексов служит обвинительным актом против революции, поскольку революция ищет оправдания в ударных темпах, в необычайном ускорении, пусть болезненными толчками, развития страны. Если это и так, то судьба кодекса 1805 года, остающегося до сих пор действующим законом, свидетельствует, что ударные темпы потом компенсируются чрезмерно долгим и прочным застоєм на многие десятки лет, в течение которых ускоренные завоевания революции могли бы осуществиться нормальными темпами, и что болезненные толчки никакого выигрыша не дают.

Сопоставление юриспруденции различных государств и противопоставление ее нашей судебной практике давало неистощимый увлекательный материал, и в журнале стали появляться ежемесячные обзоры, для которых я старался выбирать темы, имеющие животрепещущее значение для нас и, в качестве новинки, привлечшие внимание юристов и послужившие толчком для создания «Права». Но случилась и курьезная характерная неприятность: А.Ф.Кони выпустил блестящую монографию о докторе Ф.П.Гаазе, имя которого давно было забыто, а нашему поколению и совсем не известно. Кони своей книгой, лучшей из всего его богатого литературного наследства, воздвиг нерукотворный памятник подлинному герою, вся жизнь которого буквально исчерпывалась самоот-

речением, самопожертвованием и беззаветной любовью к обездоленным. После появления моей рецензии на эту замечательную книгу Дерюжинский огорченно сообщил, что получил выговор от министра. «Кони, – сказал ему Муравьев, – открыл нового святого, а Гессену хочется канонизировать и Кони. Надо бы больше сдержанности и такта». Они были непримиримыми соперниками и никак не могли поделить между собой славу.

Постоянная работа в журнале имела для меня и материальное значение, удваивая гонораром более чем недостаточное жалованье, около 100 рублей. Незадолго перед моим назначением в Петербург жена добилась наконец развода и мы обвенчались, обзаведясь сразу большой семьей – четырьмя сыновьями, так что даже вместе со средствами жены нам хватало лишь на самую скромную жизнь.

Первое лето было нелегкое – мы поселились под Ораниенбаумом, откуда ежедневно приходилось трястись на службу, и дорога отнимала четыре часа. Всех сыновей я должен был подготовить к гимназическому экзамену, который они и выдержали очень удачно, а на меня Санкт-Петербургская 1-я гимназия, знакомство с внимательным, вдумчивым директором Груздевым произвели впечатление, всколыхнувшее недобрые воспоминания об одесской школе и вызвавшее чувство зависти, что я не родился на двадцать лет позже.

Перемена климата и посещение гимназии имели последствием частое заболевание сыновей заразными болезнями – донимала их и свинка, и корь, и ветряная оспа, и скарлатина. Каждый раз, как это случалось, мой начальник Любушкин, чадолюбивый отец многочисленного семейства, требовал, из опасения заразы, перерыва моей службы, пока не будет произведена дезинфекция квартиры. Болезни, к счастью, протекали

без осложнений, и после первых тревожных дней и ночей наступал спокойный досуг, требовавший заполнения угорающей душевными неожиданностями пустоты. В один из таких периодов мысль устремилась и сосредоточилась на шекспировском «Гамлете». Свои мысли я изложил в обширной статье и отдал для напечатания в журнал «Начало». Так искренне я был уверен в правильности своей оценки и выводов и так остро переживал поэтому отказ редакции, что не имел мужества возобновить попытку, а впоследствии В. И. Качалов, собираясь выступать в Художественном театре в роли Гамлета, заинтересовался моей статьей; у него она и погибла. Сейчас у меня совсем нет уверенности, уместно ли беречь память напоминанием об изнурительном волнении, которое вызывала работа над проблемой Гамлета, да еще вклинивать рассказ этот в безмятежную обстановку министерского прозябания.

Чем больше меня увлекла проблема Гамлета, тем явственней я ощущал прорехи в научной подготовке и образовании. Заполнять их теперь было поздно, и тем тягостнее было после перерывов возвращаться в свою «пенсионную часть» и опять корпеть над писанием «по приказанию его высокопревосходительства...». Однако осенью и в нашей богоспасаемости произошла сенсация, и притом по случаю, меньше всего, казалось бы, для этого подходящему. На очереди встал вопрос о преобразовании сенатской типографии, обслуживающей Сенат и министерство: нужно было составить об этом представление в Государственный совет – реформа требовала законодательного порядка. Прежде всего бросились искать «примерное дело», но никакого прецедента не нашлось, и архивариус растерялся и загрустил. Гальперн возложил составление этого проекта на меня, причем ввиду сенсационности задачи я был освобожден от всех других обязанностей и оказался в привилегированном положении среди сослуживцев. Работу я выполнил с большой

тщательностью и представил уже без посредничества прямо высшему начальству.

Прошло несколько месяцев, я уже забыл об этом инциденте среди однообразной скучнейшей работы, как вдруг в нашем помещении появился директорский курьер и, к величайшему смущению моему и изумлению сослуживцев, потребовал меня к директору департамента. Такое приглашение чиновника в моей скромной должности совершенно опрокидывало твердые устои чиновничества. Я совсем растерялся, когда Н.Э.Шмеман в большой ажитации кинулся ко мне навстречу, лишь только я открыл двери кабинета, крепко пожал руку, обнял и стал горячо благодарить за то удовольствие, которое доставило «Николаю Валериановичу³⁷ и мне обсуждение вашего законопроекта в Государственном совете, откуда мы сейчас вернулись. Оно прошло без сучка, без задоринки».

Такой случай действительно представлялся большой редкостью. Одной из наиболее ярких черт режима в то время была межведомственная рознь. Каждое министерство старалось оттянуть что-нибудь у другого, расширить пределы своей компетенции за счет другого. Граф Коковцов³⁸ рассказывает в своих воспоминаниях об упорной борьбе за сохранение в лоне министерства финансов Дворянского и Крестьянского земельных банков, которые Кривошеин³⁹, при поддержке Столыпина,

37 Министр юстиции Н. В. Муравьев.

38 В. Н. Коковцов в составе правительства под руководством П. А. Столыпина занимал пост министра финансов, а после гибели Столыпина в 1911 г. совмещал посты премьер-министра и министра финансов до 1914 г.

39 А.В.Кривошеин – с 1908 г. главноуправляющий землеустройством и земледелием, руководил проведением в жизнь Столы-

стремился оттягать в министерство земледелия. Такая же борьба разгорелась между министерствами юстиции и внутренних дел из-за тюремного ведомства, которое Муравьеву удалось перевести в министерство юстиции, и каждая такая удача оценивалась как победа над противником. Каждый законопроект любого министерства давал другому повод подсидеть, раскритиковать, вообще причинить какую-нибудь неприятность, и отношения между ведомствами казались злой пародией на «войну всех против всех». Это была постоянная борьба, постоянная грызня друг с другом. Если мне лично так повезло, если проект преобразования сенатской типографии прошел без обычных аксессуаров, то счастливое исключение объяснялось либо нежеланием ломать копыя на пустяках, либо предстоявшим генеральным сражением на территории преобразования судебных уставов, но – так или иначе – случайной причиной, лежащей вне содержания проекта.

Я почтительно поклонился. Шмеман вновь пожал мне руку, но в избытке праздничного настроения, уже на прощание, вдруг спросил: «А почему вы сидите на пенсиях?» Я ответил, что однажды уже был смущен таким вопросом и что снова могу лишь сказать – туда меня посадили. И опять тот же ответ: «Ну ладно, посмотрим!» – и через некоторое время я был переведен в юрисконсультскую часть, считавшую себя солью земли.

пинской аграрной реформы. До того с 1906 г. был товарищем министра финансов, управлял Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками и, перейдя на новую должность, стремился оставить их в своем подчинении. Министр финансов В.Н.Коковцов со своей стороны полагал, что финансовые учреждения должны подчиняться единому центру.

Здесь сосредоточивались наиболее сложные дела, разрабатывались важнейшие законопроекты, сюда поступали проекты других ведомств, на которые требовался отзыв министерства юстиции, здесь составлялись «шпаргалки», то есть материал для выступления министра в Государственном совете и различных междуведомственных совещаниях, здесь состояла и консультация, о которой уже выше упомянуто. Посему чины юрисконсультской части и считали себя привилегированными, аристократией министерства, это был и питомник министров и товарищей – Манухин, Щегловитов, Веревкин, все прошли через юрисконсультскую службу. Последнему кандидату – Мордухай-Болтовскому – неожиданно помешала революция, но он сумел занять видное положение и при советском режиме. Быть может, легкость приспособления и объясняется отчасти тем, что содержание вообще отступало на задний план перед формой, перед словесностью. Однажды Веревкин сказал мне: «Это представление в Государственный совет нужно изготовить в спешном порядке. Пожалуйста, поменьше глубокомыслия, замените его словесной водицей».

Но и в этом святилище вся работа ложилась на двух-трех человек – толковых юристов, а большинство обязано было своим связям, например, один красавец сербского происхождения, имевший и придворное звание, самого простенького проекта написать был не в состоянии. Но зато он имел абонементное кресло первого ряда на балетные представления в Мариинском театре, а попасть в число тридцати–сорока таких избранников почиталось величайшим счастьем.

Отношение Муравьева к «гвардейской части своей» было неустойчивым: сам пройдя большой стаж по судебному ведомству, он пытался замещать юрисконсультские вакансии людьми, практически знакомыми с юриспруденцией. Поэтому во

главе и оказался Носенко, которого, однако, быстро выжили и вновь назначили петербургского бюрократа, его опять сменил судебный деятель, тоже недолго продержавшийся и уступивший место Веревкину, который всю свою службу провел в помещении юрисконсультской службы и, думаю, никогда судебного заседания не видел.

В полной зависимости от этих колебаний находилось мое положение в «гвардии», которая встретила меня более чем сдержанно. Я был прикомандирован к упомянутому сербу, но, когда после бюрократа назначен был судебный деятель, впоследствии сенатор П.Н.Гуссаковский, он стал меня выдвигать, возлагал самые сложные дела, и хотя в это время я уже с головой ушел в «Право», но и министерскую работу делал с большим увлечением. Моя записка, давшая министру возможность блеснуть эрудицией в Государственном совете при рассмотрении одного из проектов фабричного законодательства, заслужила вторичную признательность со стороны начальства, после чего Гуссаковский совершил маленький государственный переворот: делами консультации по закону заведовал юрисконсульт, а он возложил эту работу на меня, незадолго перед тем назначенного помощником юрисконсультанта. Я опять занят был по горло, но разбираться в этих запутанных делах, которые, как ни складывай и ни перекладывай, никак не уложить в рамку закона, все более твердеющую в противоположность гибкому и подвижному творчеству жизни, было истинным наслаждением, не лишенным спортивного чувства.

Гуссаковский то и дело требовал меня к себе для объяснений и новых поручений, и явное предпочтение вызывало столь же явное недружелюбие сослуживцев. Привилегированность положения еще подчеркнута была работой для московского предводителя дворянства, вызывавшей частые поездки в

Москву. Настоящий московский барин, князь П.Н.Трубецкой, брат известных философов Сергея и Евгения Трубецких, получил от Муравьева разрешение мне кратковременных отлучек без испрошения отпусков, так что я стал каким-то вольным казаком в министерстве. Так продолжалось, пока Гуссаковский не был назначен сенатором, а на место его сел Веревкин. Сразу мое положение круто изменилось, меня просто игнорировали, вообще никаких дел не поручали и еще больше подчеркнули такое отношение, назначив в помощь мне, как представителю министерства в междуведомственной комиссии при министерстве земледелия, младшего чиновника.

Одно из заседаний этой комиссии живо сохранилось в памяти: это было в день моего рождения – 15 апреля 1902 года. Во время заседания вдруг вбежал курьер, взволнованно бросился к председателю и что-то прошептал ему на ухо. Ермолов побледнел и заявил, что заседание прерывается. Оказалось, что в помещении Комитета министров в Мариинском дворце убит был одетым в адъютантскую форму Балмашевым министр внутренних дел Сипягин. Вечером была гастроль Московского Художественного театра, шла самая популярная тогда пьеса Ибсена «Доктор Штокман», вызывавшая у публики бурный энтузиазм. В одном из антрактов, гуляя с приятелем в фойе, я наткнулся на Щегловитова, тогда вице-директора нашего министерства, с ним меня связывала не только служба, но и его постоянное сотрудничество в «Праве». Поздоровавшись, он увлек меня в сторону и спросил: «Ну, что вы скажете?» Я ответил: «Конечно, это ужасно». Не давая мне окончить фразу, он торопливо перебил: «Ужасно, ужасно! Но поделом вору и мука». Таково было отношение не только Щегловитова...

* * *

Тягостно было опять переходить от увлекательной работы к конфузливому безделью и отсиживать служебное время с книгой или корректурой под косыми взглядами злорадствующих сослуживцев. Но надо признать, что сама по себе моя служба все больше превращалась в нелепый парадокс, тоже характерный для состояния режима: «Право» все более отчетливо становилось оппозиционным органом, а редактор состоял на государственной службе. Но парадокс усложнялся тем, что в «Праве» сотрудничали выдающиеся судебные деятели, как ученые сенаторы Н.С.Таганцев и Я.И.Фойницкий, крупные чины министерства внутренних дел Лозина-Лозинский, Страховский и др. Вероятно, это обстоятельство и служило некоторой помехой начальству решительно от меня отделаться. Но наконец час все же пробил, и опять к моему благополучию. От меня, правда, даже не потребовали выбирать между «Правом» и государственной службой, а лишь поставили условием не колоть глаза обозначением в каждом номере журнала моей фамилии в составе редакционного комитета. Но и при таких льготных условиях выбор теперь был не труден, а министерство еще наградило меня «усиленной пенсией» в 600 рублей. Но главное, конечно, было в том, что теперь не предстояло начинать сначала, а, напротив, оставалось окончательно выйти на дорожку, с которой столкнули тяжелые годы.

■ «Право» (1898–1904)

В одном из своих обзоров иностранной юриспруденции в «Журнале министерства юстиции» я вскользь упомянул об отсутствии у нас периодического органа, который критически отражал бы правовую жизнь страны. В голову не приходило, чтобы это упоминание имело какие-либо практические последствия, и уж никак нельзя было предвидеть, чтобы такое мимолетное замечание произвело решительный перелом в судьбе и определило всю будущность. Само по себе указание было вполне правильным: две еженедельные газеты: «Юридическая» и «Судебная» – влачили жалкое существование... Нужда в серьезном издании, посвященном практической юриспруденции, несомненно, была настоящей, но мог ли я думать, чтобы удовлетворение ее доверено было «младшему делопроизводителю» пенсионной части!

Как раз в это время я познакомился у кузена Владимира Матвеевича с присяжным поверенным и приват-доцентом А.И.Каминкой (только мы двое и остаемся еще в живых из всех инициаторов «Права»), и в завязавшемся оживленном разговоре он, тоже мимоходом, заметил, что с интересом читает мои обзоры и считает как нельзя более своевременным упомянутое указание. Но и в этой беседе ни словом не затронута была возможность практического осуществления высказанной мысли. А еще через несколько дней, идучи с сыновьями покупать гимназические пальто, я на Невском встретил Августа Исааковича, и тут вдруг мне взбрело в голову спросить, нельзя ли сделать из нашей беседы практические выводы? Вопрос его обрадовал, и он ответил, что давно об этом размышляет. Короткий разговор наш и был зачатием «Права», прелюдией бесчисленных обсуждений, к которым мы привлекли прежде

всего кузена В.М.Гессена и чиновника министерства внутренних дел, приват-доцента Н.И.Лазаревского, представлявшего настоящий кладезь знаний русского государственного права.

Наши обсуждения сразу же установили полное единомыслие относительно задач газеты, на знамени ее должно быть начертано: «Законность!», иначе говоря – борьба с тенденциями Боровиковского, в которую я уже был втянут Новороссийским университетом несколько лет назад. С тех пор эти тенденции сильно окрепли и получили официальное признание назначением Боровиковского на пост обер-прокурора гражданского кассационного департамента Сената, на обязанности коего и лежит руководство и наблюдение за правильным применением законов. Деятельность Боровиковского начинала уже приносить ядовитые плоды...

Еще более безотрадным и угрожающим было положение уголовного правосудия. Сейчас, конечно, с легкой руки советского кодекса прежний устой уголовного правосудия заменен совсем новым, судье предоставлено облагать карой деяния, в законе и не предусмотренные. Но разве же это не сатанинская гримаса Истории, что предтечей явились сенаторы старого режима, беззаботно веровавшие, что этим они его только укрепляют. И наоборот, разве не мы отстаивали прочность режима, выставив лозунг законности! Было бы фарисейством утверждать, что в таком отстаивании и была наша задача. Нет, мы боролись за хартию вольностей, которую в самодержавном государстве представляет независимый суд, и точно так же совершенно не отдавали себе отчета, куда эта борьба увлечет.

Сейчас не только не помню, но даже трудно понять мне, почему потребовалось так много заседаний, о чем мы без конца говорили, если по основному вопросу никаких разногласий не было. Но и каждая подробность привлекала к себе

напряженное внимание и страстный интерес. Я относился к этим разговорам скептически, потому что плохо верилось, что затея наша осуществится – не было ни денег на издание, ни правительственного разрешения. Разрешения на газету без предварительной цензуры давались тогда в виде величайшего исключения, а издавать под предварительной цензурой не имело никакого смысла. То, что цензура терпела в изданиях, выходящих без предварительного просмотра, беспощадно заливалось красными чернилами при представлении ей статей до выхода в свет. В сущности, не было никаких оснований надеяться, что редкое исключение будет сделано для нас. Ходили слухи, позже подтвержденные в разных мемуарах, что начальник Главного управления по делам печати берет взятки, но мы к этому не прибегли. Если же – думал я – редкий подарок судьбой будет сделан, то «все образуется» само собой и независимо от программных разговоров. Но они имели другое значение – как спевки для хора, и, вчера еще чужие друг другу, мы быстро сближались, и вокруг создавалась весьма приятная атмосфера.

Изумительно точны величавые слова Шекспира: «Чем выше храм, тем больше ширится душа и разума святая служба». Наше начинание казалось нам исключительно важным, и, когда неожиданно разрешение все же было получено, нас охватил чисто юношеский энтузиазм, хотя все уже перевалили за тридцать. Мы не имели никаких связей, не искали протекций, а ограничились пассивным ожиданием ответа на прошение, поданное от имени кузена и Лазаревского, как редакторов-издателей, и много раз перечитывал я сухую казенную бумажку, не веря глазам своим.

Что же касается получения средств на издание, здесь не встретилось ни малейших затруднений. Тонкий юрист, Камин-

ка выработал очень удачную конструкцию товарищества на вере, она и была усвоена впоследствии целым рядом журнальных предприятий. Полными товарищами – неограниченно ответственными – являлись члены редакционного комитета. Остальные участники отвечали лишь в размере взятых ими паев или пая, определенного в 500 рублей. Состав пайщиков украшали все светила петербургской адвокатуры – Герард, Люстих, Карабчевский, Миронов, Пассовер, Потехин, ни от кого мы не получили отказа и лишь, по настоянию Каминки, прекратили дальнейший сбор, когда капитал достиг 30 тысяч рублей.

На мою долю выпало, между прочим, приглашение А.Я. Пассовера, что и дало мне счастливую возможность познакомиться с этим необыкновенным человеком.

Итак, разрешение в кармане, и средства мобилизованы, надо оснащать корабль. Самое комичное, что наибольшие трудности представляло крещение детища: мы придумывали разнообразнейшие сочетания слов – законность, закон, суд, жизнь, юриспруденция – и все отвергали, пока Лазаревский робким голосом не предложил нам, уже совсем отчаявшимся, назвать *tout court*⁴⁰ – «Право». Привыкнув к неудачным попыткам, все уже держали на кончике языка – нет, не годится! – но вдруг недоуменно переглянулись, кто-то заметил: «А пожалуй, недурно!» И еще через минуту стали поздравлять Лазаревского и без конца повторяли: «„Право“! „Право“! Очень хорошо! Отлично!» И название это вошло и стало частью души нашей.

А самое невероятное было то, что председателем редакционного комитета избран был я, то есть на меня возложено было и редакционное, и хозяйственное ведение дела. И если бы не наследственное легкомыслие, разгонявшее неприятные напоминания о разорении предков, бравшихся за чуждые им дела, я, конечно, отказался бы от занятия поста, к которому не было ни малейшей подготовки. А под Новый, 1899 год, когда пробные четыре номера «Права» уже определили его шумный успех, говорил жене, обмениваясь новогодними пожеланиями: «Не верю до сих пор и не понимаю, как это произошло».

Должен, однако, чистосердечно отметить и закулисную сторону успеха: хозяйственная часть «Права» поставлена была из рук вон плохо и держалась, ни шатко ни валко, на моем лозунге – все образуется!

В редакционном же отношении было постановлено, что поступающие рукописи распределяются между членами комитета по их специальности, одобренные сдаются в набор и в корректурах рассылаются всем членам. В моем ведении остаются, как у нас выражались, «потроха» – отчеты о всяких заседаниях и хроника, собиравшая из газет случаи нарушения законности. По четвергам происходили наши заседания, на которых обсуждалось содержание следующего номера, разбирались сомнения, вспыхивали упорные споры, но все были одушевлены одним желанием, одной заботой, чтобы «Право» вышло без малейшей царапинки, и это была не работа, а подлинное душевное горение. Едва ли в славной истории русской журналистики найдется другой пример такого равноправно-согласного, любовного, жертвенного формирования литературного детища и беззаветной веры в него. Позже была «Речь», в эмиграции «Руль» – диапазон стал выше, влияние шире, но тот искренний пафос, то белоснежное настроение, как первая

любовь, были уже неповторимы. Нельзя было выделить роль и значение каждого члена в отдельности. Но все вместе имели полное право присвоить себе слова поэта: друзья мои, прекрасен наш союз!

Подготовка первого номера, вышедшего 8 ноября 1898 года, превратилась в настоящее священнодействие. Были представлены три варианта программной статьи. Один, оказавшийся совершеннейшим образцом банальности, сразу был отвергнут. Замечательной статьей Петражицкого, содержащей квинтэссенцию его нового учения о праве, нельзя было воспользоваться ввиду ее больших размеров. Всем, в том числе и авторам-конкурентам, с первого же чтения понравилась с блеском написанная статья В.М.Гессена, но – боже мой – как разбирали ее по косточкам, в какие абстрактные дебри уводили споры... А.И.Каминка всячески старался ослабить излишнее заострение стрел, направленных против позиции Боровиковского. Но и после всех поправок статья осталась очень яркой, отлично выражавшей наше настроение и исчерпывающе объяснявшей значение принципа законности, которому мы клялись служить верой и правдой. Я написал для этого номера обзор кассационной практики за текущий год и был несказанно счастлив, что статья прошла без всяких замечаний и поправок.

Успех газеты превзошел все наши ожидания: 2200 подписчиков (позже это число поднялось до 10 тысяч) для специального юридического издания были доселе цифрой совершенно небывалой. Сидя в вагоне трамвая и вновь и вновь перелистывая страницы, на которых уже была знакома каждая запятая, я был убежден, что к этой светло-желтой тетрадке приковано внимание всех соседей, и думал, каким бы почте-

нием они прониклись, если бы догадались, что сидят рядом не с заурядным читателем, а с одним из редакторов.

Детище наше родилось в сорочке, огораживавшей его от воздействия совершаемых ошибок. Мы долго не могли найти подходящего нам специалиста по уголовному праву и по моей неудачной рекомендации обратились к моему сослуживцу по министерству А.Л., но он сразу весь отразился в банальном варианте программной статьи и – спасибо ему – сам понял, что не ко двору, и ушел. Не могли поладить и с О.О.Грузенбергом, быстро завоевавшим видное положение среди уголовных защитников. Лишь после этого решено было обратиться с приглашением к Владимиру Дмитриевичу Набокову, которого мы опасались, как элемента чужеродного.

Мы все были людьми одного общественного круга, одной социальной ступени. Набоков же, сын министра, камер-юнкер, женатый на миллионерше Е.И.Рукавишниковой, живший в барском особняке на Морской, рисовался нам человеком с другой планеты, с которым «нам разный путь судьбой назначен строгой». Выраженная им радушная готовность войти в состав редакции была для нас большим сюрпризом. Но тревожил вопрос – не внесет ли он диссонанса в наши простые дружеские отношения? Не потянет ли холодком великосветских условностей? Практический ответ на этот вопрос оказался еще большим и исключительно приятным сюрпризом. Продолжая цитату из стихотворения великого поэта нашего, можно сказать: «Фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной, все тот же ты для чести, для друзей». Владимир Дмитриевич открылся нам прекрасным товарищем, необычайно добросовестным работником, разносторонне образованным, с «элегантным», по выражению Петражицкого, публицистическим пером. Душевно уравновешенный, с тонким внутренним

таким, благожелательный, он не только не внес разлада, но еще теснее спаял наш кружок и брал на себя самые ответственные статьи, привлекавшие к «Праву» всеобщее внимание.

«Право» оказалось для него перекрестком, с которого он пошел по новому пути: когда позиция журнала стала боевой, вчера еще совершенно неприемлемой для Набокова⁴¹, он ни на минуту не задумался твердо на ней остаться и с нее уже не сходить до своей трагической смерти. С этим связано было лишение придворного звания, отказ от предстоящей блестящей судебской карьеры, но – что может быть еще чувствительнее – разрыв с той средой, в которой он родился, воспитался и был связан. В начале 1904 года он уехал с семьей за границу, чтобы освежиться от окружавшей его злобной враждебной среды родственников и знакомых. Летом темп событий стал быстро ускоряться, и в посланном письме я обратил его внимание, что теперь ему место не на итальянском курорте, а в Петербурге, где его ждет руководящая роль. Он тотчас приехал и очень облегчил мою совесть, сказав, что «жена велела вас поцеловать за ваше напоминание». И я не ошибся: именно на новом пути он быстро сделал «блестящую карьеру», выдвинул-

41 На самом деле В.Д.Набоков, несмотря на происхождение, с юности был близок к оппозиционным кругам, еще студентом в 1890 г. подвергался аресту «за политику» и был исключен из университета. И все же ему дали возможность вернуться к учебе, сдать экзамены, получить диплом и продолжить образование за границей. Однако политические убеждения у него сохранились, он вступил в нелегальный Союз освобождения и состоял его членом до роспуска Союза в 1905 г., а также стал одним из основателей оппозиционной Конституционно-демократической партии.

ся в первые ряды общественных деятелей, пользовался авторитетом и глубоким уважением не только среди соратников, но и политических противников. Своим переходом в лагерь оппозиции он нанес тяжкий удар режиму. Ясно вижу на министерской скамье Государственной думы высокую, стройную фигуру министра Императорского двора графа Фредерикса во время известной речи Набокова. С гордо поднятой головой и благородной осанкой он ровным убедительным голосом чеканил обвинительный акт против правительства, закончив ставшей крылатой фразой: «Исполнительная власть да подчинится законодательной!»

Фредерикс впился в него глазами, остановившимися от изумления: неужели этот дерзкий трибун тот самый камер-юнкер, с которым он был соседом по имению под Петербургом и с которым для взаимного понимания не нужно было и слов.

Да, «Право» родилось в сорочке – тотчас после рождения ему был приготовлен и другой, совсем сенсационный сюрприз. Если Набокова мы опасались включать в свою, чуждую ему среду, то о приглашении Льва Иосифовича Петражицкого вообще мысль не приходила в голову, он только что с небывалым успехом защитил свою докторскую, увлекательную, как роман, диссертацию и быстро поднимался к зениту своей научной славы. Наплыв студентов на его лекции был так велик, что пришлось отвести для них большой актовый зал, в котором слушатели, затаив дыхание, восторженно внимали словам молодого учителя. Это было тем более внушительно, что Петражицкий лишен был всех внешних данных, способствующих успеху лектора. Невысокого роста, блондин, с маленькой головкой и широким носом, оседланным непропорционально большим пенсне, в которое смотрели вялые, бесцветные глаза, безнадежно монотонный голос, мучительно спотыкающаяся

речь, состоявшая из длиннейших, неправильно построенных периодов, – все здесь как будто нарочно сочеталось, чтобы молодежь оттолкнуть. И если, вопреки всему, он пользовался таким исключительным успехом, это, как мне кажется, можно объяснить тем, что его речь воспринималась как импровизация, и у слушателя создавалось впечатление, что он сопереживает мукам творчества, и – что всегда увлекает молодежь – творчества, разрушающего установившиеся теории и открывающего новые горизонты.

Петражицкий был весь поглощен научной работой и горячо убежден, что созданная им теория права может преобразовать весь социальный уклад. Возможность проводить свои взгляды в периодической печати и вызвала, вероятно, интерес к «Праву», но уж никак нельзя было предполагать, что он согласится принять участие и в будничной редакционной работе. Тем выше было общее радостное изумление, когда по выходе второго номера он сам предложил себя в члены редакционного комитета, и мы бурно приветствовали его намерение. Было чему радоваться – его вступление сразу значительно подняло авторитет «Права», а напечатанная в первых же номерах серия статей об обычном праве, беспощадно развенчивавших этот народнический фетиш, была самым ценным и ярким украшением «Права», которое он любил нежной любовью, как живое существо.

В дружеском личном общении он производил обаятельное впечатление приветливостью, искренним радушием, благостной снисходительностью к людям, граничившей с детской наивностью. У нас в доме за завтраком он впервые встретился с Пассовером – два полюса: один ревниво таил свое духовное богатство и унес его в могилу, другой стремился осчастливить мир своими открытиями, и его литературное наследство

составило бы около 80 внушительных томов по самым разнообразным вопросам.

Положение Петражицкого в «Праве» было вообще особенным. Не говоря уже обо мне, которого оно осыпало щедротами, превратило из младшего делопроизводителя в общественного деятеля, потом редактора крупнейшей петербургской газеты и, наконец, поставило председателем всероссийского общества редакторов, «Право» и всех подняло в общественном мнении. От Петражицкого же оно само обогатилось научным авторитетом, а он незаметно увлекся политической деятельностью, вступил в кадетскую партию, избран был членом Первой Думы, сел в тюрьму за подписание, против воли, знаменитого Выборгского воззвания⁴² – словом, вступил в область, органически ему чуждую, безжалостно разрушавшую его веру в силу логики и разума, и, окончательно утратив эту веру под гнетом войны и революции, выстрелом в висок оборвал свою жизнь. Года три назад, приехав в Варшаву для чтения лекций, я посетил его вдову в грязном, казарменном университетском здании, в той самой неуютной комнате, где это случилось. Стояла на своем месте ширма, за которой, по рассказу вдовы, он наложил на себя руки... Страшно, невыносимо страшно было

42 Выборгское воззвание – документ, выпущенный депутатами Первой Государственной думы после ее разгона правительством, с призывами к гражданскому неповиновению в знак протеста. Политики, подписавшие Выборгское воззвание, были подвергнуты административному и даже уголовному наказанию с короткими сроками (до трех месяцев) тюремного заключения. Но главным наказанием было лишение избирательных прав, и в дальнейшем «подписанты» баллотироваться в новые составы Думы уже не могли.

представить себе его предсмертные дни, трепетала душа от назойливого домысла, не задумывался ли он горестно над оставляемым колоссальным литературным наследством и не вспоминал ли издевательства Пассовера над «теориями».

Трагическая судьба Петражицкого подвела меня непосредственно к основному вопросу о «сползании» «Права». Употребляя это выражение, я отдал неправедную дань покаянному поветрию, считающемуся у «отцов» в эмиграции признаком хорошего тона. По существу же указание на сползание – чистейшая аберрация. Соотношение позиций действительно менялось, но сползло не «Право», а режим. Поэтому сосредоточение всех усилий на ограждении законности и на выпячивании все участившихся ее нарушений убеждало общественное мнение, что самодержавный режим органически с законностью несовместим, что лозунг законности – знамя борьбы с самодержавием. И я скажу – если бы мы такие последствия предвидели, приступая к созданию «Права», то состав его, во всяком случае, был бы иной: не взялись бы за него лица, состоявшие на государственной службе, и когда эти последствия определились, то действительно, одни вынуждены были выйти в отставку, другие – расстаться с «Правом». Скажу еще иначе – если бы мы сознательно стремились такие последствия вызывать, «Право» не могло бы занять в русской журналистике того исключительного места, которое ходом событий было ему уготовано, сыграть яркую роль, подброшенную ему исторической обстановкой.

По существу ограждение законности было гораздо ответственнее в другом отношении. Наши гражданские и уголовные законы безнадежно устарели и являлись прокрустовым ложем для быстро развивавшихся после отмены крепостного права юридических отношений. Разработанный проект уголовного

уложения лишь в начале XX века, и то в небольшой части, касающейся политических преступлений, был введен в действие, а проект гражданского уложения, симптоматически лишенный самостоятельного творчества, так и остался в подготовительной стадии до гибели самого режима. «Право» уделяло много внимания этим проектам, выясняло их основные недостатки, настаивало на ускорении и оживлении работ, но все отчетливее понимало, что наступил законодательный паралич, создававший безвыходное положение: выбирать нужно было между устарелыми и несправедливыми законами и предоставлением судьям по своему произволу изменять закон применительно к каждому данному случаю.

Успех «Права», как и должно было быть, не выходил за пределы ограниченного круга лиц, интересующихся юриспруденцией, но уже на первых порах оно проникло и в широкие читательские слои. Случилось это в феврале 1899 года, после жестокого избиения студентов полицией... «Новое время» напечатало «маленькое письмо» Суворина, резко и злобно осуждавшее молодежь, и, по нашей просьбе, К.К.Арсеньев поместил в «Праве» ответ. Тогда уже маститый, благообразный старик, К.К.Арсеньев был типичным, цельным представителем эпохи великих реформ. Одним из первых он вступил в сословие адвокатов и сыграл виднейшую, благотворную роль в формировании русской адвокатуры.

Если сейчас прочесть статью К.К.Арсеньева в «Праве», она покажется робким шепотом, но по условиям того времени она выделялась спокойствием и сдержанностью. Статья произвела огромное впечатление, она была как бы отдушиной для общественного негодования и вызвала широкий бойкот «Нового времени», о чем особым правительственным циркуляром запрещено было газетам сообщать. Но и сам Суворин в част-

ном письме, приведенном в его опубликованном дневнике, пишет, что «на каждых двух студентов был один страж – конный или пеший. Разве при такой силе можно бить кого-нибудь? А лупить нагайками никого не следует». Эти разоблачения открылись лишь после революции, а тогда они были скрыты в дневниках, но положительно утверждаю – и тогда у меня было уже ощущение, что защитники и охранители режима сами в него не верят, и это ощущение придавало уверенность и бодрость.

В 1901 году «Право» совершенно неожиданно получило новый ценный подарок, оказавший огромное влияние и на мою дальнейшую судьбу и давший возможность значительно расширить круг литературных связей и познакомиться с целым рядом замечательных людей, воспоминания о коих теперь так приятно согревают хладеющее сердце. Однажды, устав от работы, я зашел к жившему неподалеку Лазаревскому, чтобы поболтать. Я застал у него незнакомца – его рослая, несколько грузная и все же очень изящная породистая фигура невольно привлекала к себе внимание, а открытое, благородное, мужественное лицо с пытливыми глазами внушало неотразимое доверие. Это был потомок Рюриковичей – князь Петр Дмитриевич Долгоруков, крупный землевладелец Курской губернии, председатель Суджанской земской управы, один из основателей и наиболее активных деятелей Союза освобождения. С того памятного дня между нами и установились дружеские отношения, в течение 35 лет ни разу не омраченные и всегда доставлявшие мне большую радость. Я встретился с ним в прошлом году в Праге, где с очаровательной женой, сельской учительницей, и двумя детьми он бодро живет в удручающих материальных условиях беженства.

О том первом нашем свидании запомнилась сухая отрывистость речи, словно говорившей: к чему турысы на колесах подпускать? Вы же понимаете, что нужно? Тогда действительно друг друга с полуслова понимали. А нужно было, как выяснилось, составить сборник статей, посвященных разработке вопроса о мелкой земской единице. За этим бесцветным названием скрывался животрепещущий вопрос о крестьянском равноправии, о замене сельского и волостного крестьянского управления, сохранявшего еще чувствительные остатки крепостного права, всеобщей ячейкой как основным звеном земского самоуправления. Князь обратился по надлежащему адресу – Лазаревский был несравненным знатоком и теории, и практики государственного права, он и выразил готовность написать для сборника теоретическую статью о самоуправлении, но от редакционной работы решительно отказался и, знакомя меня с Долгоруковым, сказал: вот как раз тот человек, который вам нужен.

В это время судьба послала мне в полном смысле незамеченного помощника по «Праву» – М.И.Ганфмана, молодого юриста, недавно приехавшего в Петербург из Казани с письмом от профессора Шершневича, горячо его рекомендовавшим. Но письмо оказалось лишним: внешность на меня всегда производила сильное впечатление, и какая-нибудь казавшаяся неприятной черта внушала предубеждение, которое трудно было преодолеть. Но все же мне кажется, что бывают люди, внешность коих как бы гарантирует их внутренние качества. К таким именно принадлежал Ганфман со своей красивой точечной головой, умными глазами, добродушной, мягкой улыбкой, преждевременной полнотой и неловкими, неуверенными движениями и жестами. Мы быстро сблизились, он стал членом семьи моей и преданнейшим заботливым другом. Естественно, что сходятся люди с противоположными свойствами,

и его нерешительность была благодетельным противовесом моей импульсивности, от которой ему приходилось не раз незаслуженно и несправедливо терпеть. В «Праве» он начал работу с составления отчетов о сенатских заседаниях, и эти отчеты могли бы служить образцом сжатого, точного и яркого изложения решенной юридической контраверзы. Но главный, особенный талант его, которому соответствовала и душевная склонность, выражался в замечательном умении подать мудрый совет, и этот талант свидетельствовал о чуткой и трезвой ориентации в политической и общественной обстановке и о знании людей. Так мы и проработали с Ганфманом почти непрерывно до эмиграции, которая развела нас в разные стороны. Скажу здесь, что теперь большим утешением служит воспоминание, как я всегда старался окружить себя людьми талантливыми, испытывал величайшее наслаждение, когда встречал их, мог схватить за шиворот и прикрепить к «Праву».

Когда я сообщил Ганфману о принятом предложении князя Долгорукова, он ужаснулся, но так как рассуждать было уже поздно, то мы и принялись за работу. Труднее было убедить редакцию «Права» связаться через этот сборник с земскими кругами. Решительным противником сборника выступил именно земский деятель В.Д.Кузьмин-Караваев, профессор уголовного права в Военно-юридической академии, состоявший тогда членом нашей редакции. Блеск военного мундира – полковника, а затем и генерала – создавал ему большую популярность в либеральных кругах, к которым он тяготел. К.К. Арсеньев говорил мне о нем как об отличном ораторе и публицисте. По-моему, он был лишь хорошим популяризатором чужих мыслей и страдал отсутствием всякой творческой способности. В конце концов удалось сломить его утомительное упрямство, и сборник вышел под заголовком: «Издание кн.

П.Д.Долгорукова и кн. Д.И.Шаховского при участии газеты „Право“».

Вот он лежит передо мной, этот сборник, преподнесенный здесь, в Берлине, в подарок одним приятелем: читаю в оглавлении имена Арсеньева, Лазаревского, профессора Виноградова, профессора М.Ковалевского, В.Спасовича, В.Скалона. Боже мой, а статья о «Местном управлении в Древней Руси» принадлежит перу короля «красной профессуры» М.Н.Покровского – тогда лев еще возлежал рядом с ягненком. Сборник и впрямь удался на славу, всесторонне осветил поставленную тему, и успех книги был необычайным – так живо вспоминается удивление, которое вызывали телеграммы из разных захолустьев, требовавшие немедленной высылки возможно большего числа экземпляров, и через две недели пришлось приступать к печатанию второго издания. Так ярко встают перед глазами все детали шумного успеха, точно вчера это было, но такая бездна вырыта уже между этим вчера и сегодня, что, держа в руках сборник, я не могу отвязаться от назойливо прокрадывающегося в память гоголевского Ивана Никифоровича, развешивающего во дворе свой старый скарб, чтобы его проветрить.

Долгоруков и Шаховской не были издателями за свой счет, а являлись представителями тогда еще совсем небольшого земского кружка, присвоившего себе название «Беседа», с которым мне вскоре довелось познакомиться. Шумный успех «Мелкой земской единицы» естественно породил желание продолжать это дело, и весьма соблазнительный материал давало созванное тогда Витте совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Выработанная совещанием программа вопросов передана была на места в губернские и уездные комитеты, которые отнеслись к поставленной им

задаче с большой серьезностью, и труды комитетов изданы были в десятках томов, содержащих ценнейшие сведения об экономическом и политическом положении страны и, главным образом, деревни. Я предложил Долгорукову издать новый сборник, посвященный разработке затронутых в трудах вопросов, и был приглашен в Москву для подробного изложения членам «Беседы» намеченного плана.

Заседания происходили в великолепном старинном особняке князей Долгоруковых, в одной из комнат этажа, в которой когда-то Карамзин писал «Историю Государства Российского». Шаховской в своих воспоминаниях о Союзе освобождения утверждает, что вначале «Беседа» состояла из шести членов, в том числе пяти предводителей дворянства: я вспоминаю угрюмого фыркающего князя Волконского (Рязанская губерния), двух неуравновешенных сангвиников Н.Н.Львова (Саратовская губерния) и А.А.Стаховича (Орловская губерния) и близнеца Петра Долгорукого – Павла (Московская губерния), до курьеза похожих не только лицом, ростом, манерами, но и голосом, и почерком... Душевным складом братья, однако, очень разнились – Петр стал искренним демократом, у Павла были еще крепки его аристократические родственные связи. Но со времени войны он значительно опростился, а октябрьский переворот сделал его фанатическим врагом большевиков и заговорщиком, он провел всю Гражданскую войну на Юге России и в изгнании весь поглощен был задачей борьбы с советской властью. По мере же того, как борьба все больше вырождалась в словоговорение, обострявшее внутренний разлад и распад эмиграции, князя Павла все больше охватывала тоска по родине, и он решил туда вернуться, не отдавая себе, по видимому, ясного отчета, какие практические цели его влекут. Переодетый странником, он был на самой границе арестован, но, по счастью, не узнан и после нескольких дней пребывания

во власти ГПУ препровожден обратно, через польскую границу. Но он уже был одержим тоской по родине, чувствовал себя чужим в эмиграции и горько жаловался... Сам он жил в пятидесятифранковой холодной мансарде с керосиновым освещением и отоплением, на седьмом этаже, по крутой черной, совершенно темной лестнице, и на указание друга, что нельзя так высоко взбираться, ответил: «Да, в беженстве я поднимаюсь все выше и выше, а не опускаюсь». Год спустя он снова, на этот раз через Бессарабию, направился на родину, побывал в Харькове и оттуда, пробираясь в Москву, решил навестить свою восьмидесятилетнюю тетку – игуменью мать Магдалину, бывшую графиню Орлову-Давыдову, основавшую в Серпуховском уезде женский монастырь. Но теперь за ним следили, на станции Лопасня арестовали, вместе с рядом лиц, которых он по пути посетил, и расстреляли.

Передо мной лежат две густо исписанные тетради посмертных записок, которые он из Кишинева послал брату Петру, поручив передать мне для напечатания, чего, к сожалению, по беженским условиям, сделать пока не удалось. Эти записки живописуют страшный мартиролог Белого движения, среди которого он, закрыв глаза на обреченность, тесно прижавшись к армии и свято храня, как последнее достояние, свою принадлежность к кадетской партии, двадцать раз начинал в разных городах издание газет. Составлял и распространял листовки и воззвания, читал лекции, строго проводя кадетскую идеологию и упрямо пытаясь словесным маслом залить бушующие волны. Мне бросилась в глаза одна запись в этих тетрадях: «Феодосия, куда я впервые попал, связана с воспоминанием детства, так как в нашем подмосковном имении в церкви похоронен В.М.Долгоруков-Крымский, покрывший восточную часть Крыма, и в зале дома висели два огромных плана-картины взятия им Феодосии и Керчи и

турецкого флота, а во дворе стояли подаренные ему Екатериной II пушки с серебряными планками, отбитые у турок в сражениях». Образ славного предка, вероятно, служил ему звездой, которая манила видениями подвига во имя спасения родины и отвлекала мысли от обреченности Белого движения.

Мой проект издания второго сборника был одобрен «Беседой», и вслед за сим в Петербурге состоялось многочисленное собрание из земцев и литераторов для обсуждения разработанной Ганфманом программы, которая и была целиком принята. Работа оказалась нелегкой, ибо нужно было разобраться в гряде материалов, печатных и гектографированных, которые Витте в ответ на мою просьбу любезно прислал, и снабдить авторов соответствующими их темам частями. Но тогда работа не утомляла, а возбуждала, и этот второй сборник, появившийся в двух внушительных томах под названием «Нужды деревни» – первый посвящен был вопросам культурно-правовым, второй экономическим, – вышел не менее удачным, а воздействие его на формирование общественного мнения оказалось еще более серьезным. В воспоминаниях князя Шаховского указано, что сборники послужили к сближению земской группы с интеллигенцией и подготовили почву для общей деятельности, причем связующим звеном была редакция «Права». Земцы относились к представителям интеллигенции с преувеличенным почтением и жадно впитывали ее взгляды и настроения. Но мое восхищение не уступало их почтительности, я гордился и утопал в наслаждении общения с ними – это были главным образом члены редакции «Русского богатства» и народнические круги, к ней примыкающие. Только что оперившиеся социал-демократы, узники классового сознания, рьяно блюли чистоту риз своих и потому держались обособленно, избегали ходить на совет нечестивых и притязали на признание за ними крайнего места на левом

фланге общественности, считавшегося крайне почетным в общественном мнении. Народники оспаривали это место на основании своего революционного старшинства. Но разница была в том, что у социал-демократов обособленность диктовалась правильной или абсурдной, но живой практической идеей воспитания классового сознания, а у народников культ революционного дворянства был самодовлеющим, а потому мертвящим и служил источником нетерпимости и предрассудков, отражаясь рутиной и тенденциозностью на литературном творчестве.

Когда я благодаря успехам «Права» удостоился приглашения на «четверги» «Русского богатства» (которыми лишь в виде исключения мог воспользоваться, ибо и заседания «Права» проходили по четвергам), я чувствовал себя под покровительственно-снисходительными взглядами много более стесненным, чем в Туле, среди столь чуждого мне по воспитанию и миросозерцанию кровного дворянства. Вообще у них в редакции было как-то заговорщицки мрачно, ритуально, без дерзновения. Оживление вносил только Н.Ф.Анненский, совершенно очаровательный в своей жизнерадостности, превозмогавший серьезную сердечную болезнь неугасимым духом общественности и тонким остроумием. Он был горячим сторонником «единого фронта» и, чтобы обойти полицейские запреты, организовал «кулинарное единение» – ужины в какой-то второразрядной кухмистерской Иванова, где устраивались купеческие свадебные трапезы и где за два рубля с персоны нас потчевали какой-то сомнительной рыбой, которую Николай Федорович называл лабарданом. Сначала за этими ужинами велась непринужденная беседа о текущих событиях, но постепенно они все больше оформлялись в обсуждение того или другого политического вопроса, и неизменно председательствовавший Анненский весьма умело

направлял разговоры к претворению в действие. Взбудоражить общественное мнение, приковать внимание к какой-нибудь яркой несправедливости режима – в этом он видел задачу своей жизни.

Ужины с лабарданом собирали несколько десятков человек, здесь кучка интеллигенции варилась в собственном соку. Требовалась более широкая арена, и благодарным поводом были всякого рода юбилеи. Первая попытка – отпраздновать банкетом 200-летие печати⁴³ – кончилась неудачно: в день Нового года полицейские приставы объездили всех участников и любезно сообщили распоряжение градоначальника о запрещении банкета. После юбилея Михайловского следующим в 1903 году устроен был чрезвычайно торжественный банкет в честь В.Г.Короленко, который хотя и был редактором «Русского богатства», но большей частью жил тогда в своей родной Полтаве. По врожденной скромности он всячески уклонялся от чествования, но вынужден был уступить настояниям товарищей своих, которым важно было воспользоваться этим случаем для протеста.

В комитет по организации празднества был приглашен и я. Я был в состоянии, близком к опьянению. Легко ли было, в самом деле, освоить, что я сижу рядом и на равных обсуждаю общественный вопрос с Михайловским, которого в юности видел на недостижимой высоте и каждому слову которого внимал покорно и безответно. А тут еще мне предложили выступ-

43 Первая печатная газета «Ведомости» стала выходить в России со 2 (13) января 1703 г. по указу Петра I, в связи с чем была сделана попытка в 1903 г. отпраздновать 200-летие русской периодической печати, прикрывая торжествами политический сход.

пить с речью на банкете, и мне казалось, что такого счастья не выдержать. Ораторское выступление давно уже стало предлогом мечтаний, ничего более заманчивого я себе представить не мог. Я взял темой афоризм: «Человек рожден для счастья, как птица для полета» и с этой точки зрения освещал творчество Короленко, его сострадательное, участливое отношение к людям, его глубокое уважение к человеческому достоинству и проникновенную любовь к детям. Путь к предназначенному человеку счастьем давал возможность украсить речь политическим оттенком.

Банкет удался как нельзя лучше, собрав в шикарных залах «Контана» человек четыреста, сливки столичной литературы и публицистики. Господи, как я волновался, как трепетал в ожидании вызова своей фамилии, несколько раз принимал валериановые капли, а сидевшая рядом жена, органически чуждая жажде аплодисментов, умоляла отказаться от выступления, обостряя этим мои колебания. Когда я уже встал, услышав свою фамилию, а кругом воцарилась такая тишина, что я слышал громко колотившееся сердце и все еще не был уверен, что язык будет повиноваться... Сначала я слышал свой голос, точно говорил кто-то рядом со мной, а сам только думал – дойдет ли он благополучно до конца? Но когда сидевшая недалеко издательница «Нивы» Маркс⁴⁴ громко сказала:

44 Лидия Филипповна Маркс – супруга основателя и издателя популярного иллюстрированного журнала «Нива» Адольфа Федоровича Маркса. В начале XX в. Л.Ф.Маркс все активнее занималась вопросами издательства и после смерти супруга в 1904 г. продолжила его дело, в 1907 г. преобразовав издательство в акционерное общество «Товарищество издательского и печат-

«Браво, браво!» – по поводу замечания об отношении Короленко к детям, я вдруг оправился, овладел своим голосом и был награжден бурным одобрением. Кажется, я не испытывал состояния более блаженного, чем момент окончания публичной речи, когда весь в испарине усаживаешься на место, рукоплескания кажутся освежающим летним дождем и хотелось бы начать все сначала.

Между утренними занятиями в «Праве» и вечерними заседаниями с горячими оживленными беседами, в центре коих стоял вопрос о благе родины, вклинивалось днем посещение министерства, где не было ни малейшего одушевления, где разговоры вращались вокруг балета и военных парадов, где Веревкин наставлял заботиться о стилистике, а содержание разводить водицей, где за бумагой никто ничего не видел и, в сущности, царил фамусовский принцип: «подписано, и с плеч долой». Никто из сослуживцев ни разу не спросил меня о «Праве», вероятно, никто и не читал его, а большинство и не видело. Сюда, в мрачное здание, сквозь толстые стены не проникали дуновения общественной жизни, точно она вообще расцветала на другой планете. Здесь же бюрократическая машина по-прежнему усердно и как будто без перебоя работала, но маховик вертелся уже на холостом ходу.

Первое столкновение с цензурой произошло на первом номере 1903 года из-за статьи – как это характерно – орловского губернского предводителя дворянства, действительного статского советника и камергера М.А.Стаховича, страстно бичевавшего одно из вопиющих нарушений законности. Статья

ного дела А.Ф.Маркс» и основав Благотворительное общество имени А.Ф.Маркса.

была предназначена для «Орловского вестника», но не была пропущена цензурой и передана автором нам. «Право» выходило без предварительной цензуры, но прежде, чем номер был сдан для рассылки, цензура успела предупредить, что номер будет конфискован, если статья не будет изъята редакцией. Пришлось покориться, а через некоторое время статья появилась в основанном земцами заграничном журнале «Освобождение», что дало повод придворному журналисту князю Мещерскому обвинить Стаховича в своем журнале «Гражданин», издававшемся на казенную субсидию, в нарушении присяги верноподданнической. Стахович привлек Мещерского к суду по обвинению в клевете, и от его имени обвинителями выступили два блестящих адвоката – Плевако и бывший его помощник Маклаков. И патрон, и помощник оказались потом членами Государственной думы.

Ни князь Мещерский, ни Стахович на суд не явились, последний в это время был на Дальнем Востоке на театре военных действий в качестве уполномоченного Красного Креста, чем эффектно воспользовался Плевако в своей речи. Суд признал Мещерского виновным в клевете, но затем судебная палата отменила приговор и оправдала его.

Назначенный преемником убитого Сипягина, В.К.Плеве начал свою деятельность с беспощадного усмирения крестьянских волнений в Харьковской и Полтавской губерниях, и при нем произвол возведен был в систему и стал красной нитью проходить через все внутреннее управление снизу и доверху. Характер у Плеве был нестерпимый, и иметь с ним дело было невозможно, а бесплотность полицейских репрессий еще больше его раздражала и озлобляла. Поэтому его управление оказало самое губительное влияние на правопорядок и ярко отразилось на хронике «Правы», отмечавшей все злоупотребления и

беззакония власти. С каждым номером хроника все больше пухла и производила все большее впечатление на общество именно бесстрашием изложения, заставлявшего читателя самому сделать выводы, а цензуре придаться было не к чему.

На Пасхе разразился в Кишиневе еврейский погром. В своих воспоминаниях Витте прямо указывает что если нельзя утверждать, что Плеве непосредственно погром устроил, то во всяком случае не был против. И пожалуй, нелегко найти случай, к которому более удачно подходило бы выражение Фуше: «Это было больше, чем преступление, это была ошибка». В «Праве» появилась тогда статья В.Д.Набокова «Кишиневская кровавая баня», заклеившая эту ошибку в очень смелых выражениях, и так велико и единодушно было общественное негодование, что правительство не решилось наложить цензурную кару на журнал. Пострадал лишь сам автор, удаленный с государственной службы, а вскоре лишенный и придворного звания камер-юнкера.

К концу этого года и мне пришлось уйти из министерства. Теперь я думаю, что это следовало сделать годом раньше, когда после ухода Гуссаковского мое положение резко изменилось и фактически превратилось в обидную синекуру, но, поглощенный «Правом», я этого тогда остро не ощущал.

Получив свой послужной список, я тотчас же был принят в сословие петербургских присяжных поверенных. Адвокатура меня всегда прельщала, как борьба за право, как отстаивание обиженного и просто как решение запутанных юридических задач. У нас адвокатура испокон веков состояла на подозрении и так и осталась пасынком судебной реформы. И любопытно, что решительным и принципиальным защитником ее являлся К.Победоносцев, впоследствии непримиримый ликвидатор реформ Александра II.

Адвокатура, однако, была для меня лишь подсобным занятием, так сказать, отхожим промыслом. Трудно было совместить адвокатскую практику с обязанностями редактора, требующими точного распределения времени. Наиболее тягостно было без толку слоняться в коридорах суда, иногда в течение нескольких часов, в ожидании слушания своего дела: суды не щадили чужого времени, стороны по всем назначенным к слушанию делам вызывались к началу заседания, и мучительно праздно было ждать своей очереди, зная, что дома ждет неотложная работа. Мне думается, что это вынужденное безделье не остается без следа на душевном строе адвокатов.

За время своего существования с 1866 года адвокатура, параллельно со всем русским обществом, переживала периоды духовного и морального подъема и упадка, теперь она находилась на подъеме, политический оттенок ее деятельности все отчетливее выступал на первый план, по мере того как произвол все сильнее расшатывал твердыни правосудия и отношение суда к адвокатуře становилось все враждебнее. При таких условиях хотя я и не принимал никакого участия в сословной жизни, но, как редактор «Права», много писавший по сословным вопросам, и автор вышедшей до того книги «Судебная реформа», доказывавшей, что печальная судьба ее была неизбежна в самодержавном строе, пользовался некоторым признанием, меня незаслуженно поставили на баллотировку в члены совета и выбрали руководителем конференции помощников присяжных поверенных.

Но мне нужно вернуться далеко назад, к самому началу адвокатской практики. Первыми моими клиентами были два первой гильдии московских купца-еврея, административно высылаемые из Москвы по распоряжению генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. На это противо-

законное распоряжение можно было жаловаться в Сенат, но движение дел в первом департаменте Сената затягивалось на долгие годы, и практически жалоба была для высылаемых бесцельна. Поэтому я решил обратиться к министру внутренних дел и отправился на прием к Плеве.

Просителей, сидевших за огромным овальным столом, было человек тридцать. Появившись в сопровождении секретаря, Плеве, высокий, сутуловатый, с мрачным, застывшим лицом, начал прием с моего соседа и, обойдя вокруг стола, меня принял последним, ушел и секретарь. Я подал ему два прошения и кратко объяснил их сущность. «Да, – сказал он, – вы, по-видимому, правы. Я рассмотрю ваши прошения». Я поклонился и поблагодарил, но он прибавил: «Однако вы не должны забывать, что в Москве генерал-губернатором состоит его высочество». – «Знаю, ваше высокопревосходительство, но не могут же мои клиенты на этом основании отказаться от своих прав». Плеве, по-видимому, спохватился, что совершил неловкость, обнажив ахиллесову пяту режима, и уже с раздражением прервал: «Но я же сказал, что постараюсь сделать, что можно». Я снова поблагодарил и хотел откланяться, но он удержал меня: «Нет, вы очень кстати пришли, пожалуйста за мною, мне нужно с вами поговорить».

Тяжело ступая, он прошел в кабинет и уселся спиной к окну в одно из кресел, стоявших у письменного стола, мне предложил сесть визави, лицом к свету, и начал: «Я хотел переговорить с вами о „Праве“ и сказать, что мне решительно не нравится направление вашего журнала». – «Это меня удивляет, – ответил я, – потому что еще ни разу Главное управление по делам печати не имело случая покарать нас за вредное направление». – «Пожалуйста, не делайте невинного лица. Вы отлично понимаете, о чем я говорю и чем я недоволен и что такое

ваша хроника. Имейте же в виду, что я накануне производства о вас жандармского дознания, потому что, в сущности, „Право“ является succursale⁴⁵ „Освобождения“. – «Для такого утверждения у вас нет решительно никаких оснований». – «Вы совершенно правы. Если бы у меня были основания, мы бы с вами здесь не разговаривали, а сидели бы вы на скамье подсудимых. А так как оснований у меня нет, но есть глубокое убеждение, я и считаю долгом предупредить вас, что, если вы дорожите пребыванием в Петербурге, измените ваше направление». – «Что вы, ваше высокопревосходительство, можете выслать из Петербурга, мне известно».

На этом разговор и кончился, и впервые в кабинете министра внутренних дел я ощутил, что режим бессилен, и вышел из пресловутого дома на Фонтанке с чувством победителя.

Хотя кишиневский погром оказал воздействие, обратное тому, какого Плеве ожидал, и застрашивания его тоже оказались бесцельными и только укрепляли уверенность в слабости власти, тем не менее это не образумило его, а, напротив, толкнуло на еще более опасную авантюру. В своих воспоминаниях Витте утверждает, что, когда Куропаткин упрекал Плеве, что он, Плеве, единственный из министров, присоединился к своекорыстным аферистам, вовлекшим Россию в войну с Японией, Плеве ответил: «Вы внутреннего положения России не знаете: чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». В частной беседе со мной Витте гораздо резче клеймил роль Плеве в возбуждении войны с Японией.

45 Филиал (фр.).

Нельзя, однако, не прибавить, что, когда, уже после первых неудач, я выразил сомнение в благополучном исходе войны, Витте авторитетно сказал: «Ведь если бы крошечная Япония была у нас под боком, вы не сомневались бы, что мы ее разгромим. Ну а если она за 12 тысяч верст, то потребуется лишь больше времени, но результат останется тот же». Конечно, если бы это было так, то коварные расчеты Плеве оказались бы правильными, но самодержавие проявило себя гораздо более бессильным, чем можно было предполагать, и неудачная война завершилась революцией, отцом которой, по справедливости, и следует считать Плеве. Он сам не дожил до этого результата: 15 июля его разорвала бомба, несмотря на чрезвычайные меры предосторожности, принимаемые для ограждения его безопасности. Как ни ужасно, но убийство Плеве у всех вызвало вздох облегчения, а у многих радость, и, пожалуй, прежде всего в рядах самой бюрократии.

Примерно за год до этого убийства в Швейцарии состоялась встреча нескольких земцев с литераторами разных направлений, и здесь было постановлено образовать нелегальный Союз освобождения. Слово «союз» должно было обозначать, что в организацию входят группы с различными программами, но объединяемые целью освобождения России от самодержавия. Большинство учредителей – Долгоруков, Шаховской, Родичев – были мне уже хорошо, отчасти дружески знакомы. Из литераторов были главным образом бывшие марксисты С.Булгаков, Н.Бердяев, Б.Кистяковский, выпустившие тогда нашумевший сборник статей «Проблемы идеализма». Тотчас же после этого съезда ко мне явился один из учредителей, В.Богучарский, с предложением вступить в организацию. Задача Союза вполне отвечала моим стремлениям, имена учредителей внушали большое уважение, и я охотно дал свое согласие. В самом начале января 1904 года состоялся

первый съезд Союза в Петербурге, и, хотя вопрос о программе был элиминирован, тем не менее, совсем бесцельно, на мой взгляд, споры то и дело вспыхивали; так, например, копья ломались из-за того, чтобы Союзу предоставлено было действовать только среди буржуазии, «народ» должен оставаться в сфере исключительного воздействия революционных партий. Это притязание было отвергнуто, но несколько раз вновь предъявлялось в новых вариантах.

Высшим органом Союза был Совет, который и решил, тотчас после съезда, начать свою деятельность с устройства по всей России банкетов в годовщину освобождения крестьян – 19 февраля. Этот день всегда отмечался товарищеской трапезой, хранителем традиции стала редакция «Вестника Европы», вокруг которой вообще собирались все маститые деятели 60-х годов – встреча служила воспоминаниям о прошлом. Теперь на очереди стояло будущее, и на банкетах глас народа должен был потребовать «увенчания здания» – завершения эпохи 60-х годов введением конституционного строя.

Но когда все приготовления были уже в разгаре, вдруг в конце января разразилась война с Японией. Начались патристические манифестации, внимание общества отвлечено было в сторону, и казалось бестактным и рискованным в такой момент предъявлять правительству требования внутреннего преобразования. Стоило, однако, немалых усилий убедить товарищей в необходимости отсрочки, зря губившей все уже затраченные организационные усилия. Самым веским доводом в пользу отсрочки оказалась последовавшая в день объявления войны внезапная смерть Н.К.Михайловского – его похороны при обычных условиях превратились бы в крупное общественное событие, а теперь прошли вяло и малозаметно, газеты поглощены были ошеломительными известиями о

полной нашей неподготовленности. Систематические неудачи стали преследовать нашу армию и флот с первых же дней, роковая война сразу показала, что самодержавный режим является колоссом на глиняных ногах, и враждебное правительству настроение стало расти и быстро шириться. Перед Пасхой созвано было заседание Совета для обсуждения экстравагантного предложения группы офицеров. План их состоял в том, чтобы с такой же внезапностью, как японцы вывели из строя наш порт-артурский флот, захватить в столице арсеналы и совершить переворот, причем Совету предназначалась роль временного правительства. В этом заседании участвовал и Короленко, и он, с присущей ему мягкостью, но весьма решительно доказывал, что не следует входить в обсуждение плана – он должен быть принципиально отвергнут, и все с ним согласились.

В это время мне довольно часто приходилось подробно беседовать с Витте. Поводом к знакомству послужил сборник «Нужды деревни», экземпляр которого я послал ему с благодарственным письмом за доставленные нам материалы сельскохозяйственного совещания. По проискам Плеве оно тогда уже было закрыто и крестьянский вопрос передан в ведение исконного врага Витте – Горемыкина.

Витте поразил несвойственной тогдашним сановникам непринужденной простотой, переходившей в грубоватые манеры, и желанием отгородиться от того, что вокруг совершается, в особенности от Плеве и от войны, которую он тщетно старался предотвратить. Во время беседы он порывисто вскакивал, шагал по кабинету и, с полуслова улавливая мысль собеседника, постоянно перебивал его и сам неприятным, гнусавым голосом бросал отрывистые фразы, требовавшие усилий, чтобы раскрыть их содержание. Блестящей особенно-

стью его была интуиция. Эта особенность резко выделяла его на фоне бюрократии, утопавшей в бумажном море и поглощенной заботой о форме, о стилистике. Он стилистику и форму совершенно игнорировал: речь его, как и письменное изложение, отличались неправильностью и были тяжеловесны. Немало пришлось после его смерти поработать над толстыми тетрадами его воспоминаний, чтобы придать им некоторую стройность и последовательность.

На мой взгляд, он был самым выдающимся государственным деятелем пореформенной России. В его карьере не было ничего случайного: неуклонно повышаясь, он раньше или позже должен был дойти до поста министра. Но историческое имя доставила ему удачно сложившаяся обстановка. На пост министра финансов он призван был в 1892 году, то есть когда неспособность власти справиться с последствиями неурожая властно поставила в порядок дня вопрос о переходе России к более развитым экономическим формам – к капиталистическому строю, в свою очередь требующему правового порядка. Для осуществления такой задачи больше годился бы представитель нарождающейся промышленности, но такая мысль показалась бы кощунственной властвующей бюрократии, представлявшей кровь от крови и плоть от плоти дворянства, которому индустриализация России грозила окончательным разорением. Витте очень кичился дворянским происхождением, а в душе был настоящим разночинцем. Все его симпатии были на стороне неограниченного самодержавия, а «ум привел к заключению, что другого выхода, как разумное ограничение, нет». Такая двойственность и должна была разрешиться беспринципностью, значительно обостряемой тем сопротивлением, явным, а еще более тайным, которое на каждом шагу встречали смелые экономические реформы. Желание разрубить гордиев узел противодействий еще силь-

нее влекло симпатии к неограниченному самодержавию и приводило к старому компромиссу: «король неограничен, пока творит нашу волю». Этот компромисс давал ему в руки оружие для борьбы с противниками. Таким образом, все оказывалось в порядке, пока счастье борьбы не изменило...

Я познакомился с Витте, когда он уже был уволен – так внезапно и грубо – с поста министра финансов и любил уличать своих коллег, и в особенности своего злокозненного врага Плеве, в беззакониях и произволе, искренне забыв, что, например, историческую реформу восстановления золотого денежного обращения сам провел с нарушением законного порядка, помимо Государственного совета. Но и теперь он видел болезнь самодержавия в ведомственной розни, я же старался доказать ему, что это лишь симптом болезни. По его убеждению, для излечения болезни достаточно было добиться объединения деятельности министров, для чего и создать кабинет с премьером во главе, причем эта мысль не отрывалась от представления себя в роли премьера. Я же пытался привлечь его внимание к конституционному устройству, которое, за отсутствием практической надобности, так мало его интересовало... После первой беседы, вероятно не без его подсказки, в «Гражданине» Мещерского, читаемом государем, появилась статья, развившая мысль об образовании комитета министров, на что я ответил статьей в «Праве», которое, как утверждают, в 1904 году лежало у государя на письменном столе. В ответ на эту статью Витте снова просил приехать к нему для беседы, и моим успехом было, что, уезжая осенью в Сочи, он взял с собой руководства по государственному праву и по возвращении был ориентирован во всех основных вопросах.

Эта тема приобрела уже для высших сановников интерес практический. Два товарища министра – В.Ковалевский и Д.Философов – обратились ко мне с просьбой написать проект высочайшего манифеста, в котором в самых общих выражениях высказано было бы намерение созвать народных представителей. Идея эта, по словам Ковалевского, принадлежала управляющему Канцелярией Его Величества барону Будбергу, который имел в виду представить такой проект государю для опубликования на Пасхе. Практических результатов попытка не имела, но проект сохранился в бюрократических архивах и был представлен Витте в качестве «примерного дела» при выработке манифеста 17 октября. Другая просьба исходила от министра земледелия А.С.Ермолова. В своем служебном кабинете он просил меня доставить ему нелегальное издание – проект российской конституции, выработанный и изданный Союзом освобождения. Исполнив просьбу, я обратил его внимание, что нужно спешить, ибо положение быстро и катастрофически ухудшается, но он только развел руками: «Мы сделали все возможное, чтобы убедить государя, но все было тщетно». При этом он вскользь упомянул и о попытке Будберга.

Между тем назначение преемника убитому Плеве заставило себя ждать, сам он, после убийства Сипягина, призван был на пост министра немедленно, а теперь дни сменялись неделями, но замещение столь важного поста и в такой напряженный момент все откладывалось. Чувствовалось совершенно отчетливо, что придворные сферы и правительство колеблются, поэтому представлялось необходимым заговорить в печати более откровенно и решительно. В сущности, все уже было сказано, но выражено иносказаниями, теперь оставалось назвать вещи настоящими их именами.

Если бы печатный орган прямо потребовал отмены самодержавия, редактор был бы предан суду по обвинению в государственном преступлении, поэтому слово «самодержавие» заменялось «бюрократией», введение конституционного строя обозначалось словом «реформа»... Но серьезность внутреннего положения повелительно требовала поставить вопрос ребром, снять маски, не считаясь с риском судебной ответственности, который, впрочем, мне лично и не представлялся значительным, ввиду явных колебаний правительства.

В августе я вынужден был уехать в Крым, так как усиленная работа стала заметно отражаться на сердце, и оттуда в письме высказал приведенные соображения наиболее близкому мне в редакции Каменке, но он ответил, что редакционный комитет не согласится стать на предложенный путь. Для того момента это было верно, но друг мой не учел, что время значительно ускорило темпы.

Назначение князя Святополк-Мирского преемником Плеве последовало лишь 26 августа, и его заявление, что внутренняя политика должна покоиться на доверии к обществу, было воспринято как отказ от полицейского абсолютизма, как провозглашение «весны». Усматривая в этом подтверждение правильности моего прогноза, я тотчас прервал свой отдых и в очень взволнованном состоянии выехал через Киев в Петербург.

В Киеве я застал возбужденное настроение, провинция вообще была более непосредственна, более порывиста, более искренняя, чем холодный, рассудочный Петербург. Местная группа Союза освобождения – Н.Бердяев, С.Булгаков, В.Водозов, князь Е.Трубецкой – вообще насчитывала много интересных и выдающихся представителей интеллигенции. Бердяева с его прекрасным лицом, искажаемым чудовищным тиком,

и светящегося благостностью и печалованием Булгакова я уже знал, они обращались ко мне с предложением взять на себя редактирование политического отдела в начатом ими журнале «Новый путь», а я рекомендовал питомца «Права» Г.Н.Штильмана. Впервые видел я блестяще образованного государственного юриста Водовозова – ходячий справочник по государственному праву. Партийные программы были его стихией, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. А исповеданием веры его была «четырёххвостка» – всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. Ему посчастливилось дожить до осуществления своего идеала, когда в 1917 году при деятельном его участии выработана была для выборов в Учредительное собрание система не только по «четырёххвостке», но еще рафинированная всеми ухищрениями пропорциональности. Это идейное торжество обошлось слишком дорого – сладчайшая мечта об Учредительном собрании реализовалась в виде презрительной «учредилки», как ее сразу прозвали сами же избранные. А затем, в тяжких условиях эмиграции, усугубленных для него глухотой, пришлось наблюдать везде закат парламентаризма, «четырёххвостка» превратилась в прочный трамплин для диктатуры, исповедание веры было безжалостно разбито, и также безжалостно он разбил свою жизнь, бросившись в Праге под поезд.

Впервые увидел я и князя Е.Н.Трубецкого, профессора Киевского университета, на редкость обворожительного, с женственно-нежным выражением лица, мягким грудным голосом и изящными манерами. Он так убедительно и проникновенно говорил, что я попросил его изложить свои мысли на бумаге, и просьбу он выполнил блестяще, его статья в «Праве» – «Война и бюрократия» – произвела настоящий фурор, и редакция стала получать массу писем с выражением благодарности. Если статья не навлекла цензурной кары, то, вероятно, лишь пото-

му, что начальство остановилось перед опасением еще сильнее подчеркнуть значение этого авторитетного выступления и от бессильной злобы пустило сплетню о еврейском воздействии на княжеское перо. А министр народного просвещения отказался утвердить положение о стипендии имени князя, на которую выделил несколько тысяч рублей просвещенный московский богач Шахов.

В Петербурге к моему возвращению все внимание сосредоточилось на предстоящем съезде земских и городских деятелей, решивших испросить разрешение на проведение такового. К этому времени в Петербург приехал И.И.Петрункевич, с которого князь Мирский⁴⁶ снял много лет тяготившее запрещение въезда в столицу, и появление этой замечательной фигуры имело значительное влияние на дальнейший ход движения. Ивана Ильича по всей справедливости следует считать отцом конституционного движения, начавшегося в эпоху великих реформ, и как характерно, что на этот путь он был поставлен еще в ранней юности одним из преподавателей Киевского кадетского корпуса, в котором воспитывался. Уже в 1867 году он вдвоем с приятелем выработал программу преобразования государственного устройства России на бессловесных, конституционных началах, отнюдь не путем насильственного переворота, и с этой программой, служившей ему путеводной звездой, прошел через всю свою долгую жизнь, не сбиваясь ни на йоту с указываемой ею дороги. На своем пути, отнюдь не усеянном розами, он не знал никаких компромиссов, его девизом было: выполняй свой долг, и пусть будет что будет.

Дневник А.С.Суворина открывается страшной беседой между ним и Достоевским в день покушения террористов на жизнь министра внутренних дел Лорис-Меликова. Достоевский констатирует, что общество сочувствует террористам и он сам не решился бы донести властям о ставшем ему случайно известным преступном намерении. А Иван Ильич, будучи одинаково «против убийства из-за угла, как и против виселицы», в разгар террористической деятельности, рискуя головой своей, пригласил, при посредстве местных украинофилов, главарей южных террористов на совещание и долго настойчиво убеждал приостановить свою деятельность, предоставив земствам открыто потребовать от правительства проведения реформ.

Эта замечательная моральная цельность и несокрушимая принципиальная последовательность не могли не встретить всеобщего почтительного признания и глубокого уважения, а для самодержавного олимпа он был настоящим пугалом. Где бы Иван Ильич ни появлялся, вокруг него тотчас собирались люди, угадывая в нем надежнейшего руководителя. Верность выбранной в юности путеводной звезде с течением времени превращала логические убеждения в составную часть души, в инстинкт и развивала некоторую односторонность и пристрастность, разное отношение к своим и чужим. Ко мне он сначала относился с большим расположением, но потом невзлюбил: во время революции кадетский ЦК решил выпустить в свет биографии виднейших членов партии, я выбрал для себя Ивана Ильича и выполнил работу с искренней любовью и старанием. Но рукопись, отосланная редколлегией на предварительный просмотр самого Ивана Ильича, вызвала острое негодование, он находил, что я умалил его роль и значение, и забраковал ее.

Приезд Ивана Ильича в Петербург накануне земского съезда имел, повторяю, решающее влияние на судьбу всего движения. Непререкаемым авторитетом пользовался тогда председатель московской земской управы Д.Н.Шипов, которого, к сожалению, я почти совсем не знал. Он был из такого же теста и столь же умело выпечен, как и Петрункевич, но его несокрушимость не имела острых углов. У него было больше мягкости и обходительности, увеличивавших личное обаяние. В противоположность Петрункевичу Шипов был убежденнейшим представителем славянофильского взгляда: народу мнение, царю власть. Только в лице Петрункевича съезд получил достойного и равного соперника Шипову, и только благодаря его участию конституционалисты приобрели значительный перевес. Авторитет Шипова заставил лишь смягчить редакцию пункта, в котором выражалось требование представительного строя, и наряду с ним предложить на голосование съезда формулу Шипова, собравшую, однако, не более четверти поданных голосов. Но еще до съезда земцев в Москве состоялись многочисленные оживленные собрания адвокатуры – одно в квартире Маклакова, другое – в особняке А.Ледницкого, на котором я усиленно доказывал, что требование конституции вполне назрело и вопрос лишь в том, кому будет принадлежать историческая инициатива открытого произнесения этого требования. По-моему, на эту инициативу должна была претендовать адвокатура. Предложение отклика не нашло, и инициатива перешла к земскому съезду. Тем не менее именно В.Маклаков после гордо заявлял, что земский съезд, впервые принявший конституционную резолюцию, был частным собранием, а первой официально признанной корпорацией, заявившей требование представительного образа правления, было собрание присяжных поверенных 20 ноября 1904 года. Мне же теперь кажется, что инициатива адвокатуры не оказа-

лась бы столь звучной, как постановление съезда 6–8 ноября, и не произвела бы такого огромного впечатления, усиленного колебаниями правительства в отношении съезда. Печати запрещено было особым циркуляром что-либо о съезде сообщать, и приходилось всячески изощряться, чтобы об этом событии до сведения читателей донести. «Право» говорило, что «исторические дни 6–8 ноября, словно вечевого колокол, встряхнули русское общество».

Не успело еще раскатиться по всей России эхо этих дней, как наступил 40-летний юбилей судебных уставов, к которому решено было приурочить организованное Союзом освобождения общественное выступление. Оно удалось в полной мере, банкеты состоялись не только в Москве и Петербурге, но и во всех крупных провинциальных городах, и в некоторых даже многолюдней, чем в столицах.

На петербургском банкете я опять так волновался, что, лишь уступая настояниям горячо любимого мною Анненского, решился произнести речь, в которой напомнил, что эпоху великих реформ определенно предполагалось завершить дарованием конституции. Последовавший засим отказ от этого намерения создал ложное положение для судебной реформы и с первых же дней потребовал ряд изменений, парализовавших проведение в жизнь принципа законности. Поэтому юбилей судебных уставов представляется простым недоразумением, их никогда у нас не было и не будет, пока не произойдет обновления государственного строя России.

А для следующего номера «Права» я воспользовался вышедшей книгой, посвященной памяти Плеве, в которой приводилось письмо покойного министра, признавшего, что «главный недуг современной общественной жизни – конституционная смута: смутное чувство неудовлетворенности было

всеобщим». Ссылаясь на вынесенные повсюду однообразные резолюции, требующие введения представительного строя, я утверждал, что «отныне конституционная смута закончилась и заменилась ясным и определенным сознанием. Если требования общества не будут удовлетворены, наступит тем более острый и тяжелый разлад...». Эта статья навлекла на журнал второе предостережение цензуры, но в том же номере сообщалось, что «Право» по случаю юбилея получило ряд приветственных телеграмм за многочисленными подписями с выражениями сочувствия и солидарности с проводимыми редакцией началами. Празднование юбилея было и в самом деле подлинным торжеством «Права». В основу всех резолюций, принятых на банкетах и собраниях адвокатуры, положен был лозунг законности и порядка, выставленный на развернутом знамени «Права» ровно шесть лет назад. А для меня, повторяю, я думаю, и для всех членов редакционного комитета, созидание и создание «Права» навсегда осталось самой одухотворенной, самой насыщенной и самой счастливой полосой жизни.

Борьба за конституцию (1904–1905)

Юбилей 40-летия судебных уставов составляет отчетливую грань в ходе освободительного движения. Первое открытое выступление широким фронтом, бодрое и решительное, встретило со стороны власти явное нежелание допустить банкеты и невозможность воспрепятствовать их устройству. Такое соотношение внушало ощущение бесповоротной победы, и с этого момента движение становится стихийным, его уж нельзя удержать и трудно направлять. Правительство тоже не могло остаться чуждым этому впечатлению, и еще в ноябре создано было Особое совещание для рассмотрения выработанного Мирским проекта коренных преобразований, исходившего точно так же из признания «необходимости восстановить законность, значительно поколебленную в последние годы» и включавшего приглашение выборных от земства в Государственный совет.

Конечно, такая мера не могла бы удовлетворить повышенное настроение, но и она не была осуществлена. 12 декабря опубликован был указ по Сенату «О мерах к усовершенствованию государственного порядка», в котором возвещался ряд реформ, но без упоминания о призыве народных представителей. Вместо этого выпущено было одновременно правительственное сообщение, которое осуждало задним числом «шумные сборища», предъявлявшие «несовместимые с исконными основами существующего государственного строя» требования. Осуществление реформ возлагалось на председателя Комитета министров Витте.

Я был у него в самый день опубликования этих правительственных актов, и уже тогда до меня дошли неопределенные слухи об изъятии из первоначального проекта важнейшего с

принципиальной точки зрения пункта о народных представителях. Пункт этот стоял в проекте под номером 3.

Я застал Витте явно смущенным: на вопрос, куда девался третий пункт, он вместо прямого ответа стал доказывать, что сущность же не в нем, а в тех коренных реформах, которые фактически преобразуют весь государственный строй, «ведь там (то есть в указе) есть все, чего „Право“ требовало. Для того же вы и домогались народного представительства, чтобы реформы провести». – «А есть ли у вас гарантия, что работа не будет так же грубо ликвидирована, как было с совещанием о нуждах сельскохозяйственной промышленности?»

Вопрос сильно рассердил его, он поднялся с кресла во весь большой рост, глаза зажглись яркой ненавистью, и изо всех сил стукнул он по столу кулаком: «Ну уж нет-с, извините-с! Я теперь им (!) так законопачу, что уж назад не придется вытаскивать». – «А что же означают угрозы правительственного сообщения, если власть сама признала необходимость реформ, которых требовало общество?» Он развел руками, словно говоря, что он-то тут ни при чем, но вдруг еще больше возвысил голос: «Да ведь теперь таких сборищ больше и не нужно!» – «Во всяком случае, не думаю, чтобы теперь долго пришлось ждать, кто из нас был прав».

В своих воспоминаниях Витте рассказывает, что одобренный государем указ вызвал такую радость у министров, что двое даже расплакались, именно потому, что указ содержал пункт о призыве выборных людей. Но прежде, чем подписать, государь вновь вызвал Витте и в присутствии великого князя Сергея Александровича предложил еще раз высказаться по вопросу о «привлечении общественных деятелей в Государственный совет», и Витте, избегая связать себя прямым ответом, умело подчеркнул, что «этот пункт есть первый шаг к

представительному образу правления», следовательно, решение должно быть принято в зависимости от отношения государя к введению в России нового строя: если таковой признается недопустимым, то было бы осторожнее этот пункт исключить из указа. Таким образом, ответственность была переложена на государя, а для Витте приглашение для интимного обсуждения принятого уже в согласии с большинством министров указа окрылило Витте сладостной мечтой о возвращении утерянной власти.

Ровно через неделю, 20 декабря, я опять приглашен был к нему для обсуждения вопроса, примут ли общественные деятели участие в работе по осуществлению указа. Мои сомнения раздражали собеседника, он очень волновался и резко жестиккулировал, как бы отмахиваясь от моих доводов. Во время спора зазвонил телефон, после короткого разговора Витте нерешительно положил трубку на рычажок и совсем хриплым голосом произнес: «Вот вам и новость, Порт-Артур пал». А на стойкость Порт-Артура возлагались все надежды, и впечатление от этого известия было подлинно ошеломляющим. Витте стал вспоминать о настойчивых усилиях, которые он прилагал, чтобы установить дружеские отношения с Японией, не жалел выражений по адресу великого князя Александра Михайловича⁴⁷, напомнил мне брошюру, в которой изложил всю историю дальневосточной преступной авантюры. Я ответил ему: «Вы совершенно правы, но непостижимо, что вы не хотите сделать отсюда выводы, которые сами собой напрашиваются». – «Да,

47 Великий князь Александр Михайлович с 1902 по 1905 г. занимал пост руководителя Главного управления торгового мореплавания и портов и, как считается, осложнил торговые отношения с Японией.

ничего бы этого не было, будь жив вот этот государь». И он показал на большой портрет Александра III, висевший над креслом за письменным столом.

На этом мы простились, и прямо от него я поспешил в редакцию «Сына Отечества». Эта древнейшая, захудалая газета была в 1904 году накануне самоупразднения, и делались разные попытки оживить ее. Между прочим, я был очень удивлен, когда однажды явились ко мне Анненский с Пешехоновым с предложением принять на себя совместно с ними редактирование, но этому решительно воспротивилась жена, опасаясь за дальнейшее ухудшение моего здоровья, которое подтачивалось пренеприятными нервными явлениями.

Газету приобрел появившийся тогда в Петербурге никому не известный, совсем молодой, тридцатилетний человек С.Юрицын, который тоже обратился ко мне с просьбой взять на себя заведование редакцией. Я согласился лишь на общее руководство, а редакторами рекомендовал моего помощника Ганфмана и талантливого публициста Г.И.Шрейдера, очень покладистого и мирного, как божья коровка, человека. Он принимал участие в «Мелкой земской единице» и «Нуждах деревни» очень дельными статьями, а в 1904 году, летом, неожиданно был арестован. Я содействовал быстрому его освобождению, но и кратковременное пребывание в тюрьме разожгло в нем чувство обиды. По просьбе князя Долгорукова я рекомендовал Шрейдера на пост секретаря «Беседы». Москва еще приподняла его настроение, и, став по возвращении в Петербург редактором «Сына Отечества», он уже был горячим сторонником боевого тона, заслужившего газете большой и шумный успех. Через год газета перешла к эсерам во главе с Черновым, и, в противоположность Ганфману и некоторым другим сотрудникам, Шрейдер не задумался остаться, и постепенно этот мир-

нейший человек сам превратился в рьяного эсера, заняв крайнее место на левом фланге.

Но вначале газета держалась линии «Права», и я принимал в ней деятельное участие. Падение Порт-Артура, завершившее ряд систематических неудач, давало ясно понять, что режим не в состоянии держаться, что ему не одолеть упорного и отлично подготовленного врага, что поэтому смена его стала неотложной потребностью для борьбы с внешней опасностью. Эту мысль я пытался провести в написанной тогда статье, которая, если память мне не изменяет, навлекла на газету цензурную кару.

Что же касается указа 12 декабря, то в своих воспоминаниях Витте твердит, что он сразу наткнулся на недоверие и интриги и ничего серьезного не вышло. Мечты о возвращении к власти не осуществились, отзывы о государе становились все резче и презрительнее, а первоначальная уверенность в победе уступила место самым тяжелым предчувствиям. «Вот что ожидает старого слугу, который попытается открыть глаза на правду. Если бы только они совсем меня отпустили. Вот чего мне хотелось бы». Витте вновь переживал период разочарования в самодержавии.

Этот 1904 год принес и личный неприятный сюрприз: возвратившись однажды, часов в семь вечера, домой, я еще на улице удивился, увидев всю квартиру ярко освещенной, а в передней представилась давно знакомая картина – комнаты наводнены полицейскими и понятыми, идет обыск. Будучи членом Совета Союза освобождения и часто храня у себя нелегальную литературу, я был убежден, что обыск касается меня, но пристав пояснил, что днем захвачено было жандармами нелегальное собрание, на коем был и Сережа, и теперь они копаются в его пожитках, а сам он сидит уже в Доме предвари-

тельного заключения. Два старших сына тогда уже кончили благополучно гимназию и были студентами Петербургского университета, а Сережа и его ровесник Сеня, все время шедшие в первых учениках, были в седьмом классе. Незадолго до ареста я был приглашен к директору гимназии, который предложил мне добровольно взять Сеню оттуда, так как он оказывает вредное влияние на весь класс. С детства он выделялся среди братьев сильным и строгим умом и заметным упрямством, которое проявлял в ревнивом ограждении своих прав.

Мне пришлось теперь переживать ту же роль, которую 20 лет назад я навязал отцу, и, вероятно, воспоминание о том, каким несчастьем воспринял отец исключение меня из университета, а затем арест и ссылку, боролось, как традиция, с сознанием, что ведь никакого несчастья не случилось, что, напротив, невзгоды пошли на пользу. Как и я от отца, так теперь и сын от меня хранил в тайне свое участие в подпольной деятельности, «отцы и дети» оставались как встарь, и это вызывало чувство обиды, ибо я уже не держался правила – моя хата с краю, а сам боролся с самодержавием. Но если бы сын поделился своей тайной, я был бы решительно против, считая, что только моя политическая позиция целесообразна, и, кроме того, опасаясь по собственному опыту, что преждевременное увлечение подпольной деятельностью непоправимо отразится на умственном развитии и образовании. Но помимо этого во мне сидел тогда гоголевский Кочкарев, который по-своему желает сделать другого счастливым, и в голову ему не приходит, что счастье у каждого свое собственное.

Из двух старших сыновей один – женственно-нежный красавец блондин с синими глазами, очень похожий на мать, тогда же заявил, что не видит никакого смысла в университетском образовании – тогда наука была совсем из университета

вытеснена политикой, я горячо уговаривал его, и, уступая просьбам, он пробыл в университете еще год, большая часть которого прошла в забастовках и беспорядках, ему органически противных, и, к большому моему огорчению, настоял на своем. Страсть к книгам господствовала над всеми привязанностями, он зажил своей особой духовной жизнью и напечатал книгу своих стихов, встреченных одобрительно критикой, но мне совершенно непонятных. Пять лет спустя он скончался после операции аппендицита, а невеста его, врач-психиатр, в тот же час отравилась. Спасенная другом моим Поляковым, она через месяц вновь приняла морфий и рядом с женихом похоронена. Вот медальон с их фотографиями, который жена всегда носила на груди.

А для младших исключение и арест действительно обернулись как нельзя более благоприятно: несколько профессоров взялись подготовить их вместе с другими пострадавшими юношами к экзамену на аттестат зрелости и отлично эту задачу выполнили, после чего я обоих послал за границу, где в Гейдельберге и Фрайбурге они получили надлежащее правильное образование, и немецкая выучка сделала обоих людьми науки. Приведу здесь отрывок из письма Сережи в ответ на мой вопрос о подробностях его ареста:

«Ты спрашиваешь меня, что это был за кружок, за участие в котором я был арестован в 1904 г. Это был не кружок, а целое общество, „Северный Союз учащихся средних школ“. Собрание, которое было арестовано (полагаю, что благодаря полицейскому осведомлению и не без провокации), было первым собранием представителей Союза от разных школ Петербурга. Центром общества была гимназия Я.Гуревича. Главным деятелем был некий Щетинин, очень великовозрастный гимназист этой гимназии. Почему и я был приглашен на собрание, сей-

час, к стыду своему, не помню. Впрочем, никакого собрания и не было: только что все сошлись и Щетинин предложил выбрать председателя, как появилась полиция и всех нас арестовала. Важно отметить, что не только либеральная общественность, но и гимназическое начальство было всецело на нашей стороне. Меня и других не хотели исключать, и я несколько недель еще ходил в гимназию, пока из округа не пришло приказание об исключении. Но на экзаменах на аттестат зрелости отношение к нам, экстернам, со стороны учителей и начальства было самое благожелательное».

1905 год мы встречали в большой тревоге. Ошеломительное падение Порт-Артура внушало предчувствие, что, того и гляди, обрушится еще какая-нибудь неожиданность. С первых же дней предчувствие стало оправдываться. Во время крещенского водосвятия на Неве перед Зимним дворцом одна из пушек Петропавловской крепости, участвовавших в салюте, выстрелила картечью, которая рассыпалась у самых ног государя. Официальная ссылка на случайную небрежность была неубедительна и, мало того, при систематических незадачах царя (удар по голове в Японии, Ходынская катастрофа на коронации, рождение безнадежно больного наследника) усугубляла представление о чем-то роковом, неизбежном. А засим и наступило историческое Кровавое воскресенье 9 (22) января.

Накануне, в субботу днем, ко мне приехал Н.Ф.Анненский еще с кем-то и от имени товарищей предъявили требование немедленно поехать к Витте и через него добиться отказа от преграждения войсками шествия рабочих к Зимнему дворцу во главе со священником Гапоном для подачи петиции. Нужно было убедить Витте, что рабочих никакая преграда не остановит, а вызовет лишь страшное кровопролитие. Я не сомневал-

ся, что Витте, сам томящийся своей непопулярностью в придворных, да и правительственных кругах, не рискнет вмешаться, и ехать к нему было куда как неприятно, но ничего другого предложить я не мог, а сидеть сложа руки и ждать неизбежной катастрофы было действительно непереносимо.

Так и случилось: в передней я встретил выходящего от Витте князя А.Оболенского, по-видимому знавшего о цели моего визита и тревожно спросившего: «Что-то завтра произойдет?»

Витте принял меня не только сухо, но даже неприязненно и коротко отрезал, что мое красноречие бесполезно, он даже удивляется, зачем я явился, заведомо зная, что он тут ни при чем и ничего сделать не может. Вероятно, под этой неприязнью он скрывал раздражение от сознания своего бессилия, которое тяжело переносил. Такое предположение находит себе подтверждение в появившемся засим в «Праве» сообщении, что, открывая заседание Комитета министров 11 января, Витте предложил «высказаться по поводу текущих событий, заняться исследованием причин и выработать меры для предупреждения на будущее время таких печальных событий», но это предложение было министрами отклонено.

Вечером состоялось в редакции «Сына Отечества» на Невском проспекте многолюдное собрание литераторов. Небольшая комната была переполнена, все стояли, тесно прижавшись друг к другу, давил нестройный гул голосов, среди которого слышались отдельные выкрики, но и в буквальном, и в переносном смысле все топталось на месте и придумать что-либо для предотвращения катастрофы не могли. Было уже около 11 часов, когда вновь предложено было послать депутацию к Витте, хотя я уже доложил о своей неудаче. Оставался шанс, что к депутации он отнесется более внимательно. Беспо-

рядочно выкрикивали фамилии лиц, которые должны были в депутацию войти, я старался сделаться незаметным, ибо меньше всего улыбалось еще раз встретиться сегодня с Витте, но кто-то назвал мою фамилию, и в ответ раздалось: «Ну, это само собой разумеется». Потом Водовозов крикнул: «Господа, нельзя производить выборы так беспорядочно. Мы ведь не знаем, какую роль депутации придется сыграть». Выбраны были Анненский, Арсеньев, Максим Горький, профессор Кареев, гласный Городской думы Кедрин, Мякотин, Пешехонов, профессор Семевский, представитель Гапона рабочий Кузин, оказавшийся провокатором, и я.

Около полуночи мы были у Витте, который внимательно во всех вглядывался и больше всего интересовался Горьким. Он сослался на свое заявление мне, я сказал, что об этом на собрании сообщил, и после бессвязного разговора Витте согласился лишь переговорить с Мирским по телефону и получил от него согласие нас принять. Но когда мы подъехали к дому министра внутренних дел на Фонтанке, швейцар сказал, что «их сиятельство уже легли почивать» и что нас примет в департаменте полиции – дверь с дверью с квартирой министра – товарищ его, генерал Рыздзевский. В департаменте нас прежде всего попросили расписаться в книге посетителей, в которой мы собственноручно и отметили свои фамилии и адреса, а затем появился суровый генерал, безапелляционно заявивший, что все распоряжения на завтрашний день (вернее – сегодняшней, ибо было уже далеко за полночь) уже сделаны, и рекомендовал воздействовать на рабочих, чтобы они отказались от шествия. Власти, несомненно, были уверены, что мы и подстрекнули Гапона шествие организовать.

После отказа Рыздзевского нам ничего не оставалось, как вернуться в редакцию, чтобы доложить о полной неудаче и

разойтись с мрачным предчувствием катастрофы, которая на другой день и разразилась. Теперь трудно понять впечатление, произведенное расстрелом действительно мирной толпы, шедшей с хоругвями и портретом царя. Не будет преувеличением сказать, что все были глубоко потрясены, все понимали, что случилось нечто непоправимое... Я был безмерно подавлен, не был на вечернем собрании в Вольно-Экономическом обществе, где выступал перед тем, как окончательно скрыться, патронируемый Горьким Гапон, и отдавал себе отчет, что стихия еще сильней разбушует. Но совсем неожиданным стал полицейский визит в ночь с 10 на 11 января: около 4 часов утра целая орава полицейских с понятыми заполонила квартиру, пристав бесцеремонно вошел в нашу спальню, и при нем мы с женой должны были одеться, обыск почти не проводился, они, видимо, торопились увезти меня.

Ночь стояла мягкая, чуть туманная, на улицах горели костры, у которых грелись военные пикеты, тишина такая удручающая, что казалось, будто город притаился... Лихорадочная тревога завладела мной, ибо я никак не мог объяснить причину ареста, и еще усилилась, когда я увидел, что везут меня не на Литейный проспект, в Дом предварительного заключения, а через Троицкий мост – значит, в Петропавловскую крепость, которая предназначалась для важных государственных преступников и предвещала долговременное заточение. Меньше всего можно было догадаться, что арест вызван упомянутым замечанием Водовозова, которое растерявшаяся власть истолковала как эвентуальное превращение депутации во временное правительство. Если мы – «временное правительство», то ясно, что меры требуются серьезные, и, за исключением Арсеньева (он был старше всех годами и имел титул превосходительства) и Горького, уже скрывшегося из Петербурга, вся депутация была схвачена, а Пешехонова эскортировали казаки

с саблями наголо, опасаясь, чтобы население не освободило из рук полиции будущего временного правителя.

Со времени декабристов Петропавловская крепость приобрела мрачную репутацию, но нас посадили не в страшный равелин, а в какой-то двухэтажный корпус с просторными теплыми камерами, невыгодно отличавшимися от «предварилки» тем, что небольшое окно было под самым потолком и скупое пропускало свет. Электрическая лампочка в шаре из толстого стекла горела всю ночь, так что день от ночи мало чем отличался, и – это было главное: царила непроницаемая тишина, ни одного звука извне не доносилось. Перед тем как попасть в камеру, нужно было пройти через кордегарию, перенасыщенную отвратительным затхлым запахом начищенных сапог с человеческим потом. Здесь жандармы бодро вскакивали при вводе арестованного: вот мы за тебя примемся! – и, раздев догола, приступали к тщательнейшему личному обыску и обряжали в казенное белье, туфли и серый халат. На короткую прогулку выводили в какой-то маленький дворик, а котором тоже ни единого звука не было слышно. Эта могильная тишина вообще была тягостна, я не в состоянии был ее перенести: мучивший меня сердечный невроз, выражавшийся припадками удушливого сердцебиения, разыгрался вовсю, с трудом удавалось преодолеть истерику. Очень внимательный комендант обратил внимание на мое состояние, и через несколько дней меня перевезли в больницу при Выборгской тюрьме («Кресты») и все еще под строгим присмотром поместили в камеру, где в свое время лежал убийца Плеве Сазонов.

Допрос проводился не в Охранном отделении, а в жандармском управлении, но в это время власть уже успокоилась и не решила ставить вопросы относительно «временного правительства». Еще через несколько дней одного за другим

нас выпустили из узилища без дальнейших последствий, и лишь тогда неугомонный Анненский стал распределять «портфели», причем меня назначил обер-прокурором Святейшего синода, а себе оставил пост морского министра, так как пуще огня боялся морской качки.

В дни моего заключения жена бросалась во все стороны, к тем сановникам, которые меня знали, но Щегловитов просто испугался ее появления и чуть не перед носом запер двери. Лопухин облыжно уверил, что видел меня в крепости совершенно здоровым, и лишь Витте горячо откликнулся, содействовал скорейшему освобождению, и, когда, вернувшись домой, я по телефону благодарил, он, не стесняясь, злобно сипел: «Дураки, потеряли голову и не знают, что делают». Глупее и впрямь трудно было что-нибудь придумать. Поведение интеллигенции перед этим страшным днем было просто беспомощным метанием, а начальство превратило депутацию в героев – с утра до вечера приезжали друзья и знакомые с выражением сочувствия, и одна экспансивная дама заявила, что не будет мыть руку, удостоившуюся пожатия героя. Однако времена меняются, и из революционеров, какими считало нас царское правительство и преследовало, мы были разжалованы советской властью в контрреволюционеров. В 1918 году Кровавое воскресенье было объявлено началом революции и торжественно праздновалось, а бывший «герой» вынужден был тщательно скрываться, потому что именно перед праздниками ЧК производила массовые аресты среди интеллигенции. Теперь из состава депутации большинство уже умерло, а те, что остались в живых, томятся в рассеянии, кроме Максима Горького, который после недолгих капризных колебаний побежал за колесницей победителей, у них преуспел и с большой помпой похоронен в Москве.

Рабочие ответили на кровопролитие забастовкой, к которой постепенно присоединились едва ли не все высшие учебные заведения. Когда после перерыва номер «Права» вновь вышел в свет, хроника открылась оповещением, что «о событиях 9 января и последующих дней мы имеем возможность печатать только правительственные сообщения, официальные сведения и известия, пропущенные цензурой генерал-губернатора». Это был Трепов, вчерашний обер-полицмейстер при московском генерал-губернаторе Сергее Александровиче, вахмистр по образованию и погромщик по убеждению. Но именно такое оповещение говорило много красноречивее и действовало гораздо сильнее, чем самые возбуждающие рассказы и статьи, – оно воспринималось как признание вины, как боязнь ее разоблачения.

Соответственно этому росла на другой стороне уверенность в правоте и легкости стоявшей задачи – одоления самодержавия. Еще не улеглось возбуждение, вызванное 9 января, как страшный взрыв в Кремле, убивший великого князя Сергея, оглушительно раскатился по всей России. Великого князя разорвало на куски, оторвало голову, камни обрызганы были мозгами, и тем не менее, несмотря на весь ужас убийства, оно подало повод к новым остроумиям и анекдотам. В доме одного профессора в Москве я тогда услышал фразу: «Пришлось все-таки и великому князю пораскинуть мозгами».

В действительности же это убийство произвело в верхах огромное впечатление, внесло новое расстройство, которое выразилось в опубликовании в один день – 19 февраля – трех противоречивых государственных актов: рескрипта на имя министра внутренних дел о призыве народных представителей, манифеста с призывом к строгому исполнению долга присяги и к искоренению крамолы и противодействию смуте и

указа Сената о возложении на Совет министров обязанности рассмотрения поступающих от обществ и частных лиц предположений о государственных реформах. Рескрипт давал возможность закрепиться на новой позиции – признания народного представительства, указ дал толчок созыву разных собраний для составления «предположений», а манифест разбудил в местных властях энергию для борьбы со смутой и крамолой. При этом происходили курьезные столкновения: полиция на основании манифеста препятствовала устройству собраний, а собравшиеся отказывались повиноваться, ссылаясь на указ.

Для «Права» все три акта имели большое политическое значение. Мы считали необходимым регистрировать на страницах журнала все «записки, заявления, постановления, петиции, крестьянские приговоры» и т. д., выполнить эту задачу исчерпывающе было немыслимо, но все же «Право» представляет теперь ценнейший источник для изучения настроений той оригинальной эпохи. Вот уж когда нельзя было жаловаться, что писатель пописывает, а читатель почитывает. Бесчисленное количество писем с выражениями то сочувствия, то протеста, с разными предложениями и замечаниями, поправками, запросами и возражениями давали чувствовать, что журналу уделяется большое внимание, и это обостряло сознание ответственности. Наконец, призыв манифеста к строгому исполнению администрацией долга по борьбе со смутой и крамолой необычайно усилил произвол на местах, и «хроника» «Права» тоже представляет серьезный интерес для характеристики методов и приемов борьбы между обществом и властью. Любопытным примером может служить попытка власти противодействовать образованию профессиональных союзов, которые рождались тогда как грибы после дождя. В ответ на привлечение отдельных членов к судебной ответственности за образование противозаконного сообщества сыпались со сто-

роны всех остальных членов заявления прокурорам о принадлежности к союзам, и власть пасовала перед необходимостью посадить на скамью подсудимых десятки тысяч людей.

А союзы – адвокатов, врачей, инженеров, профессоров, учителей и т.д. и т.д. – меньше всего думали о защите профессиональных интересов и выливались в яркие политические организации. Крайние элементы, которым колеблющиеся политики и произвол давали все больший перевес в общественном движении, бесцеремонно насиловали волю участников и старались превратить союзы в политическую партию с программой-максимум, содержащей не только политические, но и экономические и социальные требования. Если союзу писателей удалось отбиться на программе-минимум, хотя в ней были требования Учредительного собрания и предоставления окраинам права самим решать свою государственную судьбу, то, например, союз ветеринаров единогласно требовал перехода всей земли к трудящимся и т.п. Не здесь ли было брошено зерно однопартийного государства, давшее ныне столь пышные всходы? Не тогда ли было уже predetermined опозорение Учредительного собрания, которое, родившись наконец в крови и тяжких муках, сразу, мановением руки Ленина было задушено и выброшено на свалку истории? Словесная разнузданность, бешеное ристание на левизну, обеспечивающую триумф у толпы, заставляло опасаться, что у нас вырвано из рук и профанировано главное наше оружие – слово. Нельзя было не понять, что дальше руководить движением невозможно, и, каюсь, уже тогда были минуты, когда приходилось преодолевать желание посторониться.

В начале мая я с женой выехал на Кавказ для выступления вместе с Каминкой в Тифлисской судебной палате по сложному гражданскому делу. Трехдневный отдых в удобном купе

бакинского экспресса и фантастическая поездка в экипаже по Военно-Грузинской дороге – от цветущих нив до снежных вершин и снова в жаркие долины – освободили от напряженного состояния и дали возможность вздохнуть полной грудью.

В Тифлисе⁴⁸ было необычайное оживление. Нелепо злобная политика наместника князя Голицына (прозванного Гри-Гри) как будто ставила себе целью разжечь национальные страсти между татарами, грузинами и армянами и этой цели вполне достигла. Мои многочисленные знакомые были только в кругах русских, они очень интересовались петербургскими гостями, и среди политических бесед и радушного гостеприимства, очаровательных поездок в Боржом и другие окрестности мы беззаботно поджидали судебного заседания, назначенного на 16 мая. Но накануне стали получаться сначала смутные, а потом все более определенные телеграммы о страшной цусимской катастрофе, сразу настроение перевернулось.

Мне, степному жителю, пребывание в горах всегда было тягостно, а теперь они представлялись глухой стеной, отрезавшей от Петербурга и Москвы, где, казалось мне, решаются судьбы родины. Нельзя было предположить, что режим переживет этот новый страшный удар, ибо всем было ясно, что в разгроме нашего флота не было случайности и неожиданности – посылка флота была вопиющим государственным преступлением. Очевидно, теперь нужно сделать какой-то решительный шаг, и было невыносимо в такой момент оставаться вдали, чтобы отстаивать права толстосума на нефтяные участки. Выступление в палате оказалось вполне удачным, дело было выиграно, но всеми мыслями и чувствами я был уже в

48 Тифлис – ныне Тбилиси (с 1936 г.).

Москве и, добравшись наконец туда после томительно долгого пути, прямо с вокзала бросился в дом Долгоруковых, где проходил съезд земских и городских деятелей. Отлично помню прекрасный летний день, цветущий сад, несколько сумбурное возбуждение, вылившееся в требование объясниться непосредственно с государем через выбранную депутацию... Помню беседу с князем Е.Трубецким, который опять согласился написать статью для «Права» и в ней без всяких обиняков заявил, что «главный виновник ясен и теперь вся тяжесть ответственности падает на тех, кто возложил на адмирала Рожественского неисполнимое поручение», и заканчивал категорическим обращением к виновникам: «Посторонитесь, господа, и дайте дорогу народным представителям».

Депутация была принята государем 6 июня. Мне думается, что значение депутации было не в обмене речами, а в самой встрече царя с опальными представителями общественного движения. «Право» указывало, что из состава депутации С.Трубецкой был в то время привлечен к следствию по обвинению в государственном преступлении, Родичев в течение 10 лет лишен был права участвовать в земской деятельности, князю Шаховскому Плеве, незадолго до смерти своей, грозил ссылкой, а Петрункевич всю жизнь терпел полицейские преследования. Поэтому, с субъективной точки зрения, прием депутации был большой уступкой, и государь невольно отшатнулся, когда Петрункевич назвал ему всю фамилию, а один из членов депутации потом рассказывал, как его шокировало, что Петрункевич неотрывно сверлил государя своими колючими глазами. Объективно же приглашение государя ничего не изменило в ходе событий, который все продолжал ускоряться. Уступки пришли слишком поздно, когда освободительное движение стало уже расслаиваться и внутри его возникла

борьба с крайними течениями, шумом волн своих заглушавшими все другие голоса.

В это время выдвинулся на первый план человек, которому выпала самая видная роль в дальнейшей истории родины вплоть до наших печальных дней. Я познакомился с ним за два года до этого на именинах у Мякотина в Сестрорецке, где, высланный из Петербурга, он тогда проживал.

Сестрорецк считался лучшей дачной местностью под Петербургом. Но запрет был наказанием, наложенным Охранным отделением, и в качестве такового был полной бессмыслицей, ибо при легкости и удобстве сообщения связь со столицей в полной мере сохранялась.

Мякотин был одним из наиболее ярких представителей интеллигентской кружковщины. Даже и на именинах у него можно было встретить только политических единомышленников, членов редакции «Русского богатства». Их всех я уже знал. Теперь я увидел среди них незнакомца, и это тем более удивило, что он резко от прочих отличался уже и внешностью. Был конец зимы, середина марта, и все были в темной одежде, а на незнакомце был серый костюм, изящно облегавший стройную, невысокую фигуру. И пенсне было без оправы – тогда еще редкость в Петербурге, – оно не оставляло впечатления на чисто русском, открытом, приветливом лице, слегка выющиеся волосы украшали красивую точеную голову, а легкий жест руки заставлял заметить ее благородную белизну и изящество. У всех вид сохранялся угрюмый и сосредоточенный. А у незнакомца на лице отчетливо была написана жизнерадостность и в голубоватых глазах светилась пытливость и интерес к тому, что вокруг происходит. Он оказался в стороне от сбившихся в кучу гостей, и я улучил эту минуту, чтобы успокоить раззадоренное любопытство, подошел к нему, и полилась оживленная

беседа. Меня увлекало, что я нашел в нем внимательного, доверчивого слушателя, а его суждения производили сильное впечатление своей прозрачной ясностью, простотой, безупречной логичностью...

Когда после обеда с обильными алкогольными возлияниями – по этой части народники были мастера, а незнакомец и здесь от них отличался – мы отправились с Каминкой на вокзал, дорогой я от него узнал, что пленивший меня незнакомец был Павел Николаевич Милюков. Первым движением было вернуться назад: как же я упустил случай познакомиться с Милюковым, а разговаривал все время с каким-то неизвестным человеком. Но потом хлопнул себя по лбу: да как же я не догадался, что это Милюков, ведь никто другой это и не мог быть, как только Милюков, автор «Очерков по истории русской культуры», которыми я с таким наслаждением зачитывался. Трудно представить себе больше соответствия, гармонии между автором и его произведением. Блестящая разносторонняя эрудиция, ясная и точная классификация, несокрушимая логика, ненасытное стремление добраться до истоков и все объяснить – все это отражалось в каждом суждении, в отношении к окружающим, во внимательном выражении лица и пытливом взгляде. Я постарался закрепить наше знакомство, привлек его к участию в земских сборниках, дававшему возможность с восторгом наблюдать его совершенно изумительную и ни у кого больше не виданную мною работоспособность, и постепенно с ним сближался.

Его выдающиеся качества выдвинули бы его в ряды первоклассных ученых, и, вероятно, он превзошел бы своего замечательного учителя Ключевского, но развитое сознание гражданского долга уже в юношеские годы отвлекало от спокойной работы – восемнадцати лет, во время Русско-турецкой

войны, он добровольцем отправился на театр военных действий, а в самом начале университетской деятельности был из Москвы выслан. Сдвинутый на общественном поприще, но пользуясь каждой свободной минутой для продолжения научной работы, он вышел на политическую арену со всем арсеналом своих данных и перемежал роль летописца с задачами гувернера. На каком-то собрании в Москве, раздраженный демагогией крайне левых, он бросил одну из фраз, которые заслужили ему злую кличку «бога бестактности»: «Зачем, господа, нам спорить? Вы делаете за сценой гром и молнию, а мы будем играть на сцене». И это «мы» – его собственная позиция определялась не личными склонностями, а историческим прогнозом: пользование «громом и молнией» было уже организовано помимо него, а вот игра на сцене носила беспорядочный характер, и ее нужно было оформить в партию. За разрешение этой исторической задачи он и взялся, но был ли он сам кадетом, я сильно сомневался всегда.

Каковы его подлинные политические убеждения, вряд ли кто-нибудь знает, а может быть, их и нет у него, а есть лишь уверенность, что реальную политику можно вести на том месте, на которое поставлены кадеты, что он, Милюков, эту политику может делать, что без него она велась бы хуже или вовсе не делалась бы. Эта особенность Милюкова, ставшего благодаря своим выдающимся качествам верховным руководителем, наложила на партию своеобразную печать. Обычно Милюков не меньше полугода проводил вне Петербурга, за границей или на своих дачах в Финляндии и Крыму, где отдых заключался в том, что с утра до вечера, не разгибая спины, он писал. Возвратившись, он начинал подтягивать своих единомышленников, а кругом острили, что «расшалились дети без папаши, расплясались мыши без кота, вот и конец празднику».

В Четвертой Думе фракция единодушно голосовала против него в вопросе о постройке Амурской железной дороги, Милюков отказался от председательствования, и на другой день к нему отправились с просьбой «прийти и владеть нами», потому что заменить его было нечем: он головой вышвысался над всей Думой. Но тяготение к позиции историка, отсутствие политической страсти делало его человеком «без изюминки», превращало политику из искусства в ремесло и подменяло непосредственное чутье логической арифметикой. Этот умнейший человек, когда требовалась быстрота решения, не успевал произвести вычисления и совершал ошибки. Достаточно вспомнить об одном из выступлений Родичева в Третьей Думе, когда по поводу расправы военно-полевых судов он произнес слова «столыпинский галстук». Столыпин вскочил со своего места, и преданная ему Дума отвергла слова Родичева горячими аплодисментами в честь премьера, а к аплодисментам присоединился и Милюков. Это совсем окрылило Столыпина, он послал секундентов к Родичеву, которому, после аплодисментов своего лидера, ничего не оставалось, как просить извинения.

Однако отсутствие изюминки обнаружилось не сразу. В 1905 году, когда Милюков только что водворился окончательно в Петербурге, эта особенность его не могла еще резко выдвинуть наружу, а все отмеченные преимущества в сочетании с политическим бесстрашием, неистощимым терпением, сверхчеловеческой неутомимостью, чуждостью кружковщине быстро сделали его авторитетным центром общественного движения, организовавшегося в Союз союзов, то есть объединение отдельных – формально профессиональных, фактически политических – союзов, и все свое влияние он упорно направлял на противодействие крайним течениям, к которым не-

устойчивая радикальная интеллигенция всегда питала влечение.

Косвенное участие Милюкову пришлось принять в происходивших в Петергофе под председательством царя совещаниях высших сановников об организации Государственной думы. В эти совещания приглашен был учитель Милюкова, профессор Ключевский, который после каждого заседания обсуждал со своим бывшим учеником стоявшие на очереди вопросы. Благодаря этому мы имели возможность получить экземпляр стенографического отчета «петергофских совещаний», который потом и был издан за границей с моим предисловием.

Обнародование положения о Государственной думе 6 августа не вызвало ни малейшего энтузиазма, но зато обострило раскол в широком фронте противников самодержавия. Главным средством борьбы стала забастовка и бойкот, который радикальное течение решило применить и к Государственной думе. А так как в это время защитники режима тоже стали организовываться и противопоставлять общественному движению свои резолюции и требования, то раскол угрожал опасным ослаблением. «Право» напечатало обстоятельную статью Милюкова, исходящую из утверждения, что Дума является новым историческим этапом в государственной жизни России, и содержащую отличный анализ этого учреждения. Рядом стояла моя статья, которая объясняла бессмысленность применения бойкота к Думе.

В отношении Думы лозунг бойкота не получил серьезного значения, но иначе было с дарованной в августе же университетской автономией: тщетно наиболее авторитетные профессора взывали в «Праве» к прекращению затянувшейся студенческой забастовки, распропагандированная революционными партиями молодежь превратила высшую школу в помещения

для всенародных бурных митингов, выносивших зазорные резолюции. Внезапная смерть первого избранного ректора Московского университета князя С.Н.Трубецкого, поразившая его во время заседания в министерстве народного просвещения, была явным последствием душевных волнений, причиненных университетской смутой, и служила грозным символом безвыходности положения. А студенчество этой смертью воспользовалось, чтобы превратить похороны в грандиозную демонстрацию.

* * *

Пока в России разыгрывались эти крупные события, Витте вел в Портсмуте трудные переговоры о мире с Японией. Его назначение первым уполномоченным было неожиданным и, как выяснилось, в значительной мере вынужденным.

Перед отъездом в Америку он просил к нему приехать, и впервые мне пришлось с полчаса дожидаться приема и провести это время в обществе его супруги на открытой веранде их дачи на Елагином острове. Витте был заметно взволнован и все порывался вскочить с кресла, но в крошечном дачном кабинете разгуляться было мудрено, и он чувствовал себя как в клетке.

Я поздравил его с назначением и сказал, что беру назад предсказание о конце его государственной карьеры: напротив, после заключения мира она засияет новым блеском. «Вам легко предсказывать, а представляете ли вы себе, как трудно заключить почетный мир? Недаром же отказались и Нелидов, и Извольский, и Муравьев – только после этого ухватились за меня. Значит, это не так просто». Я возражал, что инициатива Рузвельта (которого он упорно называл Резевельт) слишком авторитетна, чтобы, опираясь на нее, нельзя было преодолеть

всех трудностей. Муравьеву, с его напыщенностью и самолюбленностью, не удалось бы использовать значение этой инициативы, «но вы-то сумеете извлечь из нее максимум в пользу России, заключите мир и вернетесь триумфатором, чтобы вновь играть руководящую роль во внутренних событиях». – «Да, хорош ваш Муравьев. Он ведь сначала согласился, а как узнал, что получит не 100 тысяч, на которые рассчитывал, а только 15, так и полез на попятный и объявил себя больным».

Долго еще жаловался Витте на сложность своего положения ввиду явно враждебного отношения к нему государя и «придворных кругов, которые будут бросать палки в колеса и потом вешать на меня собак, какой бы мир я ни заключил». Приглашение меня накануне отъезда (до меня Витте принимал Суворина) было первым шагом строго обдуманного плана расположить к себе, при выполнении трудной миссии, общественное мнение. И как известно, план этот он весьма умело осуществил, вся американская печать была на его стороне, и так он был внимателен к прессе, что, подписав мирный договор, не забыл послать мне телеграмму с благодарностью за доброжелательное предсказание. Но и его предвидение, что, какой бы мир ни заключить, виновника будут всячески поносить, оправдалось в формах совсем невероятных: правые издания утверждали, что у сахалинских каторжников больше представления о чести и национальной гордости, чем у Витте, и после присвоения графского достоинства в реакционной печати дана была ему кличка «граф Полусахалинский».

В противоположность недовольству реакционеров, требовавших продолжения войны, «Право» подчеркивало огромное значение мира, и я писал: «16 августа прекратило бессмысленную и жестокую резню, безумное истребление народных сил и средств вконец разоренной страны. Кошмар рассеялся». Мы

обращались к власти с призывом использовать этот шанс и «заключить внутренний мир». Призыв не имел ни малейшего успеха, и в следующих номерах отмечены, с одной стороны, запрещения съездов, объявления различных частей империи, в особенности окраин, на военном положении, а с другой – безжалостные убийства представителей власти пулями и бомбами. Голос «Права» стал все сильнее заглушаться и правительственными репрессиями, и все громче звучащими на переполненных до отказа митингах в университетских зданиях лозунгами вооруженного восстания для созыва учредительного собрания.

В таких необычайных условиях началась организация первой открытой политической партии в России, названной Конституционно-демократической. Это громоздкое название должно было отличать ее от партий республиканских и классовых, но уже через месяц после рождения, на втором съезде в Петербурге, она была переименована в Партию народной свободы. Новое название плохо привилось, а из первого по начальным буквам «К» и «Д» Анненский создал кличку «кадетская, кадеты», и эта кличка вошла в жизнь.

Учредительный съезд назначен был в Москве на 8 октября, и дня за два мы выехали туда с Набоковым. В воздухе уже явственно ощущалась гроза, кое-где уже началась железнодорожная забастовка, но Николаевская железная дорога еще исправно циркулировала, и я старался утопить свою тревогу в уверенном, спокойном настроении Набокова. Как всегда, предварительно на вокзал явился его камердинер, чтобы уютно устроить отделение – на столике портрет жены, будильник,

лубок⁴⁹ с елисеевскими фруктами, содовая вода и т. д., на вешалке красуется шлафрок – можно было чувствовать себя как дома.

В Москве царило гораздо более заметное возбуждение, чем в холодном Петербурге, атмосфера насыщена была напряженным ожиданием, и сосредоточиться на обсуждении партийной программы было невозможно. Только два человека оставались как бы вне воздействия окружающей обстановки – Милюков, бывший докладчиком, и Винвер, умело председательствующий и упоенный этой ролью. На первом заседании в доме Долгоруковых появился незваный гость – помощник пристава Носков, московский специалист по части роспуска неразрешенных собраний, но и он не решился послушаться священнодействующего председателя и смущенно подчинился заявлению, что слово будет ему предоставлено в очередь, а когда она наконец до него дошла, он только и мог предъявить протест против действий председателя, помешавшего ему исполнить возложенную на него обязанность.

С каждым днем, с каждым часом напряжение обострялось – железнодорожное движение совсем остановилось, электричество погасло, телефон почти не действовал, забастовка превращалась во всеобщую, при тусклом мерцании свечей заседания становились все более вялыми, но не прерывались. Напротив, вспоминаю жаркий бой 17 октября между Милюковым и его женой из-за предоставления женщинам избирательных прав. Мы с Набоковым не дождались голосования и пошли посмотреть, что делается на улицах, не услышим ли чего-либо

49 Лубок – лукошко, корзиночка, сплетенная из луба (внутренней части коры липы или других лиственных деревьев).

нового, что – явственно ощущалось – должно наступить. А когда вернулись в мрачный, полутемный зал, Милюков сердито упрекал нас: именно недостаток наших двух голосов доставил победу жене, требовавшей равноправия.

Заседание продолжалось, пока, уже довольно поздно, в зал не ворвался сильно запыхавшийся сотрудник «Русских ведомостей», потрясая каким-то листком, оказавшимся манифестом 17 октября. Все смешалось и сбилось в кучу, слышны были отрывистые, взволнованные замечания, на всех лицах сияло торжество и радость, почему-то показавшаяся мне чрезмерной. Прямо из заседания перешли в литературно-художественный кружок, где говорились восторженные речи, а председательствующий и на этом внезапном банкете Винавер предложил тост за «учителя Витте по конституционному праву».

Живо вспомнил я об этом душевном томлении несколько лет спустя, когда при посредничестве талантливого литератора Чуковского, сотрудника «Речи», познакомился с самым выдающимся представителем уже отживавшего свой век передвижничества. Я получил от него очень любезное приглашение и поехал на знаменитую его дачу «Пенаты» с женой и двумя младшими сыновьями, чтобы и им дать счастливую возможность видеть гениального художника. Тщедушный, подвижный старичок Репин был трудным собеседником, разговор не вязался, и Чуковский, считавший себя режиссером свидания, наставлял попросить хозяина показать мастерскую. Репин как бы нехотя согласился, мы поднялись наверх и все – было кроме нас еще несколько гостей – похвалили, как полагается, оставшиеся непроданными картины, среди коих ничего выдающегося не было. Одна очень большая рама была задернута пологом, и я попросил показать эту работу. Нехотя Репин

отдернул завесу, и перед глазами воскресли безумные дни вокруг 17 октября. Толпа, которую Репин так мастерски изображает, несет на руках совершенно изможденного молодого человека – «интеллигента» – со всклокоченными волосами, свисающими на потный лоб. На первом плане сытая самодовольная фигура адвоката во фраке с красной розой в петлице, и всем своим видом он говорит: и мы пахали! Рядом с ним курсистка и впереди совсем маленький гимназистик с видом победителя – «Наша взяла!». С восхищением я разглядывал разнокалиберную толпу и самозабвенного оратора, а Чуковский все приставал, шепча: «Да скажите же что-нибудь, старик ведь обидится». Я и сказал: «Спасибо, Илья Ефимович, теперь мне все ясно. Достаточно взглянуть на вашу чудесную картину, чтобы сразу понять, почему революция не удалась». Не успел я закончить фразы, как Репин резко затянул полог и так демонстративно проявлял недовольство, что мы до ужина, к которому были приглашены, уехали, и нас не удерживали. На другой день примчался Чуковский и огорченно пенял: «Как же вы, умный человек, так старика обидели! Он убежден, что изобразил апофеоз революции, а вы ему говорите прямо обратное». Вторая революция заставила забыть этот эпизод, и в 1924 году Репин прислал мне свой портрет с очень дружеским письмом.

На другой день после опубликования манифеста нам, Набокову и мне, удалось с первым отошедшим поездом выехать домой. Мы оказались в одном отделении с князем П.Н. Трубецким, московским предводителем дворянства, Д.Н. Шиповым и М.А.Стаховичем, которых граф Витте вызвал для переговоров об образовании первого конституционного министерства. Дома жена мне сообщила, что за время моего отсутствия несколько раз звонил Витте по телефону и выражал свое недовольство, узнав, что меня нет в Петербурге. Я тотчас же позвонил к нему и, в ответ на поздравление, услышал раздра-

женный голос, чуть ли не выговор, что в самое нужное время «неизвестно зачем исчез», и приглашение (по тону больше напоминавшее требование) немедленно приехать к нему.

Я застал его чрезвычайно возбужденным, большими шагами он мерил свой огромный кабинет, ковер которого был буквально усеян надорванными конвертами. Витте стал жаловаться на трудности своего положения, и я воспользовался этим, чтобы сказать, что для успокоения общественности нужно сделать какой-нибудь «жест», и прежде всего немедленно объявить свободу печати. Мне уже было известно, что петербургские газеты решили, тотчас же по прекращении типографской забастовки, выйти в свет без соблюдения цензурных правил (как тогда выражались, «явочным порядком»). Сказать ему об этом решении я не мог, ибо он, чего доброго, принял бы предупредительные меры, но в интересах авторитета власти мне казалось желательным, чтобы свобода печати была дана. Однако добрый совет вызвал резкую вспышку гнева.

«Да что вы мне толкуете! Только что был у меня такой авторитетный ученый, как Таганцев, и уверял, что выработка закона о свободе печати требует много времени и труда». – «Профессор Таганцев, – отвечал я, – совершенно прав: для выработки исчерпывающего закона требуется много времени. Но то, что нужно сделать немедленно, – упразднить предварительную цензуру, чтобы потом не было поздно, и это сейчас можно было бы сделать за вашим письменным столом». – «Ах, оставьте! У меня и без того достаточно забот. Лучше скажите, кто из общественных деятелей мог бы войти в кабинет министров». Я ответил, что прежде, чем об этом говорить, необходимо было бы уволить наиболее неприемлемые для общественного мнения фигуры, и в особенности товарища министра внутренних дел Трепова. Но это вызвало еще сильнее

раздражение: «Вы воображаете, что все так просто делается? А мне с величайшим трудом удалось добиться отмены ужасного назначения. Был уже подписан указ о назначении Коковцова председателем департамента экономии Государственного совета». – «Но, Сергей Юльевич, уверяю вас – это-то вовсе не интересует общественное мнение». Витте упорствовал, и было ясно, что дальше разговаривать не о чем.

На третий день я вновь был приглашен к премьеру, и он вновь вернулся к вопросу о вступлении «уважаемых общественных деятелей в кабинет» и интересовался, нельзя ли повлиять на князя Е.Н.Трубецкого, которому он намеревался предложить пост министра народного просвещения. Напоминание об отставке Трепова вновь вызвало настоящую бурю гнева, и я вышел от него с убеждением, что это наше последнее свидание. А князь Трубецкой обратился в редакцию «Прав» с просьбой собраться для обсуждения сделанного ему предложения. На совещании, на котором присутствовал и Милюков, все, кроме Петражицкого, высказались отрицательно, и тут же князь Трубецкой написал Витте о своем отказе.

Между тем настроение в Петербурге становилось все напряженнее. Революционные организации назначили на 24 октября торжественные похороны убитых во время манифестаций у Технологического института студентов и в своих воззваниях приглашали население принять участие в процессии. А правительство объявило, что манифестация не будет допущена. Мерещилось поэтому повторение кровавого 9 января, и накануне похорон несколько депутатов ездили к Витте, тщетно стараясь убедить его снять войска. Последней уже вечером была у него депутация от Городской думы, которой он в резкой форме тоже отказал. В этот вечер было очередное заседание редколлегии «Прав», но разговоры верте-

лись только вокруг завтрашнего дня. С большим запозданием приехал Набоков, бывший тогда гласным Городской думы, очень расстроенный, и сообщил о приеме, который Витте оказал депутации. И вдруг Петражицкий предложил послать немедленно депутацию еще и от «Права». Предложение казалось просто нелепым. Станет ли Витте внимать предостережениям скромного юридического журнала, если он так резко обошелся с городским самоуправлением? Но не из тех людей был Петражицкий, которых можно переубедить. Возражения были отвергнуты, и вдвоем с Петражицким мы были командированы. Подъехав в половине двенадцатого ночи к особняку Витте, мы узнали от швейцара, что «их сиятельство в Государственном совете». Отчаянию моего спутника не было предела, он был сам не свой.

Чтобы оставить след посещения, Петражицкий дал мне визитную карточку, на которой я написал, что мы явились депутацией от «Права» с ходатайством снять войска ради избежания кровопролития, которое грозит аннулировать благотворное влияние манифеста 17 октября. Я считал миссию на этом законченной, но Петражицкий не переставал твердить, что на этом нельзя успокоиться, нужно что-нибудь придумать. Тут пришло в голову съездить к князю Оболенскому, одному из авторов манифеста, пользовавшемуся тогда большим влиянием на Витте благодаря своим связям в придворных сферах. Петражицкий радостно признал мысль очень удачной, и, заехав в редакцию, мы опять поплелись и около полуночи подъехали к великолепному дому на Дворцовой набережной. На наш вопрос, дома ли князь, осанистый швейцар показал глазами на поднимающегося по лестнице человека, который в этот момент обернулся и, увидев нас, не только не удивился необычно позднему посещению, но страшно обрадовался и громко приветствовал, словно увидел самых близких людей.

Князь Оболенский был полной противоположностью графу Витте. Небольшого роста, подвижный и жизнерадостный, оптимист закоренелый, он таким и остался в эмиграции, где окончил свою долгую жизнь в очень тяжелых материальных условиях. А в ту ночь, недавно назначенный преемником Победоносцева на посту обер-прокурора Синода, он витал в облаках, и мы никак не могли заразить его тревогой. «Да нет же, это все не важно, это мелочь, теперь все образуется. Как же вы не видите зарю новой жизни!»

Его красноречие прервано было телефонным звонком, он взял трубку, и из доносившихся реплик можно было понять, что беседа идет именно о завтрашней демонстрации. Окончив разговор, Оболенский сказал: «А вот из редакции „Нового времени“ сообщают, что демонстрации не будет». Мы отказались этому верить – и случая такого не бывало, чтобы назначенная демонстрация в последнюю минуту была отменена. «Так, пожалуйста, проверьте у ваших друзей. Я переведу телефон в другую комнату, где вас никто слушать не будет».

Я стал нетерпеливо звонить, но либо не заставал никого дома, либо телефон был занят. Наконец я добился соединения с редакцией «Сына Отечества», и Шрейдер подтвердил, что действительно демонстрация отменена. На вопрос, как это могло случиться, он ответил, что и сам ничего не понимает, но только что получено отпечатанное воззвание за подписью всех революционных организаций, сообщающее об отмене торжественных похорон.

Однако странным приключением этой памятной ночи еще не суждено было кончиться. Мы стали уже прощаться с радушным хозяином, как вдруг появился Лазаревский и сообщил, что граф Витте прислал курьера с приглашением немедленно к нему явиться. Оболенский трогательно распрощался с

нами, всех обнявши, и вдвоем с Петражицким мы вновь направились к Витте, а было уже после часу ночи. Нам не пришлось звонить у подъезда, швейцар ждал нас и сказал, что «их сиятельство долго поджидали и сердились, а теперь уже ушли в спальню. Но я все-таки скажу, чтобы им доложили», и вызвал звонком курьера. «А вы снимите пальто, они вас, я знаю, примут». Курьер вернулся со словами: «Вас просят». Мы вошли в знакомый огромный кабинет, имевший теперь весьма неуютный вид – вся мебель была вынесена, так как Витте наутро переезжал в Зимний дворец. Пол, по обыкновению, усеян был разодранными конвертами, и лишь в углу стояли небольшой дамский письменный стол и два стула. Витте вышел в ночной сорочке, в стареньком пиджаке, бледный, с изможденным лицом, и, не подав нам руки, не здороваясь, хриплым, задышающимся голосом стал говорить: «Послушайте, господа, вы знаете, как я хорошо отношусь к вам, и вы позволяете себе прийти в полночь, и зная, как я измочален работой, и зная, что я всем уже отказал, пишете мне записки и требуете, чтобы я убрал войска. Ну, так вот что...»

Мы пытались прервать его, но, по-видимому, наши радостные физиономии, столь не соответствовавшие тону оставленной записки, еще больше раздражали, и, сильно возвысив голос, он не дал нам высказаться: «Что вы еще можете сказать? Нет! Теперь уже я вам говорить буду. Так вот, знайте! Получив вашу записку, я тотчас позвонил Трепову и сказал: Дмитрий Федорович, уберите войска, оставьте их только у правительственных зданий, Трепов ответил, что не может взять на себя такой ответственности. Ответственность, возразил я, беру на себя. Но, господа, – он стал уже кричать и грозить пальцем, – ответственность не на мне будет, а на вас, вы ответите за кровь, если она завтра прольется, и не станете больше приходить по ночам с такими требованиями». – «Ради бога, успокой-

тесь, Сергей Юльевич, теперь это все уже лишнее». – «Как лишнее, что еще такое? Что вы еще придумали?»

Когда мы рассказали, в чем дело, он раскрыл рот и словно остолбенел, потом схватился за стол. Опасаясь, что он упадет, мы его поддерживали, потом подставили стул, на который он тяжело опустился и, крестясь, все повторял: «Слава Богу, слава Богу!» Вошедший на звонок курьер принес стакан воды, и, отпив несколько глотков, Витте быстро оправился, велел принести еще один стул и уже обычным своим тоном стал жаловаться на трудности положения. Из этих жалоб можно было заключить, что он весь поглощен текущей острой «злойбой дня» и совершенно не отдает себе отчет, что теперь центром борьбы станет вопрос о компетенции Государственной думы. У него даже сорвалась неопределенная фраза, что это уже дело самой Думы. Но как только из дальнейшего разговора он уловил, что в таком случае Дума как бы превратится в Учредительное собрание, сразу опомнился и стал просить составить для него проект «основных законов». А Учредительное собрание было тогда лозунгом всей оппозиции, и несколько дней спустя это требование было даже предъявлено Витте депутацией от земско-городских съездов, которую он вызвал для переговоров. Поэтому просьба о составлении проекта «основных законов» делала дальнейшую беседу весьма щекотливой, мы постарались оборвать ее, ссылаясь на поздний час и его крайнюю усталость, и простились с ним уже в третьем часу ночи.

В своих «Воспоминаниях» граф Витте, неоднократно упоминая обо мне, об этом историческом свидании ничего не говорит, но зато весьма подробно рассказывает о выработке основных законов. Он смешал два разных момента и вследствие этого допустил существенные неточности.

А эта странная ночь имела еще свой эпилог после роспуска Первой Думы, то есть спустя девять месяцев. Все ожидали тогда народных восстаний, правительство приняло предупредительные меры, но «народ безмолвствовал». Живя на даче в Сестрорецке, я встретился там с видным членом социал-демократической партии Н.Аносовым, который на вопрос, как случилось, что народ остался равнодушен к роспуску Думы, которой он так интересовался, ответил буквально следующее: «С тех пор как мы в октябре прошлого года отменили демонстрацию, мы потеряли власть над массами». И я живо вспомнил ту бурную ночь, когда враждебные стороны в последний момент разошлись, не решившись померяться силами друг с другом.

Учредительный съезд кадетской партии состоял главным образом из бывших членов Союза освобождения, а пожалуй, и ни одного участника не было, кто не принадлежал бы к Союзу. Формально Союз даже и не был ликвидирован, а по русской привычке за ненадобностью просто брошен был, как старая ветошь. Да и журнал «Освобождение» не простился с читателями, а на полуслове оборвал свое существование: как только до Парижа дошло известие о манифесте 17 октября, редактор его Струве, не ожидая разрешения о дозволении вернуться в Россию, схватил шапку в охапку и обрадовал меня появлением в редакции «Права». При переезде через русскую границу он не встретил никаких препятствий. Кадетская партия вправе была считать себя правопреемницей, наследницей Союза, и можно было рассчитывать, что в нее войдет большинство его членов, которое и составит основное ядро партии. Такой расчет тем более казался основательным, что,

как было уже упомянуто, на учредительном съезде программа не вызвала сколько-нибудь серьезных разногласий. Правда, в составлении ее руководящую роль играли земцы и Милюков, радикальные элементы – и тем более социалистические – остались в стороне от этой работы.

Должно быть, по отношению к провинции и рядовым членам Союза этот расчет и оправдался, почти все они вошли в состав партии. Думаю, так было и в Москве, которая вообще стала душой партии, формовщицей и хранительницей ее традиций. А в рассудочном Петербурге, где перегородки между интеллигентскими настроениями были наиболее высоки и наименее проницаемы и манифест 17 октября с сопровождавшим его пробуждением сопротивления и натиска реакционных элементов оказался не в состоянии снести перегородки, напротив, пронизывал их током высокого напряжения, чтобы и приближаться к ним было небезопасно. Неискренность и вынужденность уступок, обнажавшая слабость власти, возбуждала мечту, что сейчас можно добиться и большего. Поэтому о закреплении позиций никто и не думал, все превратились в старуху из пушкинской сказки, и центр тяжести переместился с программных положений на вопросы тактики, которая в гораздо большей степени определяется склонностями характера, нежели доводами разума и логики. Более сумбурного, более ожесточенного и предубежденного настроения среди вчерашних еще соратников видеть не пришлось, а меня к тому же посадили председателем – нелегко было сдерживать бушующие страсти. Со всех сторон гремели обвинения и упреки. Одни указывали, что парламентская тактика партии состоит в несоответствии с революционной программой, и требовали согласования налево, другие убеждали потесниться вправо, предоставив занятую съездом позицию более радикальным элементам.

Я думаю, если бы заявленные притязания и были приняты докладчиком Милюковым, это не изменило бы готовых решений, с которыми большинство петербургской группы пришло в собрание. Чем выше был авторитет Милюкова в земской среде, тем ревнивей относились к своей самостоятельности и независимости представители интеллигенции, тем больше опасались сломать перегородки.

Теперь предстояло знакомиться и работать с новыми людьми, которые сошлись не на тяжелую и упорную борьбу, а прибежали на пир. Я не мог освободиться от этого неприятного ощущения, не мог преодолеть душевного холодка, когда по поручению ЦК созвал в Тенишевском зале учредительное собрание для образования петербургской группы первой открытой политической партии и увидел массу незнакомых сияющих лиц, покинувших свои кельи и сбежавшихся на зов победителей. Голос сомнения назойливо нашептывал: пока ты будешь счастлив, у тебя будет много друзей. Наибольшим партийным торжеством было предложение студентов трех высших учебных заведений о приеме их в кадетскую партию, но я не мог вызвать в себе симпатий к ним, потому что мое поколение воспитывалось на лозунге «В борьбе обрешь ты право свое». Именно теперь, когда, как казалось, борьба примет парламентские формы, дети могли бы предложить ее отцам и наверстывать упущенное на забастовках, вместо того чтобы состоять на политических побегушках.

Пока, однако, парламентская борьба рисовалась лишь воображению, а фактически кругом происходила не борьба, а всеобщий погром, бурсацкая, но кровавая вселенская смазь. Демобилизуемые войска, беспорядочно возвращавшиеся с Дальнего Востока, громили все на своем пути. Организуемые местной администрацией городские подонки устраивали

погромы евреев и интеллигенции, революционные партии револьверами и бомбами громили полицию и жандармов и под руководством впервые тогда образовавшегося Совета рабочих и крестьянских депутатов вымогали у населения вторую, а потом и третью всеобщие забастовки, явно обреченные на неудачи. Теперь, когда вскрыта огромная роль провокации в общественном движении, трудно допустить, чтобы организация – рассудку вопреки – этих забастовок, как и организация декабрьского вооруженного восстания в Москве, обошлась без ее участия.

Вспоминается неожиданное появление неизвестного лица, оставившего по себе такую позорную память. Не называя себя, вошел и поздоровался невысокий человек, в вышитой разноцветными шелками синей рубашке, поверх которой надет был пиджак, с острым лицом, такими юлящими глазами, каких больше я не встречал, и густыми волосами, стриженными в скобку. Вызывающее молчание на поставленный дважды вопрос: «Что вам угодно?» – и руки в боки раздражающе подчеркнули отвратительное впечатление, которое он производил, а когда наконец он нехотя, оскорбленно – дескать, как же редактор «Права» может спрашивать, кто он такой, – выдал из себя: «Я – Гапон», – у меня екнуло внутри: как могло случиться, что даже такие предательски шмыгающие глаза не помешали этому роковому человеку стать не только кумиром толпы (на эту роль все может пригодиться), но и заслужить почтительное признание интеллигенции. Едва ли можно сомневаться, что в то время он уже плел связи с департаментом полиции. Имя Гапона назвал мне Витте во время одного из посещений: отбояриваясь раздраженно от наивных увещаний моих, он все уличал в непонимании серьезности положения. «Вот вы не знаете, что Гапон здесь, а он был у меня». Я с намеренным пренебрежением ответил, что и меня

Гапон удостоил посещением, но что теперь он выдохся и пяти копеек не стоит. Витте широко раскрытыми глазами смотрел на меня. Ему, как доказывают попавшие в мои руки расписки, Гапон стоил несколько десятков тысяч рублей.

Так или иначе, но тщетно «Право» предостерегало от пользования опаснейшим оружием забастовки, которое от частого употребления зазубривается и тупеет.

Моя фамилия слишком часто пестрела тогда на газетных столбцах, жили мы близко к окраине, и квартира была на первом этаже... Я стал получать подметные угрожающие письма, на дверях мелом и краской обозначался крест, знак предназначения к погрому, и мы вынуждены были временно приютиться в семье Каминки, а потом среди зимы переехать на другую квартиру в центре города. Я был тогда по горло занят и весь своей работой поглощен, вследствие чего при этом переезде погибло много рукописей, заметок и весьма ценной для меня переписки, которые сейчас ох как пригодились бы.

■ «Речь» и Государственная дума (1906–1907)

Образование политической партии поставило на очередь вопрос об издании ежедневной газеты, и когда я вновь получил предложение взять на себя редактирование, то и жена покорилась судьбе и не протестовала – суженого конем не объедешь. Надо было бы прежде спросить себя, а как же и откуда выкроить время для газеты? И без нее весь день был заполнен. Я не упоминал до сих пор, что тотчас по выходе в отставку был избран директором-распорядителем почтенной старинной издательской фирмы «Общественная польза» с большой собственной типографией. Вот за это дело, требующее прежде всего коммерческой сноровки и умения, внимания к смете, отчетам и балансам, браться не следовало, а меня поставили, чтобы влить вино новое в меха старые, чтобы приспособить издательство к изменившимся литературным вкусам и потребностям.

При переходном характере тех годов задача и сама по себе была нелегкая, а мне тем паче разрешить ее не удалось, и склонен был бы вовсе не останавливаться на этом отрезке деятельности, если бы она не была связана с сотрудничеством и ежедневными встречами с человеком – уже покойным, – занимавшим совершенно исключительное место среди петербургской интеллигенции, разделенной высокими перегородками на многочисленные замкнутые кружки. Оформление политических партий произвело как бы генеральное размежевание, указавшее каждому его место, и после этого уже не только неуместно, но и зазорно было вторгаться в пределы чужой собственности, принимать одновременно участие в разных группировках. Едва ли не единственное исключение установлено было в пользу наименее заметного, но наиболее

всеми почитаемого и любимого Александра Исаевича Браудо, занимавшего пост библиотекаря (а потом вице-директора) Публичной библиотеки: еврей «с головы до ног», он был преданнейшим сыном России и, не состоя ни в какой партии, всюду был желанным и дорогим гостем и пользовался неограниченным доверием не только среди интеллигенции, но и вплоть до высших слоев бюрократии и великокняжеских двorcов. Он был какой-то всеобщий печальник, я совсем не могу представить его сидящим в театре, в концерте, но зато его неизменно можно было встретить везде, где творилось общественное дело или нужно было кому-нибудь помочь. Труднее всего было застать его дома: помню, как удивился телефонному звонку сын его, ныне выдающийся музыкант, тогда еще мальчик, и недовольно сказал мне: «Папы же нет дома, он шлепает». Александр Исаевич действительно шлепал с утра до вечера, потому что все обращались к нему с просьбами и поручениями, он, вероятно, и не знал, что в просьбе можно отказать... Кажется, он впервые наполнил для меня живым содержанием проникновенные слова Тургенева: «Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение... жизнь тяжелый труд, отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка... Не наложил на себя железных цепей долга, не может человек дойти, не падая, до конца своего поприща». Я бы сделал, однако, еще оговорку: Браудо цепей на себя не накладывал, было впечатление, что он с ними родился. Никому, во всяком случае, не дано было видеть, что он их чувствует.

Когда, наконец, я расстался с «Общественной пользой», ушел и Александр Исаевич оттуда, мы стали встречаться главным образом в моем редакционном кабинете, в котором он был частым и дорогим гостем. Я не мог удержать радостного восклицания при виде его, ибо, с чем бы он ни пришел, его

спокойная осанка, задумчивое, грустное лицо с лучистыми глазами сразу рассеивали напряженное редакционное настроение, сменявшееся предвкушением душевного отдыха. Трудно рассказать словами, в чем заключалось обаяние его благородной личности, было оно не в действиях, не в речах, а в чем-то неосязаемом: в мягком спокойствии, в широко раскрытом сердце, душевной теплоте, чутком внимании. Отрадно было сознавать, что к нему всегда можно постучаться, все можно было рассказать и душевно около него согреться.

Уже после смерти Александра Исаевича мне, к величайшему удивлению, стало известно, что он был масоном. Масонство представлялось мне категорией исторической, роль свою давно закончившей, и лишь в 1904 году я вдруг узнал, что оно еще претендует на жизнеспособность. Во время одного из пребываний в Москве ко мне в гостиницу «Националь» явился Д.И.Шаховской и предложил подняться к только что вернувшемуся после длительного пребывания за границей профессору М.М.Ковалевскому – «это очень интересный человек, и вам нужно с ним познакомиться, пойдемте сейчас, он ждет вас».

Мы поднялись этажом выше, и добродушно разжиревший, с таким же жирным голосом, Ковалевский, едва успев поздороваться, сразу же стал доказывать, что только масонство может победить самодержавие. Он напоминал комиссионера, который является, чтобы сбыть продаваемый товар, ничем не интересуется, ничего кругом не видит и занят только тем, чтобы товар свой показать лицом. Это мне не понравилось, и пропал всякий интерес к сближению с ним, несмотря на большую авторитетность и популярность его имени. Позже он поселился в Петербурге, и я бывал у него только на собраниях.

В общественных организациях он был вроде генерала на купеческих свадьбах.

Насколько мне известно, Ковалевский и был родоначальником русского масонства конца прошлого века. Русская ложа, отделение французской «Ложи Востока», была им торжественно, по всем правилам обрядности, открыта, а через несколько лет за нарушение тайны надолго усыплена и вновь воскресла уже в нынешнем виде. Но традиции масонства уже в значительной мере выветрились, и ложа приобрела оттенок карбонарский. Замечательной для России особенностью было, что ложа включала элементы самые разнообразные – тут были и эсеры (Керенский), и кадеты левые (Некрасов) и правые (Маклаков), которые в партии друг друга чуждались, миллионеры-купцы и аристократы (Терещенко, граф Орлов-Давыдов) и даже члены ЦК эсдеков (Гальперн), которые открыто ни в какое соприкосновение с другими организациями не входили.

По-видимому, масонство сыграло некоторую роль при образовании Временного правительства. Недоуменно я спрашивал Милюкова, откуда взялся Терещенко, никому до того не известный чиновник императорских театров, сын миллионера, – да притом еще на посту министра финансов, на который считал себя предназначенным Шингарев, смертельно предпочтением Терещенко обиженный. Милюков отвечал: «Нужно было ввести в состав правительства какую-нибудь видную фигуру с юга России», а потом эта видная фигура вытеснила Милюкова и сама заняла его место министра иностранных дел. Со времени первой революции реакционные круги приписывали «жидомасонам» безграничное влияние и решительно во всем усматривали их происки, не раз и я попадал в составляемые ими списки масонов, хотя упомянутое предложение Ковалевского, да и то не прямое, на которое я не реагировал,

осталось единственным. И прибавка «жидо» едва ли справедлива – насколько мне известно, участие евреев было редким исключением, и должен признать, что принадлежность Браудо к масонству мне объяснить трудно. Теперь, судя по тому, что известно, масонство совсем выродилось в общество взаимопомощи, взаимоподдержки на манер «рука руку моет», но уже и в то время благотворительное противодействие масонства русской кружковщине сразу вывернулось наизнанку.

Если бы ради новорожденной «Речи» нужно было только от «Общественной пользы» отказаться, никаких колебаний и угрызений это не вызвало бы. Хуже было, что и «Праву» я мог теперь уделять меньше времени, а главное – меньше забот и внимания, потому что ежедневная газета поглощала всю энергию и истощала всю страстность. Но до «Речи» было еще очень утомительное, хотя и забавное интермеццо. Через Ганфмана Милюков и я получили приглашение издателя «Биржевых ведомостей» С.М.Проппера редактировать его газету, выходившую в трех изданиях: из двух утренних одно, предназначавшееся для провинции, держалось в стороне от политики и имело большое распространение в обывательской, «чеховской» провинциальной толще. Другое издание, претендовавшее на политическое руководство, но лишенное определенной физиономии, совсем захирело, зато третье, вечернее, получившее презрительную кличку «Биржевка» и неразборчиво питавшее читателей любыми, даже и родного отца не жалеющими сенсациями, имело в Петербурге и окрестностях большой тираж. С.М.Проппер был настоящим, как теперь выражаются, выдвиженцем: выходец из прежней австрийской Польши, он в Петербурге начал с листка объявлений (Витте с озлобленным пренебрежением рассказывает, как Проппер выстаивал у него в приемной, выпрашивая объявления) – и превратил его в

газеты, приносившие огромный доход и образовавшие многомиллионные состояния.

Это так и осталось для меня загадкой, хотя я и держусь мнения, что какая-нибудь на взгляд незаметная особенность властно ведет с виду заурядного, а то и просто глупого человека по пути успеха. Таким был, например, московский коллега Проппера И.Д.Сытин, полуграмотный офеня, умело прикидывающийся простачком, чтобы поглубже укрыть острую смекалку, сверхъестественно чувствующую вкусы и потребности окружающей обстановки. Это был подлинный самородок с крепким самосознанием и большим честолюбием. Проппер же представлял именно выдвигенца, отличающегося здоровыми и бесцеремонными локтями и захлебывающегося мелким тщеславием. Перед начальством он трепетал благоговейно. Но теперь, когда, по удачному слову Розанова, «начальство ушло», и признаком хорошего тона интерес к политике стал даже на аристократической Английской набережной, где Проппер занимал роскошную квартиру, питавшую сознание собственного достоинства. Теперь мода была на политическую роль, и он перед нами держался, как вчера перед начальством, не остановился и перед нашими требованиями неограниченного полновластия, отказа от вмешательства в редакционную часть и даже упразднения самого названия «Биржевые ведомости».

И вот началась страда. Уже в 8 часов утра я был в редакции, чтобы подготовить выпуск вечерней газеты – надо было прочитать все, что принесла почта, просмотреть утренние газеты и дать их обзор, познакомиться со срочными рукописями. Только что работа закончена, начинают поступать корректуры из типографии, потом идет верстка номера. После часа дня я уезжал домой, чтобы к трем часам вернуться в редакцию для работы над завтрашним утренним выпуском. Но

зато ночью редко приезжал, эта работа лежала на плечах Милюкова и Ганфмана, которые оставались в типографии до четырех и до пяти часов утра.

Газета названа была «Народная свобода», и самое название указывало на тесную связь с Партией Народной свободы. Поэтому вопросы программы определялись линией партийного поведения, и вообще на первый план победоносно выступила тактика. За первой всеобщей забастовкой, ликвидированной манифестом 17 октября, последовала вторая, несмотря на ее неудачу, провозглашена была третья, в Москве грянуло вооруженное восстание, крестьяне жгли помещичьи имения, возвращавшиеся из Сибири демобилизованные войска сметали все на своем пути, в казармах и на кораблях вспыхивали военные бунты, десятками ежедневно подстреливали и взрывали бомбами представителей администрации, а правые организации устраивали по всей России – в подозрительно однообразных формах – кровавые погромы евреев и интеллигенции. Спустя тридцать лет на собрании памяти А.И.Гучкова в Белграде В.В.Шульгин так и заявил, что «еврейскими погромами мы остановили первую революцию».

Администрация конфисковывала и закрывала газеты, запрещала собрания, хватала не только революционеров, но и вообще всех неугодных ей, а главное – держала, больше даже, чем дружественный, нейтралитет по отношению к громилам. В № 17 «Права» за 1906 год напечатана была составленная на основании документов министерства внутренних дел официальная записка, свидетельствующая, что манифест встречен был с радостью и уничтожил бы престиж крайних партий, если бы правительство проявило искренность. А оно, под главенством Трепова, всячески дискредитировало значение исторического акта и, напротив, подстрекало к насилиям, и уж тем

паче не принимало мер к их прекращению. Такое поведение правительства «вызвало бурю негодования среди населения, которая совершенно смела первое радостное впечатление от чтения манифеста 17 октября».

Наша тактика при таких условиях неизбежно складывалась наперерез правительству и определялась непримиримой борьбой направо и дружественным вынужденным нейтралитетом налево. Левые принимали такое отношение без всякой благодарности, снисходительно, как нечто им должное. Я лично испытывал ощущение, что действую из-под палки и что свободного выбора нет, это ощущение вызвало неприязненное раздражение. Практическое испытание нейтралитета состоялось уже на втором номере газеты. Революционные партии, опираясь на типографских рабочих, предъявили требование напечатать манифест о финансовом бойкоте правительства – истребовании вкладов из сберегательных касс, отказе от платежа налогов и т. д. 1 декабря в безвкусном зале редакции «Нового времени», с простреленными во время семейной ссоры зеркалами, состоялось заседание редакторов газет, на котором единогласно постановлено было манифест напечатать, с правом по своему разумению так или иначе отнестись к его содержанию.

Благообразный старик А.С.Суворин непосредственного участия в обсуждении не принимал – он сидел у открытой в зал двери своего кабинета, и сын его Михаил то и дело подходил к отцу за указаниями, прежде чем высказать мнение «Нового времени». Тем не менее на другой день «Новое время» вышло без манифеста, и Витте потом поддразнивал меня, что Суворин оставил нас в дураках. А теперь из мемуаров Витте видно, что, узнав о предстоящем опубликовании революционного манифеста, он поздно ночью позвонил Суворину и,

пугнув лишением казенных объявлений, добился бесцеремонного предательства. А газеты «дураков», в том числе и «Народная свобода», были закрыты, и через несколько дней я получил вызов к судебному следователю для допроса по обвинению по 129-й статье Уголовного уложения. Допросив меня, следователь спросил, могу ли я внести 10 000 рублей залога. Таких денег у меня тогда и вообще не было. Я предложил отпустить меня на несколько часов, но он и слышать не хотел и препроводил в Дом предварительного заключения. Но я просидел лишь несколько часов: Каминка, узнав о моем приключении, принес ценных бумаг на требуемую сумму, и меня отпустили. Газета стала выходить под перелицованным названием «Свободный народ», снова была конфискована, и так повторялось еще несколько раз.

А между тем «ушедшее» начальство уже возвращалось, под руководством П.Н.Дурново, обыватель же успел устать и остыть. Проппер считал, что слишком поторопился, и всячески саботировал. Когда 20 декабря газета вновь была закрыта, он заявил, что дальнейшее наше руководство грозит ему полным разорением, и мы беспрекословно ушли.

Сейчас же, однако, начались переговоры с разными лицами – помнится, было предложение и от Сытина, но на реальную почву их поставил богатый инженер-подрядчик и заводчик Ю.Б.Бак, еврейский общественный деятель. Он щедро субсидировал плохо конкурировавшую с «Новым временем» газету «Новости», из которой старались сделать противовес злобному антисемитизму Суворина. Среди бесчисленного количества других периодических изданий и «Новости» были в начале 1906 года закрыты, но Бак хотел продолжать издание и, опять через Ганфмана, пользовавшегося большой популярностью и любовью в газетных кругах, обратился к нам. Мы снова

поставили условием, чтобы не было никакого преемства «Новостей», чтобы редакция составлена была заново и состояла в исключительно нашем ведении. Это вполне соответствовало и намерениям самого Бака, и он ни разу не сделал попытки вмешательства и вообще держал себя безукоризненно корректно. Известный художник Бакст начертил нам изящный оригинальный заголовок «Речь» – опять *tout court*⁵⁰.

Создание «Речи» мало чем напоминало рождение «Прав». Его мы действительно долго вынашивали, тщательно каждую деталь обсуждали, над каждым выражением задумывались, каждую фразу отделявали. Теперь было не до того, стало некогда, серьезно думалось, что Россия потерпит урон, если сегодня не будет то-то и то-то сказано. Да и обсуждать было нечего – Конституционно-демократическая партия успешно оформилась и определилась, и ее положение направляло линию поведения газеты. С Милюковым никаких разногласий не было, я отчетливо сознавал превосходство автора «Очерков», он же глубоко прятал ученость, никогда не давил ею, а товарищеская простота, необычайная работоспособность и ровная уверенность пленяли и привязывали к нему. Он со своей стороны говорил, что, осев в 1905 году в Петербурге, застал меня «на командной высоте русской журналистики и с почтением относился к кружку „Прав“, в который принят был как свой».

При такой взаимооценке совместная работа не требовала предварительной подготовки. Я не помню, чтобы перед выходом газеты в свет было какое-нибудь обсуждение плана с сотрудниками. Задача издания была настолько ясна, что

каждому вступающему в состав редакции было отчетливо видно, на чем нужно сосредоточить удары. В приглашении постоянных сотрудников главная роль принадлежала Ганфману: у меня был уже обширный круг литературных знакомств, но преимущественно среди тузов, а Ганфман благодаря пытливой любознательности и изумительному чутью знал решительно всю газетную братию и каждому знал настоящую цену. И вот что характерно: при безоглядном увлечении Конституционно-демократической партией наш редакционный штаб не состоял в ее рядах – и сам Ганфман, и все постоянные работники были внепартийными, политически свободными. Это было чрезвычайно важно, ибо цель издания была не только ясна, но она была всепоглощающая и притягала стать фокусом, в котором сосредоточивались бы все лучи газеты. Ей грозила поэтому односторонность, а между тем больше всего к газете применимо замечание, что все роды литературы хороши, кроме скучного. Налет односторонности, несомненно, был на газете, потому что мне лично скучным казалось все, что не касается Партии Народной свободы, и я, в сущности, был редактором никудышным, до тех пор пока после Второй Думы не отошел от политической деятельности, посвятив себя газете как таковой. Я не раз чувствовал, что духовные узы, связывающие с партией, превращаются в тяжелые, неудобноносимые цепи. Большим для нас облегчением было появление вскоре официозного «Вестника Партии Народной свободы», отвлекшего от нас партийные дискуссии и партийное самодовольство.

«Речь» вышла в свет 23 февраля. Если, в отличие от «Права», сторона идейная сложилась сама собой, то организация сложного аппарата ежедневной газеты потребовала большой затраты сил и энергии. Зато вступительная статья, написанная мною, не вызвала ни единого замечания, не потребовала, к

величайшему моему удовольствию, ни единой поправки. Наученные горьким опытом и состоя еще под следствием, Милюков и я уже не значились редакторами «Речи», формула была такая: «„Речь“ – при ближайшем участии П.Н.Милюкова и И.В.Гессена». После дарованной манифестом 17 октября свободы печати появились у нас фиктивные редактора, и один из них позже – увы! – был осужден на 8 месяцев в тюрьму. Были такие специалисты, в том числе В.В.Водовозов, которые, будучи уже привлечены к следствию, сами напрашивались на предоставление своей подписи. Раз привлеченные к следствию, они, при предъявлении новых обвинений, требовавших нового предварительного следствия, тем самым добивались отсрочки слушания дел в суде, которые подлежали рассмотрению по совокупности совершенных преступных деяний. В связи с созывом Думы впереди маячила амнистия, и наиболее целесообразным казалось выиграть время. Расчет оказался правильным, частичная амнистия была дарована, и у Водовозова, у которого на счету было уже несколько десятков обвинений, все они были ликвидированы.

Выход «Речи» не представлял уже такой скачки с препятствиями, как выход то и дело запрещаемого «Свободного народа»: правительство стало менять тактику и предпочитало бить не дубьем, а рублем, перенеся тяжесть кары с редакции на издателя. Изменился, за отсутствием при «Речи» вечернего издания, и характер работы. Не было уже такой изнурительной спешки, я приходил в редакцию около двух часов дня и оставался до шести с половиной, а потом вторично около полуночи, и уходил домой между двумя и тремя часами ночи.

Милюков являлся в редакцию только по ночам и никогда, как бы ни было поздно, не уходил, не прокорректировав своей передовой статьи или отчета о заседании, в котором он произ-

нес речь, да и вообще, весь интерес его концентрировался на политическом отделе газеты. Он писал тогда очень много и, к сожалению, слишком пространно сравнительно с общим газетным размером. Думаю, что он писал не для читателей, не для современников, а больше для истории. Когда однажды я убеждал его выбросить из передовой статьи какую-то фразу, без нужды слишком резкую, он ответил: «Не настаивайте, Иосиф Владимирович, через десять лет нам придется на эту фразу ссылаться и напоминать, что мы своевременно ее высказали».

Днем я сидел в своем кабинете, читал и правил поступающие рукописи, просматривал до отправки в типографию текущий материал, доставляемый редакторами разных отделов, принимал посетителей, работал с секретаршей над обширной перепиской. Вечером работа происходила в общей комнате, где стояло четыре стола – для выпускающих, Ганфмана и для меня с Милюковым. В центре стоял круглый стол, а у одной стены просиженный диван. Материала всегда оказывалось гораздо больше, чем мог вместить размер газеты, и выпускающий сердито огрызался: «Что же, мне это на своей спине напечатать?» Работа сопровождалась непрерывным чаепитием, в котором принимали участие и гости – ближайшие друзья газеты, неизменно появлявшиеся в моменты особого политического оживления, и тогда становилось весьма шумно. А когда бывало тихо и типография задерживала подачу корректур, Милюков укладывался на диван и, подложив ладонь под щеку, моментально засыпал, и так же бесследно сон сразу исчезал, как только скажешь ему: «Корректурa подана».

Моя работа чрезвычайно облегчалась надежнейшими редакторами отделов: не нуждался в проверке провинциальный материал, проредактированный и подобранный А.С.Изгоевым, которого можно было назвать воплощением добросовестно-

сти. Равным образом можно было быть вполне спокойным за содержание хроники, которая была в ведении А.С.Фейгельсона, человека рыцарской честности и порядочности. Случалось, что кто-либо передавал мне записку для хроники, и, обещая напечатать, я посылал ее Фейгельсону, а он приходил ко мне со вздернутыми на лоб очками и шутливо спрашивал, какую взятку я получил за обещание напечатать эту записку. Бывало, конечно, неприятно, но он обстоятельно пояснял, что в записке скрывается реклама или какой-нибудь подвох, которого я в простоте души не заметил. «Речь», именно благодаря Фейгельсону, пользовалась безукоризненной репутацией. Чрезвычайно активно и умело из ночи в ночь выполнял изнурительную работу выпуска Б.О.Харитон, которому нужно было к концу верстки, уже под утро, спешно разбираться в массе злободневных известий и напрягать все внимание, чтобы не упустить чего-либо существенного и расположить все так, чтобы наиболее важное бросалось читателю в глаза. Я встретился с ним теперь, лет через тридцать после основания «Речи», в Риге, где он продолжает заниматься газетной работой. Оставшиеся в живых соратники твердят мне: «Никогда не забуду того духа, который создавался вами, – этого удивительного сочетания свободы, дружеской дисциплины, веселого газетного скептицизма и глубокой серьезности и ответственности». До слез волнуют такие заявления, и потому именно, что нет сомнения, что я заслужил их. А если есть здесь частица объективной правды, то... честь и хвала лозунгу моему – все образуется! Своей воли, сознательных усилий я к этому не прилагал.

На первых порах «Речи» довелось сыграть крупную роль в политической жизни. В начале апреля Браудо принес мне хранившийся в глубочайшей тайне проект новых Основных законов, который четыре месяца назад Витте просил Петражицкого и меня составить, но обошелся, хотя и с большим запозданием,

без нашей помощи. Оглашение проекта и в «Речи», и в «Праве» произвело необычайно звучный эффект – резкая критика, которой он подвергся в периодической печати, заставила правительство вновь пересмотреть проект и изъять несколько наиболее одиозных постановлений. Как характерно, что составители не забыли и такой мелочи: сохранили старый порядок назначения усиленных пенсий. По этому поводу я писал: «По этой статье мы узнаем нашу бюрократию, в своем корыстолюбии бесстыдную до цинизма». При пересмотре проекта пункт этот был исключен, но фактически порядок сохранялся до самой революции.

Разоблачение проекта Основных законов произвело тем более сильное впечатление, что оно произошло к концу избирательной кампании, и критика проекта послужила благодарной темой для ораторов. Среди них наиболее ярко выделялся политический трибун, замечательный оратор Ф.И.Родичев. Он речей не готовил, выступал экспромтом и потому был неровен, но, когда его озаряло вдохновение, слова его падали, как удары молота, а саркастическая улыбка на тонком мефистофельском лице сменялась трагической маской, и взволнованность аудитории так обострялась, что он мог бы вести ее куда и на что угодно.

Задачи ораторов в значительной мере облегчались тем, что в Петербурге правые, хотя и были к тому времени хорошо организованы и пользовались закулисной поддержкой правительства, почти не выступали. Левые партии бойкотировали Думу, и потому главные удары направлялись на бюрократию, и победа нашей партии далась очень легко! Главная трудность заключалась в том, чтобы сдерживать буйное настроение внутри самой партии.

* * *

До созыва Думы в Петербурге состоялись второй – в начале января, и третий – перед самым открытием Думы – съезды партии, и на обоих выяснилось, что провинция, где полицейский произвол после манифеста принял чудовищные формы, настроена гораздо воинственнее, чем рассудительный Петербург. Отрицательное отношение к бойкоту серьезных сомнений в партии не вызывало, хотя немало голосов раздавалось и против участия в выборах, но зато большие распри проявились на вопросе о думской тактике – должна ли Дума приступить, как тогда выражались, к органической работе, или же ограничиться выработкой нового избирательного закона на основе «четырёххвостки» и постановлением о невозможности работать на основе действующего законодательства.

Между этими двумя крайностями располагалась масса оттенков, и сделанные Милюковым и мной от имени ЦК доклады вызвали настоящую бурю – всем хотелось высказаться, и это, собственно, не были возражения, а больше излияния, крик души, протесты против грубейшего беззакония... Соответственно и была принята формула, что Дума должна выработать новый избирательный закон и обеспечить правильное применение закона о политических свободах. Однако к этому была еще прибавлена аграрная реформа и, что более характерно, выработка законопроекта об автономии Польши и выяснение вопроса о применении автономии к другим окраинам. Настроение съезда было настолько возбужденным, что, когда во время заседания оглашено было сообщение о покушении на жизнь московского генерал-губернатора Дубасова (это было тотчас после подавления вооруженного восстания в Москве), в зале раздались аплодисменты, и впоследствии нас не раз этим укоряли, как доказательством связи с террористами.

Другим поводом для упреков в нелояльности послужила попытка помешать заключению займа во Франции⁵¹ за две недели до открытия Думы. Об этом подробно рассказывает граф Коковцов в «Воспоминаниях», настойчиво коловший впоследствии кадетов и получавший в ответ: «Опять министр финансов рассказывает басни, которых никогда не было». Мы считали, что, раз положение о народном представительстве уже существует – без согласия Думы займа заключать нельзя. Эту точку зрения мы проводили в печати и полагали необходимым ознакомить с ней и французское общественное мнение⁵². Я решительно не помню, чтобы вопрос обсуждался в ЦК партии и чтобы состоялось какое-либо постановление. Но

51 Правительству срочно необходим был стабилизационный кредит, чтобы не допустить тяжелейшего финансового кризиса, вызванного Русско-японской войной, массовыми всеобщими забастовками и вооруженными восстаниями 1905 г., саботированием уплаты налогов, а также расстройством банковской системы, связанным с повальным изъятием частных вкладов из банков под влиянием агитации кадетской партии. При этом видные кадеты делали все, чтобы помешать получению правительственного займа на выгодных условиях во Франции, не понимая, что Россия стоит на краю пропасти. Дума в то время еще не была созвана и не приступила к работе, так что инициатива кадетов по вмешательству в финансовую политику в любом случае была преждевременной.

52 В действительности речь шла не просто об «ознакомлении общественного мнения» – влиятельные аристократы из Конституционно-демократической партии, пользуясь своими связями в Париже, плели тайные интриги на уровне французского правительства и банкирской верхушки, пытаясь не допустить получения Россией стабилизационного займа.

некоторые члены партии, бывшие в то время в Париже, принимали шаги для ознакомления французов с нашим взглядом на не-закономерность такого займа. Граф Коковцов называет фамилии князя Павла Долгорукова и графа Нессельроде, об участии которого мне неизвестно, но помню, что я получил письмо от Маклакова, почерк которого столь неразборчив, что удалось уловить лишь общий смысл, сводившийся к констатированию неудачи.

Перед самым открытием Думы созван был в Петербурге третий съезд партии, ее блестящая победа к этому моменту уже вполне определилась, все избранные депутаты приглашены были к участию, и съезд получил праздничный, торжественный характер. Мы чувствовали себя триумфаторами, и можно сказать, что съезд был центром внимания всего Петербурга, что к нему внимательно прислушивались со всех сторон.

Съезд подтвердил все резолюции, которые были приняты на предыдущем, но не упомянул об автономии Польши, а говорил об удовлетворении национальных требований. Как раз в последний день съезда опубликованы были Основные законы, их многие, как Милюков откровенно признался, готовы были считать уже похороненными резкой газетной критикой. Съезд принял это опубликование как вызов, и снова готова была прорваться плотина, но Родичеву удалось законопатить ее патетическим призывом к единству. Больше всех сдержанность проявили депутаты.

Милюкову и мне не удалось попасть в их число, потому что состояние под судом по обвинению в государственном преступлении лишало нас избирательных прав. Наш талантливый защитник О.О.Грузенберг считал необходимым во что бы то ни стало выиграть время, которое работало в нашу пользу. Когда он, уже в третий раз, под каким-то предлогом обратился

к председателю Судебной палаты с просьбой о новой отсрочке, тот решительно отказал. Грузенберг вышел из его кабинета мрачнее тучи, мы старались успокоить его уверениями, что он сделал больше, чем можно было от него требовать. Но он только обругал нас и вновь, рискуя напороться на грубость, вошел в кабинет грозного Максимовича и через несколько минут вышел сияющий – добился-таки отсрочки на 15 мая. Это, однако, нисколько не умалило огорчения, что я не попал в число «народных избранников», я им страстно завидовал, особенно в день приема в Зимнем дворце и открытия торжественного заседания Думы.

День 27 апреля выдался чудесный, и яркое сияние весеннего солнца еще выше поднимало радостное настроение. Мы писали: «История сохранит светлое воспоминание об этом светлом часе в истории русского народа... Это будет первый час новой эры в истории страны». Не хотелось задумываться над тем, что министерство Витте–Дурново хотя и уполномочено, как того требовало общество, но на его место подобрано было другое из заведомых реакционеров под председательством едва ли не самого яркого бюрократа Горемыкина.

Вечером состоялось собрание в отличном помещении детского клуба, основанного на щедрое пожертвование князя Бебутова, депутаты говорили речи, и все были возбуждены до опьянения. Пожаловал и С.А.Муромцев, в апогее величавости, чтобы проститься с партией – председатель Думы не должен быть партийным. По заслугам перед конституционным движением право на председательское место бесспорно принадлежало Петрункевичу, и, не будь Муромцева, который лишь в последний год примкнул к движению, он и был бы на этот пост выдвинут. Но Муромцев как бы для того и был рожден, чтобы стать председателем парламента. Красивое, бледное, строгое

лицо, умные черные глаза, размеренная повелительная речь, величественная осанка представляли на редкость гармоничное сочетание. Задолго до созыва Думы, когда все были поглощены борьбой за нее, он занялся составлением наказа – правил внутреннего распорядка – и сам был его воплощением. Когда он восседал на высокой кафедре своей, как статуя неподвижный, с гордо поднятой точеной головой, он казался прекрасным мраморным изваянием, о которое должны сокрушиться волны возбуждения. Страстный Петрункевич был больше на своем месте среди своих соратников – он и был председателем Центрального комитета, а в Думе – председателем выдающейся по умственному и образовательному уровню фракции и сам снял в пользу Муромцева свою бесспорную кандидатуру.

Зато совсем неудачен был добровольный отказ Набокова от кандидатуры на пост товарища председателя в пользу вернувшегося из архангельской ссылки профессора Гредескула, и долго я не мог простить себе, что поддался предубеждению в пользу «героя» и привлек его к участию в «Речи», а он быстро обнаружил себя вторым дешевым изданием Кузьмина-Караваева, а блеск военного мундира у него заменялся пренеприятной угодливо-хихикающей улыбкой. А в Москве князь Павел Долгоруков отказался от своей кандидатуры в члены Думы в пользу и на погибель М.Я.Герценштейна, считавшегося лучшим специалистом по аграрному вопросу. Он был человек спокойного, здравого ума, убежденнейший противник всякого насилия, добросовестнейший ученый специалист. Аграрный вопрос сразу выдвинулся в Думе на первое место, произошел горячий бой с правительством, и тотчас после роспуска Думы Герценштейн был убит из-за угла наемными бандитами,

подосланными Союзом русского народа, который наметил этого мирнейшего человека искупительной жертвой за «иллюминации» помещичьих имений⁵³.

Светлый день 24 апреля и остался единственным, уже назавтра началась открытая непримиримая война между Думой и правительством. Оно не сделало никакой попытки отвлечь переливавшееся через край возбуждение в русло законодательной деятельности. Сидя на министерской скамье, Горемыкин всем своим равнодушно-тупым видом говорил: беситесь сколько угодно – *j'y suis, j'y reste*⁵⁴.

Как раз в это время я получил в «Речи» достоверные сведения, что погромные прокламации печатаются в типографии департамента полиции под руководством прославленного полковника Комиссарова, игравшего потом и в эмиграции весьма подозрительную роль. Я предложил фракции внести

53 «Иллюминацией» названы поджоги имений крестьянами. Проект кадетов по аграрному вопросу, представленный на рассмотрение Первой Думы, предполагал ограничение помещичьего землевладения (в собственности помещиков должны были оставаться только «образцовые хозяйства»), а также отчуждение государственных, удельных и частично помещичьих земель за выкуп из государственных средств и передачу их крестьянам в частную собственность. Правительство доказывало, что такой подход разрушит сельское хозяйство и причинит большой ущерб экономике, не дав крестьянам значительных практических выгод. Кадеты, не желая отступать от своих принципов, призывали к отставке правительства. А крестьяне, пока шли прения в Думе, на местах подпускали «красного пехоту» в имения помещиков.

54 Раз уж я здесь, я здесь и останусь (фр.).

запрос правительству, мне и было поручено выработать для первого запроса формулу, и обсуждение ее в Думе происходило, когда погромы бушевали в разных городах, и речь бывшего губернатора князя Урусова, авторитетно разоблачившего преступные махинации, произвела потрясающее впечатление. Своим заявлением, что подобные факты больше повторяться не будут, министр внутренних дел Столыпин подтвердил правительственную позицию по разоблачениям, и, таким образом, правительство было решительно скомпрометировано⁵⁵.

Ярким симптомом перелома общественного настроения и в правительственных кругах могло служить состоявшееся 15 мая заседание Судебной палаты по обвинению Милюкова и меня в напечатании революционного манифеста. Сидя на скамье подсудимых, я торжествовал, ясно видя, в каком затруднительном положении находятся судьи, обязанные вынести приговор к заключению в крепости. Но когда они не постеснялись, даже и не совещаясь, провозгласить оправдательный вердикт, не хватило дерзости встретиться с ними глазами... Этот эпизод служил явным, можно сказать – бесстыдным показателем, что охранители режима сдают свои позиции, и действительно, поползли слухи, что правительство Горемыки-

55 П.А.Столыпин был назначен на пост министра внутренних дел за один день до торжественного открытия Государственной думы – 26 апреля 1906 г. (а до того занимал пост саратовского губернатора и не имел отношения к руководству деятельностью МВД). В указанный период он принимал дела в министерстве и вряд ли мог, даже косвенно, подтвердить или опровергнуть тайные происки своих предшественников. Он просто дал лично от себя слово депутатам, что ничего подобного при его руководстве не будет.

на кануне отставки. Правительство сочло нужным ответить официальным опровержением, но опровержение понято было так, что за кулисами происходит борьба и что меньше всего осведомлено о предстоящей ему участи само министерство.

Однако и внутри Думы начиналась борьба между фракциями, случалось, что постановление принято только одними кадетами, трудовики воздерживались от голосования, а кучка правых соединялась с кавказскими социал-демократами в отрицательном вотуме против предложений Партии Народной свободы. Поэтому время не укрепляло авторитета народного представительства, а, напротив, его расшатывало. Бесконечные речи по отдельным вопросам, вначале производившие сильное впечатление, стали утомлять, утомление ощущали и сами депутаты, и прежде всегда переполненный зал заседаний, а также и места для публики все больше пустовали. Слухи об отставке кабинета перемежались со слухами о роспуске Думы. Мы их усердно опровергали, но чем настойчивее это делалось, тем назойливей угроза роспуска приобретала реальные очертания в общественном сознании. Мне пришлось председательствовать на одном бурном митинге. После длинного ряда ораторов, призывавших к поддержке Думы и угрожавших власти восстаниями, если она решится на такой шаг, выступил Родичев и произнес одну из самых замечательных речей своих. Он доказывал, что самую тему нельзя вообще ставить на обсуждение. «Скажем себе, – воскликнул он, гулко ударив кулаком по кафедре, – что Дума не может быть распущена, и ее не распустят». Он был, на мой взгляд, глубоко прав, но сказать это самим себе искренне и убежденно народные представители уже не могли: тот энтузиазм и вера, то светлое настроение, которое владело ими в незабвенный день 27 апреля, безудержно расточилось в самозабвенном словоизвержении.

При таком соотношении сил возникли тайные переговоры представителей придворных кругов с кадетами о приглашении их в правительство. Переговоры велись отдельно, независимо одни от других, с Муромцевым через бывшего министра Ермолова, с князем Львовым и, наконец, с Милюковым через Трепова, который, очевидно, осознал свое бессилие и превратился в наиболее ревностного сторонника кадетского министерства. Столыпину было поручено поставить вопрос на реальную почву распределения министерских портфелей, для чего он пригласил к себе Милюкова, предупредив его сразу, что назначение министров военного, морского, императорского двора и внутренних дел остается в компетенции государя, и при этом дал понять, что министром внутренних дел остается он, Столыпин. Милюков отвечал весьма резким отказом. «Если, – сказал он, – я дам пятак, общество готово будет принять его за рубль, а вы дадите рубль – и его за пятак не примут». Этой обиды Столыпин не забыл Милюкову, по-видимому переоценившему значение Трепова и понимавшему, что Столыпин пригласил его не по своей инициативе.

В субботу 8 июля слухи о роспуске сгустились. Мне очень хотелось провести семью, жившую на даче в Сестрорецке, но в воздухе была разлита тревога, и со всех сторон предсказывали неминуемость роспуска. Я сказал об этом Милюкову, но он твердо и решительно заявил, что все эти слухи уже запоздали: «Можете вполне спокойно уехать и отдохнуть в Сестрорецке». А днем я был в кабинете у Муромцева, когда к нему позвонил Столыпин и просил поставить на повестку заседания Думы 10 июля его, министра внутренних дел, разъяснение. Таким образом, сомневаться в неосновательности слухов и впрямь трудно было, и к вечеру я уехал из редакции. До вокзала меня проводил один из английских корреспондентов, решительно уверявший, что войска стянуты в столицу и что еще сегодня

ночью Дума будет распущена. Я отвечал ему словами Милюкова, но он недоверчиво покачивал головой и оказался прав.

В воскресенье утром пришлось возвращаться в город, и здесь я только узнал, что, как только Милюков – уже после 4 часов утра – ушел из редакции, получено было частное сообщение, что манифест о роспуске печатается, об этом тотчас Милюкову сообщили по телефону, но он шутя ответил, что просит не мешать ему вздорными сообщениями спать. А еще через полчаса манифест был получен. Милюкова разбудили, он вскочил, как встрепанный, все еще отказываясь верить, но тут же сел на велосипед и отправился созывать Центральный комитет.

Дальнейшее известно: решено было выехать в Финляндию, в дачную местность Териоки, откуда пришлось перебраться в Выборг, где и было составлено пресловутое Выборгское воззвание, содержавшее гораздо более резкий призыв к пассивному сопротивлению правительству, чем упомянутый раньше манифест революционных партий. Мне пришлось остаться в Петербурге, ибо в такое тревожное время Ганфман не соглашался взять на себя ответственность. Потом некоторые депутаты, в особенности Петражицкий, подписавшие воззвание против своего убеждения, горько упрекали меня, считая, что при разделении участвующих на два почти равных лагеря мое активное присутствие могло бы дать перевес противникам становления партии на путь нелегальных действий.

Впрочем, главным виновником воззвания надо считать выборгского губернатора. Весьма вероятно, что оно и не было бы принято, если бы губернатор, в разгар страстных споров, не потребовал немедленного прекращения собрания, скомкав таким образом обсуждение и тем самым заставив противников воззвания сдаться.

Наши ожидания восстания не оправдались. Напротив, бунты, которые то и дело вспыхивали во время всей думской сессии, теперь не возобновились, революция уже явно вырождалась в хотя и острые, но партизанские действия. Столыпин, назначенный премьером и хорошо осведомляемый знаменитым предателем, впоследствии шумно разоблаченным, Азефом, стал беспощадно расправляться с поверженным уже врагом, в особенности после страшного покушения максималистов, стоившего жизни десятку людей и более или менее тяжких ранений других десятков, в том числе и детей премьера⁵⁶. Сам он, однако, каким-то чудом совсем не пострадал.

О покушении я узнал уже за границей, куда мы с женой уехали в конце июля, после того как «Речь», закрытая на основании введенной в столице чрезвычайной охраны, вновь получила разрешение выходить. Теперь тон уже пришлось сбавить, и все же редактор наш, в числе многих других, привлечен был к судебной ответственности. Поводом служили главным образом сообщения о том, что происходило в Выборге: самого воззвания газеты не могли напечатать.

В Берлине мне впервые пришлось комически испытать значение немецкой аккуратности. Собираясь вечером уехать в Гейдельберг, чтобы навестить учившихся там сыновей, мы еще засветло покинули гостиницу, отдав железнодорожные билеты швейцару, чтобы свезти багаж на вокзал и ждать нас перед отходом поезда. Приехав по российскому обычаю загодя на

56 При взрыве на даче П.А.Столыпина на Аптекарском острове 12 августа 1906 г. на месте погибли 27 человек, 33 были тяжело ранены и многие скончались позже в больнице, а всего так или иначе пострадало свыше 100 человек.

вокзал в сопровождении нескольких друзей, мы взяли перронные билеты и прошли на перрон. В вагоне я нашел багаж, но швейцара не было. Друзья подшучивали, уверяя, что за две минуты до отхода он появится, как по немецким обычаям полагается, но вот уже осталась одна минута, а швейцара все нет. Пришлось обратиться к начальнику станции, который разрешил ехать без билетов, под условием, что по выяснении друзьями недоразумения билеты будут ему доставлены и он пошлет телеграмму по линии. Когда мы утром проснулись, кондуктор вручил нам телеграмму, и все оказалось в порядке. Выяснилось, что швейцар ждал нас у турникета, рассудив, что не станем же мы тратить зря 10 пфеннигов на перронный билет, если можем пройти по своим билетам дальнего следования.

Вместе с сыновьями мы рассчитывали совершить путешествие по Швейцарии, но в Цюрихе получили телеграмму от брата жены с просьбой приехать в Мюнхен, так как он нуждался в юридическом совете. Садясь в вагон, я вдруг услышал знакомый голос с чудесным московским произношением: «Сонечка, да открой же окно, тут задохнешься». Это был один из либеральных предводителей дворянства, и его московский барский особняк соперничал с долгоруковским домом в устройстве митингов в 1904–1905 годах.

«Вы тоже едете на Вагнеровский цикл в Мюнхене?» – спросил он. А я и не подозревал о сюрпризе, ожидавшем меня, и, приехав в Мюнхен и с трудом достав билеты, с нетерпением ожидал спектакля. При поездке в Королевский театр, расположенный за городом, представлялось глазам невиданное зрелище. На всем длинном пути от аристократической гостиницы в центре города по обеим сторонам улицы шпалерами стояла толпа, с жадным любопытством рассматривающая бесконеч-

ную кавалькаду экипажей туристов из всех стран света, фойе и сад наполнены были нарядной публикой; кроме меня, единственного, все были точно по форме одеты во фраки или смокинги, дамы в роскошных вечерних туалетах с поражающим обилием драгоценных камней. Все разговоры вращались вокруг предстоящего представления «Мейстерзингеров», на котором мне впервые приходилось присутствовать.

С первыми тактами оркестра я позабыл обо всем на свете и уже на всю жизнь остался влюбленным в эту гениальную оперу, а в эмиграции с трудом сдерживал слезы на последнем действии, при виде яркого, безоблачного народного веселья, заставлявшего болезненно остро ощущать юдоль скорби, в которую повергла нас революция.

На другой день, весь еще во власти волшебных звуков, напевая про себя бесподобный вальс, я возвращался с прогулки и у входа в гостиницу встретил взволнованного шурина, размахивающего газетой. Из нее я и узнал об ужасном покушении на Столыпина, живо представил себе тяжелое душевное состояние нерешительного Ганфмана и почувствовал угрызения совести, что оставил его одного (Милюков тоже уехал за границу). Воспользовавшись последним вечером, чтобы послушать еще «Тангейзера», мы прервали свой отдых и ночью выехали в Петербург. Там я застал очень взбудораженное настроение. Через неделю после покушения Столыпин ввел военнополовые суды, ликвидировавшие все гарантии правосудия. Наша газетная хроника – в «Праве» и «Речи» – насыщена была теперь сообщениями о массовых расстрелах и повешениях по приговорам этих судов, а за ними следовали известия об

убийствах представителей власти⁵⁷. Одновременно с покушением на Столыпина убит был командир усмирявшего Московское вооруженное восстание Семеновского полка Мин, спустя некоторое время произведено было покушение на московского градоначальника Рейнбота... Сотнями закрывались и штрафовались газеты, конфисковались книги и брошюры, и уж совсем анекдотом звучит, что среди них подверглось конфискации и «Полное собрание речей Николая II», изданное без каких бы то ни было комментариев.

Моих политических друзей заботили два вопроса – о Выборгском воззвании и о легализации партии. Возвращавшиеся из Выборга депутаты были уверены, что будут арестованы на финляндской границе, но правительство долго колебалось, прежде чем в конце сентября решилось предать их суду. Озабоченность, впрочем, вызывалась совсем не судьбой депутатов, а отношением членов партии к содержанию воззвания. Лишь очень немногие, даже среди подписавших, приняли его всерьез, как обязательство действовать в указанном направле-

57 Под военно-полевые суды попадали только террористы, совершавшие кровавые террористические акты. И количество казненных террористов значительно, в разы уступало количеству жертв революционного террора. Даже если военно-полевой суд выносил смертный приговор, его часто заменяли на каторжное заключение. Упомянутый автором О.О.Грузенберг в своей статье в «Праве» (1910. № 23) приводит статистику смертных казней за 1906 (когда они впервые были применены) – 1908 гг. по отчетам Военно-судебного управления и называет цифру – 225 реально казненных в 1906 г. (по другим данным – 144 человека из 450 приговоренных). Между тем в 1906 г. террористами было убито 768 и тяжело ранено 820 человек.

нии. Огромное большинство считало, что задача выполнена фактом опубликования, что воззвание обращено не столько к народу, сколько к правительству, которое оно должно испугать и заставить раскаяться в роспуске народного представительства. С другой стороны, Выборгское воззвание стало серьезным препятствием на пути легализации партии. Вопрос этот был поднят еще на первых съездах и тоже вызывал страстные споры: в легальном бытии партии, в признании правительством ее программы и задач лояльными некоторые готовы были видеть бесчестье и уж во всяком случае унижение.

Так в неопределенном положении мы и прожили до роспуска Думы, обращаясь к начальству лишь за разрешением съездов. Теперь положение изменилось. Если раньше лишь провинциальные администраторы ставили палки в колеса, то после роспуска Думы в Петербурге закрыт был клуб партии, в отдельных районах произведены были обыски и аресты, и это послужило сигналом для усиления репрессий на местах. Поэтому мы и подали заявление о регистрации, рассмотрение которого затягивалось, а на конец сентября решено было созвать четвертый съезд. На нем предстояло определить отношение партии к Выборгскому воззванию. Петербург, ничего не предпринявший для проведения воззвания в жизнь, отдавал себе отчет, что это был удар если не по воздуху, то по воде, вызвавший лишь мгновенный всплеск брызг. Неизвестно еще было, что чувствует более горячая Москва, и меня командировали прощупать почву. Там, однако, я почти никого не застал, и лишь на телефонный звонок в доме Долгоруковых мне ответили, что князь сейчас подойдет к телефону. Так как по голосу братьев трудно было различить, то вначале я думал, что говорю с Павлом. Оказалось, что говорит Петр, и я очень обрадовался, ибо к нему был сердечно привязан. На мое предложение встретиться для делового разговора он, тоже в дело-

вом тоне, сказал, что сегодня это было бы очень трудно, потому что он занят – венчается, а вечером уезжает с женой в Петербург. Так как и я туда же возвращался, мы условились завтра утром, на ходу поезда в Петербург, в вагоне переговорить. Этот разговор в купе остался навсегда в памяти, очень укрепил мою привязанность к Петру Дмитриевичу, и с его очаровательной женой у нас сразу установились такие отношения, точно мы уже давно друзья.

Я знал, что, в отличие от многих, Долгоруков оценил свою подпись под воззванием как принятую на себя ответственную обязанность, тотчас же из Выборга поехал в свой Суджанский уезд, где состоял предводителем дворянства, и стал подготавливать среди населения отказ от выполнения воинской повинности на предстоящем осенью наборе новобранцев. И теперь он так оживленно рассказывал, что успел сделать и каких результатов ожидает, что я почувствовал большое смущение, но так как притворяться и фальшивить мне противно, то он скоро понял, как велика пропасть между его и петербургским отношением к воззванию, вдруг замолчал и оборвал разговор. Упорно молчал он и в заседаниях ЦК, и более неприятных заседаний я, пожалуй, и не вспомню: чувствовалось, что так или иначе почти все внутренне не сомневаются, что воззвание было политической ошибкой. Но подписавшие не могли отрешиться от бурной обстановки тех дней, не позволявшей подчиниться роспуску без всякого противодействия. А те, что не принимали участия в составлении, и тем более выступавшие противниками тщательно воздерживались от упреков и прибегали к чрезвычайно сложному плетению словес. Хорошо еще, что отказ правительства в регистрации последовал до этих заседаний: если бы похороны воззвания можно было связывать с расчетами на легализацию, страсти дошли бы до точки

кипения, и словесное плетение могло бы разрешиться расколом.

Но и правительству отказ в регистрации дался нелегко. По возвращении из-за границы ко мне явился благодушный грузинский инженер Н.Демчинский, пользовавшийся широкой известностью лишь в качестве неудачного предсказателя погоды на столбцах «Нового времени». Станным казалось появление Демчинского в роли политического маклера, а он утверждал, что неоднократно беседовал со Столыпиным, который-де очень интересуется Партией Народной свободы, как серьезной государственной силой, и оценил бы ее сотрудничество.

Думаю, что Демчинский не был вполне самозванцем, что у Столыпина были такие настроения – ему очень хотелось играть роль конституционного премьера. Демчинский проявлял большую активность, неоднократно приезжал ко мне, еще настойчивее он, несомненно, обхаживал Столыпина, но тот не рисковал отказаться от опоры Союза русского народа, хотя его и корбило хулиганство этой организации, внутри которой уже бурлила отвратительная склока между вчерашними друзьями-соратниками Дубровиным и Пуришкевичем.

Одновременно Столыпин вел переговоры с лидерами вновь образовавшейся Партии Мирного обновления графом Гейденом, Н.Львовым, М.Стаховичем о вступлении их в состав кабинета. В противоположность кадетам в них видели – и официально это утверждали – «общественных деятелей, которые положили в основу своей деятельности закономерное проведение возведенных правительством реформ». Мне рассказывал потом Стахович, что переговоры были уже вполне закончены, портфели уже были распределены, а после этого Столыпин вдруг – очевидно, под воздействием придворной клики – переговоры резко оборвал, и официоз запоздало

объявил «общественных деятелей чрезмерно притязательными».

Этот факт ликвидирует всякие догадки на тему «если бы кадеты...» и т. д. Ибо если не могло состояться соглашение с мирнообновленцами, которые не предъявляли своих требований, а шли на проведение возведенной правительством программы, то очевидно, что попытка приглашения кадетов заранее была обречена на неудачу. Еще более показательно, что после всех искусственных оттяжек отказ нам в регистрации партии мотивирован был странным указанием на «неопределенность цели ее деятельности», а два месяца спустя точно так же отказано было в регистрации и Партии Мирного обновления, но уже потому, что «преследуемые ею цели угрожают общественному спокойствию». Так причудливо быстро менялась обстановка, что за два месяца закономерность превратилась в угрозу общественному спокойствию.

Отказ в регистрации лишал нас возможности устроить съезд в Петербурге, надо было снова искать убежища в Финляндии, которая и сама ревниво боролась за дарованные ей Александром I права и, естественно, симпатизировала «Праву», выставившему лозунг законности. Я несколько раз бывал в Гельсингфорсе⁵⁸ и имел удовольствие познакомиться там с виднейшими руководителями тамошнего движения во главе с Лео Мехелином. Это все были шведы, которым нынче, по достижении Финляндией государственного суверенитета, финны, как слишком часто в истории бывало, бесцеремонно заявляют: «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Я сказал – имел удовольствие, потому что меня пленяла их строгая дисципли-

нированность, холодная, уверенная настойчивость, сдержанное благородство. Меня лишь смущала и стесняла чрезмерная торжественность – и в самом интимном кружке они не могли обойтись без стоя произносимых приветственных речей. Так было, например, когда Михелин пригласил к завтраку в ресторан меня с женой; кроме него, было еще только два шведа, и все же он поднялся с бокалом шампанского в руке и произнес лестный спич.

Тогда удалось получить молчаливое разрешение губернатора и отличное помещение для съезда. На этом, весьма людном, съезде бесконечное словопрение по поводу Выборгского воззвания горячило страсти. Ораторы сами взвинчивали себя своими речами, и после того, как резолюция, предложенная ЦК, была принята, противники ее собрались отдельно под руководством буйного одесского профессора, впоследствии ярого большевика Е.Н.Щепкина, тоже подписавшего воззвание, и очень экспансивного студента Виленкина, потом мужественно умершего под большевистским расстрелом, – и потребовала гарантий прав меньшинства. Суетливый М.Винавер поспешил взять на себя роль посредника и убедил Милюкова вступить с диссидентами в переговоры о предоставлении меньшинству пропорционального представительства в ЦК. Когда же это предложение было поставлено на обсуждение ЦК, оно вызвало взрыв негодования, и все наиболее авторитетные члены решительно высказались против, усматривая в этом освящение грозящего раскола партии. Милюков сидел как пришибленный и имел мужество откровенно просить извинения в том, что «чуть не втащил партию в грязь». Диссиденты примирились с отказом, и, если память мне не изменяет, никто из-за этого рядов партии не покинул. Я тоже не удержался тогда от выступления, мне было досадно, я говорил слишком резко, и думаю, что тогда Милюков впервые, но уже

навсегда ощутил обратную сторону нашего сотрудничества. Центральный вопрос съезда о Выборгском воззвании разрешен был в том смысле, что хотя избранный способ борьбы путем пассивного сопротивления сам по себе наиболее целесообразен, как способ бескровный, но фактическое его осуществление оказалось невозможным.

По возвращении в Петербург пришлось сосредоточить внимание и энергию на избирательной кампании, проходившей в условиях, безмерно более тяжелых, чем выборы в Первую Думу. Товарищ министра внутренних дел Крыжановский, бюрократ выдающегося ума и широкого образования, сплел искусственную сеть разъяснений и инструкций, значительно ограничивших круг избирателей, а Союз русского народа и другие отпочковавшиеся от него организации, к этому времени открыто и бесспорно уличенные «Речью» как убийцы Герценштейна, продолжали пользоваться поддержкой местной администрации и терроризировали население. И в Петербурге их наймиты среди бела дня на людном Литейном проспекте напали на Милюкова и избили его, а он скрыл это даже от меня. И узнали мы только потому, что черносотенный официоз «Русское знамя» не задумался похвастать своим хулиганством, а вслед за этим и я стал получать анонимные письма, угрожавшие расправиться с Милюковым и со мной. Мы огласили это в «Речи», и Столыпин приставил к нам сыщиков, которые всюду должны были сопровождать нас.

Милюков отказался, и охрану его взяли на себя студенты, принадлежавшие к партии, я же отказался от того и другого, потому что чрезвычайно неприятно было чувствовать за собою подозрительного «огромного дядю», держащего правую руку в кармане, в котором лежит браунинг, а постоянное присутствие студентов в ожидании моего выхода так стесняло и нервировало

ло, что я не мог работать. Жена настояла, чтобы я завел свой выезд, а Родичев посмеивался, что я облегчаю задачу черносотенцам, которым теперь легче следить за моими передвижениями. Катастрофа чуть и не случилась, но по другой причине: на Невском лошадь понесла, и я, не задумываясь, выскочил из коляски. И в данном случае легкомыслие прошло безнаказанно, пригодились деревенские навыки, а еще я узнал, что стал важной персоной: градоначальник прислал пристава справиться, не пострадал ли я.

Вторая избирательная кампания велась куда ожесточеннее первой. Революционные партии отказались от бойкота и заменили его самым горячим участием в выборах, причем правых совсем игнорировали, а весь пыл тратили на борьбу с кадетами, не пропуская без выступлений ни одного нашего собрания. Мы, в свою очередь, проникали на собрания Союза 17 октября, возглавляемого А.И.Гучковым и поддерживаемого «Новым временем», в котором сотрудничал брат премьера А.А. Столыпин. Конкурировать с Союзом было не трудно. Председатель Гучков заявил, что не правительство, а революция является помехой обновлению родины, и на этом основании оправдывал политику жестоких репрессий по отношению к революционному террору, считая, что эти репрессии не только совместимы с либеральной и даже радикальной политикой вообще, но тесно связаны между собой. На это самый видный член Союза Д.Н.Шипов ответил выходом из его рядов, поистине пророчески это мотивировав: он говорил, что правительство считает врагами не только революционеров, но всех, кто не одобряет его действий, и что поэтому его политика не может не быть реакционной, а такая политика обостряет упадок нравственного сознания, выражающийся во все растущей деморализации и одичании общества. К этим словам вчерашнего члена Союза нам и прибавлять ничего не нужно было...

С правыми организациями бороться на митингах действительно никакого смысла не было. Их объединяла лишь материальная поддержка, получаемая от правительства, и, не поделив этих подачек, главари быстро между собой передрались. Убийцы Герценштейна были разоблачены главным образом самими же исполнителями и вдохновителями, явившимися к нам с повинной, тоже потому, что считали себя обсчитанными при расчетах за исполненное поручение, и отчеты об этих разоблачениях в «Речи» заставили правительство отгородиться от убийц.

Тяжкий удар нанесла «Речь» кабинету разоблачением неправильной деятельности товарища министра внутренних дел Гурко по продовольственному снабжению голодающих губерний; а ведь Гурко символизировал в Первой Думе заботливость правительства о народе. Помню ночь в редакции, когда явился неуравновешенный А.А.Стахович и возбужденно рассказывал, что, еду из Ельца в Петербург, он в вагоне случайно узнал о весьма сомнительных операциях Гурко по заготовке хлеба через посредство фирмы Лидваль. Тем не менее ввиду серьезности разоблачения Гурко, игравшего теперь руководящую роль при осуществлении крупной земельной реформы помимо Думы, требовалась сугубая осторожность. Ох, как трудно было успокоить разыгравшееся воображение, рисовавшее мечущегося в бессильной злобе триумфатора Столыпина! В сообщении Стаховича отсутствовал шаблон, неизменный спутник вымышленных известий, и чутьем я ему вполне доверял, и руки чесались сейчас же удар нанести. Но недоставало хоть какого-нибудь объективного упора, и я не мог ни на что решиться, как вдруг случайно бывший в это время в редакции друг мой отозвал меня в сторону и сказал, что, как ему тоже случайно известно, Лидваль, имевший небольшой текущий счет в таком-то банке, на днях внес на этот счет несколько сот

тысяч рублей. Такое совпадение положило конец колебаниям: тут же грозное обвинение против Гурко было отредактировано, сдано в типографию и, появившись наутро в газете, произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Напечатание вызвало приток дополнительных разоблачений. Скандал принял такие размеры, что Столыпин вынужден был отстранить своего паладина от должности и предать суду.

Незадолго перед выборами во Вторую Думу бывшие члены Первой, подписавшие Выборгское воззвание, тоже были преданы суду. Некоторые дворяне, в том числе Муромцев, были исключены из сословия, подписание Выборгского воззвания квалифицировалось дворянскими собраниями как «бесчестный поступок». Самые видные представители кадетской партии лишены были избирательных прав. Тем не менее и на этот раз в столице и больших городах партия одержала полную победу⁵⁹. В Петербурге состав выборщиков обеспечивал избрание депутатами одних кадетов, но из вынужденного почтения к крайним партиям мы решили предоставить одно место социал-демократам. Среди выборщиков был большевик Г.А. Алексинский, потом отравлявший нам в Думе немало часов, в течение которых он говорил, будто горох пересыпал. На выборах он держался так, словно не мы ему, а он нам оказывает величайшую честь, принимая из наших рук избрание, сидел в

59 Победа была относительной – количество депутатов от кадетской партии, прошедших во Вторую Думу, уменьшилось почти вдвое по сравнению с составом Первой Думы. В Первой Государственной думе кадеты получили 179 мест из 499, во Второй Думе – только 98, и дальше количество мандатов, полученных кадетами, продолжало снижаться. В Третью Думу они провели только 54 депутата.

стороне и отказывался о чем бы то ни было с нами говорить, так что с большим трудом можно было сдерживать раздражение, толкавшее на устранение его кандидатуры.

Вместе со мной были избраны Н.Н.Кутлер, священник Петров, вскоре устраненный, Ф.И.Родичев (в Первую Думу он прошел от Тверской губернии, а Выборгского воззвания не подписал, так как при роспуске Думы был за границей в составе парламентской делегации) и П.Б.Струве. Мы вышли из избирательного собрания с Каминкой, и он поздравил меня в ресторане шампанским. По совести говорю – я и в мечтах не имел стать членом Государственной думы. А удостоенный теперь такой чести, мне и не снившейся, быть представителем обожаемого Петербурга, я не чувствовал никакого подъема, а скорее тупую усталость, и в глубине души шевелились тяжелые предчувствия.

Впрочем, то были уже не только предчувствия: хитроумные махинации Крыжановского достигли цели и дали возможность посадить в Думу значительную группу черносотенцев с буйным Пуришкевичем во главе, но этот успех уравновешивался тем, что в ряде губерний чинимые над волей избирателей насилия способствовали проведению крайних левых элементов, ошалевших от ненависти к правительству. Поведение обоих крайних флангов давало одни и те же результаты, разница была лишь в том, что одни старались сознательно компрометировать, утопить в грязи народное представительство, а другие беззаботно демонстрировали, что не дорожат Думой, не придерживаются лозунга – беречь Думу. Кадеты, бывшие теперь в значительно уменьшенном числе, оказались между

жерновыми и то и дело нуждались в голосах польского коло⁶⁰, от которого часто зависел исход голосования.

И вот потянулись кошмарные дни, о которых и сейчас вспоминаю с тяжелым чувством. Торжественного настроения, которое окружало открытие Первой Думы, и в помине не было, вообще не было ни малейшего энтузиазма, все были настороже, как будто силой втиснули в помещение, из которого заперт выход, не выносящих друг друга людей, которые только и ждут повода, чтобы сразиться. С первого же дня выяснилось, что Муромцев не только незаменим, но что нет даже и скольконибудь подходящего кандидата на пост председателя. Остановились на бывшем председателе Московской губернской земской управы Ф.А.Головине. Сам по себе он был человек безукоризненный, но уже и внешность его – малопривлекательная, с лихо завитыми усами – и грассирующее произношение были противопоказанием исполнению роли председателя.

Но печальней всего было, что он не только не знал, но и не понимал значение наказа, которое так метко определил его предшественник: «Соблюдение известных форм есть гарантия нашей свободы и наших прав. Если мы не будем уважать форму, мы во многих случаях будем рисковать посягательством и на наши права, и на нашу свободу». Почти в каждом номере «Права» составляемый Каминкой обзор «парламентской недели» включал и написанные Муромцевым строки (это был большой секрет), беспощадно обличавшие многочисленные, в том числе и допущенные председателем, нарушения

60 Коло – группа польских депутатов в Государственной думе, одно из наиболее влиятельных депутатских формирований, организованное по национально-территориальному принципу.

наказа. Правда, положение Головина было исключительно трудным, потому что не только малограмотные крестьянские депутаты (с такими выразительными фамилиями, как, например, Нечитайло, Хвост), но и вообще большинство усматривало в подчинении формам унижительное умаление прав на выражение народной воли.

Мое положение становилось непосильным: «Право», любимое детище, я совсем забросил, и руководство взял на себя Каминка, но оставалась «Речь», которая в это тревожное время требовала самого пристального внимания. А между тем, когда Столыпин с помощью правых стал настойчиво домогаться от Думы осуждения политического террора, возникло расхождение между мной и Милюковым⁶¹. Фракция больше склонялась

61 П.Н.Милюков в своих воспоминаниях подробнее коснулся сути конфликта. П.А.Столыпин, добиваясь хотя бы морального осуждения террора со стороны депутатов Думы и кадетской партии, даже вызвал к себе Милюкова, как лидера партии, и поставил условие: если Дума осудит революционные убийства, то он готов легализовать Партию Народной свободы. И поскольку Милюков официально не входил в число депутатов, Столыпин сказал: «Напишите статью, осуждающую убийства, и я удовлетворюсь этим». Милюков согласился, но «условно, ибо должен поделиться с руководящими членами партии, без согласия которых такая статья не могла бы появиться». Однако многие соратники осудили Милюкова за эту позицию: «Никоим образом! Как вы могли пойти на эту уступку хотя бы условно? Вы губите собственную репутацию, а за собой потянете всю партию. Нет, никогда! Лучше жертва партией, нежели ее моральная гибель...» То есть осуждение жестоких политических убийств в кадетской среде приравнивалось к «моральной гибели».

к моему взгляду, мощным союзником был Петрункевич, и, в связи с непрекращающейся серьезной угрозой его жизни, Милюков решил уехать за границу, заявив в моем присутствии Шингареву: «Ну, я все бросаю и уеду, пусть он (указывая на меня) ведет фракцию». Такое заявление объяснялось только раздражением – в действительности я и не мог, и был очень далек от претензии на руководство. Но зато с отъездом Милюкова и количество работы значительно увеличилось, и ответственность за газету усугубилась, обострив душевное напряжение. А в Думе я был избран председателем Судебной комиссии, стремясь к тому, чтобы Дума оставила по себе след деловой работы, так ускорял ее, что на Пасхе уже были отпечатаны составленные мной «Основные положения реформы местного суда», и роспуск оборвал начатое уже Думой обсуждение этих положений. Случалось, что я и вовсе не мог за весь день домой попасть, и жена с младшими сыновьями приезжала в Таврический дворец, чтобы в перерыве заседаний посидеть со мной в саду. Тяжесть положения обуславливалась больше всего тем, что в атмосфере Таврического дворца с каждым днем становилось все труднее дышать. Уже через неделю после созыва откровенно признавалось, что «возможность роспуска весьма велика».

Под этим дамокловым мечом протекало все безрадостное существование Второй Думы, и ужас был в том, что внутри ее не только не думали, как бы опасность отразить, но все сильнее сотрясали бурными словами воздух, чтобы меч поскорей свалился. Так, например, по вопросу о передаче законопроекта в комиссию (что, казалось бы, само собой разумеется) записалось 60 ораторов. Нами же проведенный в Думу Алексинский показывал свое искусство устраивать парламентскую obstruction и говорил часами, с ним соперничал Пуришкевич, несомненно душевно неуравновешенный, но и вообще много было

депутатов, которые сущность своей обязанности усматривали в том, чтобы покрасоваться на ораторской трибуне, и эта профанация чудесного орудия мысли и человеческого общения вызывала физическое отвращение.

Перед созывом Второй Думы кабинет Столыпина провел ряд крупнейших законов и внес в Думу несколько важнейших законопроектов. Законопроекты тщательно обсуждались в комиссиях под руководством кадетов, бывших во всех комиссиях председателями. В комиссиях тоже было не без словопрений, но, так как заседания комиссий не стенографировались и не печатались, здесь не так мучила жажда слова, и страдать приходилось лишь от одержимых краснобайством. Но заседания Думы должны были служить ареной для ораторских упражнений, разносимых газетами по всей России. Так мы и писали тогда в «Речи» и «Праве»: «Во Второй Думе гораздо многочисленнее элементы, которым законодательная деятельность и неинтересна и непосильна, но которым вполне доступно произнесение заурядных речей митингового характера, сопровождающих каждый запрос». А запросы, заявления и предложения сыпались справа и слева, вносились ежедневно.

Самым тяжелым испытанием для Думы оказалось предложение правого сектора вынести постановление об осуждении террора. Несколько раз оно откладывалось, но наконец 15 мая поставлено было на повестку заседания, и крайние фланги готовы были уже вступить в бой. Но пока вопрос шел лишь о принятии Думой этого положения к рассмотрению, и решен он был отрицательно. А через два дня министр Щегловитов и товарищ министра внутренних дел Макаров давали объяснения по запросу об истязании заключенных в тюрьмах Прибалтийского края и, не отрицая незаконных действий агентов власти, указывали, что они были обусловлены «кровавым

возмутительным бредом, раздирающим нашу родину». Эти слова вновь открыли шлюзы неудержимому потоку речей о революционном терроре, страсти разбушевались, речи прерывались аплодисментами то справа, то слева и криками, переходившими в дикий рев, взаимными оскорблениями, и все завершилось внесением восьми формул перехода к очередным делам. Каждая фракция внесла свою формулу, причем правые, вопреки признанию самим правительством незакономерности, предлагали считать объяснения вполне удовлетворительными и выразить глубокое негодование революционному террору, а левые, наоборот, совершенно умалчивали о терроре, выражали недоверие правительству и требовали учреждения парламентской комиссии для расследования. Наша фракция констатировала признание правительством незакономерности действий чинов местной администрации, но вместе с тем отмечала, что «совершавшиеся в том крае многочисленные убийства и другие возмутительные преступления не должны быть терпимы».

Перед голосованием мы предложили объявить перерыв, чтобы сделать попытку согласования формул, но крайние фланги решительно отвергли наше предложение, и среди невероятного шума все восемь формул были отклонены. После перерыва левые произвели новый натиск и снова предложили свою, несколько видоизмененную формулу. Благодаря предательскому маневру правых, покинувших зал заседания, левые оказались в большинстве, и их формула, осуждавшая действия правительства и умалчивавшая о терроре, была принята.

Правые и не скрывали, к чему их маневры клонятся: Круппенский совсем откровенно кричал: «Чем хуже, тем лучше! Авось правительство проснется и разгонит Думу!» Можно поэтому утверждать, что для правых вопрос об осуждении террора

был только одним из способов ускорить готовившийся роспуск Думы. По существу же я вправе был бы повторить то, что весьма ярко выражено было некоторыми нашими ораторами: те, которые признают за властью право бессудно расправляться и топтать ногами закономерность – те именно и дискредитируют правительство, лишают его всякого авторитета и уважения. Но правительство было глухо к таким речам... Об этом взволнованно говорил Булгаков: «Мы дичаем и становимся варварами. От всех этих схваток правительства с революционерами... ничего, кроме ужаса разложения, я для России не вижу».

Конечно, это роковое упрямство правительства непреодолимо подсказывалось инстинктивным чувством самосохранения, но и то верно, что у него самого руки были несвободны, что оно стало пленником темных сил, которые призвало на помощь для борьбы с революцией и которые теперь настойчиво требовали полной ликвидации манифеста 17 октября и находили звучный отклик в придворном окружении. Часть кабинета с премьером во главе была, так сказать, левее этих домогательств и противодействовала им. В отличие от своего предшественника Столыпин и некоторые его министры питали слабость к ораторским лаврам, к думской трибуне, к состязанию равным оружием. «Вы требуете, – бросил он левым, – от правительства: „Руки вверх!“, а я отвечаю вам – не запугаете!» Удар пришелся не коню, а по оглобле, одно из его хлестких выражений, предназначавшихся не столько для Думы, сколько для Царского Села: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» даже выгравировано было на памятнике, трагически напоминавшем все о тех же предсказанных Шиповым последствиях.

Столыпин и часть его кабинета были, несомненно, левее тех настроений, которые все более крепили в Царском Селе и формулировались в желании «восстановить самодержавие, каким оно было встарь».

Я имел случай и непосредственно это констатировать, когда однажды Столыпин по инициативе секретаря Думы М.В. Челнокова пригласил для беседы Тесленко и меня. «Петруша, – сказал мне в телефон своим чудесным московским говором Челноков, – просит вас и Тесленко пожаловать к нему завтра в 10 часов вечера». Тесленко в последнюю минуту уклонился от «тайных переговоров с премьером» и, сославшись на неотложное дело, уехал в Москву. Я явился один в великолепный Зимний дворец⁶² и, в предупреждение недоразумений, обратил внимание снимавшего с меня пальто лакея, что в кармане лежит заряженный браунинг. «Это ничего, – ответил он, – а вот котелок потрудитесь здесь оставить». По-видимому, не исключалось, что в моей шляпе может быть припрятана бомба.

Лакей передал меня лифтеру, который на машине доставил в закупоренную удушливую комнату, наполненную жандармами и напомнившую кордегардию Петропавловской крепости. В течение двух-трех минут они внимательно меня разглядывали, и наконец я попал в огромный кабинет, из-за письменного стола, уставленного несколькими телефонами, поднялся навстречу и протянул руку высокий, плотный чело-

62 После покушения на П.А.Столыпина на Аптекарском острове император предложил ему вместе с семьей разместиться в Зимнем дворце, где было много свободных помещений и проще было организовать охрану премьер-министра.

век, с черной бородой и закрученными усами на серьезном, настороженном лице.

В противоположность Витте, обращавшему на себя внимание с самого начала своей карьеры, Столыпин до своего назначения министром внутренних дел решительно ничем не выделялся из рядов бюрократии и спокойно делал обычную карьеру родовитого дворянина, имеющего придворные связи. Впервые имя его, как саратовского губернатора, получило широкую известность в связи с нападением черносотенцев в городе Балашов на местную интеллигенцию во главе с предводителем дворянства Н.Н.Львовым. Губернатор пытался противодействовать озверевшей толпе и выказал большое бесстрашие. Этот инцидент, получивший широкую огласку, вероятно, и был причиной назначения Столыпина на пост, требовавший тогда бесстрашия прежде всего. Но к этому моменту революция была уже сокрушена усилиями П.Н.Дурново, Столыпин застал ее уже в судорогах, которые он, несомненно, затягивал, стараясь оправдать репутацию бесстрашия беспощадной, бессудной жестокостью. А двумя годами позже он сам был убит в Киеве агентом охраны при явном попустительстве своего товарища по должности и начальника дворцовой охраны. Теперь же, во времена Второй Думы, участь которой была предreshена, он еще поднимался к зениту бюрократического могущества и весь дышал этим сознанием, придававшим лицу выражение самодовольной уверенности.

Хорошо помню начало беседы: «Мне говорят, что вы все пикируетесь с братом моим из-за его фельетончиков в „Новом времени“». При этом, чтобы дать понять, что это не упрек, а шутка, он выдавил улыбку, которая странно не шла к его лицу.

«Естественно, – ответил я, – ведь Александр Аркадьевич считается вашим порт-пароль⁶³». – «Вот как, – густые брови насупились, – а мне и читать его некогда, да, к сожалению, и видеть редко приходится». – «Тем больше чести его публицистическому чутью, так умело предугадывающему направление внутренней политики». – «Которую вы никак не хотите понять».

Диалог продолжался около четырех часов, но я совершенно не помню, как он развивался и чем закончился около половины второго утра. Я силился быть как можно спокойнее, но внутренне очень волновался, и было от чего: нельзя было сомневаться, что Дума висит на волоске, и нельзя было скрывать от себя, что она и не может существовать вследствие неустрашимых противоречий. Но верить этому не хотелось, потому что роспуск предвещал новую страшную судорогу революции, а приглашение для беседы внушало хотя и весьма слабую, но надежду, что можно еще найти какой-то выход из тупика. Поэтому я увлекся, и горячность все возрастала, мне казалось, что она смягчает безапелляционный поначалу тон собеседника.

В разгар беседы, уже после полуночи раздался телефонный звонок, звонили из Царского. Я привстал с кресла, но Столыпин сделал рукой знак оставаться на месте, а лицо его становилось все суровее, и в репликах явно звучали нотки раздражения. Из реплик его я понял, что завтра днем назначен у царя прием депутации Союза русского народа и что этот прием является для премьера полной неожиданностью, усугубленной столь поздним сообщением. И я подумал, что там,

откуда в нашу беседу ворвался неурочный звонок, ему придется разыгрывать примерно такую же роль, какую в эту ночь я исполняю перед ним, что сам он чувствует уже свое бессилие и свобода действий отведена ему лишь для подавления революции.

Я вышел из дворца с тяжелым чувством и заразил им также и Петрункевича, который нетерпеливо ожидал меня в редакции, где все удивились таинственному отсутствию. Сейчас никак не могу себе объяснить, на каком основании счел себя вправе в такой тайне принять приглашение Столыпина. Знали об этом лишь Петрункевич и задним числом Милюков, вернувшийся через несколько дней после этого из-за границы.

Среди таких изнурительных тревожений приходилось готовиться к докладу в Думе по законопроекту о местном суде. Я настоял в комиссии, чтобы в целях стройности и последовательности преобразования на утверждение Думы сначала была представлена общая схема реформы, «основные положения», и министерство нехотя с этим согласилось, а при обсуждении основных положений выражало готовность идти навстречу пожеланиям комиссии. В заседании 28 мая моему докладу предшествовало обсуждение внесенного левыми законопроекта об амнистии. Это был опять революционный жест, ибо по закону амнистия составляла прерогативу монарха, вследствие чего мы предложили без обсуждения по существу передать законопроект в специальную комиссию для предварительного разъяснения вопроса о компетенции. Заседание снова приняло бурный, хаотический характер: правые уличали нас в запуганности, левые горячо подхватили этот упрек, неугомонный Крупенский кричал: «Как один Гессен решит, так и будет». Под гром и аплодисменты правых левые повторяли: «Вы думаете, что этим избежите разгона Думы, мы этого не боимся». В

конце концов, мое предложение о передаче вопроса в специально избранную комиссию было принято, и раздраженные этой неудачей левые высыпали в кулуары, где еще долго перекачивались волны неулегшегося возбуждения.

Звонок, возвестивший продолжение заседания, не заглушил ожесточенных споров, и я проходил в зал сквозь язвительные улыбки и насмешливые замечания левых противников, злорадствовавших, что злоба дня отвлекла интерес от моего доклада. Я начал свою речь при полупустом зале, в присутствии Щегловитова и товарища министра Гасмана, впившихся в меня глазами, говорил около двух часов, запомнив даже цитаты наизусть, чтобы не иметь ни одной бумажки при себе, – и на другой день был вознагражден левыми газетами, назвавшими мою речь «классической» и укорявшими своих единомышленников в непонимании значения народного представительства. С подробными возражениями выступил и министр, и его товарищ, и было в высшей степени характерно, что они отказались от целого ряда уступок, две-три недели назад сделанных ими в думской комиссии, – так быстро менялось отношение к Думе.

На обсуждении моего доклада и застал Думу роспуск, но еще вспоминается несколько ярких эпизодов, предшествовавших роспуску. Вспоминаю потрясающее впечатление, которое произвел обвал потолка в зале заседаний за час-другой до того, как предстояло здесь выслушать правительственную декларацию Столыпина. Заседания на время были перенесены в дом Дворянского собрания, отчего невыносимый хаос стал еще больше, и перед тем, как Столыпину взойти на трибуну для прочтения декларации, у меня разыгрался сердечный припадок. Я собрался выйти из зала. «Ты хоть сдохни, – удержал меня кузен, сидевший рядом, – а сиди! Что подумают, если

перед речью премьера ты покинешь зал?» И я сидел, облившись холодным потом, и так и запечатлен с платком в руке на снятой в этот момент фотографии. Даром это перемогание не давалось, и неврастения принимала все более неприятные формы, развивался непреодолимый страх смерти, о котором теперь, тоже с непреодолимым отвращением и стыдом, вспоминаю.

Столь же неожиданно, перед Пасхой, когда впереди уже виднелся короткий отдых за границей, где, впрочем, мне предстояло, вне суеты и тревоги, формулировать основные положения судебной реформы, – бурно вспыхнул инцидент социал-демократа Зурабова при обсуждении срочного законопроекта о контингенте новобранцев на текущий год. Выступление от кадетской фракции возложено было на меня, и все шло благополучно, пока не поднялся на трибуну заядлый эсдек и, в угаре трафаретной митинговой речи, сказал что-то, принятое присутствующим военным министром за оскорбление армии. Эсдек, конечно, и слышать не хотел об извинении, и расхлебывать кашу, больше уже по инерции, пришлось нам, чтобы еще раз отвратить прямую угрозу роспуска. Теперь кажется непонятным неумолимое стремление оберечь Думу при полной уверенности, что она неминуемо будет распущена если не сегодня, так завтра. Вероятно, неудача Выборгского воззвания подрезала крылья и внушала опасение, что правительство может безнаказанно не только распустить и Вторую Думу, но и вообще ликвидировать народное представительство и придется начинать все сначала, с истощенными силами и энергией.

Зурабовский инцидент был улажен. В Думе как раз в это время наступило некоторое успокоение, благодаря тому что заседания сосредоточились на деловом обсуждении законо-

проекта о местном суде. Но в самом разгаре состязания с Щегловитовым, настойчиво оспаривавшим некоторые основные положения комиссии, правительство устами прокурора Санкт-Петербургской Судебной палаты Камышанского внесло ошеломившее всех требование о лишении иммунитета членов социал-демократической фракции, как обвиняемых в тяжелых государственных преступлениях. Часть фракции, состоявшей из 55 человек, тотчас же поспешила скрыться. Но тем ярче вспоминается благородная фигура Церетели, самого молодого депутата – он едва достиг требуемого для избрания двадцатипятилетнего возраста. Он очень напоминал моего университетского товарища Пекатороса: такие же спокойные, размеренные движения, та же замедленная, но убежденная речь, такие же большие, черные, горящие, с налетом неизбывной грусти глаза, но он был тоньше и выше, и все дышало в нем изяществом, благородством и независимостью. И так и вижу его бледно-смуглое прекрасное лицо над ораторской трибуной, и звучат в ушах его веские слова, которыми он убеждал Думу, что требование правительства является предисловием к ее роспуску и что при таких условиях, когда «штык стоит в порядке дня», наивно и неуместно заниматься обсуждением реформы суда, а нужно подумать о противодействии грубому насилию. Фактически же, при предельном разброде Думы, было не менее наивно помышлять об отражении занесенной для удара руки...

Упоминание о так пленявшем меня Церетели заставляет задуматься над тем, что вот я уже подошел к концу трехмесячной страды, а говорил лишь безлично о Думе, не останавливаясь на людях, ее составляющих. Думаю задним числом, что это было не случайно. Конечно, зал заседания наполнен был людьми, но они как будто отрешались от себя, стирали свою индивидуальность, растворялись, превращаясь в толпу, и

ее главным оружием было не слово, а крик, подчас и рев. Отдельные говоруны сумели и слово приспособить к такому превращению – на левом крыле Алексинский, на правом Пуришкевич состязались в быстроте, сыпали слова, накапливавшиеся в какую-то бесформенную несуразную кучу. А противовесом Церетели служил на правом фланге Шульгин – тоже с осторожными, размеренными движениями, отчетливой речью, произносимой вкрадчивым, буравящим голосом, напоенной ядом и приправленной змеиной улыбкой... Вся парламентская работа, имевшая целью влить в Думу холодную деловую струю и расчленить толпу на мыслящих людей, вся эта подготовительная работа в комиссиях спешно и настойчиво проделывалась кадетской фракцией. Чуть ли не во всех 34 комиссиях, сформированных Думой, председательствовали кадеты, они же были и докладчиками.

Но и внутри нашей фракции далеко не было принципиального единодушия. Сплоченной группой под руководством плотного, очень умного и рассудительного адвоката Н.В.Тесленко выступали москвичи, когда нужно было подчеркнуть первенство Первопрестольной, о чем они очень заботились и гордились, что и во Вторую Думу Петербург не мог выставить кандидата в председатели, что и во фракции председателем был москвич князь Павел Долгоруков, а на посту товарища Тесленко сменил меня.

Настойчиво щеголял радикализмом одесский адвокат, красивый, круглолицый брюнет О.Я.Пергамент, и его принципиальная непримиримость тем ярче бросалась в глаза, что она плохо гармонировала с широкими барскими замашками и обворожительными манерами. Переселившись в Петербург, мой бывший патрон Протопопов, у которого и Пергамент после меня состоял помощником, восхищался, как роскошно его

питомец по сословию живет. В конце концов этот способный, влюбленный в легкую жизнь и избалованный ею адвокат запутался в личных делах и, вновь переизбранный в Третью Думу, не выдержал поднятой против него черносотенцами клеветнической кампании и отравился – его спасли, но через неделю он снова принял морфий и погиб в расцвете лет и сил.

Особое место занимал у нас новый на общественной арене человек – широкоплечий, высокий, с большой черной бородой Н.Н.Кутлер. До мозга костей закоренелый чиновник, в высшей степени добросовестный и толковый, он уже добрался до поста министра земледелия в кабинете Витте, который поручил ему составить проект частичного отчуждения казенных и помещичьих земель крестьянам за справедливое вознаграждение. Проект одобрен был кабинетом, но время было неустойчивое, в придворных сферах враги Витте ухватились за этот проект, чтобы уличить его в «социализме», а Витте не задумался свалить всю ответственность на Кутлера, который и должен был выйти в отставку. Я воспользовался этим, чтобы пригласить его в наш лагерь, он охотно откликнулся. Помню первый разговор по телефону. У телефона оказалась его жена. Она убедительно жаловалась на внезапную перемену судьбы, на обремененность большой семьей, «мал мала меньше, как же мне теперь накормить и одеть всех»... Но так сильно было влияние времени, так сметало оно все привычки, что в новой, совершенно чуждой ему обстановке добродушный Кутлер легко и свободно ориентировался, и отношения сразу стали простыми, точно мы давно уже знакомы. А нам он оказался исключительно полезным, как своей основательной осведомленностью в области государственных финансов, так и вообще отличным знанием всех деталей бюрократической машины. И после роспуска Думы он оставался неизменным, хоть и несколько тяжеловесным, сотрудником «Речи». «Опять кирпич!»

– всегда говорил ночной редактор, когда приходилось включать в номер обстоятельную, монотонно убедительную статью Кутлера. После большевистского переворота он долго и многократно мыкался по тюрьмам и даже стоял на очереди расстрелов, но и советская власть оценила его трудоспособность и добросовестность, и Кутлер сменил тюрьму на пост директора Государственного банка⁶⁴ и опять выполнял свои обязанности не за страх, а за совесть.

Следует отметить и оригинальную фигуру П.Б.Струве, ярко и разнообразно было экспансивное участие его в общественной жизни России. Автор манифеста о рождении и программе Российской социал-демократической партии, редактор либерально-буржуазного нелегального «Освобождения», создатель целого ряда недолговечных газет, во время революции директор департамента при Милюкове, в беженстве неудачно претендовавший на руководство правым флангом на позициях «неприятия революции». Впервые я услышал о нем вскоре после переезда в Петербург от К.К.Арсеньева. Сдержанный Арсеньев с восторгом рассказывал мне о блестящих способно-

64 Н.Н.Кутлер не был в советское время директором банка, но в 1921 г., вскоре после освобождения из очередного тюремного заключения, был введен в состав правления Госбанка РСФСР. Также он был приглашен на работу в Наркомфин. Кутлер был одним из организаторов денежной реформы 1922–1924 гг., в ходе которой была принята новая валюта, обеспеченная золотом. Руководство пыталось ввести его в состав коллегии Наркомфина, но из-за категорических возражений председателя ВЧК Ф.Э.Дзержинского назначение не состоялось. Однако и новых арестов не последовало, и Кутлер скончался в 1924 г. от болезни сердца.

стях Струве и его изумительной эрудиции. Но он всегда читал по рукописи, без нее в публичных выступлениях производил впечатление беспомощности, которую подчеркивал резкими модуляциями голоса и суетливо-растерянными жестами обеих рук. Вся его нескладная фигура с русой, почти рыжей бородой и очень красивым высоким лбом пронизана была напряженностью. Дебют марксистов в периодической прессе оказался весьма неудачным – в основанный ими ежемесячный журнал «Начало» затесался некто Гурович, впоследствии разоблаченный как агент департамента полиции. Из-за полицейских преследований Струве уехал за границу и на несколько лет исчез с петербургского горизонта. Вернувшись в Петербург после манифеста 17 октября, Струве стал членом Конституционно-демократической партии и, хотя и был сотрудником «Речи», несколько раз пытался создать конкурентный ей орган («Дума», «Страна», «Слово»), обходя «Речь» справа, но все эти газеты долголетием похвастаться не могли. В Государственной думе Струве видной роли не играл, а после ее роспуска, сопряженного с окончательным разгромом революции и разочарованием в освободительном движении, возвестил необходимость сменить вехи. Под заглавием «Вехи» и вышел наделавший много шума сборник статей разных авторов, направленный против материализма и позитивизма.

Февральскую революцию Струве пламенно «приял» и получил назначение на пост директора департамента в министерстве иностранных дел, а очутившись после октябрьского переворота за границей, принял активное участие в Белом движении, когда оно находилось уже при последнем издыхании. Врангель назначил его при себе министром иностранных дел, и Струве пояснял, что его задача состоит в том, чтобы «делать правыми руками левую политику». Конечно, успеха не могло иметь такое покушение с негодными средствами на

исконную монополию капризной старушки Истории. Правыми руками можно делать правую, левыми – левую политику, а уж что получится – это как старушке угодно будет. Если же своевольничать и пытаться делать чужое дело, она непременно разгневается, только кавардак и выйдет. Так и было в данном случае, левая политика не удалась, но зато правизна самого Струве укрепилась. После провала Белого движения Милюков, принимавший активное участие в момент его подъема, спешно поставил на нем крест, а в противовес его газете «Последние новости» группы, продолжавшие рассчитывать на вооруженную борьбу с советской властью, основали вторую газету в Париже «Возрождение», во главе которой и стал Струве, с тех пор упорно закрывавший глаза на тот неприятный факт, что революция теперь окончательно победила. Отдав целиком авторитет своего имени на организацию этих групп, Струве затем был грубо удален из редакции, когда его работа была выполнена. Струве пытался на всякие лады вступить в борьбу с «Возрождением», основать другую газету, но безуспешно, а в Белграде, где он затем получил университетскую кафедру, местная эмиграция, сосредоточившая наиболее реакционные элементы, снова напоминала ему «либеральные заблуждения», устраивала скандалы на лекциях, и он потерял всякое самообладание. И все-таки друзья Струве и многочисленные поклонники из бывших учеников настаивают, что при всех видимых изменениях он духовно остается самим собой.

Большую отраду доставляет воспоминание о С.Н.Булгакове, с которым я познакомился в 1904 году в Киеве и сразу проникся горячей симпатией к его привлекательной внешности, гармонировавшей с вдумчивой речью и чутким вниманием к собеседнику: было в нем что-то благостное, мягкое, всепрощающее. Он тоже принадлежал к окружению Струве, перешел «от марксизма к идеализму» (так и назывался сборник

его статей), и я нисколько не удивился, узнав, что он принял священство и сейчас на этом поприще деятельно работает в Париже. В эмиграции такое явление перестало быть редкостью, но, к сожалению, вместе с тем утратило свой глубокий смысл, а порой граничит даже с кощунством, объясняясь элементарно житейскими побуждениями. Мне, неверующему, переходы от марксизма к священству представляются непостижимыми и потому возбуждают предвзятую недоверчивость. Но если сомнения удастся рассеять, то освобожденная от них непостижимость, естественно, вызывает глубокое почтение, заставляя благоговеть. Сергей Булгаков тем более мне дорог, что такой конец я предугадывал, что у него перемена взглядов была именно кризисом мирозерцания, становлением на новый путь, а не суетливым переходом на новую позицию, вроде бабочки, беззаботно перелетающей с цветка на цветок в поисках меда. В наших заседаниях Булгаков всегда являлся умиротворяющим началом, к нему за этим и обращались в острые моменты.

Во Второй Думе начал парламентскую деятельность А.И. Шингарев, совсем молодой земский врач с очень приятным, милым лицом и добрыми глазами, тогда очень скромный и застенчивый. Как представителю «третьего элемента», ему легче было найти общий язык с депутатами-крестьянами, они вообще относились к нам, горожанам, недоверчиво, оставаясь себе на уме, и Шингарев не раз успешно содействовал преодолению недоверия. Избранный затем в Третью и Четвертую Думы, он, по мере умаления фракции в числе и качестве, занимал все более видное место и во время войны стоял уже рядом с Милюковым, от которого весьма далеко отступал по умственному развитию и разносторонности образования, в значительной мере утратил свои пленительные качества душевной искренности и, после краткого пребывания в начале

революции на постах министра земледелия и финансов, воспринял свою отставку как кровную обиду. Страшна была смерть его. Заточенный большевиками вместе с Кокошкиным, князем Павлом Долгоруковым и др. в Петропавловскую крепость, он в дневнике своем записал, между прочим, что, как ни ужасно происходящее, он не задумался бы, заведомо идя этому навстречу, начать сначала то же самое. А когда через несколько дней в больничную палату, куда я был перевезен, ворвались озверевшие матросы – краса и гордость революции, – он еще надеялся остановить занесенную руку убийц возгласом: «Что вы делаете, братцы?», убежденный, что действуют они по недоразумению.

* * *

Если Первая Дума формально распущена была вполне конституционно, то роспуск Второй сопровождался вызывающим нарушением Основных законов – без участия народного представительства, высочайшим указом было издано новое положение о выборах, опубликование коего одновременно с роспуском подтверждало, что он был давно предreshен. Тем не менее при втором роспуске и не поднимался вопрос об оказании какого-либо сопротивления: одни, понутив голову, разошлись по домам, другие, утратив депутатскую неприкосновенность, поспешили укрыться, небольшой остаток социал-демократической фракции во главе с Церетели был препровожден в тюрьму и оттуда на каторгу, где их и застала вторая революция. Совсем равнодушно встретило роспуск общественное мнение. Оно давно уже разуверилось в престиже и авторитетности Думы, не в состоянии было безоговорочно отвергать упреки по адресу народного представительства, содержащиеся в манифесте о роспуске, и со своей стороны не могло бы с

искренним убеждением предложить другой выход, без нарушения закона.

В связи с этим оказался эфемерным и успех кадетской партии, в которой видели стержень народного представительства, и на партию посыпались со всех сторон нападки и обвинения, от которых «Речи» приходилось настойчиво отбиваться. Все журналы и газеты, как справа, так и слева, посвящали свои политические статьи беспощадной критике кадетской тактики и всю ответственность перекладывали на Милюкова, в него направлялись все стрелы.

Разочарование в кадетам и, в частности, остро враждебное отношение к Милюкову не могло не отразиться на положении «Речи». Тираж газеты, бурно поднимавшийся в течение первого года существования, стал быстро падать. Я чувствовал себя очень виноватым, когда издатель приходил и горько жаловался, что велит печатать 20 000 экземпляров, потому что стыдно печатать меньше, но это лишь бессмысленная порча бумаги, ибо фактически расходится не больше 17 000. Однако бороться с этим в острый момент политического декаданса было невозможно, хотя формально «Речь» была совершенно независима и от партии и издавалась на средства Бака, для которого коммерческий расчет стоял не на последнем плане. Но Милюкова и мое руководство газетой накладывало на нее партийный штампель, и ей приходилось расплачиваться за неудачу партии. А к этому еще присоединялось падение в обществе политических и духовных интересов вообще, начинался политический маразм и моральное разложение.

Некоторое оживление внес к концу года суд над 169 депутатами, подписавшими Выборгское воззвание. Постановка процесса была весьма тщательно продумана и обсуждена в Центральном комитете и в совещаниях подсудимых кадетов с

защитниками, тоже членами партии: все было рассчитано, чтобы процесс приобрел серьезное политическое значение, и инсценировка его удалась действительно на славу. Когда во время предварительного опроса подсудимых об их звании, летах и т. д. председатель назвал фамилию Муромцева, вместе с ним, для засвидетельствования бывшему председателю почтения, поднялись все подсудимые. И эта сцена, отлично помню, произвела на всех, быть может, больше всего на судей, сильнейшее впечатление, определившее весь дальнейший ход процесса. К судебному залу было приковано внимание всей интеллигентной России. На лицах судей можно было прочесть, что и они сознают и ощущают неловкость своего положения. Прославившийся придиричностью и раздражительностью старший председатель палаты Крашенинников на этот раз покорно выслушивал подсудимых и стал останавливать и перебивать «последнее слово» лишь тогда, когда социал-демократ Рамишвили воспользовался заседанием, чтобы произнести резкую агитационную речь. Но и тут еще проявил ангельское терпение и, пригрозив наконец, что «я опять и в последний раз останавливаю вас», затем еще раз десять останавливал подсудимого, которому и удалось договорить речь до конца.

Интерес к процессу поддерживали не только «Речь» и «Право», посвящавшие ему наряду с отчетами ряд статей, всесторонне анализировавших значение процесса, но и все газеты оценивали его как крупнейшее политическое событие. Тем больше неблагоприятного внимания привлекло отсутствие Милюкова: он уехал из Петербурга накануне первого заседания суда, несмотря на настойчивые просьбы и уговоры, обращенные к нему по настояниям членов ЦК.

Выборгский процесс состоялся уже в то время, когда заседала Третья Дума, в которую наконец Милюков избран был

депутатом. Непосредственно перед ее открытием созван был съезд Конституционно-демократической партии. Опять пришлось обращаться к финляндским друзьям. Почему-то отведено было нам хотя и очень хорошее, но холодное помещение, и помню, как я весь дрожал, делая доклад о работе фракции во Второй Думе, вызвавший горячее одобрение Милюкова. Но мыслями он теперь был уже в Таврическом дворце, и заседания съезда комкались, некоторые члены были недовольны и просили на него воздействовать, чтобы продолжить занятия хотя бы еще на один день. Милюков резко воспротивился, когда я сообщил ему об этом желании. «Вот еще, стану я тратить время на выслушивание красноречия, а ведь там меня ожидает Гучков для переговоров» – и совсем рассердился, когда, изумленный таким игнорированием обстановки, я заметил, что уж на это рассчитывать едва ли можно. А я еще далеко отстал от действительности, ибо Милюков дождался не переговоров, а внушительной демонстрации: во время его речи правая часть Думы во главе с Гучковым покинула зал и, за отсутствием кворума, на неоконченной фразе заседание было закрыто. А еще через месяц-другой Гучков, придравшись к двусмысленному слову, вызвал Милюкова на дуэль⁶⁵, предотвращенную с помощью друзей принесенным Милюковым извинением.

Вообще, став депутатом, Милюков не сразу сумел сориентироваться в окружающих условиях, как в крупном, так и в мелочах. Этому большому человеку недоставало только ма-

65 Слово П.Н.Милюкова было не таким уж двусмысленным – в ходе парламентской дискуссии он открыто обвинил А.И. Гучкова во лжи, заявив, что тот «говорил неправду», что и послужило поводом для вызова на дуэль.

ленькой изюминки, вызывающей брожение и искрометность, он не мог дать квасу, а лишь пресную стерилизованную воду. Изюминку ему заменяла бесстрастная логика отвлеченной мысли, выхолащивающая всякую порывистость, невесомые подсознательные устремления.

* * *

Лично мне Третья Дума принесла большие перемены. Хотя, как депутат, я играл не последнюю роль, а быть может, именно потому, что проявлял излишнюю активность, в Третью Думу ЦК не выставил меня кандидатом. Насколько могу теперь вспомнить, было много причин не огорчаться этим. Все близкие и приятные люди – отчасти вынужденно, как осужденные за Выборгское воззвание, отчасти добровольно отошли от политической деятельности и вернулись к своим занятиям. Меня тянуло последовать их примеру и посвятить все силы «Речи». К этому склоняло и состояние здоровья – припадки сердцебиения все учащались и пугали ощущением смерти, а тогда еще страстно хотелось жить. Теперь, вступив в восьмой десяток, я не могу сомневаться, что сердце было вполне здорово, а припадки объяснялись игрой гипертрофированного воображения, вызывавшего внезапное сжатие кровеносных сосудов, и боязнь припадков очевидно должна была способствовать их учащению и обострению. Любопытно, что чаще всего они наступали в предвкушении не тяжелых, а радостных переживаний. Высшим наслаждением было слушать Шаляпина в «Борисе Годунове», и не раз бывало, что перед выходом великого артиста нетерпение услышать неповторимый, прекрасный тембр зачаровывающего голоса мгновенно разрешалось удушающим сердцебиением, и, совершенно разбитый, я со стыдом перед своей боязнью тотчас же убегал из театра. Не

было минуты, за которую я бы мог поручиться, что припадок не схватит, и в таком неустойчивом состоянии нести обузу депутатства, конечно, было малопривлекательно.

Еще меньше улыбалась перспектива очутиться среди большинства из правых, которые будут чувствовать себя победителями, а сомневаться в этом не приходилось. Уже и во Второй Думе правые отравляли существование. Признаюсь, что относился к ним со страстной ненавистью и нетерпимостью, но не потому, что не способен был с уважением воспринимать чужое, с моим несогласное мнение, скорее грешу в обратную сторону, но уже тогда разоблачениями «Речи» было бесспорно установлено, что все это наймиты правительства, купленные им клакеры. Словесное состязание с ними представлялось дурацкой нелепостью, насмешкой над самим собой и вызывало непреодолимое отвращение. Конечно, нужно было помнить, что говоришь не для них, что с думской трибуны голос разносится по всей России – так часто эти слова повторялись в речах депутатов, что выродились в бессодержательную банальность, – но меня всецело приковывают слушатели, которых я вижу перед собой, и язык прилипает к гортани, когда их лица отвечают каменным безразличием или, тем более, упрямой предвзятостью.

Признаюсь и в том, что со времени роспуска Второй Думы я не решался переступить порог Таврического дворца, чтобы не вызвать острой боли напоминанием о душевных муках за сто дней пребывания в ней. Важнее же всего было общее разочарование в политической деятельности, вызванное ознакомлением с ее кулисами, лучше сказать – с кухней, где стряпались политические блюда. Тут-то мне и приходилось чаще всего слышать от друзей упреки в наивности, в непонимании шахматных ходов – не политических противников, а именно

соратников по партии, и неумении их отражать. Участвовать в этой стряпне становилось в высокой степени противно.

Все эти соображения и давали возможность спокойно отнестись к невозобновлению моей кандидатуры и не делать из этого никаких выводов. Но однажды Каминка, не помню в какой связи, сказал мне, что если ЦК так несправедливо относится ко мне и не ценит того, что я для партии сделал, то нужно соответственно и поступать. А так как Каминка, вообще дружески преданный, всегда, напротив, старался умерить вспышки обиды и раздражения, то из его неожиданного предупреждения я не мог не заключить, что против меня в ЦК сплелась интрига, с которой Каминка тщетно боролся.

Эти строки я пишу у него же в гостях, на даче под Ригой, в старом, запущенном помещичьем доме. На огромной террасе так нежно ворчит самовар... Работаю в заброшенном, поросшем бурьяном парке, на станцию езжу в тряском тарантасе... А потом долгими расплывающимися часами сижу у моря, хоть и не моего ненаглядного Черного моря: ни души кругом, мы с ним наедине, и оно шлет мне одну за другой так ласково рокочущие волны, как будто для того, чтобы что-то шепнуть, напомнить, примирить. Из глубины сознания глухо доносится: это старческое слабодушие, не отрекайся ни от одной йоты! И я силюсь, но волны настойчивы, одна набегаёт на другую, и все шепчут одно и то же: а было ли что-нибудь между тем и этим, а если и было, чем оно кончилось? Выбрось все это, оно не нужно, не о нем в смертный час вспомнишь, а нас призовешь словами светлой юности, которые и сейчас уже сверлят мозг:

Умереть я хотел бы у моря... На берег отлогий
Принесите меня, помогите мне сесть на песок
И уйдите... На сердце утихнут былые тревоги,
И лицо мое влажным крылом опохнет ветерок!

Нет безумного страха, тоски безнадежной во взоре.
Жизнь и смерть – это море и небо, они предо мной:
Тихо спящее небо и шумно мятежное море
И туманная, тайная вечность за гранью земной.
Пали бранные цепи, тяжелые цепи земли,
Кто-то шепчет: свобода, свобода!

Как нарочно, Каминка основательно забыл о сделанном мне предупреждении, упрямо отрицает весь эпизод и хочет уверить, будто его и не было. А ведь он так кстати в то время случился, так совпал с тогдашним настроением, так отчетливо оформил и укрепил его и так резко повернул линию поведения и душевное состояние.

■ На пути к катастрофе (1908–1913)

Рижские видения обошлись мне недешево, они взбудоражили и замутили ровно несущуюся реку воспоминаний, в которую я с головой погрузился. Стал проходить день за днем, неделя за неделей, подолгу сживал я за письменной машинкой, но ни строчки не удавалось отстукать. В голове царила нелепая сумятица. Мне ведь не на шутку померещилось, что ничего больше в прошлом и не было, что рассказывать больше не о чем. Меня будил утром фабричный гудок, он лишал сладостной дремы, молниеносно переносил из потустороннего мира в юдоль земную, ночное марево сразу рассеивалось, словно его и не бывало, но в течение дня какой-нибудь случайный звук, скрип, запах, слово, любая мелочь неожиданно заставляли замирать и отстраняться от окружающего, как от постылой помехи: а ведь я что-то такое позабыл, что произошло со мной. И с трудом восстанавливались дразнящие обрывки сновидения, вызывавшие бесплодное раздражение мысли и чувств.

А может быть, причина неожиданного обессиливания лежит не в видениях и сновидениях, а в реальной, хотя и бесследно исчезнувшей действительности. Друг мой и соратник А.И.Каминка остался недоволен чтением последних глав. Это еще с полбеды, я и сам вижу и чувствую, что ровные строки, насыщенные громкими словами, не дают надлежащего представления о неповторимо ярких особенностях тех, вихрем промчавшихся годов. А ведь я был не наблюдателем, а участником, и притом с неограниченной ответственностью, на карту ставилось душевное состояние, отвечать нужно было всем своим «я». В голову не приходило, что погружение в воспоминания о пронесшихся бурях может вызвать острые болезнен-

ные ощущения, а ведь это так понятно и естественно. Тогда увлекал пафос борьбы и вера в победу, теперь я стоял среди минувшего со связанными руками, отчетливо видя, как мы катимся к неизбежному тяжкому поражению.

«Да, – говорит мой друг, – в обозначении главы стоит слово „Право“, но вы рассказываете только о его рождении, потом оно лишь мелькает на волнах общественного движения!» Я заслужил этот упрек неблагодарной памяти: «Право» заполонило тогда всю жизнь, мы жили от четверга до четверга и сходились на редакционные заседания как на праздник, а встречаясь между четвергами, только о «Праве» и говорили, так что жены завели копилку, в которую каждый должен был опускать десятикопеечную монету за произнесение магического слова. Чем бы мы ни были отвлечены, все равно – ни на минуту не забывали, что это только так, между прочим, а дома мы у себя, на высокой горе, где стоит наш алтарь.

Да, так оно и было, и мог ли я об этом забыть? Именно «Право» посылало нас в мир на тяжелую ответственную работу, и все, что мы делали, было от его имени и во имя его, именем «Права» я только и мог предложить Набокову вернуться из-за границы в Петербург... Поэтому дыхание «Права» должно чувствоваться на каждой странице, посвященной общественному движению: удалось ли мне дать это почувствовать?

Выставив лозунг законности и правопорядка, «Право» дало мощный толчок общественному движению и постепенно так с ним переплелось, что отделить одно от другого невозможно. Но вследствие такого положения нашей цитадели поражение, нанесенное общественному движению, наиболее чувствительно испытывалось «Правом», не говоря уже о «Речи». И нужно самому себе признаться – нет, не видения и сновидения замутили мирно журчавший ручей воспоминаний,

скажи просто и честно: мы потерпели поражение, тяжкое и неожиданное – победа совсем была уже в руках – и неприятно к этим мрачным годам возвращаться, память упорно бежит от них. Когда я приступил к записи воспоминаний, прежде всего поспешил занести на бумагу те главы, которые трубили о победах. Это так. Но в то время и победа плохо радовала, не давала удовлетворения, вдохновляла только борьба. Борьба ради борьбы, а не для достижения цели! Боже, оставь истину себе, а мне дай лишь силу искать ее.

А поражение было действительно тяжкое. Нельзя, правда, жаловаться, что мы оказались у разбитого корыта. Нет, народное представительство все же сохранилось, и, как «Речь» писала, «Дума пустила глубокие корни». Несмотря на малочисленность фракции нашей, она сумела сохранить авторитет и заставить чем дальше, тем все больше с ней считаться. Но тяжесть поражения заключалась в потере армии, обывательские массы утратили интерес к политической борьбе и отошли от нас. А так как почва под ногами еще далеко не устоялась, то разбуженное и взбудораженное политикой общество уже не могло вернуться к прежнему, самодовлеющему в семейных кельях быту. Нужна была улица, толпа, недоставало острых впечатлений, которые заглушали бы испытанное разочарование, и людской поток устремился в скетинг-ринги, в порнографию, в пинкертоновщину. Потребность эта была так настоятельна, что перед соблазном дать ей удовлетворение не могли устоять и видные представители беспорочной русской литературы, теперь избравшей себе прикрытием лоскутья вчерашних политических знамен. Возшла звезда беллетристической стряпухи А.Вербицкой, завоевавшей своими сентиментально-пошленькими романами шумный успех, особенно в провинции. Под видом научных исследований откликнулся на эту потребность крупный марксист Фриче, вообще знамена край-

них направлений считались надежнейшим щитом для эротики. Но это и не была эротика, не было жажды любовных наслаждений, а лишь искание неизведанных, извращенных, болезненно острых ощущений.

Снобизм, бравада не останавливались даже и перед игрой с самой жизнью, потому что бомбы, пули и казни сорвали таинственный покров со смерти, она становилась в потрясенном сознании соперницей жизни, которая постепенно утрачивала свою устоявшуюся ценность. Само по себе спорадическое увеличение числа самоубийств – явление не столь уж редкое. В данном случае показательно было, что люди, главным образом молодежь, налагали на себя руки не тайком от других, не в припадке тоски, а в экстазе возбуждения, демонстративно, непременно на людях, в театре, чтобы привлечь внимание, заставить говорить о себе хотя бы после смерти, смысл которой ускользал от пораженного снобизмом сознания. Самоубийство становилось целью жизни. Вот, дескать, вы, мещане, руками и ногами цепляетесь за жизнь, а мне, аристократу духа, на то, что вам кажется высшей ценностью, наплевать!

Неожиданную, непредвиденную поддержку эти упадочные настроения получили в сборнике статей семи авторов, вышедшем под заглавием «Вехи». Среди них было несколько основателей Союза освобождения (Бердяев, Булгаков, Струве, Франк), был и ближайший верный сотрудник «Речи» Изгоев. Это был клич «Семи смиренных», как их иронически называли, к покаянию в интеллигентских грехах – позитивизме, материализме, безбожии, интернационализме, короче – это был первый открытый призыв к отречению от старого мира, от самих себя. Самым выдающимся по таланту и образованию среди авторов был М.И.Гершензон. В предисловии Гершензон признавался, что семь авторов, будучи людьми различных «вер

и практических пожеланий», сошлись между собой для «общего дела». Совсем по-богатырски размахнулся Струве, как бы нарочно для того, чтобы дать пример главного греха интеллигенции – максимализма.

Успех «Вех» был ошеломительный, совершенно затмил удачу выпущенных мной на подъеме освободительного движения земских сборников. В течение четырех месяцев вышло пять изданий, не было ни одного периодического органа, который не отозвался бы на эту книгу. Интеллигенция горячо защищалась, но два сборника, вступившие в бой с «Вехами», – «В защиту интеллигенции» и «По вехам» – заметного впечатления не произвели.

Меня этот сборник сильно смутил, я впервые почувствовал, что нашему веку действительно приходит конец, что «Вехи» намечают лозунги будущего, постепенно они становятся господствующими и пользуются защитой науки: естествознание переходит к метафизическому мировоззрению. Но вместе с тем нельзя было противодействовать нападкам на «Вехи», ибо, как бы ни ценить содержание сборника, появился он не во благовремении. Что может быть неблагородней, чем бить поверженного, лежачего, тем более что на этом слишком усердно упражнялось правительство, и фактически «Вехи» оказали ему существенную поддержку. Знаменательно было, что Струве удостоился приветствия от ярого реакционера архиепископа Антония, которому он отвечал с сыновней почти-тельной благодарностью.

В такой безотрадной обстановке сосредоточение внимания на «Речи» явилось как нельзя более своевременным. Нетрудно было понять, что газета нуждается в коренных реформах. О том, чтобы отказаться и даже ослабить политическую борьбу, и мысли не могло возникнуть, напротив, ее

нужно было еще заострить. Эта задача целиком лежала на Милюкове и мне, но мы понимали ее весьма различно. Я считал, что борьбу следовало вести легко, весело, непринужденно, точно ничего не случилось, все у нас благополучно. Милюков все воспринимал одинаково всерьез и писал глубокомысленные статьи, отпугивавшие читателя своими размерами.

Как-то фракции националистов в Думе захотелось образовать новую партийную комбинацию. Перетасовки и пересаживания составляли яркую особенность Третьей Думы и от известной басни отличались тем, что крыловские музыканты наивно верили в магическое влияние пересаживания, а депутаты, посаженные в Думу правительством, искали в перегруппировках способа более выгодного распределения всякого рода подачек. Каково же было удивление, когда Милюков написал статью, придававшую важное политическое значение такой сто первой мертворожденной затее. Пришлось звать на помощь Петрункевича и Набокова.

Может быть, в этом направлении я шел слишком далеко и злоупотреблял приемом иронии. Герцен утверждает, что «у людей истинно добродетельных иронии нет», и Александр Блок варьировал ту же мысль на страницах «Речи». Я с ними вполне согласен и горько каюсь, что применял иронию и в педагогических целях к детям своим, положительных результатов она не дала. Но в публицистической деятельности никак не мог заставить себя серьезно и деловито опровергать противника, если не сомневался, что он и сам сознает свою неправоту и словами лишь затемняет сущность. Это значило бы ломиться в открытую дверь и ставить себя в смешное положение. Мне, признаюсь, доставили удовольствие слова Милюкова, что Гессен «старался поразить противника его собственным оружием. Его словечки запоминались и составляли целый

публицистический лексикон... Отравленные ядом публицистические стрелы его жалили больно». Но мне эти стрелы не доставались даром, я так кипел негодованием, так волновался, что часто приходилось прерывать работу и принимать лекарство. И дорожил я не бесчисленными публицистическими статьями, появлявшимися без подписи, за полной подписью, за буквами И.Г., под псевдонимом Скептик и т. д., а немногими фельетонами, написанными не на злободневную тему, и бывал счастлив, если удавалось слышать их благожелательную оценку.

В общем, политический отдел оставался в прежнем виде, я старался лишь как можно больше сжать его, и, главным образом, подверглись сокращению думские отчеты: исключение делалось для речей Милюкова, Маклакова, Шингарева, Аджемова и некоторых других депутатов нашей фракции. Благодаря этому можно было расширить другие отделы, завести ежедневный фельетон, бывший до того редкостью, и откликаться на все вопросы материальной и духовной жизни страны.

* * *

Из старых сотрудников «Права» перекечевали в «Речь» весьма немногие: Милюков, Набоков, Каминка, Ганфман, Соколов, Левин, широко образованный блестящий публицист, считавший, что ему равного нет. Среди новых лиц, с которыми пришлось долгие годы совместно работать, выделялся целый ряд авторитетных имен: выдающийся ученый экономист М.И. Туган-Барановский, вместе со Струве основоположник русского марксизма, тоже перешедший в лагерь критиков Маркса, грузный, неповоротливый, наивный до предательства – как только государь отрекся от престола, Туган-Барановский

явился в редакцию с огромным красным бантом и заявил о своем уходе из «Речи». Такой же бант нацепил и такое же заявление сделал и А.Н.Бенуа, с которым у меня была и личная близость. Его художественные фельетоны, отличавшиеся изумительным мастерством изложения, воспринимались как *magister dixit*⁶⁶. В течение своего десятилетнего сотрудничества, бывшего истинным украшением «Речи», он на год покинул нас для Художественного театра, которому дал чудесные декорации... Бесспорным авторитетом пользовался музыкальный критик наш В. Г. Каратыгин, большой знаток и поклонник русской музыки, отлично чувявший и усердно выдвигавший молодые композиторские таланты, многим обязан ему тогда еще совсем юный Прокофьев, гений которого Каратыгин распознал с первых шагов его творчества. Среди литературной братии Каратыгин выделялся высокой моральной порядочностью, бессребреничеством и пленительным сочетанием добродушной покладистости с твердостью убеждений. Он принадлежал к счастливцам, которых все любят и которыми все дорожат. С ним меня тоже соединяла личная близость, летом он жил у нас на даче. Благодаря ему в нашем доме не переводилась чудесная музыка, и я всегда был во власти волшебных звуков выдающихся пианистов, певцов и певиц, воскресный вечер им обычно целиком принадлежал.

Два наших литературных критика, каждый по-своему очень ценный для газеты, оба были родом из Одессы. Изумляло и забавляло видеть, как различны, какими чужими, чуждыми друг другу могут быть два человека, наделенные одним и

66 Так сказал учитель (лат.), перенос.: мнение непререкаемого авторитета.

тем же основным, определяющим их духовную личность даром. Ю.И.Айхенвальд, сын раввина, женатый на православной, изысканно и разносторонне образованный, и Корней Чуковский, выходец из народной толщи (настоящая его фамилия Корнейчук), женатый на еврейке, самородок, нахватавшийся случайных, разрозненных знаний, – оба отличались сверхъестественным инстинктивным чутьем подлинного таланта, отвращением (у Айхенвальда болезненным, у Чуковского крикливым) ко всякой фальши и литературщине. Эта особенность и определяла их подход к литературно-критической работе – оба не принадлежали ни к одной из главенствовавших тогда школ реалистов и символистов, а были сами по себе. Доробости застенчивый и молчаливый Айхенвальд покорялся таланту как благодати, как чему-то иррациональному, непостижимому. Чуковский, шумный, развязный, разухабистый, ничем не обремененный, видел в таланте счастливец, удачника, выигравшего в лотерею крупный куш, и одобрительно, запанибрата похлопывал его по плечу – молодчина, брат!

Оригинальную фигуру представлял редактор театрального отдела П.Ярцев, от характеристики которого легко можно было бы отделаться одним словом «молчальник». Когда он приехал из Киева, где за ним установилась репутация беспощадного критика, я пригласил его к обеду вместе с Бенуа, Набоковым и другими товарищами, рассчитывая, что в домашней обстановке, да еще за вином знакомство состоится непринужденное. Разговор действительно велся очень оживленно, но он-то не произнес ни слова, если не считать скупых, сквозь зубы ответов на прямо задаваемые вопросы. Небольшого роста, худой, с заостренными чертами аскетического лица, в старомодном длинном черном сюртуке (в другом наряде я увидел его лишь во время войны, куда он был призван из офицерского запаса), он так и остался для меня неясным, хотя постепенно стал чаще

бывать и цедить слова. Писательство давалось ему нелегко и отличалось больше строгостью оценок, чем отчетливостью, особенностью его стиля было, что никогда он не употреблял иностранных слов, а русский язык обожал. От строгости отступал только в пользу Московского Художественного театра, перед которым благоговел. Петербург относился к московской новинке более чем сдержанно, а некоторые газеты и прямо враждебно. «Речь», напротив, вместе с передовой интеллигенцией и молодым поколением принимала москвичей восторженно. И сейчас передо мной висит, окруженный фотографиями Качалова, Чехова, Книппер и Германовой, чудесный портрет Станиславского с обворожительной улыбкой на одухотворенном лице, на портрете надпись: «Другу детства Художественного театра благодарный за прошлое». Надпись сделана в 1922 году, когда труппа приезжала на гастроли в Берлин, и слово «прошлое», объясняемое, вероятно, перспективой возвращения в Москву, обидно подчеркивало, что мы очутились по разные стороны баррикады.

А какую сочную самобытную фигуру представлял наш интервьюер Л.М.Львов (Клячко)! Светлый блондин, с необычайно зоркими глазами, он бравировал сверхъестественной пронырливостью и развязностью, смутить его ничем было невозможно. Он навязчиво подчеркивал свое политическое невежество: если какое-нибудь сообщение вызывало сомнения, он ссылался на то, что сам выдумать не мог, потому что ничего в записанном с чужих сановных слов не понимает. Он и в газету заглядывал, только чтобы проверить, напечатано ли его очередное «В сферах», и врывался за объяснениями, если своего сообщения на привычном месте не находил. Случилось на несколько дней задержать «В сферах», а Клячко с каждым днем становился все раздражительней и даже грозил уходом. Наконец, сообщение появилось, но не на своем обычном месте, и

он вновь стал – глотка у него была зычная – кричать, что для редакционной корзины работать не согласен; если редакция предпочитает «кирпичи Кутлера» его сенсационным сообщениям, значит, пора уходить. Опомнившись, он погрозил кулаком и сказал: «Будьте спокойны, я отомщу, а теперь ничего не поделаешь, надо съездить в ресторанчик, выпить коньячку».

Звание носил он «помощника провизора», хотя ровно никакого отношения к аптекарской профессии не имел. Так как среди хроникеров было еще два-три таких аптекаря, то Набоков однажды за редакционным обедом заметил: «Никак не пойму, почему столько помощников провизора?» – «А вы понимаете, Владимир Дмитриевич, – огрызнулся Клячко, – что такое „право жительство“? Не понимаете? Ну, в том-то и дело!» А дело было в том, что означенное звание давало евреям право жительства вне черты оседлости – русского гетто, правда, лишь при условии занятия своей профессией, но на фактические отступления администрация частенько смотрела (умела смотреть) сквозь пальцы. Благодаря своим бюрократическим связям Львов – и притом совершенно бескорыстно – успешно облегчал тяжелое положение своих единоверцев. Его день начинался с приема просителей – почти исключительно евреев, и главным образом именно по вопросам права жительства. Просителей, по мере того как слава росла, набиралось до двух десятков и больше, каждый норовил поговорить наедине, чтобы подкрепить просьбу «благодарностью», но Клячко это отвергал: «У меня с вами никаких секретов нет». У подъезда уже ждала щегольская коляска с кучером, и примерно с 10 до 2–3 часов дня он совершал объезд по министерствам, канцеляриям, министрам, сенаторам и т. д. Его секундантами были швейцары, курьеры, лакеи, ублажаемые щедрыми «чаями» и помогавшие за то пробраться к начальству, к барину, заранее осведомившись о его настроении. Принимали его охотно и

доверяли многое, он даже стал необходимой принадлежностью бюрократической машины, иначе сказать, ее побочным продуктом: благодаря ведомственной розни Клячко умел быть полезным сановникам, сообщая в одном ведомстве то, что от него скрывалось в другом, там зато узнавал новую тайну, помогавшую в дальнейших изысканиях. Между посещениями он несколько раз наведывался к Доминику и Перецу – популярным петербургским рестораторам, чтобы хватить две-три рюмки водки и закусить пирожками – аппетит у него был волчий, и, приехав в редакцию, разгружал свой багаж под рубрикой «В сферах», содержавшей обычно тщательно проверенные, важные политические сведения. Для борьбы с общественно вредной тайной он придумывал разные трюки. Я положительно не припомню случая, чтобы ему не удалось начальство перехитрить.

Чем больше самодержавный строй разлагался, тем шире развертывалась деятельность нашего интервьюера и полностью расцвела во время войны, когда сановники стали его даже побаиваться и у него заискивать. Когда началась министерская «чехарда», Клячко первый узнавал о предстоящих увольнениях, и у него не раз министры осведомлялись об ожидающей их в ближайшие дни отставке. Если принесенная сенсация вызывала недоверие, или ему самому хотелось пустить мне пыль в глаза, он соединялся по телефону с тем или другим сановником, и я неоднократно имел случай удивляться непринужденному тону его диалогов «на короткой ноге» с превосходительствами и высокопревосходительствами.

Надо прибавить, что если в своей профессиональной деятельности он, подобно многим русским революционерам, держался принципа – цель оправдывает средства, то в частной жизни, напротив, был сторонником десяти заповедей. В ре-

дакции его все любили, потому что это был на редкость благородный и отзывчивый товарищ – готовый поделиться последним, а в своей скользкой, полной корыстного соблазна деятельности сумел сохранить безукоризненную репутацию честного, преданного общественным интересам работника.

В очень лестной для меня юбилейной статье покойный Изгоев так определил разницу между «Правом» и «Речью»: «Я сравнил бы ваше „Право“ с бывшим фрегатом, изящно оснащенным множеством парусов... По сравнению с „Правом“ второе ваше создание „Речь“ рисуется мне могущественным современным дредноутом...»

Я ощущал эту разницу иначе, совсем в другом: редакционный комитет «Права» состоял из крупных и очень ярко выраженных индивидуальностей, но в работе и заботе о «Праве» – а забота владела безраздельно умом и сердцем каждого – все от себя отрешались в пользу любимого детища. Решительно не вспоминаю проявления личного самолюбия, соперничества, каждый старался отдать «Праву» все, что мог. Как громко и радостно выражал свое восхищение Петражицкий удачной статьей кого-нибудь из товарищей! Не было и материальной заинтересованности – я один получал, да и то более чем скромное, жалованье – 100 рублей, остальные довольствовались построчной платой за статьи – 7 копеек, и этот размер не повышался даже и для крупных литературных тузов. В «Речи» для многочисленного редакционного штаба денежное вознаграждение составляло если не для всех единственный, то, во всяком случае, главный источник бюджета, связь с газетой скреплялась не только узами бескорыстной любви и преданности. Я получал 13 тысяч рублей в год, Милюков 9 тысяч, Бенуа 6 тысяч, построчная плата поднималась до 50 копеек. Конечно, идейная близость, духовное сродство стояли на первом плане,

и случая не было, чтобы наш сотрудник предложил свои услуги враждебному лагерю. Но огромное большинство газет объединяла оппозиционность, различавшаяся лишь в степенях, и передвижение в ее пределах, особенно в сторону степеней повышенных, не считалось зазорным.

Так нас покинул самый талантливый из «маленьких фельетонистов», В.Азов, которого я очень высоко ценил. Он умел мастерски выпячивать всякое зло и наивно укрыться под маской его непонимания и удивления. Кажется, ни разу не пришлось его работу забраковать, а если я спешил выразить свое удовольствие и похвалить за удавшийся фельетон, он неизменно отвечал: «С тех пор как изобретены денежные знаки, похвала легко может быть переведена на их язык». «День» и соблазнил его вдвое увеличенным количеством денежных знаков, он не задумался, к большому моему огорчению, бросить насиженное место. Я мог бы злорадствовать, потому что в новой редакции чего-то ему не хватало, и талант его заметно поблек.

Был у нас еще один остролов К.Аверченко. Его сочинения до сих пор пользуются большой популярностью. Аверченко среди всех был наиболее добродушный, но и наиболее разухабистый, он сражался, на потеху публики, не рапирой, а дубинкой и плеткой, ранить они не ранили, но заставляли выть от боли. Наиболее остроумные его фельетоны бывали не в ладах с цензурными требованиями, но, читая про себя, я задыхался от смеха.

В общем, сотрудники крепко были привязаны к «Речи», хотя она и не могла оплачивать так щедро, как некоторые другие газеты. Это объясняется ее высоким моральным авторитетом, какого не имела ни одна петербургская газета. Здесь поэтому голос каждого звучал громче и влиятельней, атмосфе-

ра в редакции была здоровая и прозрачная, все искренне верили в правоту своего дела, и, как мне кажется, весь технический персонал, а по-моему, и курьеры (их называли у нас почему-то «сторожами») понимали это и относились с большим уважением. Дежурившие попеременно при мне два курьера Дмитрий и Иван – очаровательные, скромные, толковые парни – были преданы, пожалуй, больше, чем некоторые сотрудники, и гордились своей службой.

Изгоевское сравнение «Права» и «Речи» с фрегатом и дредноутом кажется мне удачным в том смысле, что на фрегате – все вместе, друг у друга на виду, каждый может заменить другого и все непрестанно чувствуют, что делают общее дело. На дредноуте, разделенном на самостоятельные отсеки, можно совершить плавание, не встретившись с работником в другом отсеке и ничего общего с ним не имея. Так, в «Праве» были цивилисты, криминалисты, государственники, международники, но все находились между собой в непосредственном соприкосновении и связаны одной нитью, проходившей через все статьи. А что же было общего в «Речи» между публицистической и спортом, балетным отделом и биржевым, литературной критикой и иностранной политикой и т. д.? Может быть, лучше сравнить газетную редакцию с оркестром: каждый оркестрант поглощен своим инструментом, старается как можно лучше сыграть свою партию.

Я разрешал себе менторский тон, потому что годами был обременен больше всех, старше меня был один Милюков, но он был в редакции не свой человек, а почетный гость. Сам Милюков не давал повода для отчужденности: истинный демократ, он держался в редакции с товарищеской простотой, даже выделялся умением быть со всеми на равной ноге, и еще была у него редкая особенность среди русской интеллигенции,

подчеркивавшей свое благожелательное отношение к угнетенному еврейству. А у Милюкова именно и не было вовсе ощущения национальных различий. К Милюкову все относились с большим уважением, почтительно прислушивались к его суждениям, но видели в нем политика, а не своего брата газетчика.

Не думаю, чтобы я пользовался любовью товарищей, и чистосердечно не считаю себя вправе на нее притязать. До 1908 года я тоже газетой интересовался больше через политику и мало входил в редакционную жизнь. Потом это изменилось – приходилось и посаженным отцом быть, и семейные недоразумения улаживать, и юридические, и житейские советы давать, и всячески помогать. Но если в «Речи» не было такой центростремительности, как в «Праве», если употребленные Изгоевым в его статье слова о «дружной семье» представляют юбилейное преувеличение, то доля вины падает на меня. Думается, во-первых, редактор должен воздерживаться от писательства в своей газете, он должен быть не концертмейстером, а дирижером: это дает право взыскательней относиться к чужой работе, не искушая сотрудника на замечание: «Врачу, исцелися сам!» А во-вторых, всяческие собрания революционных годов набили оскомину, и я не мог заставить себя принять меры к сплочению редакционной семьи, устраивая словопрения о «текущем моменте». Слова эти вызывали внутреннюю дрожь, и развивалось настоящее отвращение к программам, дискуссиям, планам, сметам.

Шумно и весело праздновалась годовщина «Речи», приходявшаяся обычно на Масленицу, – сначала в роскошной квартире Бака, потом в Европейской гостинице. А несколькими сотрудниками пришло в голову организовать встречу Нового года в помещении редакции на Жуковской, у Литейного. Тайно

от меня позвали каменщиков, которые в два-три часа разобрали одну стену, замененную занавесом, явилась возможность устроить подобие сцены, и экспромт удался отлично. Хотя помещение и обстановка оставляли желать многого, но здесь было уютнее и потому приятнее. Я открывал празднество речью, настроенной на серьезный политический лад. Лишь позже я сообразил, что застольная речь должна быть легкой, шипучей. Помню весьма удачную речь Каминки, в которой он остроумно отмечал слабости отдельных сотрудников и, раздавая всем сестрам по серьгам, вызывал непрерывный дружный смех. Потом началось веселье. Стены украшены были отличными карикатурами – выдающимся карикатуристом газеты был талантливый молодой художник Ремизов. Оперные, опереточные и драматические артисты пели, читали, декламировали (вспоминаю Шаляпина, Збруеву, Донского...), иногда разыгрывали какой-нибудь скетч. Один такой назывался «Под дамокловым мечом». Огромный меч свисал с потолка, а под ним даровитый артист Феона изображал меня в борьбе с неотвязной дородной женщиной – цензурой, и все покатывались со смеху.

Главным организатором и душой был наш корректор – желчный, всем и всеми недовольный Ирецкий, впоследствии автор имеющих успех новелл и романов. Тут же нельзя обойти вниманием, что корректоршей была у нас и талантливая поэтесса Вера Рудич, приславшая мне весьма замечательный дневник о первых годах революции в России, который, к сожалению, не удалось опубликовать в «Архиве русской революции».

Если уж никак нельзя было без «текущего момента» обойтись, я предпочитал приглашать заведующих отделами и их помощников к себе, к обеду, конечно, вместе с Петрункевичем,

Набоковым, Каминкой, которые, неся издательскую тяготу, принимали самое активное участие в работе редакции. Некоторые из коллег, с которыми я ближе сходил, были нашими гостями по воскресеньям, когда начиная с обеда и до поздней ночи собиралось – таково было мое впечатление – больше народа, чем могла вместить наша квартира на тихой и вместе с тем центральной Малой Конюшенной улочке.

Милуков пишет, что в этой квартире, приобретающей значение салона, «встречались между собой наиболее видные представители русской культуры». Меня действительно соблазняла мысль превратить наши воскресенья в «салон», я было и лакея завел для шика. Но намерения мои сокрушались о непреодолимое отвращение жены к барским затеям, к декорациям, к обстановочной части. Я не раз трепетал от мысли, как же мы разместимся за столом, да хватит ли посуды, а захочет ли артист в такой невообразимой толчее играть или тем более петь. Однажды произошел скандал – загремела на полу посуда, которую уронил с подноса споткнувшийся лакей, и гости остались без кофе.

Но теперь доставляет большую отраду вспоминать, что особенность этого неудавшегося «салона» и была в простоте, свободной от условностей, и все поэтому чувствовали себя непринужденно. Так и писал Ганфман после смерти моей жены: «Петербургские писатели, журналисты, художники, музыканты, общественные деятели, которые по воскресеньям собирались в гостеприимном доме редактора „Речи“ И.В. Гессена, не забыли хозяйки этого дома, вливавшей такую интимность в пеструю среду гостей, принадлежавших к разным лагерям в области политики и искусства. Всех покойная Анна Исааковна озаряла своей чудесной улыбкой, чаровала прелестью своего простого, искреннего отношения». Культ

русской музыки, который на этих воскресеньях царил, доставлял столько радости и создавал такое сильное отвлечение от повседневных тревог и волнений, что, вероятно, поэтому ни жену, ни меня они не утомляли, а, наоборот, доставляли отрядный душевный отдых, который был очень и очень необходим.

Борьба тогда осложнилась, бороться приходилось на два фронта, и борьба эта, поглощавшая все помыслы и всю энергию, доводила до одурения.

Правда, на фронте правительственном мы могли позиции наши быстро выпрямить. Власть не сумела воспользоваться своей победой, победа ей на пользу не пошла, напротив – дала мощный толчок разложению режима, безраздельному господству интриги над государственными интересами.

Тяжелее было положение на другом фронте и, главное, в тылу. Чувство безнадежности охватывало при виде безоглядного бегства от «политики», которой вчера так жадно все упивались, и с горечью вспоминались переполненные залы кадетских собраний при рождении партии. Но ведь и наши воскресенья, в сущности, были такой же данью потребности в отдохновении от политики, на подъеме освободительного движения подобное времяпрепровождение считалось бы грехопадением.

С большой силой обрушился в «Речи» талантливый критик Чуковский на новую литературу, которая воспевала рабский фатализм и обреченность: «Точно все мы агнцы, влекомые на заклание. Барахтайся не барахтайся, ты все равно обреченный». Ежемесячные так называемые толстые журналы, отличавшиеся выдержанностью миросозерцания, стали заменяться «альманахами», в которых каждый участвующий отвечал за самого себя, не интересуясь, с кем рядом он стоит и что его

сосед говорит. А чтобы не спасовать перед альманахами, пользовавшимися большим успехом, и журналы вынуждены были идти навстречу новым веяниям... Случалось, что проповедь фатализма находила себе место на страницах журналов, выходивших под знаменем революционной борьбы.

Милюков усматривает мою «большую заслугу в том, что „Речь“ была и осталась монолитной». А ведь «Вехи» чуть не поколебали эту монолитность. Одним из семи авторов был Изгоев, пожалуй, наиболее верный и преданный сотрудник «Речи», по-детски прямолинейный, но искренний и честный. На вдумчивое и внимательное отношение вправе был претендовать и другой автор, столь почитаемый мною, морально чуткий Булгаков. «Семь смиренных», между собой несогласно настроенных, объединились только в отрицательном отношении к интеллигенции и с разных сторон на нее обрушились. Поэтому не стоило большого труда столкнуть их лбами, обличить в противоречиях, в отступничестве, априори подрывающем значение и стойкость новых взглядов. Мне казалось, что если бы вместо всенародного покаяния, принимавшего в обстановке поражения оттенок угодливости, наметить отправной пункт нового пути, на который зовет историческая судьба, то «Вехи» могли бы содействовать оздоровлению общественной атмосферы. Приходилось, однако, воздерживаться от вмешательства в безбрежную полемику, ибо оно угрожало еще выше поднять ее волны. Положение редактора «Речи» обязывало к сугубой осторожности: в небывалой вспышке полемических страстей малейшая неясность, неточность могла бы дать жадно искомый материал для новых обвинений, которые легко перенесены были бы с меня на «Речь».

Наиболее тяжкими, казалось – беспросветными – годами были 1908 и 1909-й. И должно же было так случиться, чтобы

именно в этом 1909 году, как будто нарочно для того, чтобы закрепить разочарование в революционной деятельности, произошло сенсационное разоблачение предательской роли Азефа, стоявшего во главе Боевой организации эсеров. Азеф, искусно разыгрываемой ролью активного провокатора, поставил себя выше всяких подозрений и, легко посрамляя скептиков, обращавших не раз внимание ЦК на странности его поведения, добился такого исключительного положения, что вправе был бы сказать: боевая организация – это я! Долго и упорно, с маниакальной настойчивостью пришлось Бурцеву тщательно плести и раскидывать сеть собираемых улик, прежде чем удалось на Азефа ее накинуть. Надо было быть именно Бурцевым, чтобы одержать верх над инстинктивным сопротивлением эсеровского ЦК. Один из его членов говорил: «Пора принять меры и усмирить Бурцева», а Вера Фигнер предупреждала, что придется «пустить себе пулю в лоб за то зло, которое вы причинили революции». Но сам Бурцев говорил мне, что разоблачение Азефа стало у него «навязчивой идеей», и даже под пытками он не перестал бы твердить, что Азеф – провокатор. Только поэтому эсеры и назначили суд под председательством князя Кропоткина с участием Веры Фигнер и Германа Лопатина, но суд был не над Азефом, а над Бурцевым, и, несмотря на самые убедительные доказательства, судьи отказывались ему верить.

Бурцеву самому пришлось предать бывшего директора департамента полиции Лопухина, доверительно ему признавшегося, что Азеф состоял на службе агентом департамента. Но и после этого ЦК не осмелился поднять руку на Азефа, опасаясь «междоусобной войны внутри партии», и дал возможность страшному предателю, ведшему, пока длился суд, разгульную жизнь со своей любовницей, скрыться. Только теперь эсеры спохватились и возложили на А.Аргунова поручение разыскать

и убить Азефа, и уже здесь в Берлине Аргунов, видом и манерами похожий на мирного обывателя, с презабавным добродушием рассказывал, как он выслеживал Азефа...⁶⁷

И вот Азеф разоблачен. Мне лично с ним не приходилось встречаться, но не раз и я сталкивался с отражениями его предательства. В октябре 1904 года князь Петр Долгоруков приехал в Петербург из Парижа, где в качестве представителя Союза освобождения принимал участие в съезде революционных партий для выработки согласованной программы действий. Долгоруков рассказал, что, как ему доподлинно стало известно, департамент полиции имеет подробнейшие сведения обо всем, что на съезде в Париже происходило. Долгоруков был товарищем по полку тогдашнего министра внутренних дел князя Святополк-Мирского, и, вероятно, поэтому к нему просочились тайны департамента. Он рассчитывал, что непременно будет в ближайшие дни арестован, и советовался, какой тактики держаться на допросе. Ареста, однако, не последовало, и тогда это объяснялось быстрым развитием бурных событий, в действительности же диктовалось опасениями департамента усилить и без того возникшие подозрения против Азефа, который от партии эсеров тоже был участником парижского съезда.

67 Найти и покарать Азефа эсерам не удалось, провокатор затерялся в Берлине и жил с документами на чужое имя как незаметный владелец корсетной мастерской. После начала Первой мировой войны он был разоблачен немецкими властями как «русский агент», арестован и в 1915 г. заключен в тюрьму Моабит. В тюрьме он тяжело заболел. В конце 1917 г. его выпустили на свободу, но болезнь прогрессировала, и в апреле 1918 г. Евно Азеф умер от почечной недостаточности.

Департамент берег агентов как зеницу ока, и такая тактика часто ограждала революционеров от ответственности даже за самые серьезные уголовные деяния. Тайны департамента столь же ревниво охранялись чиновниками, уже вышедшими в отставку, даже и такими, которые поспешили перейти в другой лагерь: во времена Первой Думы ко мне часто захаживал тогда уже уволенный в отставку Лопухин, зондируя почву, примут ли его в адвокатуру и может ли он вступить в партию конституционных демократов. Однажды, когда он жаловался, что его лукавый попутал бросить блестящую судебную карьеру и занять, по настоянию Плеве, пост директора департамента полиции, вдруг вспомнился рассказанный выше эпизод, и я спросил, насколько основательны были опасения князя Долгорукова. Лопухин подтвердил, что уже через две недели после съезда в Париже департамент имел самый подробный отчет. На вопрос, как же могло случиться это, если участники друг другу больше доверяли, чем самим себе, собеседник увильнул от ответа, сославшись на болтливость «хваленых конспираторов». Вместо того чтобы воспользоваться случаем и хотя бы в общих выражениях, даже не называя Азефа, насторожить мою бдительность, он постарался замести все следы, а через три года сам тяжело пострадал⁶⁸.

68 Роль А.А.Лопухина в разоблачении Азефа скрыть не удалось, он был арестован по обвинению в государственной измене (выдаче государственной тайны), заключен под стражу и в апреле 1909 г. попал под суд. Хотя его адвокатом был А.Я.Пассовер, считавшийся одним из лучших защитников, Лопухин был приговорен к 5 годам каторжных работ с лишением всех прав состояния. Однако Сенат заменил каторгу ссылкой в Минусинск, а в 1912 г. условия ссылки были смягчены и Лопухина перевели

При Третьей Думе мне пришлось прямо услышать имя Азефа. Отбывавшему в петербургских «Крестах» наказание по судебному приговору бывшему депутату этой Думы А.Колюбакину удалось передать из тюрьмы Милюкову, что Азеф оговорил его и меня в том, что мы собирали для эсеров, подготавливавших тогда покушение на жизнь П.Н.Дурново, сведения о его времяпрепровождении. Милюков, чрезмерно дороживший званием депутата, встревожен был тем, что его может постигнуть участь Колюбакина, но оговору Азефа хода дано не было.

Итак, Азеф разоблачен, сенсация такая, что в течение долгих недель в Петербурге ни о чем другом не шумят, ни о чем другом не волнуются. Профессор М.М.Ковалевский пригласил к себе на совещание (помнится, сдобренное блинами) ряд представителей петербургской интеллигенции. Было очень бурливо, речи сыпались, как из рога изобилия. Те, кто знал Азефа, задним числом настаивали, что его поведение не могло не вызвать серьезных подозрений. Другие переносили центр тяжести на предстоящее обсуждение думского запроса, которое должно было нанести серьезный удар правительству.

Среди немногих молчавших внимание привлекал В.Я.Богучарский, которого я искренне любил и очень высоко ценил, – это был один из лучших представителей русской интеллигенции. Однако он не был фанатиком вроде Бурцева, напротив, был человеком весьма трезвым и рассудительным, но все было направлено к одной-единственной цели. Богучарский написал

в Красноярск. В 1912 г. ему было разрешено проживать в Москве, где он сам занялся адвокатской практикой, а несколько позже благодаря приобретенным связям в деловых кругах Сибири занял пост вице-директора Сибирского торгового банка.

обстоятельную историю революционного движения, издавал весьма ценный исторический журнал «Былое», и вся его литературная деятельность тоже была в одну точку. Теперь, при обсуждении значения предательства Азефа, он молчал, на нервном лице отразилось такое тяжелое страдание, что мучительно было на него смотреть. Его угнетала не столько раскрывшаяся вдруг бездна человеческой низости, сколько то, что Азеф облил грязью революционное движение, которое должно оставаться чистым, незапятнанным, и он молчал, ибо смыть грязь никакими словами уже нельзя. Мне тоже не хотелось выступать, потому что внутренне я сильно волновался и еще опасался, чтобы в моих словах снова не стали искать задних мыслей. Но, увидев перед собой страдальческое лицо Богучарского, я решил, что в такой момент нужно сказать все, что думаешь.

Мне казалось, что после разоблачения личность Азефа представляет гораздо меньше интереса, чем принципиальное значение его предательства. Азеф окончательно открылся как страшный злодей, но вместе с тем и как мелкая, гнусная душонка. Можно себе, однако, представить, что, вызванный на суд, такой предатель, вместо жульнических уверток, подтвердил бы двойную игру и объяснил бы ее радением уменьшить количество жертв, которых безжалостно требовала от партии террористическая деятельность. Он мог бы мотивировать свое поведение примерно так: «Если бы я заявил Боевой организации, что для убийства великого князя Сергея придется riskнуть смертью нескольких десятков членов партии, разве кто поколебался бы дать на это согласие. А с помощью двойной игры покушения удавались гораздо вернее и ценой много более экономной. Сообщать о моей роли Боевой организации я избегал только потому, что не желал обременять чужую совесть и всю невыносимую тяжесть предательства отдельных

товарищей, необходимого для поддержания выгодной для партии двойной игры, взвалил на самого себя. Я участвовал и организовал свыше двадцати покушений, в том числе убийства Плеве, Богдановича, великого князя Сергея, подготовил два покушения на государя, не удавшиеся не по моей вине, и вы сами признали, что в истории революционного движения не было более блестящего имени, чем имя Азефа. Теперь же вы знаете, что блестящее имя свое я заслужил ценой страшного груза, которым отягчил совесть в интересах партии. Вот моя грудь – стреляйте!»

Как же в таком воображаемом случае поступили бы судьи Азефа? А разве нельзя, разве не хочется представить себе, что могло быть именно так? Разве в этом не выражается предельное торжество лозунга – цель оправдывает средства? Вот почему меньше всего в данном случае следует интересоваться личностью мерзавца Азефа, а важно обратить внимание на те принципиальные вопросы, которые так властно выдвинуло его сенсационное предательство. Так приблизительно я говорил, опасаясь, что громы и молнии обрушатся на меня. Но не пришлось услышать никаких возражений, и я отнюдь не приписываю это неотразимости высказанных соображений, а скорее тому, что они не вызвали ощущения необходимости серьезно с ними считаться. Разоблачение Азефа послужило тем осуждением террора, которого Столыпин так настойчиво добивался от Второй Думы.

Но правительство тоже упрямо отказывалось извлечь урок из этой дьявольской сенсации. Надо было ожидать, что он так или иначе постарается затушевать свою ошибку и, во всяком случае, отречется от предателя, совершенно бесспорно уличенного в организации ряда убийств. Каково же было мое изумление, когда за несколько дней до рассмотрения в Думе

запроса об Азефе Клячко принес интервью «из сфер», которое устами анонимного сановника (в нем нетрудно было расшифровать самого Столыпина) выгораживало Азефа, изображая его преданным агентом департамента. Я никак не мог этому поверить, убеждал сотрудника, что над ним подшутили, и, приводя логические доводы, спрашивал, неужели он сам не понимает, что Столыпин не решился бы отстаивать предателя. Клячко выходил из себя, отвечал, что не понимает и понимать не старается, но горячо уверял, что сомнениям не может быть места, что интервью вполне серьезно, аутентично и предвосхищает речь Столыпина в Думе в ответ на запрос. С большими колебаниями я напечатал интервью, а затем выступление Столыпина в Думе дискредитировало мою прозорливость, и, передразнивая меня, Клячко язвительно спрашивал, неужели я не понимаю, что не всегда ум бывает кстати, что в политике он может мешать пониманию происходящего.

А что же случилось дальше? Эсеры не задумались и после разоблачения Азефа разрешить одному из членов партии Петрову играть такую же двойную роль. Правительство не усомнилось принять его услуги, и он убил начальника Охранного отделения Карпова, показав на допросе, что действовал по наущению бывшего начальника этого отделения Герасимова, вследствие чего последний с трудом избежал предания военному суду. А еще через год азефовщина снова громко о себе напомнила, когда ее защитник Столыпин сам был убит «сотрудником» охраны Багровым в Киеве, где были приняты совершенно экстренные меры для ограждения безопасности. Создается впечатление, будто азефовщина так сплелась, так выросла в самодержавный режим, что ее уже нельзя было вырвать и нужно было считаться с ней, как с неизбежным злом.

Хочется еще сказать о главном «виновнике» разоблачения В.Л.Бурцева, которому борьба с Азефом обошлась очень дорого. Он сам охотно рассказывал, как измучили его долгие тщетные поиски провокатора, наличность которого в партии все чувствительнее давала себя знать, как однажды, увидев давно знакомого ему Азефа, он вдруг осенен был догадкой, сразу перешедшей в уверенность, что провокатор и есть Азеф, как после этого пошел напролом, подвергая свою жизнь опасности и со стороны эсеров, и со стороны департамента полиции. Тем сильнее должен был подействовать триумфальный успех. Мало сказать, что успех вскружил голову, нет – он нарушил душевное равновесие его: если самое блестящее имя потонуло в кровавой грязи, если величайшего мерзавца можно было принимать за героя, стоящего выше всяких подозрений, – на кого же вообще можно положиться. И теперь у Бурцева, и раньше страдавшего односторонностью, создалась презумпция, одержимость, он всюду чуял провокацию и считал, что каждому можно предъявить требование представить доказательства непричастности к азефовщине.

Встретившись годом позже с Е.Д.Кусковой во Франции, он поручил ей предупредить, что возле меня стоит какой-то опасный провокатор. «Бурцев назвал мне и фамилию, но настолько безупречную, что я возмутилась: „Да после этого, Владимир Львович, вы и меня станете уличать в провокаторстве“, на что он совершенно спокойно ответил: „А как же вы думали, Екатерина Дмитриевна, вам всем теперь нужно ой-ой с какой опаской ходить!“ Я ему заявила, что не считаю себя вправе воспроизводить его квалификацию и потому не скажу и вам фамилии названного им лица. А вернувшись в Петербург, кстати, узнала, что лицо это теперь отошло от вас».

Так и осталось неясным, о ком шла речь, но я ни в малейшей степени не обеспокоился, будучи уверен, что и сам распознаю нюхом провокатора.

Прежде, однако, чем азефовщина отомстила за себя убийством Столыпина, он успел низко уронить и свой личный престиж, и авторитет режима. В этот исторический день, 7 марта 1911 года, мне как раз случилось быть в Мариинском дворце, где вместе с Государственным советом, со стороны Вознесенского проспекта, помещалась и Канцелярия прошений, на Высочайшее имя приносимых. В Канцелярии видный пост занимал мой школьный товарищ. В Мариинском дворце вообще, а в Канцелярии в особенности всегда царили благолепная тишина и порядок, даже на лицах ливрейных лакеев была яркая печать сознания своего высокого положения, и потому я совсем растерялся, увидев и еще больше почувствовав в этом святилище какое-то странное смятение. Товарищ мой просил зайти в другой раз, так как «теперь не до того», и из уклончивых отрывочных замечаний я мог лишь понять, что случилось нечто экстраординарное со Столыпиным в Государственном совете. Я направился туда и увидел зрелище, напоминавшее кулуары Таврического дворца в самые острые моменты Второй Думы: старцы сбились в беспорядочные кучки, оживленно жестикулируя, на неподвижных, словно замаскированных лицах теперь у одних проступала тревога и растерянность, у других светилось злорадство, у третьих непреодолимое желание посудачить. Задержав быстро перебежавшего от одной кучки к другой князя Оболенского, я просил его объяснить, в чем дело, но только он стал рассказывать, как подошел Витте, взяв меня под руку, оторвал от собеседника и с явным торжеством спросил: «Ну что, хорош, а?»

Витте имел основания ненавидеть Столыпина: в черносотенных газетах нападки на бывшего премьера перешли в грязные разоблачения альковных тайн. Витте письмом обратил внимание Столыпина, что не искал защиты цензуры, даже когда критика его правительственной деятельности приобрела совершенно хулиганский характер, но полагает, что наглые оскорбления чести жены его требовали бы вмешательства. «Помните, – возбужденно говорил Витте, – я показывал вам ответ этого господина – дескать, теперь при конституции у нас свобода печати, и он ничего не может сделать – он, который душит газеты штрафами и запрещениями. Вот и показал он свою преданность конституции». И по адресу премьера посыпались выражения тоже не для печати.

Что же, однако, произошло? Государственный совет обсуждал принятый Думой законопроект о введении земства в западных губерниях. Чтобы лишить поляков, составлявших в некоторых местностях численное большинство, преобладания в земских учреждениях, русское население привилегированно выделено было законопроектом в особые курии. Послушная Столыпину Дума согласилась на эту дань националистическому озлоблению, но неожиданно для Столыпина именно правая группа, во главе с П.Н.Дурново, может быть, не столько из государственных соображений, сколько для сведения счетов с властным премьером, выступила против означенного пункта законопроекта и отвергла его, после чего Столыпин демонстративно покинул зал заседания. Внезапно, среди, казалось бы, прочного мира, вспыхнул острый конфликт, который угодливые думские депутаты решили ликвидировать вторичным внесением отвергнутого Верхней палатой законопроекта в Думу. Но Столыпин закусил удила и установил прецедент, которого самодержавный режим до того не знал: под угрозой отставки он предъявил государю ультиматум – распустить на

три дня законодательные учреждения, чтобы иметь возможность провести отвергнутый законопроект царским указом, и наказать Дурново и В.Трепова, которых он считал зачинщиками, временным лишением права заседать в Государственном совете. Это было столь несовместимо со всем укладом и традициями самодержавного режима, что сомневаться в отставке Столыпина было невозможно. Сгоряча увольнение и было решено. «Новое время» пышно выражало свои соболезнования... Однако в последнюю минуту мотив личной безопасности, представлявшейся в руках Столыпина вполне гарантированной, заставил полностью удовлетворить бесцеремонный ультиматум: по уверению дочери Столыпина, царь принес ему безоговорочную повинную, государственные интересы, законность открыто принесены были в жертву честолюбию человека, которого, как выразилась вдовствующая императрица, «никто не знал здесь» (то есть в придворных кругах) и который удачно экспроприировал честь победы П.Н.Дурново над революцией.

Престиж режима был окончательно раздавлен. Произошел резкий перелом настроения. Несколько членов Государственного совета демонстративно подали в отставку, такой же жест сделал председатель Государственной думы. По запросу о неправомерности действий правительства за формулу: «акт роспуска и проведение законопроекта в порядке указа – неправомерны, а объяснения Столыпина неудовлетворительны» – вместе с фракцией кадетов голосовало большинство Думы. Один из видных октябристов Шидловский заявил, что «никого успокоения в стране нет, что, разделившись с крамолой, правительство сеет новую смуту, и первым революционером является администрация». Через несколько месяцев еще более определенно высказалась Дума по запросу о неправомерных действиях министерства внутренних дел. Эта деятельность

признана была «возбуждающей в населении справедливое чувство возмущения, убивающей в народе чувство уважения к закону и власти, препятствующей культурному развитию населения и ослабляющей мощь России».

Если убийство Плеве вызвало чувство удовлетворения в оппозиционных кругах, то драматический конец столыпинского управления вызвал громкий вздох облегчения в сферах. Теперь эсеры сочли нужным отгородиться от убийцы Столыпина Багрова и печатно заявили, что партия никакого отношения к нему не имеет. И наоборот, злейший враг царского режима не осмелился бы вложить в уста государыни поистине чудовищные слова, которые она произнесла в интимном разговоре с Коковцовым: «Если Столыпина уже нет, это значит, что он свою роль окончил и должен был стушеваться. Я уверена, что Столыпин умер (!), чтобы уступить вам место, и что это для блага России».

Таким образом, политический цинизм Столыпина значительно укрепил авторитет оппозиции, роль нашей фракции в Думе со дня на день становилась все более влиятельной и завершилась образованием во время войны Прогрессивного блока под руководством Милюкова. Он превратился в бесспорного лидера Думы, вернее, народного представительства, потому что в блок входили и группы Государственного совета. На администрацию же эта звонкая бравада подействовала как призывной клич: валяй в мою голову! И Россия как бы расчленилась на ряд самостоятельных сатрапий, в коих буквально бесчинствовали щедринские «помпадуры», громкую славу приобрели тамбовский Муратов, одесский Толмачев, ялтинский Думбадзе, нижегородский Хвостов – впоследствии министр внутренних дел.

Однажды пришел ко мне Браудо со странным поручением: «Вчера был у меня приехавший из Нижнего Новгорода раввин и много рассказывал об ужасных притеснениях евреев губернатором. А на днях Хвостов вызвал раввина и заявил, что если „Речь“ не перестанет о нем писать, то за каждую корреспонденцию из города выслана будет еврейская семья. Раввин уверял, что никого в редакции не знает и бессилен повлиять на нее, но Хвостов был непреклонен – если поищите, найдете нужную связь. „Так и знайте – если мне будут досаждают, я и вам буду платить неприятностями“».

«Как же нам быть?» – спросил я. Он не сразу ответил и наконец, выдавливая из себя слова, сказал: «Какой негодай!» Но и это было произнесено без малейшего повышения голоса, просто как констатирование факта, словно речь шла о змее, собирающейся ужалить. Не нужно было спрашивать, чем кончилась беседа Браудо с раввином. Сам же он даже и не поставил вопроса о возможности изменения отношения газеты к необузданному губернатору.

Не для красного словца воспользовался я выражением «сатрапии». Не только фактически, но и официально закон утратил свою силу, и отдельные части империи подчинялись своим особым обязательным постановлениям. Они основывались на так называемом «исключительном положении», изданном после убийства Александра II в 1881 году на три года, но и после введения конституционного строя вся Россия оставалась на положении усиленной и чрезвычайной охраны или на военном положении, которые давали генерал-губернаторам и губернаторам широкие дискреционные полномочия.

В «Праве» напечатан был ряд обстоятельных исследований, выяснивших, что исключительное положение ничего,

кроме разложения государственного аппарата, не принесло. Журнал умалчивал лишь об одном последствии, которым неизбежно чреваты дискреционные полномочия администрации, – об использовании их в целях грубого своекорыстия: незаконные поборы с населения, взяточничество и просто открытое воровство приняли гомерические размеры. Разоблачение этого государственного разврата стало одной из важнейших задач «Речи» и обходилось нам недешево, потому что Столыпин – все на основании дискреционных полномочий – бил издательство по карману высокими штрафами. Но я смею утверждать, что возобновление в это время сенаторских ревизий вынуждено было главным образом нашими разоблачениями и не было ревизии, которая не подтвердила бы обществу их правильности.

Меня, однако, больше волновала забота о моральном оздоровлении общества, борьба с грубой порнографией, исканием сильных ощущений, с кошунственным снобизмом. Огромную роль в этой борьбе сыграли две смерти – С.А. Муромцева и Льва Толстого.

Муромцева нашли утром мертвым в номере московской гостиницы «Националь», хотя он имел свою квартиру, и по Петербургу стал распространяться шепот пересудов и злословия. Я тотчас позвонил в Москву и узнал, что Сергей Александрович все чаще стал ощущать потребность в полном уединении, объяснявшуюся уменьшением сопротивляемости сердца внешним раздражениям. От паралича сердца он и скончался внезапно. Своей неожиданностью его смерть заставила общество восторгнуться, оглянуться и задуматься. Москва устроила председателю Первой Думы, воплотившей лучшие чаяния интеллигенции, необычайные похороны и простилась с ним с такой искренней задушевностью, с таким горячим чувством

благодарности, что зрелище этой необозримой толпы, поглощенной благоговейными воспоминаниями, навсегда оставило глубокий след в сердце каждого участника.

Чтобы дать представление о настроении, которое тогда нами владело, я решаюсь привести отрывок из речи, произнесенной мной в переполненном зале Литературного общества:

«С тех пор как разнеслась по лицу земли русской роковая весть о смерти Муромцева, в ушах неумолчно, точно колокол, звучат слова его, сказанные с новой высокой трибуны с той величавой уверенностью, которая так соответствовала величию момента и так органически свойственна была Муромцеву: „Совершается великое. Воля народа получает свое выражение“. Слова эти звучат теперь тем громче, чем мертвеннее окружившая нас тишина, и звучат они уже не радостным благовестом, а похоронным звоном. Повержено в прах великое. Но не в том беда, что мы потерпели поражение, поражения терпят и лучшие полководцы и самые храбрые войска. Трагизм в том, что мы после этого опустили руки, разуверились в себе, бежим от самих себя и беспомощно мечемся в разные стороны... Словно молнией смерть Муромцева на мгновение озарила пройденный путь, эти ужасные последние годы и нам стало страшно... Мне думается, что те сотни тысяч, которые живой цепью сомкнулись вокруг гроба Муромцева, пришли не для того, чтобы выразить сожаление, а чтобы оплакать самих себя, чтобы вернуться к тому месту, с которого они так безумно сорвались.

Муромцев не нуждается в каких бы то ни было сожалениях, это была личность в полном смысле исключительная. В последние дни мы то и дело слышим: имя Муромцева бессмертно. Не следует этим словом играть. История все заносит на свои скрижали, добру и злу внимая равнодушно. Имя Му-

ромцева станет бессмертным, если мы проникнемся его заветами, если будем дружно стремиться, чтобы свершилось великое, чтобы воля народа получила свое выражение».

Чистосердечно сейчас подтверждаю, что я далек был от мысли приспособить речь к целям педагогического воздействия. Нет, не до того было уже хотя бы потому, что и на себе самом я испытывал гнетущее изменение светлого настроения, болезненно подчеркнутое смертью Муромцева. Прошло после этого еще несколько месяцев, и, с еще более ошеломляющей неожиданностью, обрушилась на русское общество другая смерть. Робость охватывает перед необходимостью дать представление о впечатлении, которое уход и смерть «великого писателя земли русской» вызвали во всей России. Как удачно выразился Чуковский: «Если бы я теперь подводил итоги не только этому единственному году, но целому столетию, целой эпохе, то и тогда прежде всего я должен был бы произнести магическое слово – Толстой».

В течение недели – с момента, как стало известно об уходе, и до смерти – слово это приобрело магическую силу, десятки миллионов глаз были прикованы к никому до того не известной железнодорожной станции Астапово. В этом истинно трагическом уходе как будто сплелся безнадежный узел всех наших затейливых противоречий – непротивление злу и бунтарство, анархизм и самоотречение, безверие и взыскание града нездешнего... Подробности семейной обстановки, как они – в особенности из воспоминаний дочери Александры – много позже выяснились, тогда были неизвестны, и тем сильнее каждый чувствовал себя ответственным, так или иначе виноватым и опозоренным тем, что избранник судьбы, которого нужно было беречь, как драгоценнейшее достояние родины, оказался в безвыходном положении, вынужден был

бросить свой кров и уйти в непроглядную осеннюю ночь, куда-то в неизвестность. И как больно было за глубоко несчастного старого человека, который всю жизнь боролся со своим изумительным гением и теперь, стремясь от всех укрыться, попал в стеклянную западню, на которую со всех концов света наведены были яркие прожекторы.

Наш московский корреспондент чуть ли не первым появился в Астапово, и все в «Речи» отступило на задний план перед подробными телеграфными и постовыми отчетами, очень удачно, с благородной простотой и искренностью изображавшими волшебное превращение станционного домика в душевный фокус всей бескрайней России. Тираж «Речи» (думаю – и многих других газет) увеличился втрое и достиг размеров, до которых больше уже не поднимали его даже и самые тревожные моменты войны и революции. А потом началось паломничество в Ясную Поляну, напряженное ожидание выхода посмертных сочинений, которые немедленно были перепечатаны в десятках изданий, читались с душевным трепетом, как священная книга, и вызвали бесчисленное количество лекций. Я не сомневаюсь, что небывалая судьба великого писателя действительно завладела умом и сердцем миллионов и разбудила усыпленную совесть.

Правительство не преминуло и это благотворное увлечение превратить в политическое событие. Если бы власть хоть только посторонила перед магическим словом. Нет, и на этот раз она себя противопоставила обществу. Несколько томов полного собрания сочинений были конфискованы, в разных городах лекции запрещены, постановления земств об образовании капиталов имени Толстого на устройство просветительных учреждений для крестьян отменены были губернами, равно как и постановления об учреждении стипендий

имени писателя и т. д. Смерть Толстого явилась желанным поводом для объявления обществу открытой войны, для утверждения своеволия власти, принимавшего все более злостный характер. Но чувствительнее всего был разгром высшей школы, произведенный новым министром народного просвещения, ставленником Столыпина – Кассо. Так и выразилась одна рептильная газета, что Кассо «грохает» своими мероприятиями.

В «Праве» к этому времени состав редакционного комитета значительно изменился: ушли Кузьмин-Караваев и Лазаревский, занявший крупную должность в министерстве финансов, зато вошли видные профессора Санкт-Петербургского университета Д.Д.Гримм, А.А.Жижеленко, барон Б.Э.Нольде и М.Я.Пергамент. Из числа наших редакторов Петражицкий, избранный деканом юридического факультета, не был утвержден министром, Гримм, вынужденный отказаться от должности ректора, был, без его согласия, переведен в Харьков и вышел в отставку. Так же поступил и Пергамент, переведенный, против воли своей, в Юрьевский университет. Оба они были типичными добросовестными учеными немецкой выучки, образцово корректными людьми.

Судьбу Гримма и Пергамента разделили сотни профессоров, среди которых были выдающиеся ученые. Факультеты и советы университетов пытались остановить занесенную для удара руку, ходатайствовали о предотвращении расстройств преподавания, общество выражало сочувствие уволенным, студенчество волновалось, и вновь начинались сходки и забастовки, но это, вероятно, только радовало «грохальщиков», как доказательство, что удар рассчитан правильно и оказался весьма чувствительным. Я спрашивал себя, что им, собственно, нужно, ради чего они так настойчиво и самозабвенно стремят-

ся превратить правительство и общество в два непримиримо враждебных вооруженных лагеря? Тогда я лишь испытывал острую тревогу, ощущение, что добром это не кончится...

Совсем особое место заняла инсценировка процесса Бейлиса о ритуальном убийстве. Прецеденты такие в России бывали и на моей памяти и, если не ошибаюсь, всегда кончались оправданием посаженных правительством на скамью подсудимых евреев. Помню также процесс вотяков, обвинявшихся в человеческих жертвоприношениях и тоже оправданных. Я не только был убежден в злостности навета, но представлялось невероятным, чтобы кто-нибудь искренне мог верить ему. А что до министра юстиции Щегловитова, он, во времена нашего сотрудничества⁶⁹, усиленно выражая мне свое уважение, с негодованием говорил об обвинении евреев в употреблении христианской крови. Думаю, эта инсценировка понадобилась исключительно в целях карьерного соревнования со Столыпиным, который сам был сторонником еврейского равноправия. Одним из первых шагов кабинета в 1907 году и было, с ведома государя и согласия всех министров, составление проекта правил об облегчении положения евреев. В течение нескольких месяцев царь держал у себя указ и наконец возвратил его неутвержденным. Правительство, оказавшееся в плену призванных для сокрушения революции черносотенцев, усмотрело в этом укор себе, резко изменило курс и обрушило на евреев груды репрессивных мер. От Щегловитова же требовалось особое усердие, ему нужно было прикрыть ахиллесову пятую

69 Надо напомнить, что до блестящего взлета карьеры и получения должности министра И.Г.Щегловитов активно сотрудничал с журналом «Право» и даже заискивал перед его редактором И.В. есенном, от которого зависели публикации статей авторов.

либерального прошлого, и, когда киевская черносотенная организация решила использовать случившееся в Киеве убийство мальчика, он поспешил к ним навстречу и отдал правосудие в полное распоряжение грязных хулиганских подонков: уволены были чины полиции, не усмотревшие в произведенном дознании виновности Бейлиса, судебному следователю, отказавшемуся привлечь Бейлиса в качестве обвиняемого, грозили дисциплинарным судом, состав присяжных заседателей был бесцеремонно подобран, тайна их совещания грубо нарушена и т. д. А то, что произошло в заседании суда после резюме председателя, было совершенно беспримерно: суд постановил удовлетворить ходатайство защиты о возвращении присяжных заседателей для выслушивания повторных объяснений председателя. Но поверенный гражданского истца, злейший реакционер Змысловский назвал ходатайство защиты неслыханным, и суд отменил свое постановление.

Но почему мне так трудно, так не хочется возвращаться к воспоминаниям об этом деле? Здесь не одно, вполне естественное чувство гадливости... Я ведь не скрываю от себя, что все эти сотни страниц, при всей доступной мне искренности, насыщены страстным субъективизмом, да я отнюдь и не задавался целью излагать хронику событий. Но в данном случае и самому трудно разобраться в своих ощущениях и мучительно касаться не заживающей с тех пор душевной раны. Скажу всю правду: сегодня, размышляя об этом на одинокой прогулке в берлинском парке, я не мог справиться с охватившим меня волнением и удержать горькие слезы... Вспоминаю, что впервые тогда проснулось раскаяние, что, приняв православие, я ускользнул из-под ударов, наносимых соплеменникам, ослабил их фронт, и раскаяние перемешивалось с жгучей ненавистью к злобным стражам еврейской обособленности. Без преследований и угнетений от нее давно осталось бы одно

воспоминание. Те русские люди, в среде которых я вращался, не нуждались в сложных доказательствах, напротив – себя чувствовали виноватыми, считали, что поведение власти свыше меры отягощает совесть русского народа.

Помню вечер, когда, в ожидании с минуты на минуту приговора после тридцатипятидневного разбирательства, мы сидели с нашими друзьями – московским городским головой М.В.Челноковым и женой его: из редакции мне должны были немедленно по получении известия позвонить, и мы все глаза просмотрели, уставившись на телефонный аппарат, который своим тупым молчанием превращался в истязателя. Но прежде чем раздался телефонный звонок, подали срочную телеграмму от Набокова, которого «Речь» командировала в Киев и который затем привлечен был к ответственности за свои корреспонденции. Телеграмма была в одно слово: «Оправдан», и Челноковы, широко крестясь, бросились целовать жену и меня и не переставали твердить: «Поздравьте нас!»

Но накопившееся перенапряжение требовало разрядки и лишило всякого самообладания, я что-то выкрикивал, приблизительно так: «Этого оскорбления никогда не смогу забыть им! Кто смеет оспаривать у меня родину? Никому не уступлю в силе преданности, привязанности, любви, обожания и гордости ею. Не было минуты, когда бы изменил ей делом, словом или даже помыслом – все отдал ей с умилением». Не знаю, таковы ли были слова, но таково, бесспорно, было настроение...

Инсценировку дела Бейлиса нельзя назвать ни преступлением, ни ошибкой – это было просто безумием: кого Бог погубить хочет, того раньше обезумит. В «Речи» я писал: «В течение тридцати пяти дней общественный интерес к процессу непрерывно возрастал и достиг такого напряжения, что ни о

чем больше нельзя было ни говорить, ни думать». Тщетно суворинские газеты напоминали, что есть же и другие важные государственные вопросы. Они все отступили на задний план. В самом Киеве опустели театры и всякие увеселительные места, но активное отношение наблюдалось одинаково и вблизи, и вдали от Киева, и в больших центрах, и в самых отдаленных пунктах. Так или иначе каждому нужно было определить свое отношение и защищать свою позицию. Чем настойчивее и бесцеремоннее было насилие над правосудием, тем громче прозвучало осуждение правительства в оправдательном вердикте присяжных заседателей. Министерство, очевидно, осознало свое поражение и не решилось принести кассационной жалобы, но власть закусила удила и уже не могла образумиться, напротив, еще выше поднялось ожесточение, принимавшее патологический характер. Местные сатрапы совершенно игнорировали центральную власть, а к ним присоединялось черносотенное духовенство. Правительство грозило, отдавало строгие приказы, обращалось к содействию военной силы, а бесчинство продолжалось, и мне пришлось в «Речи» напомнить министерству русскую поговорку: «Молодец против овец, а против молодца сам овца!»

И тогда уже, а еще чаще впоследствии нам возражали, что «Речь» и «Право» – умышленно односторонние, что они недобросовестно прячут все краски, кроме густо-черной, закрывают глаза на совершавшийся именно в те годы подъем экономического и финансового благосостояния страны. Нетрудно было ударить по противникам их собственным оружием. Без конца и на все лады мы повторяли, что мощь России грандиозна, и чем стремительнее она рвется наружу, тем опаснее становятся

препятствия, мешающие ей развернуться. Мощь эта справилась, например, – так отмечал я в ежегоднике – и с «трусом» (землетрясение в Верном⁷⁰), и «мором» (чума на Дальнем Востоке и холера на Юге), и «гладом» (охватившим тогда треть страны), которыми начался минувший год, но быстрое развитие производительных сил, сопровождавшее передышку между двумя революциями и властно требовавшее укрепления правопорядка, именно и обостряло восприимчивость и делало грубые помехи болезненно чувствительными.

В сложившейся обстановке «конституция» оказалась каким-то случайным придатком, неудачно прилаженным украшением, с острыми углами и зубцами, о которые, куда ни двинешься, то и дело зацепишься сановным мундиром, и образовавшаяся дыра обнаружит неприглядную наготу. Естественно поэтому одолевало все усугублявшееся, вплоть до революции, желание уничтожить ненужное украшение, а пока – подальше убрать его и хорошенько запрятать.

Перевал в новый век сопровождался общим умственным утомлением, уклонением, боязнью принципиальных установок, и эти признаки «Право» неоднократно обнаруживало и в иностранной законодательной деятельности. Но их нетрудно было усмотреть и в настроениях тех общественных кругов, которые в силу своей оппозиционности считали себя передовыми. В связи с обсуждавшимся в Третьей Думе проектом преобразования местного суда Международный союз криминалистов обратился ко мне с предложением сделать на съезде русской группы Союза доклад. Мало нового мог я прибавить к тому, с чем выступал во Второй Думе, но доклад имел успех, и

меня просили для следующего съезда разработать специальный вопрос об участии народного элемента в местном суде.

Это участие может быть построено либо в виде отдельной коллегии, ведающей некоторыми функциями судопроизводства, – таково жюри присяжных, автономно отвечающее на вопрос о виновности подсудимого. Другая форма – приобщение народного элемента к судебскому составу для совместного равноправного решения всех вопросов и постановления приговора – таков был у нас для некоторых политических преступлений суд Судебной палаты с участием сословных представителей. Ясно, что между этими двумя видами зияет глубокое различие: первый противопоставляет народный элемент профессиональному и распределяет между ними функции суда, второй соединяет оба элемента для общей совместной работы. Доводов за и против того и другого вида накопилось так много, что они обволокли и закрыли сущность, за деревьями не стало видно леса. У нас суд присяжных был пасынком режима, и уже это одно пробуждало к нему симпатии, а к шеффенам⁷¹ у меня была инстинктивная неприязнь, вытекавшая из глубокого уважения к знанию и образованию. Теперь предстояло свой априорный взгляд обосновать, и, углубившись в работу, я, совершенно неожиданно для себя, пришел к выводам, открывшим доселе неведомые, мало заманчивые горизонты. Безднадежный спор об участии народного элемента в суде показался мне крупницей в общем, я бы сказал, человеческом несчастье.

71 Шеффены – в средневековой Германии члены судебной коллегии, определявшие наказание вместе с судьей; позднее судебные заседатели с разными полномочиями.

Изо дня в день совершая одну и ту же, одну и ту же работу, судья незаметно вырабатывает определенные навыки, усваивает привычки, которые дают возможность значительно ослабить напряжение мысли и внимания и тем самым играют роль благотворную. Но ослабление мысли и внимания сопряжено с умалением интереса к работе, уступающего свое место предвзятости, – тон речи подсудимого, манера держать себя автоматически вносятся в какую-нибудь рубрику выработанной навыками классификации и превращаются в улику, создают презумпцию и являются одним из главных источников судебных ошибок. Тяжущиеся утрачивают доверие к суду, а без доверия нет авторитета. Участие постоянно меняющегося народного элемента вливает живую струю, гарантирует максимальный интерес и внимание и служит ограждением от безжизненной рутины. Но этих преимуществ лишена роль шеффенов: разделяя с судьей всю работу, они лишь затрудняют ее своим невежеством, заглушающим благотворное воздействие народного элемента.

Этот вывод мой и был целиком принят, как постановление съезда, но приведенные соображения решительно никакого интереса не возбудили, напротив, язвительно и наставительно указывалось, что нужно оставаться на почве практической деятельности, а не витать в облаках. А я испытывал недоумение и обиду горькую и уже не решался больше выступать со своими домыслами перед другими, но сам отделаться от них не мог, они глубоко тревожили и все больше приобретали характер навязчивой идеи.

Куда бы я вокруг себя ни взглянул, над чем бы ни задумался, всюду видел торжество автоматизма, деспотическую власть привычки... Вспоминается забавный эпизод. В те годы мы летом уезжали на чудесный французский курорт Аркашон,

отгороженный от бушующего океана уютной бухтой, защищенной от песчаных дюн великолепным вековым сосновым лесом, одуряюще ароматным. Проезжая однажды этим лесом, тотчас после проливного дождя, в двуколке, запряженной лошадьми, мы увидели человека, который переходил от одного дерева к другому, прислонял сучковатую толстую палку, служившую ему и лесенкой; поднявшись по ней, быстро продельвал какую-то манипуляцию и спускался на землю, чтобы то же самое повторить у соседнего дерева. Возница пояснил, что на каждом дереве кора надрезана и укреплена деревянная чашечка, в которую стекает ароматная смола; теперь лесник взбирается на деревья, чтобы опорожнить чашечки от дождевой воды. Нам так привольно жилось в этом райском уголке, ехали мы к океану, чтобы на песчаном берегу отдаться рассыпающемуся пеной приливу, а яркое, торжествующее солнце расплавляло все тревоги и создавало такое стрекозиное настроение, что я невольно вслух сказал: «Боже мой, какое скучное, утомительно однообразное занятие!»

Лесник услышал, повернулся к нам и укоризненно ответил: «Просто работа, месье, как и любая другая!» Как он был прав, этот лесной философ, поделом меня сконфузивший: автоматизм, вытекающий из сущности профессии, действительно все их уравнивает, и если Толстой не прав в своих нападках на судей, врачей, адвокатов, то лишь потому, что извращение профессии принял за сущность ее. А в конце концов, да нет же – прежде всего, самая жизнь есть профессия: каждый из нас, независимо от своей профессии, становится профессионалом жизни, поскольку методически, каждодневно вынужден повторять все те же действия, воспроизводить все безучастнее и покорнее те или другие манипуляции, и под старость – прости, Господи! – все больше напоминает несчастную лошадь, поставленную на круглой площадке, чтобы при-

водить в движение мельницу. Возможно, что презрительное отношение беспокойной духом интеллигенции к размеренному «мещанству» объясняется отталкиванием от автоматизма жизни. Но «богема», считавшаяся противоположностью «мещанству», имела мало привлекательного и становилась уже совсем отвратительной, когда, в свою очередь, неизбежно тоже превращалась в профессию.

Война (1914–1916)

От последней главы веет сумбуром: малое и большое, личное и общественное, случайное и неизбежное – все сплелось в бесформенный ворох. Страшусь дальнейшего и пытаюсь утешиться предположением, что иначе и нельзя отразить господствовавшую тогда сумятицу.

В 1913 году вышел последний том нашумевшего произведения Ромена Роллана «Жан Кристоф», и французская Академия наградила автора большой премией. В России роман имел, пожалуй, еще больше успеха, чем на родине, и оценен был как самое крупное событие. Отчет об иностранной литературе в ежегоднике «Речи» на роковой 1914 год дал известный литературный критик П.Коган, ставший впоследствии ярким большевиком. По поводу «Жана Кристофа» Коган высказал мысль, что «душа современного человека – хаос». Ощущение изнеможения, усталости, точнее – постылости, было доминантой тогдашних настроений. Этого не понимала и не замечала старая гвардия интеллигенции. Она, правда, не сложила рук, не погнушалась погрузиться «в малые дела», к которым презрительно относилась в течение минувших бурных лет, вела энергичную работу на просветительском фронте, рассылая из столиц в провинцию профессоров, молодых ученых, литераторов для чтения лекций, не на политические, а на общекультурные темы, устраивала различные съезды. Новая точка приложения сил была найдена в организации в деревне кооперации, сразу получившей заметное развитие. Но, как отмечалось в том же ежегоднике, интеллигенция «не обнаруживала творчества в приспособлении к широко изменившимся условиям общественной жизни и продолжала действовать по старым традициям в прежних омертвелых рамках».

Идеологический кризис сильнее всего захватил молодежь, никакой разумной заботливой помощи она не получала, а у самой было гораздо больше отваги, чем сил. Лозунгом она выставила «пощечину общественному вкусу» – так и называлась одна из новых литературно-художественных организаций, но сама беспомощно металась в поисках нового. Сколько одних «измов» было придумано: модернизм, акмеизм, эгофутуризм, кубофутуризм, имажинизм и т. д. Привычной одежде противопоставлена была «желтая кофта», и даже членораздельной речи объявлена была война – все хорошие слова, которые так щедро расточались и так воспаляли сердце заманчивыми обещаниями, жестоко обманули и лишились всякого уважения. Долой же эти слова, будем говорить «заумным языком». Эти крикливые потуги тогда представлялись только дурацким кривлянием, эпатированием, тем более что из-под маски борьбы с мещанской моралью нагло проступала порнография. Заполонив литературу, она ринулась на сцену и, начиная с Петербурга и Москвы, во всех театрах вытеснила всякий другой репертуар. Изо дня в день ставилась при полных сборах гнусная пьеса Арцыбашева «Ревность», пьеса, как писал Ярцев, переполненная драками, насилиями, бесстыдными сценами и пустыми словами.

Борьба с общественным разложением была нелегкая, но трудно сказать, на чьей стороне оказалась бы победа, если бы не было *tertius gaudens*⁷² в лице власти, которая держала нейтралитет по отношению к искательству и удовлетворению острых ощущений, а нам ставила на каждом шагу препятствия. На многолюдном съезде женского равноправия я прочел

72 Третья сила (лат.).

доклад о юридическом положении женщины по русскому законодательству, не имевший никакого отношения к «текущему моменту», а когда ко мне обратились сделать второй доклад, администрация запретила выступление только потому, что первый доклад имел успех. Постановка на могиле Муромцева бюста была разрешена под условием удаления надписи «Председатель Государственной думы».

Министром внутренних дел совершенно неожиданно назначен был Н.А.Маклаков, и столица наполнилась слухами, что министр забавляет царскую семью удачным звукоподражанием разным животным. Но кто же, кроме самих посвященных, мог разболтать о том, что делалось в интимном кругу дворца?

Военный министр Сухомлинов окружал себя самыми подозрительными элементами и стал притчей во языцех, добившись от Синода, с грубейшим нарушением закона, развода супругов Бутович, чтобы на разведенной жениться. Бутович оказался весьма ершистым, обратился ко мне с просьбой огласить фальсифицированные документы, что «Речь» и сделала, и Сухомлинов, сдобно разжиревший, с маслянистыми глазами, сам появился в приемной редакции в генерал-адъютантском мундире, чтобы смиренно просить воздержаться от дальнейших разоблачений.

В самом начале 1914 года уволен был и строго корректный Коковцов, и на посту премьера остававшийся даже не министром финансов, а ревнивым хранителем государственной казны, и на его место, в который уже раз, «вынут из нафталина», как он сам выражался, удрученный годами Горемыкин, который и в молодости не способен был ничем волноваться. Со всем серьезно можно утверждать, что с конституционными законами он даже не был знаком и сам определял фактическую

роль премьеры словами: «Я человек подневольный: приказано государем – нужно исполнить, внес министр представление – нужно дать ему канцелярский ход. Нужно считаться с реальным положением и восставать против него нельзя». А реальное положение было таково, что руководство политикой находилось не совсем в руках правительства. В силу вошел «святой черт», Гришка Распутин.

Впервые я услышал эту фамилию лет за пять до войны от начальника Главного управления по делам печати Бельгарда: он пригласил меня не в управление, а домой и необычайно взволнованно, задыхаясь и путаясь в словах, глухими намеками говорил об угрозе династии, о загадочном влиянии «старца», и умолял во имя интересов родины воздержаться от разглашения в печати. Я плохо понимал, в чем дело, расспрашивать нельзя было, чтобы не выдать своего неведения, и обещать ему помалкивать было вовсе не трудно. Но, выйдя от него, я не мог успокоиться, прежде чем не собрал самых подробных сведений об этом уродливом придатке последних лет царского режима, прославленном засим мемуарами, романами, театральными представлениями и фильмами на весь мир. Было ли его появление и роль случайностью? Ощущение бессилия, естественно, пробуждает желание искать помощи у сил сверхъестественных, верить в чудеса. Вспомнилось еще меткое замечание министра внутренних дел Хвостова, объяснившего мне интерес к Распутину тем, что «они там во дворцах привыкли слышать только рабское – „слушаюсь“ – и, когда на таком фоне хитрый мужичок заговорит простым языком, это действует очень сильно».

Непосредственно перед войной звезда Распутина быстро поднималась к зениту, увольнение и назначение министров в значительной мере уже от него зависело, и в связи с этим его

безграмотные каракули, нацарапанные на бумажных обрывках, властно раскрывали все сановные двери. В решающем государственном влиянии Распутина и заключается существенное отличие его от всех прежних незатейливых чудотворцев, и ответственность за это падает не на патологически безвольного монарха и не на больную царицу, а на общество, на так называемые сливки общества.

Вспоминается званый обед у профессора М.И.Туган-Барановского: я сидел между хозяйкой и сестрой хозяина, женой статс-секретаря Государственного совета, разговор по обыкновению шел о Распутине. Совершенно так же, как на отмеченных выше блинах у М.М.Ковалевского, когда сенсацией был Азеф, так теперь соревновались в осведомленности о дворцовых тайнах, копались в пикантных подробностях, каждый старался чем-нибудь позабористей поразить внимание слушателей. Тут меня вдруг и прорвало, я наговорил резкостей, предложив обратить внимание на нашу собственную роль в этом печальном явлении. Легко понять и простить тяготение государыни, верящей в благотворные гипнотические свойства Распутина для здоровья наследника, но ужасно, что все наперебой стремятся использовать эту слабость и заискивают у грязного развратника, прибегают к нему за протекцией, соблазняют подарками и взятками и подставляют спины, чтобы помочь ему взобраться на вершину государственной лестницы. На кого же нам жаловаться и вправе ли мы критиковать? Не будь такой неразборчивости, без нашего содействия и усердия Распутину вряд ли взбрело бы в голову играть политическую роль, да и в дебошах он был бы скромнее и осторожнее, известность его не вынеслась бы за ограду дворцов, а мы сами сделали из него Герострата.

Могущество Распутина представлялось столь безграничным, что даже Витте воспылал надеждой с его помощью вернуться к власти. Сам он, месяца за три до смерти, уверял, что лишь один раз видел Распутина, приехавшего к нему с сомнительным дельцом Г.Сазоновым: «Он произвел впечатление умного человека. Я так и сказал ему, но прибавил, что нам встречаться не следует – мол, ни вам, ни мне не избежать косых подозрительных взглядов. Так я больше его и не видел».

Витте, однако, поведал не всю правду. Когда в 1920 году я стал издавать «Архив Русской революции», мне было однажды предложено приобрести три тома «Дела о Распутине». Один содержал детальнейшие записи приставленных к Распутину филеров о его времяпрепровождении. Я, среди записей о посещении «семейных бань» со встреченной на улице проституткой, о пьянстве в трактире и т.п., перемежающихся с визитами министров и придворных, между прочим, прочел: такого-то числа, в таком-то часу «подъехала на извозчике графиня Витте под густой вуалью и, дав швейцару три рубля, просила проводить ее черным ходом».

Большинство, однако, вовсе и не считало нужным скрывать своих отношений к Распутину: на далеко не фешенебельной Гороховой улице, прославленной помещавшимся в конце ее управлением градоначальника (отсюда и кличка филеров – «гороховое пальто»), у дома, в котором проживал Распутин, всегда стояла вереница великолепных машин и карет, подчас и с ливрейными лакеями на козлах – тут были и сановники, и банкиры, и адвокаты, и литераторы, и скульпторы, и художники, и поклонницы – молодые и старые – вперемежку с уголовными типами. Эта картина неизменно приводила на память

«бестолковую поэму бестолкового студента» Ивана Карамазова⁷³: «Да, время было такое, что, если бы Христос сошел на землю, в лучшем случае он услышал бы: „Зачем ты нам мешаешь? Ступай и не приходи более, не приходи вовсе... никогда... никогда...“» Теперь было время Распутина, и, не явись он, его бы выдумали – разве не выразительна самая фамилия его, а сколь еще знаменательнее, что с юности он, как маятник, качался между распутством и аскетизмом, исканием Бога и грязным омутом, в который Петербург его уже с головой и погрузил.

В такой-то удручающей обстановке с Балканского полуострова, где освободительная война с Турцией разрешилась междоусобной борьбой, стали мерцать зарницы, все ярче освещавшие реявший по Европе призрак войны. Сознание непосредственной опасности войны было вполне отчетливо. Мне, однако, не верилось, лучше сказать – никак не мог конкретно представить себе ее как живую реальность. Я убеждал себя, что тяжелый опыт Японской войны, в которую вступали с такой спокойной уверенностью, должен удерживать от нового риска, много более серьезного. Даже когда за три месяца до убийства эрцгерцога в «Биржевых ведомостях» появилась анонимная статья – интервью под хлестким заглавием «Россия хочет мира, но готова к войне», я склонен был видеть в ней не вызов, не угрозу, а похвальбу, легкомысленную браваду или запугивание. В литературных кругах и тогда уже было известно, что статья написана под диктовку Сухомлинова весьма сомнительным журналистом Ржевским, сотрудничавшим в

73 Иван Карамазов – персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

«Русском слове», которое, однако, отказалось ее публиковать. Для «Биржевки» всякая сенсация была хороша, последствия в расчет не принимались, но в ответ на мой упрек редактор так и объяснил, что газета имела в виду предостеречь противника от решительного шага, что он и сам знает, что утверждение Сухомлинова – «В будущих боях русской армии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов» – очень далеко от действительности. Но именно потому важно внушить впечатление, что мы готовы. А «Речь» без обиняков поставила вопрос: «Не отличалось ли военное ведомство таким же оптимизмом накануне нашего последнего разгрома?»

Угроза и шансы войны открыто обсуждались и у нас, и за границей. А в 1922 году в журнале «Красная новь» опубликована была записка П.Н.Дурново, представленная государю в феврале 1914 года, следовательно, одновременно с упомянутой статьей Сухомлинова, причем Дурново считал войну между Англией и Германией неизбежной и указывал, что столкновение разделит Европу на два вооруженных лагеря, предусмотрел вмешательство Америки и Японии и предостерег против участия в предстоящей бойне. Но никому не могло прийти в голову, что повод оформится в убийство наследника престола, и, когда среди глубокого летнего затишья, усугублявшего ощущение тупика, раздался роковой выстрел, чреватый такими грандиозными последствиями, которых до того история и приблизительно не знала и человеческое воображение и представить себе не могло, – когда раздался этот выстрел, он раскатился так громко, так отчетливо прозвучал боевым сигналом, заглушившим все усилия сохранить мир, что уже и тогда зародилось сомнение, не с той ли целью злодейское преступление и было совершено, чтобы дать толчок.

Как врезалось в память чудесное жаркое лето 1914 года. В отпуск я уезжал по обыкновению осенью, и мы собирались в благословенный Крым, а чтобы мне не оставаться одному в городе, жена наняла дачу на Крестовском острове. Все лето гостил у нас Каратыгин, и жилось очень уютно. Мои мысли были сильно от «Речи» отвлечены – спешно печатался внушительный том «Истории русской адвокатуры», который мне поручено было написать Советом присяжных поверенных к пятидесятилетию судебной реформы. Я очень гордился поручением и был увлечен чтением и правкой корректур. Среди адвокатов я чувствовал себя чужим. Но очень внимательно и участливо следил я по отчетам Совета за профессиональной жизнью адвокатуры и выработал себе убеждение, что весь строй сословия был изуродован и все больше подтачивался заложенной в его основу двойственностью, что адвокатура обречена сидеть между двух стульев. Я не сомневался, что изучение летописей адвокатской жизни подтвердит мой взгляд, наполнит его конкретным содержанием и изложение окажется ладным и соразмерным. Предположения не обманули, и сколько раз я бывал вне себя от восторга, когда наталкивался на объективные данные, оправдывавшие субъективный подход.

Только такой удачей и вызванной ей увлечением я теперь объясняю, что в один год удалось справиться с работой, занявшей 600 страниц, хотя по-прежнему «Речь» отнимала большую часть дня. Меня лишь смущал «социальный заказ» и «юбилейный характер» издания. Не то чтобы нужно было поступаться своим мнением, но требовалась сдержанность, историческая бесстрастность, в которую впервые за тридцатилетнюю тогда литературную деятельность приходилось заковывать себя. Сначала все шло гладко, комиссия, заведовавшая изданием, была довольна и похваливала работу. Недоразуме-

ние обозначилось лишь на последней главе, которая, в силу юбилейного характера издания, должна была открывать заманчивые перспективы, а в действительности разрешалось в тонах минорных – безвременье отчетливо наложило печать и на адвокатуру.

Во время процесса Бейлиса в Петербурге состоялось общее собрание присяжных поверенных, на котором присутствовало около 200 человек, и единогласно решено было послать приветственную телеграмму защитникам Бейлиса. Министерство юстиции отнеслось к этому сурово, в телеграмме усмотрело «наглое обвинение государственной власти в извращении основ правосудия» и предписало Совету возбудить дисциплинарное производство, а параллельно начато было и предварительное следствие, завершившееся скамьей подсудимых для 25 человек. Большинство отделалось установлением своего алиби – кто уехал до принятия резолюции, кто после нее, кто плохо себя почувствовал. Осужденные приговором суда адвокаты были осыпаны приветствиями, в их честь был устроен банкет, говорились горячие речи, вся либеральная пресса встала на их сторону. Но в «Праве» я писал по поводу запоздалого взрыва сочувствия: «Не странно ли, что на банкете, среди ораторов, приветствовавших осужденных, оказались и такие, которые сами принимали деятельное участие в собрании адвокатов и которых поэтому было бы уместнее слышать со скамьи подсудимых и видеть в числе чествуемых».

Этот непривлекательный эпизод характеризует, однако, не адвокатуру как таковую, а вообще тогдашнее русское общество и так и должен быть принят. Такие данные не располагали к радужным прогнозам, и работа моя закончилась страстным спором с представителями редакционной комиссии. Спасибо Н.Тесленко, человеку большого здравого смысла, который

упорнее всех на меня наседали и удерживали от злободневных политических выводов, побудил сгладить излишнее обострение. Адвокатура действительно проявила в полном смысле слова героическую сопротивляемость щегловитовскому насилию над правосудием. Грустно теперь вспоминать о наших спорах, не предвиделось тогда, что в подполье зреет новая власть, которая завершит работу Щегловитова, что мы не историю пишем, а памятник воздвигаем русской адвокатуре. Теперь хотелось бы на памятнике отметить, что в доблестное сказание о русской интеллигенции адвокатура вписала страницу очень яркую.

Почетное поручение написать историю адвокатуры превратилось в подлинное благодеяние: увлечение работой создавало иллюзию укромного уголка, в котором можно было спрятаться от удручающей действительности. Трудно найти слова, чтобы отразить мучительное душевное состояние, овладевавшее мной в редакции. Время как будто остановилось, и среди мертвенного застоя явственно ощущалось приближение рока, вспоминалась сцена из пушкинского «Дон Жуана», когда все громче и громче слышатся зловещие шаги каменного Командора, от которого бежать уже некуда. Нельзя было найти темы для передовой статьи, все было сказано, все вариации использованы, а время стоит, и сегодня можно лишь повторить то, что вчера уже было напечатано.

На многих фабриках и заводах рабочие бастовали, но без пафоса борьбы, а больше автоматически, в силу привычки. В «Речи» я сослался на заявление самих социал-демократов, усматривавших серьезную опасность в том, что «рабочие бастуют по любому поводу». При таких условиях июльский

визит Пуанкаре⁷⁴ должен был еще обострить чувство безнадежности, и «Речь» снова настойчиво предостерегала против опасности националистического шовинизма.

После посылки австрийского ультиматума Сербии Милюков, находившийся в отпуске в Финляндии, вернулся, и во время ночных редакционных бдений надо было подолгу убеждать его смягчать резкость статей, требовавших максимальных уступок от Сербии ради избежания мировой войны: припоминаю двусмысленную обидную фразу: «Нельзя допустить европейского пожара из-за сербских свиней». Фраза напрашивалась не на буквальное отнесение ее к главному предмету сербского экспорта, а на аллегорическое понимание. С величайшим трудом пришлось отторговывать каждое слово, впервые за совместную долголетнюю деятельность я натолкнулся на такое раздражительное упрямство.

Неоднократно в течение дня и поздней ночью, видимо, по окончании заседаний Совета министров, Барк и Кривошеин телефонировали, выставляя себя решительными противниками военного столкновения. Колебания правительства побуж-

74 Президент Франции Раймон Пуанкаре прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с императором Николаем II в июле 1914 г. накануне Первой мировой войны с целью подтвердить незыблемость политического союза Франции и России. Пуанкаре был сторонником жесткой линии по отношению к Германии и исходил из неизбежности грядущей войны. И хотя никакие новые официальные соглашения заключены в ходе визита не были, принимали Пуанкаре в России с большой помпой, демонстрируя тесные союзнические отношения между странами, что вызвало большое раздражение в Германии и Австрии.

дали еще выше поднимать тон, чтобы склонить весы в пользу мирного, хоть и дорогой ценой, разрешения опасного конфликта, и «Речь» в этом отношении шла впереди всех других оппозиционных органов, можно сказать, вела их за собой.

В роковую субботу, начав день по обыкновению с просмотра газет и развернув «Новое время», я всплеснул руками, такой гнусности и ожидать было нельзя. Суворин напечатал статью, уличавшую Милюкова в том, что в последнее его пребывание в Вене он посетил редакцию Reichspost, официоз убитого кронпринца, и в беседе высказал суждения, прямо враждебные интересам «братьев-славян». Этим суворинская газета и объясняла отрицательное отношение «Речи» к вооруженному вмешательству России в защиту Сербии. Я тотчас позвонил Милюкову и услышал, что он уже знает о статье и пришлет опровержение. В редакции я нашел на своей конторке несколько узеньких листочков, густо исписанных мелким, отчетливым почерком.

Только я отослал рукопись в типографию для срочного набора, чтобы корректурный оттиск послать в «Новое время» для напечатания, как позвонил начальник Главного управления по делам печати граф Татищев и сказал, что в столице вводится военное положение и военная цензура, которая, однако, не имеет целью ограничивать свободу суждений. Правительство считает нужным забыть все разногласия и уверено, что вся пресса без различия направлений окажет содействие в борьбе с противником. Я ответил, что он не ошибается, что мы истощили все усилия, чтобы предотвратить безумную войну, но если она уже разразилась, то видим теперь главную задачу в сплочении общественного мнения для борьбы до победного конца.

Я еще ни с кем не совещался, но был уверен, что выражаю не свое личное мнение, а общее мнение интеллигенции, настолько оно казалось ясным, единственно возможным, хотя и обозначало невиданно крутой перелом: ведь это впервые, притом в момент острейшего разлада оппозиция становилась в единый фронт с правительством, объединялась в одном всепоглощающем стремлении. А к этому еще присоединялась внезапная бурная ликвидация удушающего застоя – наконец-то нашелся выход, пусть не выход, а страшный прыжок в неизвестность, но совсем невыносимо было и в тупике.

Приехав ночью вторично в редакцию, я застал большое, но молчаливое сборище. Бросалась в глаза спокойная самоуверенность Набокова, рядом с ним нервный Богучарский, жестоко воевавший со своей несчастной бороденкой, дальше высокий аристократ Философов, друг террориста Савинкова, на другой день в толпе перед Зимним дворцом бросившийся на колени при появлении государя на балконе⁷⁵, рядом с ним

75 Война была объявлена Германией Российской империи 1 (19) августа 1914 г. На следующий день 2 (20) августа император Николай II огласил в Георгиевском зале Зимнего дворца манифест о вступлении России в войну: «Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целостность России и положение ее среди великих держав. Мы неколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные. В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри». В это время на площади перед дворцом собралась огромная, многотысячная толпа патристически настроенного народа, в которой были представители всех сословий. Государь и государыня вышли на балкон дворца,

совсем поникший Браудо, удрученный тревогой за завтрашний день еврейского народа. Несколько дам сидело вокруг стола. Настороженное молчание громко говорило, что обычные разногласия, вызывавшие беспорядочные споры, были сметены вихрем войны.

Все с нетерпением ждали корректурного оттиска ответа Милюкова на статью «Нового времени», считая выходку официоза мрачным предзнаменованием. Так оно и вышло: около двух часов, когда я уже подумывал об отъезде домой, меня вызвал к телефону Татищев. Под впечатлением дневной беседы я готовился услышать какое-нибудь благожелательное пояснение о пределах цензуры, но смущенный тон сановника ничего хорошего не обещал. «Я вынужден сообщить вам печальную новость – „Речь“ закрыта».

«Что же это значит?» – спросил я, не успев еще вернуться к печальной действительности. «Я и сам не понимаю. Распоряжение исходит от великого князя. Сейчас к вам придет чиновник, чтобы исполнить распоряжение, но я хотел предупредить, чтобы вы после нашего дневного разговора не сочли меня лицемером».

«Да вы шутите!» – воскликнул Милюков, когда, вернувшись в общую комнату, я повторил полученное сообщение. Несомненно, что и лицо, и голос мой не могли оставить места для предположения о шутке, и восклицание было инстинктивной попыткой самозащиты от оглушительного впечатления. Я так больше ни слова и не произнес и сразу решил, что война лишь увеличивает шансы и размер неминуемой катастрофы.

чтобы приветствовать пришедших, чем вызвали у них большую экзальтацию.

Но кажется, что и никто из присутствующих ничего не сказал, молча, избегая смотреть друг другу в глаза, разошлись.

На другой день великий князь Николай Николаевич назначен был Верховным главнокомандующим, и закрытие газет вышло из его компетенции, но в субботу он был еще командующим Петербургским военным округом и не упустил случая воспользоваться предоставленными ему военным положением полномочиями, чтобы сделать единственный, но столь выразительный жест.

Запрещение «Речи» вызвало немалое смущение и в правительственных кругах. Не говоря о бурно возмущавшемся Родзянко, которому Милюков еще ночью об этом сообщил, и Кривошеин, игравший тогда первую скрипку в Совете министров, ахнул от неожиданности, и даже выдавший виды Горемыкин, на которого набросился председатель Думы, пожимал плечами и обещал на предстоявшем провозглашении манифеста в Зимнем дворце «переговорить». Через день запрещение было отменено под условием, однако, что в газете будет напечатано объяснение, комментировавшее эту меру. Так Набокову и мне сообщил Гулевич, новый начальник штаба, и немало пришлось потратить слов, прежде чем удалось добиться в переговорах с Татищевым более или менее приемлемого для редакции текста.

Во время беседы Гулевич, круглолицый, краснощекий генерал, сообщил нам первую военную реляцию: крейсер «Аугсбург» бросил «несколько бомб в Либаву». Ничего неожиданного в этом не было, но меня совсем скрючило от этого известия, и я вышел шатаясь.

А потом и пошло... Каких душевных мук стоило первое посещение раненых в госпитале и какую оскомину оно надолго по себе оставило! Чем сложнее и запутаннее было интелли-

гентское отношение к войне, тем страшнее представлялось взглянуть в глаза раненому. Ведь я прочту в них сокрушительное обвинение, грозное требование ответа на вопрос, ребром поставленный Иваном Карамазовым брату Алеше: «Согласился бы ты возвести здание судьбы человеческой на неоправданной крови? Скажи и не лги». Как устою перед таким вопросом? Я взял на подмогу неистощимого балагура Чуковского, но в ней надобности не оказалось: в госпитале были только легкораненные «солдатики» (по тогдашнему сюсюкающему выражению), изо всех сил старавшиеся не ударить лицом в грязь в роли героев, и их топорно стилизованные рассказы о боевых приключениях выпячивали какую-то оскорбительную развязность. Впрочем, все это было только спервоначала, а потом и к тяжелораненым приобвыкли, и фантазмагорические цифры убитых автоматически прикидывали – пожалуй, одна только привычка и вышла победительницей из катастрофы, и даже еще возвеличившись в своем воздействии на человека.

* * *

От заманчивой поездки в Крым пришлось отказаться, и уже ранней осенью, после невероятного разгрома Самсоновской армии⁷⁶, сменившего бравурное наступление на Восточ-

76 В ходе Восточно-Прусской операции 2-я русская армия под командованием генерала А.В.Самсонова была разгромлена и выведена из строя. Потери составили 6 тысяч человек убитыми, а общие потери (убитыми, ранеными и пленными) – 56 тысяч человек. Два армейских корпуса были полностью взяты в плен, 10 генералов из числа командующих армией погибли, 13 оказались в плену, противник захватил около 230 орудий. Сам генерал Самсонов не пережил поражения; по распространенной

ную Пруссию, на наших воскресных собраниях гремели споры, принимавшие, по русскому обычаю, неприятный характер личных выпадов и подозрений. Сложилось так, что за обедом сторонники «до победного конца» и противники войны рассаживались друг против друга за прямоугольником стола, и похоже было, что наступает рать на рать. Решительным и все более ярым пацифистом выступал Бенуа, умный, талантливый и широко образованный, а самым шумным противником его был молодой сотрудник наш в офицерской форме, Альхавн, впоследствии убитый бомбой на персидском фронте. Душой я всецело сливался с Бенуа, но понимал, что сбросить с себя ярмо войны никак нельзя. Поэтому в течение нескольких месяцев я и в «Речи» не в состоянии был ни словом обмолвиться, чувство протеста надо было всячески подавлять, ибо оно заставляло лишь острее чувствовать неизбежную тяжесть. Мне казалось, что я навсегда утратил способность писать. С первой минуты стало непрерываемым, что войну так или иначе придется довести до конца, и представлялось совершенно неопостижимым распространенное утверждение, что в один прекрасный день правители опомнятся и скажут: баста! Потрепали хорошенько друг друга, пора и по домам разойтись. Возможно ли такое открытое признание бессмысленности кровавой бойни? Кто же сам себе выдаст такой аттестат? Нет! Хочешь не хочешь, дерись «до победного конца».

Споры сразу обрывались при появлении Милюкова, с ним никто не решался вступать в прения, считая это бесцельным. «Дарданеллы» действительно превратились у него в навязчи-

версии, он застрелился, находясь в окружении. Трагедия 2-й (Самсоновской) армии произвела крайне тяжелое, гнетущее впечатление на русское общество.

вую идею⁷⁷, мешавшую следить, оценивать и приспособляться к меняющейся обстановке.

После первого бурного года, чередовавшего восторженные надежды с тяжелыми разочарованиями, полевые действия сменились позиционной войной, принявшей затяжной изнурительный характер. Никто этого не предвидел, не мог представить себе, психически вместить такую продолжительность. Прежде говаривали, что для войны нужны деньги, деньги и деньги. Теперь выяснилось, что важнее – нервы, нервы и еще раз нервы. У нас, как, впрочем, и везде, нервов не хватило, и усталость все больше давала себя знать.

Да, нервов у нас не хватило. Когда в 1918 году Троцкий отказался от подписания мира и выкинул лозунг – ни мир ни война! – это вызвало недоумение и насмешки. А года за три до этого прожил несколько дней у нас приезжавший с рижского фронта друг сына моего Ф.А.Степун, очень одаренный и образованный философ. Блестящий собеседник, он говорил мне (позже формулировал точно в своих замечательных «Письмах прапорщика-артиллериста»), что «России не следовало принимать вызова на войну, а поднять святые и чудотворные иконы и без оружия выйти навстречу врагу. Как ни безумно звучат эти слова, серьезных возражений я себе не вижу». Возражений Степун не находил, но, оправившись от повреждения ноги, вернулся на фронт, чтобы снова наводить артиллерийское орудие. Звучание «безумных слов» заглушалось раздра-

77 П.Н.Милюков, будучи сторонником войны «до победного конца», выдвигал требование передать России контроль над проливами Босфор и Дарданеллы после ее победоносного окончания, за что получил шутовское прозвище Милюков-Дарданелльский.

ющим душу криком все того же Ивана Карамазова: «Все позволено!», безоглядным прославлением убийств, человеческих гекатомб.

До сих пор стоит перед глазами лубочный плакат, изображающий богатырем казака Крючкова с красной озверелой физиономией, увешанной орденами грудью и огромной пикой в руке, на которую насажена добрая дюжина корчащихся в судорогах врагов. Мы еще не оправились от потрясения общественной психологии, которое произвели бомбы революционеров и виселицы военно-полевых судов. Но тогда все же раздавался протест, теперь убийство признавалось и стало основной задачей государственной деятельности, поглотившей все потребности социального уклада. Украшением домашней обстановки сделались привозимые с фронта гостинцы – орудия смерти. Из страшного незваного гостя смерть превратилась в неотвязного захребетника. Не было пушкинского «упоения в бою», которое таит «неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог» – в лучшем случае ожидала «могила неизвестного солдата». Обесценение жизни, утрата смысла ее сопровождалась легкой наживой, деньги, как и жизнь, стали нипочем, и этот реактив дал осадок туманящего дурмана.

Противодействие влиянию дурмана, и само по себе представлявшее задачу очень трудную, парализовалось – нельзя уйти от этой квалификации – упрямой злонамеренностью власти. Наделенная чрезвычайными полномочиями и вместе с тем вытесняемая со своих позиций бесконтрольными распоряжениями начальника штаба Верховного главнокомандующего Янушкевича, вымещавшего на несчастной родине свою военную бездарность, власть дошла до полного распада, среди которого непоколебимо стоял и безвозбранно царил один

Распутин. Страницы «Архива Русской революции», на которых напечатаны протокольные записи Совета министров того времени, и задним числом возбуждают жуткое чувство, тогда – можно сказать, к счастью – мы всех потрясающих подробностей не знали. Но и то, что происходило на открытой сцене, на глазах у всех, вселяло тупое отчаяние. Об обещаниях Татищева, что цензура несколько не стеснит свободы суждений, даже неловко стало вспоминать. Положение о цензуре так было составлено, что применение в полном объеме должно было вообще ликвидировать ежедневную прессу. На совместном заседании представителей военной и гражданской цензуры с редакторами газет это было единодушно обеими сторонами констатировано и милостиво постановлено представлять на предварительный просмотр лишь отдельные корректурные гранки статей, имеющих отношение к военным вопросам.

Вместо требуемого нелепым законом осуществления цензуры при штабе главнокомандующего, она приютилась в Петербурге⁷⁸, при «Комитете по делам печати», строгий неисполнимый закон заменен был произволом. Военные цензоры действительно ничем, кроме статей о военных действиях, не интересовались, но все наши старые знакомые гонители свободного слова превратились тоже в цензоров и настойчиво раздвигали пределы ведения цензуры.

78 После начала Первой мировой войны Санкт-Петербург 18 августа 1914 г. из патриотических соображений был переименован в Петроград. Многие жители города не признали это переименование, сочтя его «позорным». И.В.Гессен по-прежнему называет в своих мемуарах Петроград Петербургом и после переименования столицы.

Дня не проходило, чтобы ту или иную газету не постигла кара – штрафы достигали размеров в 10 000 рублей, но худшим наказанием была налагаемая обязанность представлять на просмотр и калечение весь материал газеты: это задерживало своевременный выход и обесценивало ее до последней степени. Чтобы оправдаться перед читателями, мы прибегали к уловке – вычеркнутые пассажи сохранялись в виде пробелов, но правительство поняло значение демонстрации, и началась борьба из-за «пустых мест», которые то запрещались, то вновь – и это было уже крупным завоеванием – разрешались. Тяжесть положения осложнялась еще и тем, что Москва не считалась состоящей в районе военных действий, как Петербург, вследствие чего газеты пользовались там большей свободой и стали завоевывать петербургский рынок. Это было тем более чувствительно, что по своему центральному территориальному положению Москва всегда имела более широкий район сбыта, а теперь, по мере продвижения противника на русскую территорию, наш район все суживался.

Невыносимый гнет заставил наконец подумать о сплочении и организации: инициатором явился представитель оштрафованной на 10 000 рублей газеты «День» П.Е.Щеголев, известный пушкинист. За обедом у «Медведя» состоялось первое собрание редакторов петербургских ежедневных газет, о котором так живо напоминает подаренный мне уже здесь фотографический снимок. Большинство было мне до того незнакомо, и чем внимательнее я вглядывался в руководителей общественного мнения, тем жирнее расплывался перед глазами вопросительный знак, тем сложнее казалась загадочная картинка.

Вот два брата Суворины, унаследовавшие от талантливого отца созданное его руками крупнейшее газетное и книжное

предприятие, – не следует удивляться, если они оказались не на своем месте. Старшего отцовское завещание предусмотрительно назначило пожизненным редактором, и это была бы весьма приятная синекура, если бы вместе с хомутом редакторских функций, в который никому и в голову не приходило впрягать его, можно было еще освободиться от представительства, требовавшего напористости, инициативы, разговоров, а его стихией было мрачное молчание. Но неусыпная природа с лихвой возместила это молчание болезненной говорливостью младшего брата, подстегиваемой азартным употреблением алкоголя. Азарт лежал на всем его поведении, и запальчивость, с какой его вечерняя газета травила немцев – крупные промышленные предприятия, – трудно было объяснить одной патриотической ревностью. Случайное исключение мог представлять и князь Э.Э.Ухтомский – он сопровождал Николая II, в бытность его наследником, в путешествии на Дальний Восток, которое потом в высокопарных выражениях описал в роскошно изданном томе⁷⁹, после чего и получил в аренду казенный орган «Санкт-Петербургские ведомости». В противоположность такому же московскому органу «Московские ведомости», «Петербургские ведомости» ни малейшим влиянием не пользовались, мало читались, но представляли собой выгодное коммерческое предприятие, так как там печатались хорошо оплачиваемые казенные объявления. Внешность маленького пухленького замухрыжки ничем не выдавала

79 Иллюстрированная книга Э.Э.Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича» (СПб., Лейпциг: Ф.А.Брокгауз, 1893–1891) была издана в трех томах.

аристократического происхождения, он, казалось, и княжеское достоинство держал в аренде.

В общем, наследование, родство и связи не могли играть заметной роли в журнальной среде, тут, напротив, было много самородков, своим горбом добивавшихся выдающихся успехов на газетном поприще. Я уже упоминал о Проппере и Сытине, таким же был и редактор «Петербургской газеты» С.Н.Худеков, которым я всегда любовался, как музейным сокровищем. Высокий, не по летам (ему было уже под восемьдесят) стройный и бодрый, с пышными усами на вытянутом, с резкими чертами лице... Его роскошный особняк содержал богатое собрание картин, замечательные коллекции старинного серебра, но больше всего он гордился единственной, по его словам, коллекцией фарфоровых статуэток, изображавших балерин. Радушный хозяин, он усердно потчевал и всегда приготавливал сюрприз в виде «бутылочки» какого-нибудь необыкновенного вина. Мне он неизменно объяснялся в любви, уверял, что читает не свою газету, а «Речь», которая ведется прекрасно, за исключением, однако, «пристрастного городского отдела». Он был гласным Городской думы, принадлежал к партии так называемых стародумцев, склонных по старинке смешивать городское хозяйство со своей вотчиной. «Речь» вела войну с ними, и, вероятно, неумеренные похвалы должны были склонить меня к тому, чтобы «пристрастие» упразднить или хотя бы смягчить. «Петербургская газета» живописала общественный и домашний быт. Эти описания почтительно читались обывателями, вплоть до швейцаров и старших дворников, но за ними ревниво следили и сановники, вплоть до министров и их жен – упомянуто ли их присутствие на балу или параде, точно ли описано платье супруги и дана ли ему достойная оценка.

Необычайной словоохотливостью отличался редактор «Колокола» В.М.Скворцов, сын священника, официальный судебный эксперт по делам гонимого Победоносцевым религиозного сектантства. Вино действовало на него очень сильно, и тогда языку не было никакого удержу. Общий смысл болтовни был тот, что «вы и не догадываетесь, какие там сидят люди». С пьяными слезами он жаловался, что «за малые деньги, ничтожные субсидии» правительство предъявляет ему строгие требования и каждого нового министра он обязан прославлять как спасителя России.

Грандиозное предприятие создали из ничего три репортера Коган, Городецкий и Катловкер. Городецкий рассказывал, что однажды он явился к знакомому банкиру и попросил займы денег для основного капитала. «Сколько же вам нужно?» – «Мы рассчитали, что меньше чем восьмью тысячами не обойдемся». – «Ну, уж и восемь. А если я вам четыре дам?» – «Я низко поклонюсь вам, – был ответ, – потому что я ведь заранее знал, что, какую бы цифру ни назвать, вы сократите наполовину».

Эти четыре тысячи и создали возможность выстроить громадный дом, в котором помещалась отлично оборудованная типография, и организовать небывалую еще в России газету «Копейка», сразу приобретшую очень высокий тираж. Представителем ее был А.Э.Коган, добрейший и милейший человек, на редкость талантливый – издававшийся им в Берлине журнал, шедевр художественной техники, правильно носил сказочное имя «Жар-Птица» и создал А.Э.Когану видное положение в одном из крупнейших берлинских издательств.

Непременно опаздывая, с неизменным извинением: «Как вам сказать – я был очень занят», – появляется Проппер, в сопровождении двух своих глухо враждующих между собой

редакторов – Гакебуша и Бонди. Мрачный, косопалый, исподлобья смотрящий испытующим взглядом злых глаз и в каждом подозревающий мерзавца, Гакебуш начал свою деятельность с литературных низов в Москве и приглашен был Проппером Милюкову и мне на смену. Гакебуш убедил Проппера тряхнуть мощной и сумел высокими гонорарами привлечь в газету видных литераторов, начиная со Струве, и превратить утреннее издание – острой пряной разноголосицей – в распространенную газету, конкурировавшую с «Речью». О своем коллеге Бонди, смазливом и крикливом, Гакебуш отзывался с величайшим презрением – «нам, мол, деньги тяжелым трудом достаются, а ему смазливая харя ворожит». Когда же потом Гакебуш, сойдясь с министром внутренних дел Протопоповым и получив от банков огромные деньги, основал новую газету «Русская воля» и увел из «Биржевых ведомостей» лучших сотрудников и заведующих коммерческой частью, Бонди открыто называл его уголовным преступником. Но при Проппере Гакебуш держался по-молчалински.

Здесь я имею случай снова подчеркнуть противоположность между Москвой и Петербургом: когда вскоре наше общество из петербургского объединения превратилось во всероссийское и пришлось познакомиться с представителями московской прессы, я увидел людей куда более интеллигентных и высокообразованных.

В первом заседании от неожиданности ярких впечатлений я растерянно озирался кругом, прислушивался и только к концу обеда вспомнил, что мы собрались не для того, чтобы «будем знакомы», как все повторял М.Суворин, а для обсуждения устава, которое, впрочем, много времени не потребовало и разногласий не встретило. Момент оказался весьма подходящим. Под влиянием тяжелых военных неудач отставлены были

наиболее ненавистные министры – Маклаков, Саблер, Сухомлинов, Щегловитов, и никто не знал, в каком направлении новый политический ветер переместит острие цензуры. Только благодаря этому и удалось выставить основным началом нашего общества исповедание свободы печати.

Вскоре общество приобрело большую притягательную силу с неожиданной стороны: призывы ратников ополчения на военную службу опустошали ряды типографских рабочих, конторских служащих и редакционных работников и вносили все большее расстройство. Мы решили ходатайствовать о причислении газет к «предприятиям, работающим на оборону», на которые призыв не распространялся, но, по настояниям Б.Суворина и Щеголева, не включили в ходатайство сотрудников газет. Это и произвело, по-видимому, благоприятное впечатление на нового министра, суетливого Поливанова, жаловавшегося, что он буквально завален ходатайствами со всех сторон, но «вам, конечно, отказать нельзя». С этого момента и поднялся значительно интерес к участию в обществе, и нашему секретарю Щеголеву немало пришлось корпеть над списками подлежащих освобождению от призыва рабочих и служащих, в число коих, что греха таить, стремились проскочить и газетные работники. При проверке их тщательно отсеивали, но в отдельных случаях приходилось, во внимание к сложным семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и т.п., закрывать глаза.

Иной характер носило выполнение основной задачи – борьбы с военной цензурой. Это было настоящим хождением по мукам, выпадавшим главным образом на М.Суворина и на меня (сначала он был избран председателем, я – товарищем, а потом наши роли переменились). Тогда всю разыгралась министерская «чехарда», и с каждым новым премьером и

министром нужно было говорить наново. Первый визит был к князю Щербатову, светлому блондину с красивым, чисто русским лицом, располагающим к себе. Назначение князя явилось большой неожиданностью, его стаж – воспитание в Пажеском корпусе и управление государственным коннозаводством – не давал оснований к занятию поста министра внутренних дел.

Мы были приняты князем на казенной даче на Аптекарском острове. Крошечная приемная полна была разных депутатов, окрыленных надеждой на упразднение маклаковского гнета. Я стал читать ему составленную записку о злоупотреблениях военной цензуры, уничтожившей всякую грань между военной тайной и общеполитическими темами. «Для выяснения характера распоряжений цензуры, – говорилось между прочим в записке, – и беспредельного произвола достаточно отметить, что, напечатав на днях беседу вашего сиятельства с газетными сотрудниками, пресса нарушила разосланный за несколько дней до этого циркуляр, запрещавший всякое упоминание о созыве Государственной думы, а это, однако, составляло важнейшую часть вашей беседы». Князь слушал с таким рассеянным видом, что у меня язык прилипал к гортани. Но вот я упомянул о другом циркуляре, воспрещавшем, по распоряжению Маклакова, «сообщать что-либо о свадьбе фрейлины Х. с чиновником министерства внутренних дел», и князь сразу оживился, он сам был на фрейлине женат и вдруг услышал нечто знакомое. «Не может быть. Такой циркуляр вы получили?» – «Вы правы, князь, мы тоже глазам отказываемся верить, получая такие распоряжения. К тому же они и нелепы. Я, например, и фамилии эти впервые слышал. А если бы и знал, разве серьезная политическая газета вздумала бы о таких пустяках сообщать?» – «Конечно, конечно. Обещаю вам этим вопросом непосредственно заняться».

Он и поручил начальнику главного управления Катенину составить обстоятельный доклад, а тот, опираясь на Горемыкина, которому пресса всегда была органически противна, сочинил проект о полном восстановлении предварительной цензуры в расчете на неосведомленность Щербатова. Благодаря царившему в правящих кругах разладу нам удалось своевременно разоблачить коварный замысел, в последнюю минуту Совет министров снял с очереди поставленный на повестку заседания проект, а Катенин зря просидел в канцелярии Совета, в ожидании приглашения в заседание, а вечером позвонил и сладеньким голоском поздравил меня: «Слава богу, опасность миновала, предварительной цензуры не будет». Вскоре Катенину самому пришлось уйти в отставку, чтобы через год, уже перед концом режима вновь быть назначенным Протопоповым на ту же должность.

Вообще в связи с чрезмерным расширением компетенции военной власти за счет гражданского начальства и возникшей между ними враждой создалось положение весьма курьезное: военная власть дорожила прессой, старавшейся популяризировать задачи войны, отнюдь не интересовалась отношением печати к правительству и потому склонялась в нашу пользу. С другой же стороны, все ускорявшая темп министерская чехарда лишала сановников всякой устойчивости, они побаивались газетной гласности, и некоторые грубо юлили и заискивали у общества. А по существу в недрах Совета министров, в особенности при Горемыкине, «обуздание печати» было всегда на первом плане, и мы стонали в железных тисках цензуры.

Как только ставился на очередь вопрос о печати, так разногласия среди министров сменялась унисоном, в котором каждый старался взять более высокую ноту: Горемыкин делал вступление указанием, что «печать черт знает что себе позво-

ляет», джентльмен Щербатов предлагал «удар в морду», но опасался «протестов, запросов и скандалов в Думе», Харитонов уверял, что правые органы не лучше левых, что нужно закрыть те и другие, чтобы «дать почувствовать на собственном кармане», Хвостов предлагал воздействовать на банки, «от которых зависит большинство независимых газет», Горемыкин успокаивал насчет Думы, которую можно распустить, и т.д. Но для решительных мер уже не хватало размаха, подтачивало сознание бессилия, и так партизанская война между прессой и властью и продолжалась с возрастающим ожесточением до самой революции.

В сущности, в самое ответственное время, когда решались исторические судьбы родины, ею управляли два человека: на фронте одуревший от неограниченной власти Н.Н.Янушкевич, презрительно игнорировавший все интересы и потребности тыла и свысока третировавший и Совет министров, а внутри государства – Распутин, распоряжавшийся смещением и назначением министров и силившийся оказать влияние и на ход военных операций. Между этими двумя роковыми фигурами возникло единоборство, и победил Распутин: великий князь, которому он был обязан своим проникновением в царский дворец, должен был уступить верховное главнокомандование царю, а с ним ушел и Янушкевич. Уже при объявлении войны царь имел в виду стать во главе командования, но тогда все министры единодушно отговорили, и теперь возродившееся намерение царя осуществить первоначальный план представлялось новым тяжелым бедствием, нависающим над родиной⁸⁰. Было нечто прямо бесовское в резко изменив-

80 Удивительно, как недоброжелательное отношение к Николаю II не давало его современникам замечать очевидное. Великий

шемся общественном настроении. Вчера видели величайшее зло в Янушкевиче, застилавшем собой фигуру великого князя, сегодня все колебались между надеждой и опасениями, удастся ли отвратить государя от его намерения, грозившего сосредоточением всей власти в руках Распутина, и сохранить Ставку в прежнем виде, хотя бы и с ненавистным Янушкевичем.

Назначением Щербатова, Самарина, Поливанова, знаменовавшим уступку общественному требованию, и открылась министерская чехарда. Перечитывая теперь свой обзор внутренней жизни в «Речи», я и сам не могу справиться с мельканием фамилий сменяемых и назначаемых министров. Я отмечал, что «срок пребывания на посту исчисляется уже даже не

князь Николай Николаевич на посту Верховного главнокомандующего, несмотря на громкую славу военачальника, допустил в первый период войны ряд просчетов и тяжелых поражений, сдав противнику западные территории Российской империи. Николай II имел серьезное военное образование – еще будучи наследником-цесаревичем, он по настоянию отца прошел курс Военной академии Генерального штаба под руководством лучших из преподававших там профессоров (к такому необычному слушателю они приезжали «на дом», во дворец). В 1915 г. на фронте ситуация складывалась катастрофически для России – военные историки называют первую половину года «Великим отступлением»; за пять месяцев потери русской армии составили 1,5 млн человек – 500 тыс. убитыми и пропавшими без вести и около 1 млн попавшими в плен. Императору, принявшему на себя верховное командование армией 19 августа (1 сентября) 1915 г., в самый тяжелый для нее момент, вскоре удалось стабилизировать фронт по линии Рига—Пинск—Тарнополь (Тернополь), и дальше противник не прошел, а гигантские потери, не соизмеримые ни с чем, в армии прекратились.

месяцами, а неделями», приводил случаи, когда назначенный сановник даже не успевал вступить в должность и когда, наоборот, уволенный снова возвращался на свой пост. За попытку отговорить царя от верховного главнокомандования Щербатов и все назначенные одновременно с ним министры были удалены со своих постов. Преемником ему выбран был нижегородский губернатор А.Н.Хвостов, теперь член Государственной думы, звучно игравший на антинемецкой струне. Надо было опасаться, что дни «Речи» сочтены, но он начал с приглашения членов нашего общества для беседы: «Что толку было бы подписать несколько десятков докладов, которыми меня засыпали, а общественное мнение не знало бы моей программы? Я бросил все и прежде всего решил вступить в личное общение с вами, играющими в это сугубо ответственное время такую важную роль». Уродливо тучный, с юношески свежим бледным лицом и темно-серыми умными, проницательными глазами, он поражал своей подвижностью и очень ловко парировал прямые вопросы о намерениях: «Как я отношусь к Думе? Что за вопрос – ведь я сам член Думы и звания этого с себя не сложил. Я первый русский министр, носящий это звание. Будет ли созвана Дума? Вопрос о созыве законодательных учреждений решен до моего назначения».

Обычно при таких собеседованиях министр бывал окружен блестящей свитой своих подчиненных, и теперь тоже Катенин и другие почтительно ждали у входа, но, небрежно кивнув, Хвостов на ходу громко сказал: «Мне никто из вас не нужен», а беседу с нами закончил словами: «Я знаю, вы недовольны Катениным, уберу его и назначу лицо, достойное стоять во главе цензурного ведомства. Зато от вас жду содействия главной задаче – урегулированию продовольственного вопроса и снабжения армии». Я воспользовался демонстрацией благоволения и обратил внимание на жестокою несправед-

ливость по отношению к В.Л.Бурцеву, который в патриотическом одушевлении вернулся из эмиграции на родину, а его отправили в ссылку. Ни минуты не задумавшись, Хвостов обещал освободить Бурцева и – правда, после нескольких напоминаний – обещание сдержал. Такая тактика, в связи с решительным тоном и подвижностью, заставлявшими предполагать необычайную энергию, производила в тогдашней расслабленной обстановке сильное впечатление даже и на людей незаурядных и вдумчивых. Я был очень удивлен, когда барон Нольде, иногда присутствовавший по службе своей в заседаниях Совета министров, с увлечением рассказывал, что именно такой человек, с твердой волей и энергичной решимостью, теперь и нужен и что Совет министров, безнадежно завядший под мертвящим влиянием Горемыкина, вдруг ожил, и потому можно ждать серьезного улучшения положения.

И партнера Хвостов подобрал себе совсем под стать. Не партнера, а сообщника! Товарищем министра назначен был С.П.Белецкий, уволенный с поста директора департамента полиции. Его деbeatая фигура с неприятным голосом, вкрадчивыми манерами и приторной любезностью цепляется в памяти за чудесный рассказ Бунина о пораженной моральным дальтонизмом «простой девке» Насте, превратившейся в Н.С.Жохову, городскую мещанку, и прожившей «хорошую жизнь» (так и назывался рассказ). Точно так же Белецкий, мещанин родом, горбом своим добывший чин тайного советника, шел где напролом, а где ползком к хорошей жизни, и его подробное, в несколько сот страниц показание, данное Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, одинаково драгоценное как психологический документ и как историче-

ский материал, в сущности, представляет рассказ Бунина под чудовищным рефрактором⁸¹. Тогда мы не знали подробностей этого показания, но было известно, что оба они, и Хвостов и Белецкий, являются ставленниками Распутина.

К Белецкому мне неоднократно приходилось обращаться с ходатайствами об освобождении арестованных охранкой, и он всегда легко и охотно просьбы удовлетворял, хотя бы они касались лиц, сильно мозоливших глаза жандармам.

Самым упорным клиентом был племянник – очаровательный юноша, совсем еще мальчик, сын кавалерийского офицера, упомянутого в первой главе. Убежденнейший большевик, он в последний раз арестован был уже перед самой революцией, освободившей его из тюрьмы, бросился в революцию очертя голову; несмотря на молодость, назначен был политруком Шестой армии, отстоявшей столицу от Кронштадтского восстания, потом играл видную роль в оппозиции против Сталина и только тогда, при новых властителях – своих друзьях, познал, что значит настоящая тюрьма и ссылка. Когда в начале 1916 года он вновь попался в руки охранки и отец бросился ко мне за помощью, пришлось посетить Белецкого в его служебном кабинете, и, хотя я хорошо уже знал его, мне показалось, что вижу впервые, что застал его врасплох. «Опять насчет племянничка? Что толку? Ну отдам вам его, берите, а головы ему не сносить, ох не сносить! Ну, да бог с ним, да и не до него нам, нынче такие дела, такие дела!» – «Я вижу, что вы очень возбуждены чем-то». – «Будешь возбужден! А все же, голубчики, не уйдете, нет!» – «Вы все загадками сегодня говорите». – «Какие уж загадки и догадки, вот тут они у меня

сидят теперь», – и он крепко зажал кулак протянутой руки и хрипло стал рассказывать об удачном, после долгих усилий, раскрытии крупных железнодорожных злоупотреблений. Одним из бедствий тогда были беспорядки и заторы на дорогах, и Хвостов сам ездил в Москву разгружать московский узел, а тайным умыслом было сокрушить министра путей сообщения Трепова, конкурента на пост премьера. Преданный сообщник Белецкий теперь захлебывался успехом: «С поличным сцапали, ловко накрыли одной сеточкой. Господин министр очки втирает – военные грузы мешают возить продовольствие. А взяточки кто берет? Дудки, голубчики, теперь не вывернуться вам». Он перегибался через стол, хватал за локоть, перед носом грозил кулаком, окутывал дымом толстых папирос, и, когда наконец, провожаемый повторениями: «Племянничка завтра же выпущу. Бог с ним, а головку вы ему все же хорошенько намыльте, не сносить ему башки», я вышел на свежий воздух, охватило радостное ощущение, будто вырвался из какого-то притона.

А вскоре разыгрался грандиозный скандал на почве обычных неполадок между сообщниками, которые в таких случаях и себя перестают щадить, лишь бы утопить неверного товарища. Об этом невероятном скандале, раскрывшем всю глубину падения режима, довелось услышать рассказ из уст самого Хвостова.

Я уже упоминал, что наше общество из петербургского разрослось во всероссийское, вследствие чего потребовалось изменение устава. Утверждение изменений затягивалось, и мы с М.Сувориным отправились на прием к Хвостову. Знакомая приемная была полна военными и штатскими просителями, и я уже с беспокойством прикидывал, сколько же времени придется дожидаться очереди. Но только что вышел находивший-

ся в кабинете проситель, были приглашены мы. Кабинет имел уже другой, нелепый вид – письменный стол отодвинут вглубь комнаты, где и днем было темновато, а у окон стоял круглый стол, на котором лежало толстое досье, и вокруг стола три неудобных стула с высокими спинками. К ходатайству нашему министр не проявил никакого интереса и сразу заявил, что сегодня же прикажет новому начальнику Главного управления признать все внесенные в устав изменения. Поблагодарив и откланиваясь, мы спросили, насколько верны циркулирующие в городе чудовищные слухи. Хвостов притворился непонимающим, но в действительности только и ждал этого вопроса, кстати, и лежавшая на столе папка оказалась делом о Распутине. Усевшись с нами вокруг стола, министр в течение двух часов без умолку говорил. О том, что он был назначен по указанию Распутина, что после этого неудачно пытался Распутину устранить, Хвостов, конечно, умолчал и всячески пытался себя выгородить, но зато не щадил не только своих вчерашних товарищей, но и царскую семью. Он прямо начал с центральной фигуры разыгравшегося скандала – Ржевского.

«Ржевского, – сказал он, – я узнал в Нижнем Новгороде, когда был там губернатором. Я пристроил его к издававшейся Барачем (видный деятель Союза русского народа) газете в качестве сборщика объявлений; но в первый же день он затратил три рубля и был прогнан. После этого я слышал, что он стал журналистом, весьма бойким, что ему удалось проникнуть в келью Илиодора⁸², когда тот был заточен в монастыре, и

82 Илиодор – православный иеромонах, близкий к черносотенным кругам, человек авантюрного склада. Был протеже Г.Е. Распутина. После ряда скандалов, оскорблений полиции, резких протестов против организации в Москве музея Л.Н.Тол-

напечатать беседу с монахом. Мало того, вы, конечно, помните знаменитую статью в „Биржевых ведомостях“ – „Мы готовы“, появившуюся перед войной и наделавшую столько шума. Эта статья тоже была написана Ржевским под диктовку Сухомлинова. Когда я был назначен министром, мне сообщили, что Ржевский добивается свидания со мной. На приеме он рассказал, что может оказать правительству большую услугу, убедив Илиодора отказаться от выпуска сочиненной им книги, компрометирующей наш двор, и особенно наследника. Его предложение показалось весьма приемлемым, и вопрос шел о том, чтобы дать ему некоторую сумму вперед на необходимые расходы. Я решил написать министру финансов письмо о выдаче Ржевскому иностранной валюты на пять тысяч рублей. Вот этим письмом и хотят теперь воспользоваться как уликой против меня, но вы, конечно, понимаете, что, если бы министр внутренних дел решился на какое-нибудь преступное деяние, он не оставлял бы такого следа, как официальное письмо. Но так как я действовал в глубоком сознании своей правоты, мне не приходилось задумываться над выдачей Ржевскому валюты, хотя это законом и воспрещено. Ржевский поехал в Норвегию, по дороге наскандалил: какого-то жандарма обругал хамом. Когда по этому поводу был составлен протокол, Ржевский

стого (названного им «яснополянским бесом») и ссоры с Распутиным был сослан в отдаленный монастырь, потом расстрижен, лишен сана, но, отказавшись от православной веры, стал формировать секту своих поклонников «Новая Галилея». Был арестован, бежал за границу и выпустил книгу «Святой черт» с разоблачениями Распутина. В России, где его книга переиздавалась в 1917 г., обнаружили в тексте наряду с подлинными много сфальсифицированных документов.

заявил, что является моим чиновником и имеет важную миссию. Ну, хорошо! Протокол был составлен. Как вы думаете, кому он должен был немедленно быть представлен, если действительно Ржевский поехал по моему поручению? Ответ ясен! А в действительности протокол был от меня скрыт, и узнал я о нем, когда Ржевский был уже арестован.

Между тем ко времени возвращения Ржевского в Петербург ко мне стали поступать заявления с фронта, что он обвиняется в разнообразных преступлениях – шантажах, растратах, мошенничествах и т. д. Возник вопрос об аресте, и вот тут его кто-то предупредил о предстоящем обыске. Чтобы спастись, Ржевский решил написать Распутину, что я подготавливал покушение на его жизнь через посредство Илиодора: так как я своих чувств по отношению к Распутину не скрывал, открыто говорил, что ему было бы лучше состоять при Царе Небесном, чем при царе земном, и так как после покушения, произведенного на него этой глупой бабой, Распутин стал чрезвычайно подозрителен, то он всему и поверил. Обыск у Ржевского был произведен, но так как он был предуведомлен, то все документы, уличающие его, были уничтожены и, напротив, те, которыми он надеялся меня скомпрометировать, были подобраны и лежали на видном месте – приходи, получай! В частности, найдено было запечатанное письмо на мое имя. Как вы думаете, что должны жандармы сделать, найдя запечатанное письмо на имя шефа жандармов? В зубах должны немедленно доставить шефу, как реликвию беречь, а они письмо вскрыли и подшили к делу. Тем временем Илиодор прислал телеграмму Распутину: „Имею убедительные доказательства покушения высоких лиц на твою жизнь. Пришли доверенное лицо“. Тут я узнаю, что против меня возбуждается какое-то расследование, прошу у царя об аудиенции – мне отказывают. Тогда (тон министра приобретает игривый характер) я размышляю, что я

ведь не только министр, а еще и член Государственной думы, имею и придворное звание. Посему надлежит обо всем подробно сообщить как председателю Думы, так и министру двора. К министру успел съездить и рассказать, к председателю не пришлось, меня немедленно приняли в Царском. Но Гришка на меня очень зол. Прежде я не вмешивался в его поведение, потом убедился, что он принадлежит к международной организации шпионажа, его окружают лица, состоящие у нас на учете и неизменно являющиеся к нему, как только он из Царского вернется. Я счел себя обязанным доложить государю, а уже на другой день Гришке это стало известно, и он хвастал перед охраняющими его филерами, что меня прогонят. Я поставил государю условие – либо Гришка уезжает, либо я ухожу. Мне категорически было обещано, что на этой неделе его здесь не будет, но я не уверен, что так и будет. Вчера у наследника случилось кровотечение, позвали Гришку. Как ни странно, он действительно умеет заговаривать кровь. Гришка отказался приехать. Сегодня его государыня умоляла по телефону, и он наконец согласился поехать туда в три часа. Что будет после этого, не знаю – может быть, часам к шести я получу письмо и покину эту квартиру».

Категорически опровергнув затем скабрезные слухи о роли старца во дворце, министр объяснил его влияние тем, что «Гришка поразительный гипнотизер. Сила его так велика, что ей поддаются и самые заматерелые филеры. На что уж эти люди прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, а чуть ли не через каждые пять дней мы вынуждены менять их состав. Кроме того, на царя и царицу производит сильное впечатление его простая речь: они там привыкли слышать только рабское – „слушаюсь“ – и видеть вытягивание в струнку, когда же на таком фоне хитрый мужичок заговорит простым языком, это действует очень сильно. И наконец, как я вам сказал, умение

останавливать кровь. Как же не испытывать к нему чувство благодарности! Вот и не удивляйтесь, что председатель Совета министров приказал мне охранять его, как зеницу ока, как высочайшую особу. Я попросил письменного распоряжения, мне не дали. Жаль! Был бы очень интересный документ. В конце концов, я мог бы прекратить всю эту историю. Вы знаете меня – я человек без задерживающих центров. Люблю такую игру, и для меня было бы все равно что рюмку водки выпить – арестовать Распутина и выслать на родину. Я лишь не уверен, что из этого выйдет: государь его может вернуть с дороги, могут за ним послать императорский поезд, могут сами выехать к нему навстречу, его и без того собираются переселить во дворец, чтобы гарантировать безопасность. Не будь войны, я бы все-таки решился, но теперь страшно компрометировать династию, я не беру на себя ответственность за возможные последствия. А между тем было бы чрезвычайно важно, чтобы сейчас его не было здесь, так как с наступлением весны ожидается оживление военных действий, и член шпионской организации здесь совсем лишний».

Мы еще подзадорили министра вопросом: кто же будет на его месте, не Белецкий ли? Хвостов быстро откликнулся: «Нет, вы напрасно противопоставляете меня Белецкому. Я им очень недоволен, он, как видите, не охранил моих интересов, но и там им недовольны, потому что он точно так же не сумел охранить Распутина. Распутин твердит: Хвостов убийца, один Степа (то есть Степан Белецкий) – хороший, но теперь и Степан ему уже не по душе. Нет, если я уйду, министром будет или сам председатель Совета министров, который этого добивается, или Ширинский-Шихматов».

Когда, провожаемые Хвостовым, мы вышли из кабинета, в приемной было очень много ожидающих и среди них тот

самый генерал Спиридович, который, по словам Хвостова, назначен был для расследования. Фигура бравого жандармского генерала, стоявшего руки в боки как раз против двери в кабинет министра, создавала впечатление, что Хвостов уже находится под арестом.

Вернувшись домой и испугав жену возбужденным видом, я тотчас составил дословную запись беседы (она напечатана была в «Былом», а потом в «Архиве Русской революции»), умолчал лишь о наиболее резких выражениях по адресу царской семьи, а вечером в заседании общества прочел запись, которую тут же Суворин скрепил своей подписью. Через день-другой Хвостов был уволен, Белецкий назначен иркутским генерал-губернатором, а еще два дня спустя и он получил отставку.

Еще до увольнения Хвостова удален был и премьер Горемыкин. От Клячко мы знали о предстоящей его отставке, но, когда Горемыкина предупреждали, он лукаво улыбался и отвечал: «Еще подождете». Перед самым уходом он успел вырвать у начальника штаба Алексеева распоряжение, категорически воспрещавшее оставлять в газетах «белые места». Независимо от морального вреда и технически распоряжение убийственно отражалось на работе: чтобы выиграть время, мы обычно не ждали возвращения из цензуры корректурных гранок и вносили вынужденные поправки в уже сверстанный номер, а вычеркнутые строки изымали, оставляя пробелы. Запрещение пробелов требовало переверстки, что сопряжено с большой потерей времени и запаздыванием газеты. Поэтому, как только на месте Горемыкина появился Штюмер, мы бросились к нему, он послал телеграмму Алексееву, и на другой день я был по телефону «обрадован» известием, что уда-

лось отменить распоряжение, которое он по настоянию именно гражданской власти и сделал.

По уходе Хвостова Штюмер захватил ведомство внутренних дел и оказался достойным преемником. Внешне он был полной противоположностью Хвостову. Высокий благообразный старик смиренно-усталого вида, с замедленными движениями и чуть слышной речью, точно преодолевавшей обет молчания, и покорно сложенные на животе руки словно насильно удерживались от осенения крестным знамением.

Штюмер приставил к себе двух фактотумов⁸³ – Гурлянда и сотрудника «Нового времени» Манасевича-Мануйлова (Маска), бывшего вместе с тем и агентом департамента полиции. Друг друга они смертельно ненавидели. А Штюмер в этой вражде, вероятно, и усматривал гарантию от неожиданности – если кто что-либо замыслит против него, другой тотчас донесет.

Двух сыновей своих Штюмер назначил вице-губернаторами в занятые уже неприятелем губернии царства Польского с выдачей подъемных и прогонных на проезд туда. А через неделю перевел одного из сыновей в Курскую губернию с выдачей новых подъемных и прогонных, а для себя же самого потребовал, ссылаясь на высочайшее повеление, ассигнования в бесконтрольное распоряжение пяти миллионов рублей. Еще через месяц он занял пост министра иностранных дел вместо неожиданно уволенного Сазонова: чем яснее обрисовалась цель его стремления к власти, тем необъяснимее было предпочтение нового поста прежней должности министра внутренних

83 От латинского *factotum* – «делай все»; доверенное лицо, выполнявшее разные поручения.

дел, имеющего в своем распоряжении десятиллионный секретный фонд. Что же это значит? Куда он метит? Неужели нужно ожидать крутого перелома в международных отношениях России? Приученное к самым невероятным сюрпризам общественное мнение не могло отвергнуть и такое предположение, и отовсюду стал ползти шепот о государственной измене.

К большому огорчению, и дружная семья «Права» стала проявлять трещины. С самого начала войны характер наших заседаний по четвергам резко изменился. Больше всех подавлен был Петражицкий. Еще бы! У него, все поставившего на карту права, война все отняла и бесправием грубо надругалась.

Только я начинал докладывать о поступивших статьях и проектировать содержание ближайшего выпуска журнала, Петражицкий со страдальческим лицом предлагал отложить этот разговор и сначала обсудить, что же будет и нельзя ли войну прекратить? «Как же теперь прекратить ее?» – «А неужели нельзя объяснить государю всю гибельность войны для права, для государства, для всех и всего? Это же так просто и ясно». Ему отвечали, что это далеко не просто, начинался бесконечный спор, и предлагались прогнозы. Чем более нагло лезли в глаза отрицательные стороны войны, тем заметнее стало просачиваться раздражение, и притом, что было наиболее мучительно, на почве национального вопроса. Во время войны к правительственному антисемитизму присоединилась жесточайшая травля евреев польскими национал-демократами в издаваемой ими популярной газете «Два гроша». «Право» стояло в стороне, но «Речь» вела страстную полемику, всеми силами протестуя против раздувания национальной ненависти в столь смутное время. Петражицкий все более отрицательно высказывался об этой полемике и наконец неожиданно сооб-

шил по телефону, что ввиду позиции, которую заняла руководимая мною «Речь», он не может дальше оставаться в «Праве». Наши дружеские отношения – к сожалению, только письменно – возобновились лет через пять после революции, за рубежом, где ему в Польше самому пришлось горячо и смело выступать против национального шовинизма.

Другое недоразумение вызвано было защитой моим кузеном докторской диссертации в Московском университете. По установившемуся обычаю, новому доктору «Право» поднесло значок его звания и устроило в честь его обед, за которым всегда словоохотливый профессор Пергамент демонстративно молчал. Когда же его стали донимать вопросами, он разразился филиппикой против В.М.Гессена, своего близкого университетского товарища: по молчаливому соглашению, защита диссертации в разгромленном Кассо университете считалась признанием новых порядков и неуважением к уволенным профессорам и поэтому воспринята была Пергаментом как штрейкбрехерство. С тех пор кузен весьма редко стал появляться в заседаниях, а Пергамент становился все более непримиримым. После октябрьского переворота он был мимолетно арестован и единственный из всего состава «Права» перешел на службу новому режиму, а приезжая за границу, тщательно избегал встреч с прежними товарищами.

Однако разлад в «Праве» был лишь слабым отражением общественного разложения, совершавшегося под воздействием войны и губительной политики правительства. Опять ссылаюсь на свою статью в «Речи», в которой читаю: «Изменение первоначального настроения на верхах интеллигенции выразилось в возрождении внутренней полемики со всеми взаимными обвинениями и подозрениями... Оно создало благоприятную атмосферу для расцвета желтой прессы, снова под

личиной радикализма прикрывавшей чудовищную пошлость, стали шуметь всякие „исты“, возобновились скабрезные диспуты о „роли женщины“, все кругом кривлялось, ковыляло на ходулях, надувалось, как крыловская лягушка; один видный поэт провозгласил, что „любит себя, как Бога“, другой выпустил сборник стихов, посвященных „мне и египетской царице Клеопатре“».

Это было невыносимо, прежде всего потому, что чувствовалась искусственная натуга, отвратительный снобизм, но теперь я спрашиваю себя, не было ли это зловещим признаком бессильных попыток взлета над опостылевшей, обреченной действительностью. Не тут ли следует поискать и источник безоглядного политического радикализма, находившего, правда, обильное питание во все более устрашающем государственном хаосе? Сияясь под руководством Милюкова устоять на своей программе и тактике, кадеты все дальше отставали от соседних общественных групп – прогрессистов и октябристов, которые и не имели письменного канона. Но обстоятельства были сильнее, и 1 ноября, ставшего исторической датой, сам Милюков выступил с нашумевшей речью, отдельные части которой заканчивались рефреном: «Что это – глупость или измена?» С думской трибуны на всю Россию впервые прозвучало обвинение в государственной измене, отбрасывавшее тень и на царский дворец⁸⁴. Это выступление, несомненно,

84 Выступление Милюкова было хорошо подготовленной провокационной акцией. Потрясая какой-то заграничной газетой и ссылаясь на якобы помещенную в ней статью, он обвинил премьер-министра и других членов кабинета в предательстве. Все военные поражения и экономические трудности Милюков приписал целенаправленной, методичной разрушительной ра-

было рекордным в смысле воздействия и звучности отклика в стране, и популярность кадетского вождя сразу чрезвычайно поднялась. Его забросали письмами и цветами, речь была перепечатана в нескольких изданиях и миллионах экземпляров. Когда вечером 1 ноября он, возбужденный, пришел в редакцию, я не удержался и спросил: «Что вы сегодня наговорили?» – «А вы опять недовольны?» – «Нисколько, речь была отличная, но отдаете ли вы себе отчет, что это начало революции?» – «Только в вашем пессимистическом воображении. До этого еще далеко».

Много раз я вспоминал потом этот короткий диалог и думаю, что был прав и не прав. Прав – в квалификации выступления как начала революции: она и стала общепризнанной. Но

боте врагов отечества, окопавшихся на министерских постах и выше. Свое выступление Милюков драматически перемежал одним и тем же рефреном, вопрошая: «Что это, глупость или измена?» На что симпатизировавшие Милюкову депутаты и специально явившиеся представители оппозиции хором скандировали: «Измена! Измена!» Между тем Милюков откровенно блефовал. Никаких сведений об «измене» кабинета министров у него не было, кроме непроверенных и смутных слухов, а действовать так заставила исключительно политическая целесообразность. Впоследствии, работая в эмиграции над своими мемуарами, он попытался объяснить, что толкнуло его на столь неоднозначный поступок: «Я говорил о слухах об „измене“, неудержимо распространяющихся в стране, о действиях правительства, возбуждающих общественное негодование, причем в каждом случае предоставлял слушателям решить, „глупость“ это „или измена“. Аудитория решительно поддержала своим одобрением второе толкование – даже там, где сам я не был в нем вполне уверен».

малооснователен был упрек: не скажи этого Милюков, выступил бы кто-нибудь другой, и положение изменилось бы лишь в том смысле, что было бы это менее обдуманно и что кадеты с Милюковым во главе были бы совсем оттерты на задний план и лишены заметной роли в надвигающемся решительном моменте.

«Начало революции» произошло уже во время управления министерством внутренних дел Протопопова, назначенного за полтора месяца до этого. Приблизительно тогда же в «Русских ведомостях» напечатан был очень смелый фельетон Маклакова о безумном шофере, который мчит автомобиль в пропасть. Статья должна была служить иносказанием, а стала мрачной действительностью: Протопопов страдал неизлечимой болезнью, отзывавшейся на душевном строе, и тщетно искал помощи у знаменитого авантюриста «тибетского врача» Бадмаева. Когда Протопопов был назначен министром внутренних дел, нам говорили: «Чего же вы еще хотите? Ведь Протопопов настоящий общественный деятель, а не представитель ненавидимой вами бюрократии. Он – предводитель дворянства, товарищ председателя Государственной думы. Государь имел все основания считать, что таким назначением идет далеко навстречу общественному мнению».

В день его назначений произошел забавный случай: только я пришел домой к обеду, как позвонил Клячко, чтобы сказать, что, не застав меня в редакции, он не знает, можно ли сдать в набор запись беседы с новым министром. «Вы ознакомьтесь с ней уже в корректурном оттиске». А вечером, далеко за полночь, позвонил Протопопов в кабинет Фейгельсона, заявив, что ему нужно переговорить с редактором. Простодушный Фейгельсон, не допуская, чтобы министр сам добивался соединения, а не поручил это секретарю, решил, что его

мистифицирует кто-то из сотрудников, и отделивался от собеседника шуточками, пока по нетерпеливо-грозному тону не понял, что нужно поскорее позвать меня к аппарату. Протопопов был вне себя от бешенства, и раз десять я повторял извинения, прежде чем он смягчился, а когда я спросил, чем могу служить, он снова вышел из себя. «Что он, о двух головах? Знает ли он, какая власть у меня? Я его в 24 часа в Сибирь сошлю!» – «Да о ком вы говорите, в чем дело?» – «Как о ком? О вашем Клячко! Я сгною его!»

Не сразу удалось узнать, что рассвирепел министр, прочтя посланный ему Клячко корректурный оттиск интервью, которого я не читал. Я пытался успокоить его ссылкой на недоразумение, ибо Клячко такой опытный интервьюер, но это подлило масла в огонь. «Вот в том-то и дело. Значит, он нарочно это сделал. Завтра его следа не будет здесь!» В чем же состояло прегрешение? В интервью сказано было, между прочим, что вызванный в царскую Ставку Протопопов представил политическую программу, которая свыше и была одобрена. Ясно было, что не Клячко вложил собеседнику в уста эти слова, но, узрев их на бумаге, министр испугался собственной деятельности. «Какие программы? Я исполняю лишь волю государя, я только слуга, челядинец царя. Клячко умышленно вставил программу, чтобы меня скомпрометировать. Это хитрая интрига. Я покажу ему!» Я обещал вычеркнуть эти строчки, и он наконец успокоился на том, что возлагает ответственность на меня. Не прошло и получаса, как вновь раздался звонок, и снова посыпались угрозы: в полном отчаянии он вспомнил, что интервью одновременно появится и в «Русском слове». Снова пришлось долго урезонивать его обещанием, что мы еще будем с Москвой говорить, и я ручаюсь, что и там злополучные строки будут вычеркнуты. Он размяк, горячо благодарил и просил непременно завтра заехать к нему, чтобы «дру-

жески побеседовать». Разговоры отняли, думаю, не меньше часа, и, когда, уже около 4 часов утра, я спускался с лестницы, сверху меня позвали: вас просит к телефону директор департамента полиции. Генерал Климович, уже предназначенный Протопоповым к отставке, с нескрываемым презрением к «странному министру» спрашивал, в чем дело: «Министр поднял меня с постели и строжайше приказал немедленно с вами переговорить и принять нужные меры. Ну и дела творятся! А я к тому же уже и не директор».

На другой день я хотел уклониться от свидания, уверенный, что Протопопов забыл о своем приглашении, но секретарь министра позвонил и напомнил, что «Александр Дмитриевич ждет вас». Изящный, стройный, с медоточивой речью, Протопопов весь сиял и прежде всего счел нужным сообщить, что он «заступился за евреев», указал государю на их тяжелое положение, которое непременно облегчит. Я спросил, как он собирается выйти из запутанного положения, что намерен делать в первую очередь, на что, широко разводя руками, он торжественным тоном возгласил: «Принимать доклады и ставить резолюции!» А на прощание, крепко пожимая обе руки и возводя глаза кверху, совсем как провинциальный трагик, воскликнул: «Друг мой, пожелайте мне счастья!»

Еще через несколько дней правление общества явилось к нему официально, опять по делам цензуры, он выглядел еще более стройным и подтянутым в новехоньком мундире шефа жандармов, принял нас не в служебном кабинете, а в аляповатых роскошных частных апартаментах, начал беседу подчеркнуто запросто: «Ну, давайте курить и болтать. Знаю, чувствую – хочется вам спросить, почему я назначен? Государю императору (только в таком сочетании он говорил о царе) представлено было четыре кандидата. Ну так вот. Государь зачеркнул

всех четырех и начертал фамилию своего собственного кандидата. Теперь давайте работать. Что сейчас всего важнее? Устранение продовольственных затруднений, не так ли? Возвращаясь из Ставки, я заехал в Москву, созвал наших Мининых – купечество, и они выразили полную готовность помочь. Мне, между прочим, сказали, что в Нижнем Новгороде продовольствия сколько угодно, но запрещен вывоз из пределов губернии. – К черту запрет! – Говорят: нельзя, приказ последовал от уполномоченного министерством земледелия, а он мне не подчинен. Вот как! Но чрезвычайная охрана в нашем ведомстве, выслать его в 24 часа из губернии. Знаю, знаю, – обратился он ко мне, – вы таких мер не одобряете, а вы – умница, что бы вы сделали?»

Я ответил, что такие меры могут только усложнить безнадежную путаницу. «Ну, нет, – и он изо всей силы ударил кулаком по мраморной доске стола. – Продовольствие должно быть, и оно будет, будет! А вас, друзья мои, я отстоял. Печать мне дорога, но не взыщите, Москвою я поступился. А лучше было бы, если бы всюду ввести предварительную цензуру».

Хотелось узнать, что постигло Москву, но тут разыгралась сцена, совсем как в «Горе от ума». Лакей почтительно стал докладывать, что супруга министра финансов «желает видеть его высокопревосходительство». Протопопов упорно не замечал его, а когда мы обратили внимание, он совсем вышел из себя, стал дико кричать на «челядинца», как смеет он мешать беседе, пусть доложит «Наталье Александровне». В дверях с робко отступавшим лакеем столкнулся «исполняющий должность генерала для особых поручений», Протопопов вскочил и потрясал кулаками перед носом генерала, но, услышав, что у телефона ждет военный министр, сразу снизил голос до умоляющего шепота и, беспомощно разводя руками, говорил

недоумевающему генералу: «Ну, хорошо, ну, через пять минут. Ну, могу я пять, только пять минут поговорить с нужными людьми? Нет, не дадут поговорить». На прощание он выразил «особое удовольствие», что вновь видит меня; одной рукой пытаюсь обнять необъятного Щеголева, другой Проппера, спросил, как поживает его «прелестная супруга», и прибавил: «Ну, как же, Станислав Максимилианович, мы вам предлагали идти вместе, а вы меня ко всем собакам послали».

На том мы и расстались, а когда я спросил потом Проппера, что это за намек, он ответил: «Это, как вам сказать, целая история». И поведал, что Гакебуш бесовестно предал его, убедив Протопопова, что теперь, когда и куры денег не клюют, легко получить от банков крупный капитал для новой большой газеты. Банки охотно откликнулись. Опасаясь, что из-за войны трудно будет оборудовать новую типографию, Протопопов, все по наущению Гакебуша, вступил в переговоры с Проппером на условиях полного устранения последнего от участия в редакции. «Сам Гакебуш дерзко в глаза объявил мне, что меня в золотую клетку посадит. Я, как вам сказать, не согласился, и тогда они решили во что бы то ни стало погубить меня, сманили лучших сотрудников, управляющего, который заведует всем делом, предложив им удвоенное жалованье». Перед денежным соблазном не устояли и лучшие имена публицистов и литераторов, а Леонид Андреев принял даже на себя роль организатора: Н.К.Рерих рассказывал, что он явился к нему вместе с одним радикальным журналистом и, театрально поклонившись, заявил, что «славяне пришли к варягам» и просят его войти в «Русскую волю». Осторожный Рерих выразил сомнение, на что Андреев, бия себя кулаком в грудь, кричал: «Какие же сомнения? Ведь со мной, со мной! А гонорар какой угодно!» Точно так же сам Протопопов соблазнял Шингарева: «В Лондоне мы жили в одной гостинице, и, страдая бессонницей,

Протопопов ночью стучался в мой номер, просил медицинского совета и начинал говорить без конца, предлагая сотрудничать в „Русской воле“. Я уклонялся, ссылаясь на связь с „Речью“, но ему это было непонятно: «То другое дело. А я буду вам платить по рублю за строчку. И Милюкова тоже попрошу принять в моей газете участие». Как только грянула революция, организованная Гакебушем разношерстная группа поспешила объединиться на немедленном его устранении от созданной им газеты.

Расстройство снабжения отразилось и на прессе, главным образом потому, что бумажные фабрики стали работать с перебоями, как из-за недостатка рабочих, все-таки отвлекаемых в ряды армии, так и отсутствия некоторых, выписываемых из-за границы принадлежностей. По нашему настоянию образован был при министерстве торговли «бумажный комитет» из представителей министерства, фабрикантов и потребителей, меня выбрали председателем секции потребителей, пришлось наспех знакомиться с техникой бумажного производства, а для получения разных «разрешений», без коих тогда шагу ступить нельзя было, обивать новые пороги: министра князя Шаховского, тоже ставленника Распутина, Сазонова и даже шведского посланника. Сазонов был среди тогдашних товарищей своих белой вороной. Глубоко честный, преданный России патриот, он очень радел о своих обязанностях. А все, что не касалось его ведомства, было для него принципиально чуждым. Интересоваться чужой компетенцией значило бы переступать границы полномочий. «Вы кстати пожаловали, – встретил он меня однажды, – могу вас обрадовать приятным известием: в Рижском заливе взорван германский броненосец». Я стал допытываться, к какому типу относится подтопленное судно. Тонкое лицо министра совсем сморщилось, и, смотря на меня недовольно, он раздраженно сказал: «Я же не

морской министр, различать типы судов не учился». А это звучало: «Свяжись с невоспитанным человеком, сам рад не будешь».

В бумажном комитете председателем назначен был бывший директор Томского политехникума профессор Зубашев. Смотри на этого очаровательного, добродушного, честнейшего толстяка, никак нельзя было понять, за что и на него обрушил свою злобную ненависть Кассо. Он только о том и заботился, чтобы не возникало недоразумений, чтобы никто не почувствовал себя обиженным, обойденным. Бумажный комитет, отнимавший много времени, дал ничтожные практические результаты. Мало кто их и ожидал, и, руководствуясь заповедью «На Бога надейся, а сам не плошай», добывали бумагу, так сказать, с заднего хода, при помощи взяток и подкупов. Ничего нужного из-за границы мы так и не получили, но уже во время революции появился какой-то таинственный делец Ашберг, взявшийся доставить бумагу из Швеции, она была нами оплачена, а прибыла лишь перед октябрьским переворотом и попала целиком в руки Горького, нажившего на ней большие деньги.

Последним предреволюционным событием, ярко выделившимся на мрачном фоне безнадежности, было ошеломившее всех убийство Распутина. Мне об этом сообщил приехавший к нам к завтраку приятель С.С.Крым, член Государственного совета, в виде слуха. Я тотчас позвонил к Белецкому, сумевшему сохранить свои отношения к «старцу» и крепко за него державшемуся. Белецкий еще ничего не знал и был насмерть перепуган моим сообщением, а через полчаса позвонил ко мне и подтвердил бесследное исчезновение Распутина. Мы тут же по этому поводу распили бутылку чудесного Pineau gris из замечательных погребов Крыма, не отдавая себе отчета,

что убийство лишь ускорит темп стихии. Среди трех томов «дела» о Распутине один содержал производство предварительного следствия и параллельное производство жандармского генерала Попова, особо уполномоченного Протопопова. Следствие затягивалось, потому что Пуришкевич тотчас после убийства уехал с санитарным поездом на фронт и не являлся к допросу, а князь Юсупов выслан был в одно из своих поместий. Оба на допросе отрицали свое участие. Тем временем следователю предъявлено было требование о выдаче вещественных доказательств – простреленной пулей шелковой рубахи, бывшей на убитом, и золотого шейного креста с цепочкой. На точном основании закона следователь отказал в выдаче вещей, и, по приказу министра юстиции, ведение следствия было у него отнято и передано другому, который оказался покладистее и требование удовлетворил. А затем он составил протокол, что вместе с Пуришкевичем и Юсуповым бесспорно участвует в убийстве и великий князь Дмитрий Павлович. Но так как привлечение к следствию члена императорской фамилии требует предварительного высочайшего разрешения, то производство подлежит приостановлению и должно быть направлено в министерство юстиции для испрошения разрешения. Из министерства производство дальше не двинулось, а после революции поступило в Зимний дворец, где заседала Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, и оттуда после октябрьского переворота было, видимо, похищено и попало за границу.

Револуция (1917)

Совершенное ярим сторонником царского режима Пуришкевичем и членами царской фамилии (Юсупов женат на дочери великого князя, а Дмитрий Павлович был наиболее близким царской семье среди великих князей) убийство Распутина завершало ее полную изоляцию и знаменовало окончательный распад государственной власти, увенчивало самоуправство и своеволие, которое и разлилось широким неудержимым потоком. Фронт был сильно заражен дезертирством. Петербург кишел разнузданным солдатем, так полонившим трамваи, что обывателям проникнуть в вагон становилось невозможно, и специальная полиция, приставленная ссаживать этих вояк и отправлять на гауптвахту, была совершенно бессильна против их буйства и наглости. Продовольственное снабжение со дня на день все больше расстраивалось, очереди у лавок и пекарен все удлинялись, раздражение все нарастало и откровенно выражалось в самых резких суждениях, на улицах стали скапливаться толпы, на помощь полиции появились казаки и жандармы – атмосфера открытого бунта ощущалась все явственнее. Если уже в 1905 году руководство освободительным движением вырвано было стихией из рук интеллигенции, то теперь, можно сказать, она никакого отношения к улице не имела, напротив – со своим лозунгом «Все для фронта, все для победы!» была ей враждебна, и одни большевики, стоя на пораженческой точке зрения, старались смуту разжечь. Но между ними и департаментом полиции происходили

эндосмос и экзосмос⁸⁵: член Думы Малиновский⁸⁶, ближайший соратник и протеже Ленина, произносил зажигательные речи по шпаргалке, составленной чиновниками Белецкого. Но за этим исключением, антиправительственное движение было всецело направлено на устранение помехи победоносному окончанию войны – и Земско-городские союзы, и Военно-

85 Эндосмос и экзосмос – процессы взаимопроникновения и смешивания (диффузии) внешнего и внутреннего в биологии.

86 Р.В.Малиновский, член ЦК РСДРП(б) и глава фракции большевиков в Государственной думе, являлся полицейским агентом, информируя МВД о делах своей партии и выполняя задания охраны. В результате перестановок в командном составе МВД его покровители оказались в отставке, а Малиновского было решено «вывести из игры». В мае 1914 г. он вынужден был сложить депутатские полномочия, получив «выходное пособие» и обещание, что все бумаги, связанные с его именем, в полицейских архивах будут уничтожены. Слухов о его провокаторской деятельности избежать не удалось, партийная комиссия, в которую входили Ленин и Зиновьев, разбирала дело Малиновского и... оправдала его. Н.К.Крупская писала: «Владимир Ильич считал совершенно невероятным, чтобы Малиновский был провокатором». Вскоре началась война, Малиновский был призван на фронт и попал в плен. Ошибочно было сообщено о его смерти в бою, и большевистская печать опубликовала пышные некрологи. И только после Февральской революции 1917 г., когда началось расследование деятельности охранных подразделений МВД, в архивах были обнаружены сохранившиеся, вопреки обещаниям, документы, изобличающие Малиновского. Это вызвало громкий скандал. Вернувшийся в октябре 1918 г. из плена в красный Петроград Малиновский был расстрелян большевиками. В 1917 г., как указывает автор, Малиновского в Петрограде на самом деле не было.

промышленный комитет, и Государственная дума выставляли требование министерства доверия или ответственного министерства, и небывалое единение остро между собой враждовавших политических партий – Прогрессивный блок – стало возможным только потому, что цель успешного завершения войны заслонила все другие вожеления. Вероятно, поэтому так и случилось, что, хотя воздух насыщен был предчувствием революции и с каждым днем она рисовалась воображению все более неизбежной, никто не распознал лица ее. Она шла неуверенно, пошатываясь, спотыкаясь и пугливо озираясь по сторонам, не юркнуть ли в подворотню.

24 февраля мы, по обыкновению, праздновали день рождения «Речи», на этот раз в ресторане «Медведь», и празднество было больше похоже на панихиду. Недостаток продовольствия отражался и на торжественном обеде, в изобилии было лишь вино, потребление коего с самого начала войны было запрещено. Но и шампанское не могло разогнать угрюмого настроения, не о чем было спорить и говорить, и неловко было смотреть в глаза друг другу, поставить вопрос, что значат доносившиеся с улицы выстрелы, пытавшиеся рассеять народное скопление. Чуковский предложил продекламировать свою остроумную сказку для детей «Мойдодыр». Все старались выдавить улыбку, похваливали, но напряженно ждали, когда наконец можно будет без нарушения приличий разойтись.

На другой день скопища стали увеличиваться, военной силы на улицах видно было много больше, но между двумя лагерями не было уже ясной демаркационной линии. Одного из казаков, которые считались специалистами по части усмирения уличных волнений, стащили с лошади, и он побратался с толпой. Весть об этом мигом разнеслась по городу, и безвестный казак вывел весы из колебательного состояния, разбил

оковы традиции. Бывает обстановка, в которой ружья сами собой начинают стрелять. Но случается и обратное, хотя куда реже – что ружья вдруг теряют способность стрелять или, лучше сказать, не находят прицела, разряжаются в воздух, и выстрел не смерть несет, а звучит призывным набатом, заглушающим неуверенность стрелявших. Другим средством для поднятия недостававшей бодрости, подавления глубоко внедренного страха ответственности за нарушение скрепленного присягой служебного долга явилось разграбление винных погребов. Когда солдаты распивали богатейшие запасы дворцовых подвалов, один молодой сотрудник наш был уверен, что их подпаивает начальство, чтобы в возбужденном состоянии бросить на толпу. Пустяки! Начальство сразу же забастовало. Оно давно уже, еще во времена формального могущества своего, перестало сомневаться, что рано или поздно крах непременно произойдет, и, как только признаки краха объявились, начальству и мысль о сопротивлении, о борьбе, вероятно, и в голову не приходила. Сдаться на милость победителю, больше ничего не остается. При таком настроении власти непонятна была забастовка рабочих, но это была дань всемогущему трафарету, и совсем уж противоестественна была забастовка типографий, вызвавшая паралич газет. Образовавшаяся с их исчезновением пустота с лихвой заполнялась разнообразнейшими, конечно, противоречивыми слухами и рассказами. Как жаль, что они бесследно рассеялись, что никто не пытался их регистрировать – они дали бы ценнейший материал для суждения, сколь далеко расходилась действительность с догадками и надеждами, служившими источником слухов. В противоположность 1905 году, когда царила уверенность в победе революции, теперь настроение было выжидательное, готовое от толчка шарахнуться в ту или другую сторо-

ну, и конец неопределенности положило известие об отречении государя, официально признавшее победу революции.

Настроение было примерно такое же, как у бюрократии, – вот и осуществилось предчувствие, что России непоправимо дорого обойдется участие в войне с заранее предрешенным, каких бы жертв она ни требовала, исходом. Положительно утверждаю, что ни одной минуты не верил, что революции удастся прекратить разруху, обуздать стихию, всеми фибрами души ощущал, что мы стоим на наклонной плоскости, на которой удержаться немыслимо, а куда соскользнем – не вижу, и сохраним ли при этом голову на плечах – не думаю. Впервые за уже тридцатилетнюю литературную деятельность, проникнутую наивной искренностью и счастливой убежденностью в правоте высказываемых слов, я стал лицемером. Славословие вообще не в моем вкусе, его не могли воспитать минувшие годы борьбы, но совсем уже тяжело было, что требовалось не только насилие над привычкой, а приходилось просто кривить душой. Я писал о «великой бескровной революции»⁸⁷ (а в

87 И.В.Гессен, работая над мемуарами в эмиграции, сам признался, что кривил душой и лицемерил, когда писал хвалебные статьи о «бескровной революции» и «заре новой жизни». При его журналистском авторитете в кругах либеральной интеллигенции современники воспринимали их не столько лживыми, сколько прекраснородушно-наивными и неумными, что тоже раздражало. Депутат Государственной думы Л.В.Половцов, примкнувший в 1918 г. к Белому движению и принимавший участие в Ледяном походе Добровольческой армии, вспоминал: «Русская интеллигенция, столько лет мечтавшая о революции, в ужасе спряталась по углам. Только теперь познала она, что ее розовые мечты о „бескровнейшей в мире революции“ были мечтами неопытной институтки».

«Речи» же было сообщено, что в одном Петербурге в первые дни убито было около 1400 человек), провидел «зарю новой жизни», приветствовал «сознательность революционной армии», не веря ни единому слову, все было «кимвал бряцающий», становился сам себе противен, и некуда от себя самого было скрыться.

Но не сразу дозволено было раскрыть рот, забастовка лишила возможности освещать причудливые изломы событий. Революция оказалась для «Речи» такой же мачехой, как великий князь в начале войны. Снова надо было начать обивать – теперь уже другие – пороги, чтобы струить банальные слова о важном значении печати в переломный момент, об опасности разброда общественного мнения и т.п. Совет общества собрался на Екатерининском канале в неудобной редакции «Петроградского листка», и мы не столько говорили, сколько прислушивались к обстрелу «Треугольника». Разудалое пощелкивание пулеметов раздражало напоминанием о повальном дезертирстве с фронта, где это пощелкивание больше соответствовало обстановке.

Мы решили держаться скопом, появиться в свет не иначе как всем одновременно, и мне поручено было составить декларацию, которой все газеты должны были дебютировать в новом режиме. А для ускорения дебюта решено было на другой день отправиться в Таврический дворец, ставший центром или магнитом революции. Сюда маршировали с красными флагами войска Петроградского гарнизона с великим князем Кириллом. Это же презируемое помещение «цензовой думы» признал для себя наиболее подходящим быстро, еще до образования Временного правительства, возродившийся Совет рабочих

и крестьянских депутатов⁸⁸, и больших усилий стоило впоследствии выжить его оттуда. Такое тяготение к Думе, торжественное дефилирование перед ее председателем-помещиком и Временным правительством, квалифицированным впоследствии «министрами-капиталистами», снова напоминает, что революция появилась неожиданной гостьей, что никто для нее палат не приготовил. Признание, освящение нового режима, присягу ему нельзя было выразить иначе, как паломничеством к Таврическому дворцу. Зато впоследствии, в эмиграции председателю Думы Родзянко пришлось оправдываться от обвинений со стороны правых в том, что Дума «подготовила, создала, воодушевила и воплотила в реальные формы переворот 27 февраля, а также и самую революцию», и он дал очень объективное изложение событий в «Архиве Русской революции».

Перелистываю разграфленные странички блокнота, приобретенного для записи воспоминаний о революции, и недоумеваю, для чего с такими мельчайшими подробностями описана наша поездка в Думу. Но чем глубже в эти подробности погружаюсь, тем сильнее веет обида: «Неужели же ты мог забыть, как сгибался под непосильной тяжестью новых, несусловных впечатлений, как твердым клубком что-то застре-

88 В Петроградский Совет, сформированный явочным порядком в первые дни Февральской революции 1917 г., входили рабочие и солдатские депутаты. Крестьянские депутаты после февраля 1917 г. поначалу формировали советы на местах, волостные и уездные. Но уже в марте были созваны два первых губернских совета крестьянских депутатов – в Костроме и Москве, а в мае открылся первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов.

вало в горле и не хватало дыхания, как, вернувшись домой, на вопрос жены, что случилось, испугал ее нелепым ответом: „Спать, ужасно спать хочу!“ и полумертвый бросился на диван?» Да, так все и было.

Утром заехали за мной Проппер и Бонди, которому принадлежала вся мизансцена. В автомобиле рядом с шофером сидел, с равнодушно-тупым видом, солдат, державший в руке огромный красный флаг, грозно при движении машины развевавшийся. «Недурно, не правда ли?» – ожидая одобрения, спросил Бонди. «Где же вы его достали?» – «Вот так вопрос! На улицах этого добра сколько угодно, я выбрал как можно более подходящего. Оцените его мрачно-загадочную морду! Дал ему в зубы папиросу, обещал покормить, он и не думал спросить, в чем дело, и вот видите, как хорошо уселся и как уверенно держит флаг. Кто же теперь осмелится наш автомобиль обновить?»

Дорогой мы прихватили еще М.Суворина и по Литейному направились к новому маяку. Чем ближе, однако, к нему, тем продвижение становилось затруднительнее сквозь все гуще заполнявшие улицы толпы, которые поеживались и притоптывали – не то от неустоявшегося настроения, не то от пронзительного ветра. Бонди торжествовал, когда, под возгласы шофера: «по военной надобности», бесформенное скопище, хотя и явно неохотно, расступалось, но едва ли не внушительнее действовало строгое молчание пригвожденного солдата, ставившее всех в тупик: иной уже и рот раскрыл, чтобы отпустить острое словцо, но так с раскрытым ртом и замирал. Нам удалось даже въехать в обширный двор думского здания, заполненный автомобилями и грузовиками и лавировавшими среди них раздраженными людьми, преимущественно в военной форме. Бонди опять снабдил солдата папиросами, настрою

приказал никого не подпускать к автомобилю и бодро повел нас внутрь дворца. Я вообще ничего не различал и не слышал – очутился перед плотной подвижной массой человеческих спин и грудей. Человеческих? Да, конечно, но лица были какие-то безликие, с широко раскрывающимися ртами, и выносившиеся оттуда звуки сливались в зычный гул, ощутительно давивший на барабанную перепонку. Это была даже не толпа, а скорее куча, которая сбилась после кораблекрушения на островке и не знает, что дальше. Чтобы пробраться вперед, нужно было работать глазами в поисках щели, которую можно расширить локтями, и в этих поисках мы сразу друг друга растеряли. Суворин так и исчез, а с Проппером и Бонди мы встретились – уже с изрядно помятыми боками и лишенными пуговиц пальто – в комнате журналистов.

Здесь работали три газетных сотрудника, а несколько ба-рышень энергично стучали на машинках, ставили печати и подносили на подпись газетчикам, которые с важным видом подписывали бумажки и выдавали их беспрерывно входившим и выходившим лицам, бережно прятавшим полученное в карман. Это были новые «временные виды на жительство», пропуска в Государственную думу и т. п. удостоверения. «На каком же основании действует ваша канцелярия?» – «А на каком основании все теперь действуют?» – резонно спросил неунывающий репортер. Тут же ко мне бросился незнакомый человек, оказавшийся помощником редактора «Правового вестника», и стал горько жаловаться: «Помилуйте, сколько важных государственных актов уже состоялось, их ведь нужно прежде всего опубликовать в „Правовом вестнике“, чтобы придать юридическую силу, а никто и ухом повести не хочет, и все, к кому я обращаюсь, от меня отмахиваются».

Один из этих актов – самый важный – манифест государя об отречении, беспризорно лежал тут же на подоконнике. Клячко добыл его, чтобы сфотографировать для газет, а фотограф, исполнив заказ, беззаботно положил оригинал на окно. Если такой бесценный уникум все же не исчез, никто из шмыгавших в невероятной толчее любопытных не унес его с собой, то лишь потому, что ничто не в состоянии было отвлечь внимание, вперившееся в жгучий вопрос, что же будет завтра и станет ли все по своим местам?

Один из сотрудников вызвался проводить нас к Временному правительству, и, крепко держась друг за дружку, мы снова стали пробираться. Встретили Милюкова, который был совсем без голоса, от непрерывного говорения на холодном ветру, дальше натолкнулись на потного растерянного Конова-лова, с испуганно остановившимися глазами и трясущейся нижней губой. На ходу он что-то пробормотал в ответ, чего понять нельзя было сквозь тяжелое, как у запаленной лошади, дыхание... Стыдно стало, что вздумалось сюда приехать, здесь искать ответа и разъяснения. Вот Клячко сразу нашелся в новой обстановке: палку взял и стал капралом. Мои спутники испытывали, по-видимому, такие же ощущения, и, не сговариваясь, мы потянулись к выходу, предвкушая удовольствие оторваться от этого человеческого теста и очутиться в автомобиле.

Тем сильнее было разочарование, когда после самых тщательных розысков Бонди оказалось, что машина исчезла вместе с шофером и мрачным цербером. К реквизициям война уже приучила, и Проппер даже бровью не повел, но беспомощно стоял на коротеньких ножках, не решаясь двинуться пешком в далекий путь на Английскую набережную. Бонди сочувствовал тяжелому положению шефа и бегал по двору в надежде

на счастливую случайность. Издалека он стал громко звать нас и махать руками, я схватил Проппера под руку и увлек его к великолепному, уже заведенному лимузину, в котором восседали два элегантных офицера, сдавшихся на мольбы Бонди захватить нас. Они направлялись в Военное собрание на углу Кирочной и Литейного и дальше везти не соглашались. «В другое время охотно, запомните наш номер. Но сейчас нам только справиться и мчаться обратно в Думу». Ободренный частичным успехом Бонди и тут пустился на розыски и нашел грузовик, отправлявшийся по дрова на Марсово поле, и солдат-шофер, рядом с которым сидели женщина и другой солдат, согласился захватить нас. Проппер по-турецки уселся, спиной опираясь на шоферское сиденье, мы с Бонди встали по обе стороны на подножки (эта поза тоже была символом преданности новому порядку), и грузовик двинулся по Литейному. Но на всегда бойком углу Симеоновской путь преградила шумная толпа, стеной сомкнувшаяся вокруг нас. Из толпы раздался вопрос, где военный министр. Я поднял закоченевшую руку, чтобы показать направление на Военное собрание, но кто-то понял, что я указываю на Проппера, полумертвого от неудобного сидения и тряски, из уст в уста пробежал шепот «военный министр», и толпа молча расступилась, а вслед нам даже раздались крики «ура». На Марсовом поле Бонди стал горячо убеждать шофера везти нас дальше, обещал золотые горы, но у меня так застыли руки, что держаться больше я не мог, вынужден был соскочить с грузовика, и, совершенно разбитый, среди перемежающихся выстрелами криков, с трудом передвигая окоченевшие ноги, пешком добрался домой.

* * *

Это был мой первый выезд на бал революции, а дальше так уж и пошло. Нужно было отрываться от устоявшегося жизненного обихода, и если сам по себе труден отказ от привычек, то теперь это еще тяжелее ощущалось, ибо заменить их было нечем: обстановка стала, как ртуть, текучей, исчезло чувство уверенности и самостояния. Каждый день приносил что-нибудь невиданно новое, но с первых дней отчетливо определилась основная тенденция к постепенному ухудшению положения, к разнузданию всех, крупных и мелких центробежных сил, ко всеобщему распаду, на фоне которого новая власть металась и все заметнее превращалась в фикцию. Еще до возобновления выхода «Речи» состоялось «дискуссионное» собрание редакции, на этот раз необычайно многочисленное, ибо право голоса автоматически получили и репортеры, и корректоры. Новизна проявилась и в тоне речей некоторых ораторов, можно было расслышать отзвук главного рефрена – довольно нашей кровушки попили.

В пользу республики отрекались с такой непринужденностью, точно монархия была мимолетным узурпатором. Один только Фейгельсон остался ее молчаливым паладином и негодуя пожимал плечами при виде феерического превращения

Савлов в Павлов⁸⁹. А когда позвонил по телефону удаленный государем из Петербурга великий князь Николай Михайлович, к которому наш сотрудник обратился с просьбой об интервью, Фейгельсон взволнованно сиял: мы, мол, не такие, не бежим вприпрыжку за колесницей победителя. Увы, интервью великого князя, перепечатанное всеми газетами, рассказывало, что болезненное упорство, овладевшее царицей, противодействовало всем усилиям вывести страну из тяжелого положения и довело монархию до крушения, которое все великие князья предсказывали.

По другому основному вопросу – об отношении к войне – все оставались на старой позиции. Революция и началась громким, с думской трибуны обвинением правительства в поползновениях заключить сепаратный мир. Один лишь Бенуа с крикливо большим красным бантом в петлице, не соответствовавшим его изящному вкусу, заявил, что, будучи неприимимым противником войны, он оставался в редакции, пока «Речь» скована была военной цензурой, но теперь, когда уста разверсты, он не считает возможным дальше принимать участие в газете, стоящей за продолжение войны. Мне было обидно, потому что он знал, что именно в этом отношении «Речь» высказывается не из-под палки цензуры. Да и независимо от «Речи» Бенуа вращался в обществе, не принадлежавшем к

89 Поговорка восходит к Новому Завету, к Деяниям святых апостолов, где рассказывается, как иудей Савл, убежденный гонитель христиан, однажды услышал голос с небес, после чего уверовал в Иисуса Христа, принял христианство с новым именем Павел и посвятил свою жизнь служению Господу. Иносказательно: полностью переродившийся человек, изменивший все свои принципы.

пацифистам. Открытыми противниками войны были большевики, которые в лице перекочевавшего в горьковскую «Новую жизнь» Бенуа получили первую авторитетную поддержку совершенно, казалось бы, чуждых им слоев, хранивших лучшие традиции императорской России – один из предков Бенуа был строителем Мариинского театра. Вслед за Бенуа неуклюже поднялся наш выдающийся ученый Туган-Барановский и тоже сделал заявление об отказе, но так нескладно, что всякая охота спорить и переубеждать отпала.

Уход обоих на газете нимало не отразился. Кто мог – не то чтобы оценить значение, но и просто заметить среди хаоса отсутствие того или другого сотрудника? К тому же «политика» вытеснила все другие отделы, и опять фельетон стал большой редкостью. Осталось единственным и это пышное собрание, внутренний строй редакции фактически не изменился. Только Милюков до своей отставки в апреле⁹⁰ стал совсем редким гостем, а если ночью и заезжал на великолепном дворцовом автомобиле, то имел такой изможденный вид, что язык не поворачивался обременить его еще и редакционными заботами и вопросами.

Существенное изменение выразилось в приобретении типографии в собственность с превращением издательства в акционерное общество. Возникновение все новых и новых газет и появление бесконечного количества брошюр предъявило острый спрос на типографии, цены бешено повышались, вследствие чего обеспечивающая договор неустойка перестала

90 П.Н.Милюков, занимавший пост министра иностранных дел в первом составе Временного правительства, оставил его 2 мая 1917 г.

служить гарантией его исполнения – новые газеты охотно брали на себя ее уплату, и потому необходимо было оградить себя приобретением типографии. Сколько бумаги было тогда изведено, какой стремительный водопад печатных слов извергался! Оставшиеся от пышных программ и воззваний бумажные лоскуты, отданные на волю легкомысленного мартовского ветра, который задорно подхватывал их и швырял в лицо, дразнили мыслью о нелепости попытки приготовить из них удобоваримую пищу для ума и души. Если бы можно было проверить, сколько экземпляров было прочтено из сотен миллионов брошенных на рынок брошюр и газетных листов. Разве до чтения было тогда? Разве была возможность сосредоточиться, обдумать напечатанное, когда все сдвинулось с места и куда-то перемещалось? Чем труднее было разобраться в этом, тем легче верилось тому, кто давал краткий точный ответ: важнее содержания был убежденный тон, решительный жест. У Каминки тоже возникло желание содействовать расширению бумажного потока, никакого труда не стоило добыть несколько сот тысяч, и мне пришлось спешно, в бивуачном порядке, заняться организацией народной газеты «Земля» для абсолютно безнадёжной задачи – противодействовать разнузданной демагогии.

Бумаги становилось все меньше и меньше в противоположность количеству участников бумажного комитета, которое все росло. Помимо представителей новых газет, почти исключительно социалистических, состав был расширен еще и приглашением делегации от Союза рабочих печатного дела. Социалисты образовали самостоятельную секцию, оградили ее высокой колючей проволокой, в ней замкнулись и рабочие, злобно оттуда поглядывая на нас. Приглашением рабочих мы были обязаны настояниям директора одной из крупных фабрик «Сокол», ставшего совершенно неузнаваемым после побе-

ды революции – он и внешне стал другим с помощью растрепанных волос, затасканного пиджака и мятого воротничка (первым жестом Керенского на посту министра юстиции тоже было срывание с себя крахмального воротничка), а спокойная, толковая деловая речь сменилась резкими возгласами, бесцеремонно перебивавшими говоривших. На обращаемые вопросы он упрямо отвечал, что может составить свое мнение, только выслушав заключения рабочих. Ему указывали, что откладывать решение срочных вопросов до следующего заседания неудобно. «Еще более неудобно решать без пролетариата, и, что бы вы (себя он уже ставил вне нас) ни постановили, все будет отменено». А когда на следующем заседании пролетариат появился, стали сыпаться заявления о проверке мандатов, об установлении паритета и т.п.

Это революционное радение, запечатленное в крылатом выражении «левее здравого смысла», слагалось из различных ингредиентов: тут было и опьяняющее ощущение разбитых цепей, и мелкая трусость, опасение подвернуться под размах революции, и детские реминисценции о сказочных превращениях. Оно захватывало не только «взбунтовавшихся рабов», как позже выкрикнул в сердцах самый ярый апологет революции Керенский, не только социалистов, склонных считать, что не революция для человека, а он для нее, но и те круги, в которых я вращался и для которых революция была более чем несвоевременной.

Когда обсуждался вопрос о замене Главного управления по делам печати соответствующим новым условиям учреждением, редактор «Русских ведомостей» Розенберг настаивал, что вообще никакого учреждения не требуется, обойдемся без него. На заседании комиссии по пересмотру судебных уставов и молодые, и старые судебные деятели, вчера еще мирившиеся

с режимом Щегловитова, сегодня требовали положить в основу юстиции принцип – все понять, все простить.

Но совсем в отчаяние привело недоразумение с Набоковым: однажды он написал для «Речи» статью против «Нового времени», которое язвительно уличало Временное правительство в том, что оно строит государственное управление на началах толстовского непротивления злу. Прочитав этот выпад, я подумал, что не следует упускать случая помолчать. Положение требовало появления сильной власти, чтобы прекратить распад, остановить центробежное стремление. У нас по отношению к Временному правительству, в котором тогда было несколько министров-кадетов, руки были связаны, но возражать против по существу вполне правильных замечаний «Нового времени», которые могли лишь облегчить задачу власти, было явно не нужно. Я и высказал моему другу свои соображения, по обыкновению, с излишней горячностью, он поколебался и предложил обсудить вопрос за редакционным обедом. А там одни молчали, Милюков, Шингарев и другие решительно не соглашались, и никто меня не поддержал. Так и пришлось напечатать эту статью, в которой сказано было, что, в отличие от свергнутого, новый строй зиждется не на принуждении, а на моральном воздействии. Конечно, та или другая отдельная статья ничего не могла изменить в ходе событий, но существенно, что в первые месяцы никто не задумывался над необходимостью воздвигнуть преграду революции. Позже, когда кадеты вышли из состава Временного правительства и «Речь» освободилась от оков официоза, лозунг твердой власти выступил на первый план. Но некоторые друзья мои, стоявшие левее кадетов, язвительно напоминали, что прежде «Речь» высказывала другие взгляды.

Этот крен укреплял желание держаться подальше от активного участия, но и революция меня не искала – я не был приглашен ни в одно из выскакивающих как грибы новых учреждений и не был привлечен даже в состав образованной Керенским многоголовой комиссии для пересмотра судебных уставов. Много позже, уже в изгнании, я узнал от Набокова и Каминки, что за моей спиной поставлен был вопрос о замене меня на посту редактора «Речи» лицом, более горячо преданным интересам партии, и план не осуществился потому, что заместителя не нашлось. Вероятно, некоторой помехой послужило и чувство неловкости – слишком много вложено было в «Речь» от моего «я», и пришлось бы делать чревосечение. Я не решился бы, однако, сказать, что для такой операции не было никаких оснований – я исполнял обязанности более чем добросовестно, это было душевным призванием, жизненной задачей, но с утратой веры в ее разрешение исчез и пафос, а если вера без дел мертва, то и дело без веры безжизненно.

Остаться совсем в стороне мне помешало председательствование в обществе редакторов – это положение обязывало. С самого начала революции военная цензура самоупразднилась. Газеты, особенно социалистические, совершенно не считались с требованиями военной тайны. Военный министр Гучков просил меня урегулировать этот вопрос, и на другой день триумфально щелкнул шпорами молодой восторженный поручик, отрекомендовавшийся комендантом Телеграфа и начальником цензуры, и заявил, что должен немедленно доставить меня к генералу Аверьянову, чтобы с ним о военной цензуре подробно переговорить. Генерал был явно изумлен моим визитом, и так его одолевало желание от меня отделаться, что, когда я пояснил, что требуется разработать проект закона и что общество может взять это на себя, он просиял, благодарил,

уверял, что заранее со всеми согласен, и неустанно повторял: «Ну, дай вам Бог, дай вам Бог».

Проект закона был быстро разработан и содержал точное перечисление тем, подлежащих ведению цензуры. Однако Керенский, тогда министр юстиции, решительно воспротивился – в свободном государстве самое слово «цензура» должно бесследно сгинуть. А через несколько дней, после двух-трех ярких нарушений военной тайны, Временное правительство обратилось с воззванием к патриотическому чувству печати, призывая ее вовсе не касаться тем, означенных в представленном нами перечне. Одновременно меня просили заехать в Главное управление по делам печати, где, начиная со сторожей, я встречен был с таким низкопоклонством, что с души тянуло. Ожидавший меня член Думы милый и корректный граф Капнист сообщил, что на него возложена обязанность ликвидировать Главное управление и на его месте создать новое учреждение, прибавив, что принял это поручение с условием, что я возьму на себя практическое осуществление. Мы образовали ликвидационную комиссию, в которую приглашены были все лучшие юристы, скоропалительно разработали все законопроекты и стали продвигать их по правительственным инстанциям. Я вспоминал свое первое посещение министерства юстиции с царившей там суетливой спешкой. Теперь была не спешка, а метание, совсем как на пожаре, в коридорах люди сшибались друг с другом и, не заметив этого, разбегались в противоположных направлениях.

Не забыть заседания Временного правительства, на которое граф Капнист и я были приглашены для доклада. Это было поздним вечером, в Мариинском дворце теперь резало глаз смешение стилей: придворные лакеи в торжественном облачении, словно из-под земли выраставшие за спиной с чайным

подносом в руках, толстые ковры, заглушающие шаги, и в противовес – шумная, вызывающе неестественная развязность новых хозяев. За длинным столом вразбивку сидело несколько министров, глубоко погрузившихся в лежавшие перед ними бумаги, с краю возвышалась знакомая фигура старого друга Набокова, управляющего делами Временного правительства, всем своим аккуратным видом тоже не соответствовавшего текущей обстановке; в центре князь Львов, всеми брошенный и озиравшийся по сторонам, не оторвется ли кто-нибудь от бумаг. Керенского, Милюкова и Терещенко не было, они пришли к концу обсуждения, а некоторые конца заседания не дождались и уходили не простившись. Мои объяснения отнюдь не отвлекали министров от бумаг, никто даже и головы не поднял, и один только государственный контролер Годнев тревожно спрашивал и проверял, не вызовет ли реформа дополнительных трат из казначейства, хотя и вся-то сумма по тогдашним масштабам была микроскопической. Остальные упорно молчали, и тщетно князь Львов несколько раз переспрашивал, нет ли еще у кого замечаний. Только когда мы уже встали, Керенский бросил колкое замечание относительно «Речи», которой-де «не избежать привлечения к уголовной ответственности». Кое-кто засмеялся сановной шутке, я огрызнулся, сказав, что «Речи» к этому не привыкать, на что Керенский, все больше возвышая голос, заговорил, что печать неправильно понимает свои обязанности, что «вы охотно отмечаете и подчеркиваете наши ошибки, но ничем не обмолвитесь обо всем хорошем, что мы делаем». Можно ли было ушам поверить: ведь вот и «великая бескровная» пришла, и царские министры в тюрьме, а в их креслах уселись новые люди, и только для того, чтобы с таким сознанием своего превосходства повторять старые слова, закреплять деление на «мы» и

«вы». Неужели же сила не в человеке, а в таком бездушном, но таком мягком, таком удобном кресле?

Когда потом я поделился своими мрачными впечатлениями с Набоковым, он мне ответил, что это заседание можно назвать образцовым, обычно между отдельными министрами идет разговор, сливающийся в гул, и после заседания он не знает, как составить протокол и состоялось ли по тому или другому вопросу постановление. А среди беспорядка то и дело вспыхивают острые недоразумения.

Одно заседание было посвящено территориальным приобретениям Антанты на случай победы. Милюков между прочим упомянул, что противник, по сведениям наших союзников, тратил большие деньги, чтобы обострить смуту. Услышав это, Керенский вдруг вскипел и трагическим голосом закричал: «Как? Что вы сказали? Вы же позорите русскую революцию и позволяете себе делать это в моем присутствии! С этим человеком я больше работать не могу и не буду!» – и, схватив портфель, убежал. За ним помчались Терещенко и Некрасов и через полчаса доставили обратно. Но он держался на отлете, зорко молчал, а остальные деловым тоном обсуждали какие-то мелкие вопросы, и казалось, что они держат экзамен на благопристойное поведение.

Роль и значение Керенского в революции были для меня столь же неожиданны, как и сама революция, и, на мой взгляд, дают ценнейший материал для ее психологии. Петербургский адвокат, он выделялся среди коллег своей экспансивностью, а избранный в Третью и Четвертую Думы, занял в них весьма видное положение. Напомню о судебном процессе титулован-

ного аристократа⁹¹, разведшегося с женой, чтобы жениться на маленькой артистке, большой искательнице приключений, которая и стала с помощью ложной беременности шантажировать сиятельного мужа – несметного богача. Шафером на этой свадьбе был Керенский, почему ему и пришлось выступать на процессе свидетелем рядом с неразборчивыми авантюристами. Я не знал тогда, что связь с титулованным миллионером выкована была принадлежностью обоих к масонству, равно как и сейчас мне неизвестна степень влияния масонства на образование Временного правительства. Временное правительство организовалось, когда ему уже противостоял Совет рабочих и крестьянских депутатов, претендовавший на «паритет» власти. Керенский поначалу был избран товарищем председателя Совета, и включение его в состав правительства манило ослаблением противодействия Совета, а сочетание трех ипостасей создавало Керенскому исключительное положение и в масонстве, и в Совете, и во Временном правительстве.

Мне очень редко приходилось встречаться с Керенским, но все же я успел воспринять и привлекательную задушев-

91 Речь идет о графе А.А.Орлове-Давыдове и так называемом процессе Пуаре. Мария Яковлевна Пуаре, в первом браке Свешникова, во втором Орлова-Давыдова, сценический псевдоним Марусина, актриса легкого жанра, певица и композитор, автор романа «Я ехала домой»; в 1914 г. вышла замуж за графа А.А. Орлова-Давыдова, а в 1915 г. оказалась под арестом, будучи обвиненной мужем в мошенничестве при получении согласия на брак и попытке выдать чужого ребенка за своего. В ходе громкого судебного процесса по уголовному делу Марию Пуаре оправдали, но факт подмены младенца был доказан. А.Ф. Керенский принимал в деле активное участие.

ность, и холодное пустозвонство, и раздирающую мелодраму, и наполеоновскую позу, и я не решился бы сказать, в каком положении он был самим собой, или, быть может, такое состояние на людях ему вообще не знакомо было. Да и можно ли самим собой остаться, неожиданно почувствовав себя кумиром, утопая в цветах, приветствиях, восторженных кликах. И все же не это слепое обожание толпы сделало его осью революции, стержнем ее карусели. Чем дальше, тем все чаще и бессодержательнее менялся первоначальный состав Временного правительства, постепенно терявшего авторитет, и тем настойчивее все уклонялись от принятия беспризорно лежавшей власти. Во время одного из таких кризисов князь Львов попросил меня воздействовать на Тесленко, отказывавшегося от поста министра юстиции. На вопрос, почему бы не обратиться к Набокову, он ответил, что Набоков имеет репутацию правого кадета и для него «еще не наступил момент», ближайший момент унес и самого князя. Когда пресса наседала на Церетели, чтобы он вошел в состав правительства, он в полном отчаянии говорил мне: «Какой смысл в этом? Разве тот, что еще одна репутация погибнет».

Зато при всех перемещениях и комбинациях не только сохранение Керенского, но и неуклонное расширение его полномочий считалось предпрешенным: в первом составе министр юстиции, он через два месяца становится военным и морским министром, потом меняет портфели на пост министра-президента, а еще через две недели принимает опять портфель военного и морского министра, днем позже к этому присоединяются обязанности члена Директории. Он тоже неоднократно заявлял о желании сложить бремя власти, но вынужден был уступать общим настояниям на его незаменимости. На Керенском революция клином сошлась, она его создала, она же берегла его подорванное здоровье, иначе нельзя объяснить

сверхъестественной затраты сил и энергии. «Я жалею, – воскликнул Керенский уже в конце апреля, – что не умер два месяца назад. Я бы умер с великой мечтой». Если бы так случилось в апогее совершенно исключительной популярности, которую он завоевал, вокруг его имени сплелись трогательные легенды. А он дождался безжалостного развенчания, печатное выступление после неудавшегося корниловского заговора вызвало решительное осуждение со всех сторон, равно как и много позже напечатанный в парижском журнале рассказ об отъезде из Петербурга мог только послужить доказательством случайности его руководящей роли...

В 1932 году Керенский приехал в Берлин и задержался из-за болезни. Несколько вечеров подряд я провел с ним у нашего общего близкого друга в интимной обстановке искренних бесед о великом крушении нашем, и это общение «на реках вавилонских» определило столько точек душевного соприкосновения, что теперь пришлось делать усилие над собой, чтобы дать отчет о том впечатлении, которое он производил, выполняя подброшенную ему судьбой историческую роль. Больше всего пленяло, что, как пытливо я ни всматривался, ища следов семимесячного головокружительного наваждения, – у Керенского никаких следов не сохранилось, за исключением вполне простительного, слишком субъективного отношения к своим более удачливым преемникам и упрямого деления революции на Февральскую – пай и Октябрьскую – бяка. Но и это гораздо более простительно ему, бывшему воплощением первой фазы революции, чем многим другим, пытавшимся оспорить логический ход событий, предреженный топтанием Временного правительства на одном месте вокруг незаменимого Керенского.

* * *

Учрежденная на основании принятого Временным правительством нашего законопроекта Ликвидационная комиссия требовала большой организационной работы: в ее ведении были бюро печати, составлявшие обзоры ежедневной прессы для правительства, официальный «Вестник Временного правительства», Телеграфное агентство и вновь образованная по плану двух книголюбов, академика Венгерова и Щеголева, Книжная палата, которая должна была служить хранилищем и регистрировать выходящие печатные произведения. Самой сложной была реформа агентства, которое словно нарочно было так устроено, чтобы не соответствовать назначению быстрого и точного осведомления. Начиная с невероятно грязного, тесного, темного помещения, это достигалось возложением обязанностей корреспондентов на чиновников губернских канцелярий, которым спешить было некуда, да и сообщения были таковы, что торопиться некуда. Заграничное осведомление монополизировано было германским агентством Вольфа.

Новое помещение я облюбовал, состав корреспондентов обновил, с французским Гавасом и английским Рейтером договоры заключил, но споткнулся о директора агентства. Я искал специалиста, а Терещенко, тогда министр иностранных дел, ставил первым условием, чтобы посадить кого-нибудь из вернувшихся политических эмигрантов, и сопротивление мое привело к назначению, помимо меня, московского журналиста, подмочившего свою репутацию эклогой в честь Хвостова на страницах «Биржевых ведомостей». Условившись с Некрасовым, заместителем министра-президента, о свидании, чтобы представить ему нового директора, мы приехали в Зимний дворец, удручавший настежь раскрытыми, точно для выноса покойника, дверьми, и долго блуждали по гулким коридорам,

разыскивая кабинет заместителя главы Временного правительства. Спросить было не у кого – если кто и попадался навстречу, только недоумевающе пожимал плечами. Но у спутника был специфический нюх, и он дознался, что Некрасов еще не приехал.

Вскоре Некрасов явился – кровь с молоком, бодрый, оживленный, и по окончании делового разговора с пренебрежительной уверенностью заявил, что разразившийся накануне кризис власти благополучно разрешен образованием коалиционного правительства без участия кадетов (себя он к ним уже не относил). Выходя из кабинета вместе с Некрасовым, мы столкнулись с Пошехоновым и Церетели, которым он передал приглашение на заседание нового правительства. Церетели так-таки и набросился на меня, горячо протестуя против позиции «Речи», толкающей Совет рабочих и крестьянских депутатов на захват власти. На мой взгляд, ответственность, напротив, лежала на социалистах, которые, считая тактику большевиков гибельной, не решались, однако, четко от них отгородиться и, таким образом, добровольно отдавали дело социализма на поток и разграбление гибельной тактики. Думаю и сейчас, что я был прав: катастрофическая судьба демократии подтвердила мои показания.

Поспешив из дворца в редакцию и отделившись от текущей работы, я по дороге домой зашел к Милюкову, который вечером собирался уехать в Москву на кадетский съезд. Не успел я с ним поздороваться, как ворвался Некрасов, но совсем не тот, которого я видел несколько часов назад. Теперь это был бледный, сконфуженный, растерянный человек – коалиция уже распалась, никто не хочет идти в министры, Керенский грозит все бросить, и он, Некрасов, умоляет Милюкова отложить поездку в Москву и принять участие в вечернем заседа-

нии для обсуждения вопроса, как выйти из кризиса. Это и было знаменитое заседание в Малахитовом зале, закончившееся уже утром, когда все охрипли, предоставлением Керенскому права составить правительство по личному выбору кандидатов, а не как было до того, из представленных партийными организациями кандидатур. Заседание происходило 21 июля, то есть меньше чем через две недели после столь же благополучной ликвидации предыдущего кризиса 8 июля, когда Временное правительство объявлено было «правительством спасения революции» и наделено «неограниченными полномочиями». Я писал тогда, что при всей торжественности постановление это лишено реального содержания и не может расширить компетенции Временного правительства, которое уже от рождения своего ничем и никем ограничено не было. Неясным было одно: служат ли такие бессодержательные вещания признаком бессильного подражания французским образцам, или же они диктовались верой в магию слов, которые в свое время производили на нас неотразимое впечатление. Революция обесценила и обесчестила слово, оторвала его от внутреннего содержания. Оглушаемый нечленораздельным ревом уличной толпы, я говорил себе, что иначе и быть не может, что масса, независимо от уровня ее культуры, только и может проявлять себя свистопляской – последующие годы напомнили об этом всей Европе.

Я не уверен, так ли это, но сейчас память упорно шепчет, что самыми тяжелыми днями до октябрьского переворота были 3 и 4 июля – первая попытка захвата власти большевиками. Перед Таврическим дворцом огромный рабочий, грозя кулаком вышедшему к толпе представителю Совета рабочих и солдатских депутатов, в настоящем бешенстве кричал: «Принимай, сукин сын, власть, когда дают!» Совет не осмеливался, а наиболее активные министры, Некрасов и Терещенко, со

своей стороны, не решались отстаивать свою власть и предпочли укрыться. С Набоковым мы пешком шли по Литейному и Невскому домой из редакции, и сердце трепетало при виде кровавого гротеска: мчатся грузовики с обвешанной оружием матросней и солдатней со свирепыми лицами, гулко шагают такие же скопища, во все стороны постреливая, и вдруг, от неожиданного звука – мгновенно, с ушедшей в плечи головой, бросая ружья, рассыпаются по подворотням. Где здесь было лицо, где изнанка, или же это было нечто бесформенное? В «Речи» Ирецкий, наблюдавший неоднократно сцены бегства, сравнивал эти скопища с «воробьями на гороховом поле, готовыми вспорхнуть от малейшего шума», и был уверен, что «достаточно было бы одного властного окрика», чтобы бесчинства прекратить. Хотя весь ужас в том и заключался, что для властного окрика не было воли – на одной стороне уже не было, на другой еще не накопилось. Когда министр юстиции Переверзев, как бы в ответ торопившемуся рабочему, доставил газетам официальные данные, уличавшие Ленина в государственной измене, Некрасов, успевший оправиться от своего испуга, поспешил после тщетной попытки задержать оглашение этих сведений дезавуировать Переверзева, который вышел в отставку. Такая демонстрация бессилия была тем более показательна, что в ней не было никакой нужды – в числе многого другого война уничтожила жупел государственной измены. Петербург кишел дезертирами, и параллельно с этим измена перевоплощалась в геройство. Разве одного Ленина измена увенчала властью и признанием?

Сама по себе неудача большевистской попытки значительно приободрила общественное мнение. В целях успокоения печать чрезмерно налегала на неудачу 3 июля как на доказательство бессилия заговорщиков. Это была ложь во спасение, не говорят же страждущему, что он безнадежно

болен, – тем и страшен смертный приговор, что отнимает у человека привилегию неведения дня смерти, ставит лицом к лицу с ней.

Было бы целесообразнее подчеркивать опасность и подготавливать организацию сопротивления. Но для этого требовалось уйти в подполье – свободу печати революция превратила в миф, и положение стало исключительно тяжелым. Отовсюду в нашу ликвидационную комиссию сыпались протесты и жалобы на захват типографий, на запрещение выхода газет, мы бомбардировали телеграммами комиссаров и обычно получали ответ, что «недоразумение» улажено. Даже в Петербурге лучшая типография «Копейки» сразу была захвачена социалистами для печатания «Известий». Вместе в тем ставки заработной платы были так подняты, что все еженедельные и ежемесячные журналы были вынуждены прекратить существование, а с ними и целый ряд менее крупных газет. За рабочими последовали и репортеры во главе с Клячко. Они образовали Бюро печати при Временном правительстве, размножали на гектографе собираемые в стенах Зимнего дворца сведения и рассылали редакциям, представители коих приняты были в состав Бюро. Информация была нивелирована, все получали одни и те же сообщения, неизвестно кем написанные, это влекло за собой разрушение действенной связи сотрудника с газетой, он давал не свою работу, а продукцию какого-то анонима. С другой стороны, так как в составе правительства единства не было и правители не могли, да и не хотели противостоять искушению преждевременным оглашением ожидаемого постановления поставить своих товарищей перед свершившимся фактом, то нельзя было избежать серьезных недоразумений.

В борьбе против нажима на прессу мы оказались бессильны: по вопросу о чрезмерном повышении заработной платы состоялось небывало многочисленное собрание представителей журналов. Небывалое, потому что оно представляло «общий фронт» от официозного журнала министерства юстиции до социалистического «Русского богатства», и все говорили одним языком. Выработаны были две резолюции – одна взывала к общественному мнению, другая обращалась к абонентам. Рабочие не препятствовали напечатанию резолюций, но лишь потому, что не придавали им никакого значения, которого практически они и не получили.

Вторая попытка организованного протеста против подавления свободы печати была уж совсем позорной: никто даже из участвовавших в предварительных переговорах в заседание не явился – трудно было дать более наглядное доказательство неспособности превозмочь сознание своей немощности. Да и то сказать – протестовать ведь приходилось против самих себя, провозглашавших революцию великой бескровной освободительницей.

Тихой заводью оставалась ликвидационная комиссия, но это свидетельствовало, что она стоит в стороне от мятущейся жизни. Здесь все было чинно: когда я входил, стояла сосредоточенная тишина, перья усиленно скрипели, машинки стучали, чиновники почтительно склонялись, и я невольно вспоминал монолог Хлестакова о том, какое впечатление производило его появление в департаменте. Как только созданные вновь учреждения мало-мальски наладились, я предложил – к ужасу чиновников – комиссию закрыть и в последнем торжественном заседании выслушал благодарственную речь академика Венгерова, настойчиво подчеркивавшего, что «такую большую утомительную работу наш председатель совершил без всякого

вознаграждения». Я не признался, что меня удерживало язвительное замечание Гурлянда о борьбе из-за ключей от казенного сундука, и не хотелось, я просто не мог бы взять от революции какую-нибудь денежную выгоду.

Тотчас же по упразднении комиссии, в начале августа, я с семьей уехал в излюбленный Крым, на дачу в Отузах, куда с нами отправилась и семья Каминки. Затея была довольно легкомысленной – железные дороги работали весьма неисправно, поезда были переполнены, о привычных удобствах сообщения Москва–Севастополь нужно было забыть. Но мы не только поехали, но еще и купили, по выбору выдающегося крымского общественного деятеля С.С.Крыма, чудесно расположенный участок земли с составлявшей редкость в Крыму ключевой водой, обсуждали планы постройки дома, собирались разводить форелей. Какой смысл это имело, если ни на минуту не покидало ощущение падения по наклонной плоскости? Быть может, фактом покупки и планами на будущее сами себя пытались убедить, что ничего страшного нет – ведь вот же такой опытный и добросовестный друг ничего странного не усматривает, и нотариус, как полагается, пишет купчую крепость... Пожалуй, и впрямь все образуется? В Отузах, да, впрочем, и в Феодосии, слышались лишь отдаленные отзвуки революционной бури, в нашем подлинно благословенном уголке солнце так уверенно и победоносно сияло, что становилось конфузно за свою тревогу, и море было так ласково, так манило ввериться ему и ни о чем не думать.

Газеты доставлялись крайне неаккуратно, но вечером почтальон приносил длиннейшие телеграммы Петербургского агентства, любезно посылаемые бывшему начальству... Телеграммы властно возвращали к трагической действительности и погружали в сумятицу. Надеяться было не на что, и воспа-

ленное воображение убегало вперед, силясь представить себе, конкретизировать неминуемое страшное завтра.

Мучительно было думать о возвращении в Петербург, но и здесь не сиделось. Выбраться из Феодосии было уже не легко, лишь с помощью всесильных Крымов удалось получить на нашу компанию из восьми человек двухместное купе и разместиться в нем и на полу, и на багажной сетке, но зато можно было утешаться, что хуже не будет: когда на каждой станции поезд осаждался все новыми толпами, мы знали, что на нашу клетушку никто не покусится и мы останемся среди своих.

Чем ближе к Москве, тем все больше вагон наполнялся самыми фантастическими слухами о походе Корнилова, ронявшими в душу искры надежды на изменение безотрадного положения. Возбужденное настроение Московско-Курского вокзала, кишевшего офицерами в походной форме, укрепляло надежду, но тем сильнее была депрессия, когда мы утром 2 сентября на Николаевском вокзале в Петербурге больше почувствовали, чем узнали, что «заговор Корнилова» не только не удался, но смертельно разбередил революционную болячку.

В редакции было большое смятение, со всех сторон на «Речь», и в частности на Милюкова, пальцами показывали, как на вдохновителей и виновников заговора, министры печатали противоречивые заявления, чрезвычайно загадочной представлялась роль Керенского, В.Львова, Савинкова, уволенного от должности генерал-губернатора, только что им занятой; застрелился непосредственно после разговора с Керенским Крымов. На «Речь» все же не решились обрушиться, но несколько правых газет было закрыто, на другой день та же участь временно постигла и газету Горького. Донской атаман Каледин был объявлен мятежником, но перед ним, огражденным защитой войскового круга, правительство спасовало.

В разных городах выступление Корнилова и Каледина объявлено было подготовкой диктатуры и в ответ провозглашена была республика. В противовес Московскому государственному совещанию в Петербурге создано было Демократическое совещание, превратившееся во временный Совет республики (Предпарламент) или, как несколько раз оговорился Керенский, в «Совет временной республики», и эта феерия разыгрывалась на фоне зверских самосудов над офицерами и полного разложения фронта. Впечатление было такое, что страна корчится в предсмертных судорогах.

В Совете республики неожиданно и мне пришлось принять участие. Организация этого надуманного учреждения была бесформенной и случайной – тут было представительство партий, кооперативных союзов, разных обществ, потому и в нашем обществе был поднят вопрос о делегировании представителей. Тщетно указывалось, что печать ежедневно подает свой голос, что общего взгляда мы не имеем и потому положение представителей будет затруднительное – подавляющее большинство настаивало, что «шестая держава» должна быть представлена, нам было отведено два места, я удостоился единогласного избрания, а коллегой моим оказался Леонид Андреев.

Участие в Совете было тем более тягостно, что совершенно изможденный Милюков уехал на отдых в Крым, и забота о «Речи» целиком легла на мои плечи. Созыв Совета отмечен был, как и все действия Временного правительства, большой торопливостью. Тем не менее для размещения его не воспользовались Таврическим дворцом, пустовавшим после вытеснения оттуда революционного Совета и упразднения Государственной думы, а стали приспособлять Мариинский дворец, что потребовало времени и непроизводительных расходов. В

ожидании переустройства члены Совета, тотчас же распределившиеся по партиям и группам, собирались в своих частных помещениях. И вот ровно десять лет спустя я вновь очутился в обстановке политической кухни, из которой, после роспуска Второй Думы, бежал. Поразительно было, что здесь ничего не изменилось, десять лет, да еще каких, не произвели существенных изменений, разве что все успело поблекнуть, слиться. Было много новых, мне неизвестных лиц, несколько не менявших общего вида картины, как обновление состава статистов не влияет на впечатление от знакомой театральной сцены. Солисты были все те же. В отсутствие Милюкова председательствовал, нет – священнодействовал Винавер, он торжественно приветствовал новичков, наставительно разъяснял порядок голосований, преподавал основы тактики, распределял членов фракций по комиссиям, и новички благоговейно внимали поседевшему в боях соратнику.

И заседание идет неизменно в том же русле, что и десять лет назад, правые кадеты спорят с левыми, информаторы сообщают о намерениях соседних фракций и предлагают контрпланы, закрытой баллотировкой производятся различные выборы по заранее составленным спискам. Кадетская фракция занимала теперь правый фланг, направо от нее никто голоса не поднимал, да и она была на положении «терпимой»... Председательствующий тяготел к соглашательству с социалистами вразрез с Милюковым, который теперь, напротив, решительно отгораживался от них: «Это груз, который тянет на дно». Он был глубоко уверен, что «происходит процесс разочарования в лозунгах, выдвинутых крайними партиями, и мы должны этот процесс ускорить».

Напряженно ждали все вступительной речи Керенского, не потому, что рассчитывали услышать нечто новое, важное, а

лишь сигнал к состязанию. Это был и впрямь апофеоз «словесного чванства». Учреждение Совета должно было отвечать потребности правительства найти опору, продемонстрировать перед страной, что оно не висит в воздухе, а стоит на прочном спаянном фундаменте и способно совместными усилиями задуть анархию. Эти повелительные задачи тем легче были отброшены и забыты. Как в Первую Думу министерство пришло с пустыми руками, так и теперь никаких конкретных указаний речь главы Временного правительства не содержала. Все словно чуяли, что это последний случай свести счеты, разоблачить ошибки, сформулировать обвинения, и заботились только, как бы чего-нибудь не упустить, подобрать наиболее резкие выражения, не останавливаясь и перед смачной бранью; каждая речь дышала ненавистью: если бы большевики во главе с Троцким, прочитавшим вызывающую декларацию, не ушли сами из заседания, вряд ли оно закончилось бы без рукопашной.

Я вышел в кулуары и видел, как парламентарии от различных фракций перебежали с бумажками в руках, на которых начертаны были сакраментальные резолюции, к соседям для взаимного ознакомления и новых попыток согласования. Это достигнуто не было, голосование, произведенное среди невероятного шума, не давало точных результатов, недовольные требовали проверки, партийные загонщики рыскали по кулуарам – не застрял ли там кто-нибудь из своих, многие перестали понимать, за что они голосуют; проверка установила, что сводная формула, наспех во время голосования выработанная и объявленная отвергнутой большинством в несколько голосов, теперь столь же незначительным перевесом принята, и этот скандальный результат запечатлевается оглушительными аплодисментами и надрывным ревом, чтобы от края до края всем было слышно и стало ясно, что власть совершенно беспо-

мощна, что ее можно взять голыми руками... Созыв Совета оказался просто преступлением против несчастной родины!

Упомянутое заседание Совета было последним, дальше в старых записях моих значится, что вечером я зашел к Каминке, где встретил нашу приятельницу, отличную пианистку П. и выдающегося инженера Пальчинского, тогда назначенного петербургским генерал-губернатором, и еще кое-кого из друзей. Говорить было не о чем, и, чтобы заглушить душевную маету, решено было музицировать. Кто-то в шутку предложил позвать Милюкова со скрипкой, на телефонный звонок Милюков, точно только и ждал приглашения, охотно откликнулся и через полчаса усердно пилил на скрипке бетховенскую сонату, а затем мы отправились на ночное бдение в редакцию.

На другой день Мариинский дворец имел какой-то странный вид: заседания не было, но в кулуарах толпятся кучки, вяло обсуждающие различные моменты вчерашнего молодецкого боя, расхаживают взад и вперед, заложив руки в карманы, и на всех лицах одно и то же усталое выражение: все, что можно было, уже сделано, больше ничего не придумаешь, остается ждать, что будет. Привлекает внимание Гучков, только что приехавший с фронта и попавший в Совет уже к шапочному разбору. Его засыпают вопросами, на которые он не успевает отвечать, и больше кивает с загадочной, чуть заметной улыбкой на лице. Стремительно проносится к телефонной будке с озабоченным видом Савинков. Громко, так, что всем слышно, спрашивает: «Княгиня дома? Нет? Быть не может. Мне экстренно нужно переговорить. Не забудьте же передать», – и раздраженно мчит обратно. «А вас еще не арестовали?» – спрашивают его. «Мы еще посмотрим, кто кого», – бросает он на ходу, задирая вверх дегенеративную голову. Вокруг вдохновенного оратора обер-прокурора Синода Карташева столпи-

лась кучка и подшучивает: «А где вы завтра будете?», на что он совершенно спокойно отвечает, что ему должны отвести келью в монастыре. А вот, скользя сощуренными глазами по встречным, шествует управляющий делами Временного правительства, сын моего бывшего добродушного начальника, снисходительно вежливо здоровается – ему слоняться по кулуарам некогда, он обременен важными делами и вышел только поразмять ноги. «Что же завтра с нами будет?» Он изумлен таким вопросом и, пренебрежительно скривив губы, гортанными звуками вещает: «Что за вздор! Пусть только попробуют сунуться, им небо с овчинку покажется. Да, какие же сомнения?» Верит ли он сам этому и все-таки, что будет завтра?

Ребром поставил я этот вопрос на происходившем в этот последний день заседании комиссии по борьбе с анархией и контрреволюцией. Объяснения давали министр внутренних дел Никитин, заурядный московский адвокат, но социал-демократ, и начальник военного округа Полковников, как угорь скользивший между настойчивыми выпытываниями, какие меры приняты против открыто подготовляемого восстания. Ему усердно помогали члены комиссии – социал-демократы, которые парировали вопросами о происках монархистов. Из этого заседания я уехал домой с твердым убеждением, что рассчитывать действительно не на кого, и вопрос лишь в том, будут ли большевики смелее, чем 3 июля.

После бессонной ночи я чуть свет позвонил, не припомню куда, и ровный, бесстрастный голос методически стал перечислять одно за другим разные правительственные учреждения. Я нетерпеливо перебиваю: «Но каково же общее положение?» – «Вот я и называю вам учреждения, которые уже захвачены большевиками». Колени сразу подогнулись... Как обухом ударило резкое несоответствие между уравновешенным голо-

сом информатора и потрясающим содержанием известия, словно бы речь шла об обыденном событии, которое в свое время и наступило. Но ведь так оно и есть, разве ты предполагал иное или надеялся на чудо, на сюрприз? Нет, зловещим сюрпризом было именно это тревожно ожидаемое известие – каким бы неизбежным оно логически ни казалось, оно не вмещалось в сознание, его нужно было вколачивать, и что-то внутри раскалывалось, чтобы дать ему место. Второй раз охватило такое же ощущение спустя два-три дня, когда в газете напечатан был список народных комиссаров во главе с Лениным: чудовищно невероятное стало фактом, и из истории России уже нельзя вычеркнуть, что темное подполье открыто на весь мир могло провозгласить себя властелином великой страны.

* * *

25 октября мы ждали в гости к обеду московского приятеля, крупного промышленника С.Смирнова, последнего государственного контролера, с жизнерадостной женой, наслаждавшейся министерским званием мужа. Днем он позвонил из Зимнего, уже отрезанного от телефонного сообщения, только один провод случайно действовал. Заметно бодря голос, он просил передать привет жене: «Приехать к вам уже не придется, да и как и когда увидимся – не знаю». Когда же я передал жене привет, она сказала, что очень плохо чувствует себя и тоже приехать не может. Поздно вечером она позвонила, чтобы сказать, что у нее температура поднялась до сорока, и из расспросов стало ясно, что у нее острый приступ аппендицита и что нужен немедленно врач. Немало пришлось звонить, прежде чем нашелся один, согласившийся с Петербургской стороны поехать на Английский проспект и удостоверивший

правильность моей догадки. Телефон звонил беспрерывно, сотрудники и приятели делились сведениями и невероятными слухами, сгущавшими и опережавшими события, – захвачен Зимний дворец, разрушенный пушками «Авроры», министров увезли в Петропавловскую крепость, но на Троицком мосту озверевшие матросы расстреляли их, женский батальон, оставшийся верным правительству, в плену и изнасилован солдатами...

Было около шести часов утра, в постель я не ложился, когда вновь затрещал телефон, и еле слышным голосом Смирнова сообщила, что только что ей по телефону передали из крепости привет от мужа. А ее рано утром отвезли в лечебницу, не совсем удачно оперировали; еще больная, с повышенной температурой от загрязненной раны, она переехала в казенную квартиру государственного контролера, у подъезда которой дежурил патруль обвешанных пулеметными лентами матросов и куда так неуютно было проходить под испытующими взглядами их зверских лиц, когда я ее навещал. Но вначале еще царило причудливое смешение стилей – распознавать начальство и отличать его от врагов было затруднительно, и уверенный вид, твердая походка не раз служили надежным щитом.

Выход газет снова был приостановлен забастовкой рабочих. Исключением, если не считать официальных «Известий», постепенно с полевением Совета рабочих и крестьянских депутатов, теперь бывшего уже в руках большевиков, явилась еще газета Горького «Новая жизнь», имевшая за собой знаменательное прошлое. Незадолго до революции он, в компании архибуржуазных профессоров и литераторов, затеял издание газеты «Луч» на средства, предоставленные крупными банками. Были уже напечатаны ширококвотательные объявления с

перечислением состава сотрудников, но издание почему-то расстроилось. А в это время грянула революция, и вместо «Луча» явилась «Новая жизнь», во главе с тем же Горьким, но с новым составом сотрудников – социал-демократов. Эта газета играла при революции ту же роль, что «Новое время» при царском режиме, но еще грубее и раболопнее держа нос по ветру. К ней еще плотнее прилипла данная Щедриным «Новому времени» кличка «Чего изволите?», и как смешно, что и печаталась «Новая жизнь» в типографии «Нового времени». Если Горького упрекали в недостойном влиянии, он жаловался на слишком рьяных сотрудников своих, совершенно как старик Суворин укрывался за своих «молодцов, которых он не может держать в узде». Мы было решили опять крепко стоять друг за друга и действовать скопом. Но забастовка затягивалась, коллективные усилия ни к чему не приводили, вследствие чего пришлось предоставить каждому идти своим путем. Немедленно стал выходить бульварный «Петроградский листок». Этот прорыв забастовки быстро стал расширяться, и постепенно появились все газеты, за исключением «Русской воли», сразу захваченной новой властью.

Недолго, однако, продолжался бесперебойный выход газет. Большевики уделяли прессе все больше внимания и обрушились на нее знаменитым декретом, запрещающим печатание коммерческих объявлений, покрывавших большую часть издательских расходов. Это было столь неожиданно и злобная подоплека декрета была так ясна, что он вызвал единодушное возмущение и среди социалистов, и вообще во всех организациях, прикосновенных к газетному делу. Наше общество решило игнорировать декрет, и началась борьба – власть, еще не решаясь на крутые меры, присылала в типографию красногвардейцев, которые рассыпали набор и дробили отлитые полосы. А редакции прибегали к всевозможным ухищрениям,

чтобы обмануть бдительность. Типография эсеровского «Дела народа» охранялась преданными партии вооруженными солдатами, но с каждым днем борьба становилась труднее. Тогда по инициативе нашего общества и бюро социалистической печати созвано было собрание представителей разншерстных организаций, редакторов, издателей, журналистов, типографских рабочих... Такого импозантного объединения «буржуев» с социалистами и пролетариатом еще не бывало, и оно было подчеркнуто просьбой, чтобы я председательствовал. Удивительно было и единодушие ораторов, состязавшихся в возмущении попыткой удушения прессы, и заседание разыгрывалось как по нотам. Оставалось выработать резолюцию протеста, но выяснилось, что каждая организация пришла с готовой формулой. Предложение согласовать формулы, по существу не отличавшиеся между собой, неожиданно встретило возражения – больше всех горячились представители «Новой жизни». Только-только выставленный довод был отпарирован, как приводился другой, еще более туманный и нелепый. Когда в целях демонстрации единодушия внесено было предложение принять социалистическую формулу, один из соратников Горького откровенно заявил, что именно единодушного протеста они и не желают, ибо хотя в данном случае наши задачи совпадают, но «методы и цели остаются глубоко различными». Обычно молчаливый редактор «Дня» Кугель произнес пламенную речь, доказывая, что успех большевиков покоится на лицемерии, предательстве и трусости социалистов, а пролетариат вспомнил, что ему неуместно принимать общие решения с буржуями. С большим трудом удалось закончить собрание на принятии тут же составленного протокола, в котором приведены были все резолюции с указанием, что между участвующими не было разногласий в оценке большевистского декрета как попытки задуть независимую прессу.

Нельзя было, однако, сомневаться, что при таких настроениях борьба с новой властью не имеет серьезных шансов на успех, что, предоставленные самим себе, мы вынуждены будем подчиниться, и, когда следующим декретом новая власть предписала отводить первую страницу ее постановлениям и декретам, это уже не вызвало действительного сопротивления.

В этот момент я был уже вне Петербурга. Одним из первых декретов было объявление кадетов «вне закона», и главам пришлось скрыться. Милюков уехал в Москву в день переворота, за ним последовал Петрункевич, не терял спокойствия и Набоков. Он был арестован в Мариинском дворце вместе с другими членами Комиссии по выработке избирательного закона в Учредительное собрание и отвезен в Смольный, где красногвардейцы с разинутыми ртами глазели, как тщательно он совершает утренний туалет и омовение под водопроводным краном. Отпущенный через несколько дней из Смольного, он поспешил в Мариинский театр на благотворительный спектакль в пользу Литературного фонда, председателем которого состоял⁹². «Еще не отлита пуля, которая для меня предназна-

92 Сам В.Д.Набоков вспоминал, что первое место, куда он отправился после ареста, было новое заседание Комиссии по подготовке выборов в Учредительное собрание, хотя именно на предыдущем заседании он и был арестован. Он писал: «Слишком ясно сознавалось, что наш арест и наше освобождение – простая случайность в надвигающихся стихийных бедствиях, что, освобожденные сегодня, мы завтра же можем снова быть посаженными, и, быть может, в гораздо худших условиях». Однако проникнуть в Таврический дворец, где должно было состояться заседание, удалось не сразу. «Чем ближе я подходил, тем гуще были толпы народа. Я хотел войти во дворец с Таврической, но стоявшие у входа солдаты меня не пустили. На мое

чена», – хладнокровно отвечал он на предостережения друзей, и оказался прав: она была изготовлена не большевиками, а в другом лагере, теми, кто – формально – сам с ними боролся. Еще через несколько дней его уговорили уехать в Крым, где уже находилась вся семья. Много видных членов партии уже сидели по тюрьмам – князь Павел Долгоруков, Кокошкин, Шингарев и другие.

Мне уехать нельзя было, потому что заболела воспалением легких жена, но дома я не ночевал, а в редакцию являлся укрادкой. Предосторожности были излишни – объявив кадетов вне закона, большевики ни разу не произвели обыска у редактора кадетского официоза, да и газету трактовали наравне с другими органами печати.

Смутно припоминаю несколько неожиданных посещений в эти тяжкие дни, в частности, заклятого врага по Второй Думе Пуришкевича. Говорил он без умолку, но на полуслове вдруг

заявление, что я член Всероссийской Комиссии по выборам и иду в заседание Комиссии, мне ответили: „Обратитесь к коменданту“. Членам Комиссии все же удалось провести заседание, хотя большевики пытались их разогнать. Поздно вечером они разошлись по домам, и это была последняя ночь, проведенная Набоковым в своем доме. «На другой день я вышел из дому часов в десять, далекий от мысли, что я больше не переступлю его порога – ни в 1917 году, ни, вероятно, в 1918 году... По дороге я прочел декрет, ставящий партию кадетов вне закона и предписывающий арест ее руководителей. (...) В тот же день, под влиянием настойчивых советов близких мне лиц, я решил уехать в Крым, где семья моя находилась уже с половины ноября... Не возвращаясь домой и отдав по телефону все нужные распоряжения, я вечером выехал, взяв только самые необходимые вещи».

сорвался и убежал. Часто захаживал В.Коростовец, принимавший горячее участие в забастовке чиновников, а теперь проклинаящий родину и работающий над отторжением от нее Украины.

Дома с трудом сиделось – мутило в голове от усилия ответить на всепоглощающий вопрос: как и когда... Я не видел человека, который сомневался бы в предстоявшем свержении большевиков. Вопрос сводился именно к тому, как и когда, но объективных данных для ответа не находилось.

15 декабря врачи разрешили жене выехать: прямо с постели, тщательно укутанную, мы отвезли ее на вокзал и с двумя младшими сыновьями, которым торжественно было обещано вернуться в Петербург через две недели, к началу школьных занятий, двинулись в Финляндию, на Иматру.

Перед оставлением родины (1918–1919)

Иматра издавна была любимым местом отдохновения петербуржцев. Как в летний, так еще больше в зимний сезон гостиницы были плотно заселены, а в глухое время здесь не раз собирались конспиративные съезды революционеров разных толков.

Самым привлекательным на Иматре были дорожки вдоль водопада, которые, что ни шаг, открывали новый вид на стремительно свергающиеся массы воды, миллионами брызг сверкающие на солнце и так бешено устремляющиеся вперед, точно там ждет их неведомое счастье, которое вот-вот исчезнет. Как хорошо мечталось на этих дорожках: шум водопада мощно перекрывал все другие звуки и манил отдалиться своим мыслям...

Теперь обе гостиницы были не просто заселены, но до последнего уголка переполнены, причем большинство составляли не кратковременные туристы, довольствующиеся одной-двумя неделями, а осевшие на неопределенное время. Стоимость жизни значительно выросла, а ценность рубля низведена была до одной пятой официального курса, так что утренний кофе обходился в 5 рублей, за каждый ломоть хлеба (белого уже не было) приплачивалось около рубля, яйцо стоило 2 рубля и так далее, но на дороговизну жаловались меньше, чем на ощутительный уже недостаток продуктов, и завидовали жившим в нескольких километрах от Иматры, в санатории Рауха, где за пансион платили свыше ста рублей в день с человека, но зато человек получал там и сахару вдоволь, и хлебом белым кормили, и даже пирожными баловали гостей. Дороговизна никого не стесняла – один рассказывал, что получил монополию на скупку беженского скота, и операция оказалась фанта-

стически прибыльной, другой красочно повествовал о закупке «партии» кофе на несколько миллионов рублей, добрая половина коих прилипла к его рукам в награду за сложное путешествие по морям и океанам, пересеченным минными полями. Сотенным купюрам пришлось стыдливо смириться перед новенькими тысячными, деньги стали даже стеснять, и внимание больше было приковано к вывезенным брильянтам и всяким драгоценностям. Один банкир, выдвинув наполненный кредитными билетами ящик стола, предлагал зачерпнуть – «пригодятся вам»; член правления «Салолина и Саломаса», адвокат, просил облегчить его, взяв изрядный тючок шведской валюты (он дошел потом в эмиграции до крайней бедности), третий умоляюще спрашивал, не возьму ли к себе один из саквояжей с драгоценностями, и все неизменно прибавляли: «В Петербурге сочтемся».

Среда, в которой мы очутились, была мне мало, а отчасти и совсем незнакома, и порой казалось, что нас столкнуло сюда для общей жизни с разных планет. Наиболее занятыми были яркие представители аристократии, признававшие, что их песенка спета: стоило ли поднимать такую бучу, делать революцию – мы бы и сами ушли. Два свитских генерала, виновники страшного разгрома вверенных им гвардейских частей, уволенные еще Гучковым, так непринужденно чувствовали себя в новом положении, точно говорили: наконец-то догадались убрать нас.

Однажды в нашу комнату вошел незнакомый человек и с таинственным видом сообщил, что меня просит зайти в соседнюю комнату только что приехавший господин, чтобы переговорить по важному делу. Я увидел необычайно возбужденного

молодого человека. Это был принц, разведенный муж великой княгини⁹³. Мне еще не приходилось видеть такую степень растерянности. «Никто не знает еще о моем приезде, – шептал он. – Я узнал случайно, что вы здесь, и прежде всего хотел с вами обсудить. Посмотрите – вот паспорт мой». На старом бланке волостного правления стояло: «Рамонский (Рамонь была его латифундия) волостной комитет удостоверяет, что Имярек, таких-то лет, такого-то роста, с такими-то приметами увольняется на год для свободного проживания в разных городах империи».

«С таким паспортом можно ведь спокойно жить, не правда ли? Я и сам член комитета. По убеждениям я, собственно, эсер, но еще не вполне познакомился с программой. Я могу много интересного сообщить. Но вы спрашивайте, я буду отвечать на вопросы, а то мысль разбегается, связно не могу, так утомительно». Я обратил внимание на присутствие здесь его приятелей генералов. «Знаю, все знаю. Но раньше хотелось с вами посоветоваться. Ну, теперь пойдемте». Приятелей мы застали за бриджем, князь вскочил от радости, и они бросились друг к другу в объятия, горячо целовались и восклицали:

93 Речь идет о принце Петре Александровиче Ольденбургском, первом муже сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны. Они 14 лет состояли в браке, оказавшемся крайне неудачным, так как развод бросил бы тень на Дом Романовых. Но во время Первой мировой войны великая княгиня круто изменила свою жизнь, став госпитальной сестрой милосердия, и потом и свои взгляды. В 1915 г. она добилась у брата-императора разрешения на развод и в 1916 г. вышла замуж за любимого человека, простого офицера. Петр Ольденбургский вторично женился в эмиграции в 1922 г. на русской дворянке.

«Петя! Какими судьбами?» – «Пробрался к родителям, чтобы поздравить с золотой свадьбой». – «Где же родители?» – «Недалеко отсюда, на своей даче. А что ты поделываешь, Сережа?» – «Да вот сижу и жду. Виноват, господа», – обратился он к партнерам, опять уселся боком к столу, закинул ногу на ногу и сразу забыл о приезде, который, потоптавшись и пугливо озираясь, убежал к себе и тем дал возможность князю подробнейшим образом рассказать историю женитьбы принца, причины развода и т. д.

Компанию в бридж этим генералам составляли два еврея. Один был Воробейчик, по званию аптекарский помощник, а по профессии биржевой маклер, другой Хват, не человек, а наскоро с уродливой головой сколоченный обрубок, поставленный на толстые кривые ноги, до подозрительности молчаливый. Главенствовал в гостинице маленький, как ртуть подвижный, как пустая бочка шумный, ставший во время войны притчей во языцех банкир, которого никто иначе не называл как Митька. Презрительная кличка нисколько не мешала связям с такими сановниками, как Горемыкин и Штюрмер, и признанию его финансового авторитета, питавшегося сногшибательными комбинациями. Но во время войны эти связи не помешали и арестовать богатого банкира, чтобы предъявить ему нелепейшее обвинение в государственной измене, и только благодаря воздействию Распутина ему удалось вырваться из тюрьмы. С банкиром была жена, двое сыновей и гувернер-бельгиец, которым банкир гордился и которого третировал, как неотвязного приживальщика, а тот платил амфитриону⁹⁴ нескрываемой

94 Амфитрион – персонаж древнегреческих мифов. Благодаря неоднократному использованию его образа в драматургии (от

смертельной ненавистью. На Иматре он никому не давал покоя, всюду совал свой нос, начиная с разведок на кухне, будет ли сегодня пожива чревоугодия, давал советы играющим в карты, барабанил на пианино, муштровал сыновей, ругался с губернатором, так увлекался своими рассказами, что терял способность противодействовать нагромождению фантастической лжи на действительность, причем жена говорила, что муж все шутит, сын – что отец все выдумал, а губернатор кричал, что он все врет. Он и в эмиграции остался верен себе, выныривал во всех европейских столицах, бывал под судом, а вместе с тем он был человеком добрейшей души и широко помогал направо и налево.

Неподалеку от нашего «Туриста» стояла другая гостиница «Каскад», более дорогая и точно так же переполненная. Друг к другу ходили с визитами, взаимно одалживались умственной пищей, в которой чувствовался большой недостаток, самой ходкой, читаемой и горячо обсуждаемой книгой были «Бесы», имевшиеся в нескольких экземплярах. Но пророчество Достоевского не возбуждало желания проникнуть в будущее, спросить себя, что же ожидать дальше, оно успокаивало: ничего, дескать, неожиданного не случилось, все было предусмотрено. Очень шумно встречали Новый год – с шампанским, танцами, дивертисментом под режиссурой Воробейчика, который даже куплеты сочинил. Помню фразу, вызвавшую одобрителыне аплодисменты: «Но что же заставляет нас так долго здесь сидеть? Большевики, конечно, о, чтобы им околеть». Когда к

Эсхила, Еврипида и Софокла до Мольера и Клейста) стал символом человека, охотно принимающего в своем доме гостей.

четырем утра стали расходиться, то наиболее ретивые отправились в каскад, где веселье только еще разгоралось.

Между тем на Иматре стали появляться чужие люди в белых шапках или с белой повязкой на рукаве, началось постреливание, поезда из Выборга приходили все неаккуратней, и вот уже совсем прекратилось железнодорожное сообщение. В нашей гостинице засел какой-то «штаб», район Иматры становился одним из центров противодействия вспыхнувшему коммунистическому восстанию. Оно началось с Выборга и имело характер местного эпизода, но быстро распространялось по всей Финляндии. В отличие от русского переворота здесь во главе встали не подпольные деятели, а лица всем известные, игравшие ответственную роль в жизни страны: Манер был председателем сейма, и вождь революционного правительства Сирола до восстания состоял членом кабинета. Другое отличие было в правильной систематической организации противодействия: население разделилось на два лагеря, не было промежуточных позиций, никто не предлагал засыпать ров, напротив – стороны соревновались в ожесточении. Позже, когда мы оказались в Сердоболе⁹⁵, туда в госпиталь было доставлено несколько большевиков – таких было немало здесь. Их навещал священник, которому старший врач однажды заметил: «Сан ваш обязывает приходить ко всем на помощь. Но вы должны иметь в виду, что мы смотрим на них как на тяжких преступников, которых ждет самая строгая кара, и сообразовать свое поведение».

95 Сердоболь в 1918 г. был переименован в Сортавала, в 1940 г. по итогам Зимней войны СССР и Финляндии город был передан СССР и вошел в состав Карело-Финской ССР, ныне Республика Карелия Российской Федерации.

Видную роль в борьбе с восстанием сыграли молодые финляндцы, которые во время войны образовали отряд егерей и сражались против России под германскими знаменами. Но решающую помощь оказали немецкие войска под начальством фон дер Гольца.

Перед нашим отъездом с Иматры приехало несколько морских офицеров с Вуоксениски, где стояла озерная флотилия, насчитывающая с дюжину офицеров и около ста матросов, которые после революции вышли из повиновения, офицеров разоружили, оружие отняли, но держались спокойно. Офицеры представляли необычайно разношерстную компанию – тут был польский граф, балтийский барон, ускоренного выпуска врач, совсем юноша, старый морской волк, выдавший виды. Теперь финны матросов арестовали и перебросили через границу, а офицеры, отпущенные на все четыре стороны, поделили казенные деньги и только о том и думали, чтобы поскорее улизнуть в Швецию, ибо были уверены, что матросы вернутся за своим имуществом и, если попасться им на глаза, пощады не жди. «Но что же вы будете делать в Швеции?» Там, конечно, они не останутся: одни собирались в Сибирь к Колчаку, а двое называли уже Сандвичевы острова. Тогда это звучало не как географическое обозначение, а заменяло выражение: куда глаза глядят, хоть на край света. Но когда потом в Берлине стал выходить «Руль», подписка на него приходила из таких уголков земного шара, где до нашего рассеяния о русской газете и слыхом не слыхивали. Куда только русского беженца не занесло...

Мы не решались пробираться в Выборг на лошадях, чтобы оттуда ехать в Петербург, и после долгих колебаний направились в Кексгольм, чтобы проехать по только что отстроенной железнодорожной ветке. Но было уже поздно, мы попали в

самый разгар военной сумятицы, несколько раз в пути нас высаживали, и всюду натыкались мы на недоброжелательное отношение, не различавшее обрусителей Финляндии от защитников ее автономии. «Это все Милюков нам наделал. Дарданеллы ему подай, вот и довоевался. А теперь эти мерзавцы (русские солдаты) устремляются к нам, чтобы и Финляндию погубить». Наши пытались напомнить прошлое, но это только раздражало: «Все вы из одного теста сделаны. Что Милюков, что Распутин, что Хвостов – все одно и то же».

В конце концов мы очутились в Сердоболе, крошечном городке у Ладожского озера, высадившись на вокзале в числе нескольких десятков свезенных с разных курортов мужчин, женщин и детей и огромной массы разного багажа. Встречены мы были совсем не гостеприимно: нам говорили, что остаться здесь нельзя, что ни продовольствия, ни помещений свободных нет, предлагали немедленно ехать в Петрозаводск на лошадях и угрожали выслать принудительно. В старых записях моих изложены наши мытарства, но, когда впоследствии я познакомился с невероятными ужасами эвакуации Крыма и Кавказа, стало ясно, что мы были баловнями судьбы. Мне, в частности, она очень мило улыбнулась сразу на вокзале.

В Сердоболе уже несколько месяцев проживал известный художник Рерих. Услышав от кого-то о моем приезде, он разыскал меня и проявил дружеское участие, служившее среди враждебной обстановки очень приятным и ценным утешением. В Сердоболе, как во всяком финском городе, как бы мал он ни был, имеется безукоризненная гостиница, но о ней и думать нельзя было: вследствие чрезмерной дороговизны она была уже захвачена мультимиллионерами, швырявшими деньгами. Все же кров мы нашли, пусть более чем скромный, с голоду не умерли, хотя предупреждение о недостатке продо-

вольствия побудило миллионеров скупить все, что было в лавках, и сразу невероятно поднять цены.

Надо было подумать, как скоротать время. К счастью, среди беженцев оказался один настоящий педагог, так что с грехом пополам сыновья могли продолжать учебные занятия, а я решил погрузиться мыслями в прошлое и изложить их на бумаге. Меньше чем за четыре месяца удалось написать около 20 печатных листов, но как они мне теперь не по душе! Почему? Тогда я не погрешил против искренности и честности, но смущает самолюбование. Я, нет, не я, а автор тех мемуаров опасался недооценки своей общественной работы, незаметно для себя пыжился. Теперь это кажется забавным...

С жадностью хватались мы за случайно доходившие из Швеции немецкие газеты, но каждое известие делало новую душевную царапину. Маргилومان⁹⁶ телеграфировал Бриану⁹⁷, что счастлив сообщить ему о присоединении Бессарабии к Румынии, а граф Мирбах⁹⁸ торжественно въехал в Москву.

Известия об успехах противника действовали возбуждающе на осевших в Сердоболе сановников и миллионеров. Быв-

96 Александру Маргилومان – румынский государственный деятель, занимал ряд министерских постов в правительстве Румынии, в частности, в 1918 г. пост премьер-министра.

97 Аристид Бриан – французский государственный деятель, неоднократно занимал пост премьер-министра Франции, а также посты министра иностранных дел, внутренних дел, военного министра и др.

98 Вильгельм фон Мирбах – участник переговоров по заключению Брестского мира, а с апреля 1918 г. – посол Германии в Москве, где 6 июля 1918 г. был убит эсерами с целью спровоцировать продолжение войны.

ший товарищ министра внутренних дел и потом товарищ председателя Государственной думы князь Волконский безапелляционно уверял, что немцы не ради финнов высадили здесь десант, а для занятия Петербурга. Что не сегодня завтра мы в «де цуге⁹⁹» поедem туда, и, предвосхищая возражения, раздраженно пояснял: «Что же делать, батенька! Сами-то вот до чего доигрались, так уж жаловаться и привередничать нечего». И хотя практическая бесцельность таких настроений весьма быстро определилась, они рассудку вопреки все ширились, возникали в разных вариантах. Вспоминаю беседу Мережковского с покойным Пилсудским, которого он наделил божественным призванием сокрушить большевизм, а недавно польский общественный деятель Грабский, заключая в Риге мир с советской властью, сказал: «Мы сейчас подписываем смертный приговор армии Врангеля». Но никакие разочарования не могли уже возродить чувство национальной гордости, а лишь повышали готовность поступиться интересами родины, с другой стороны – оказалось много охотников покупать шкуру неубитого медведя.

Напрасно, однако, князь Волконский спешил парировать ожидаемые возражения. Не было никакой охоты вступать с ним и поддерживавшими его миллионерами в спор. Мы жили очень замкнуто, встречаясь только с Каминкой ежедневно за совместным обедом и с Рерихом. Он ежедневно заходил за мной в 10 часов, когда я должен был освобождать комнату для занятий детей с педагогом, и мы часа два-три гуляли по окрестностям Сердоболя. Перед глазами висит подаренная акварель с надписью: «На память о хождениях по северным

путям» и очень удачный портрет, присланный из Америки в 1923 году «на добрую память перед отъездом в Индию». Где он теперь, сколько и каких только путей не исходил он с тех пор! Напрягая всю пытливость, вглядываюсь в его умное, сосредоточенно серьезное, монгольского типа лицо. Наши прогулки были восхитительны и сами по себе, и потому, что Рерих был исключительно интересным собеседником. Он обо всем говорил серьезно, тщетно силюсь вспомнить улыбку на его лице, да она и не подходила к нему, нарушала бы стильность.

Я предпочитал спрашивать его, в особенности по вопросам художественного творчества: он держался мнения, что все великие имена являются воплощением коллектива безымянного; не говоря уже о гениях Эллады, Рубенс, Микеланджело, Леонардо, в сущности, имена собирательные – им приписываются, кроме собственного творчества, и много чужих равноценных творений их современников и учеников. Мое фаталистическое мировоззрение гостеприимно встречало такие суждения. Очень интересно рассказывал Рерих о смене художественных течений, настаивая, что не следует искать между ними резких граней, одно незаметно сменяется другим.

С почтительной благодарностью вспоминал он своего учителя Куинджи – одного из виднейших передвижников, которого настойчиво приглашали в «Мир искусства», и сам он колебался, не вступить ли в эту группу, возникшую для борьбы и на смену передвижничеству. «Да ведь и у меня этот неистовый Дягилев силком отобрал незаконченную картину „Город строят“ и, сколько я ни убеждал, упрямо отвечал: „Ни одного мазка больше. Долой академизм!“ И картина произвела фурор».

Когда мы ближе познакомились, он все чаще стал заговаривать о таинственных силах, неосновательно отвергаемых

цивилизацией, о достижениях древних культур, бесследно исчезнувших, о телепатии, случаи которой, как нарочно, обнаружались и в наших отношениях, и, наконец, признался в своей привязанности к теософии и заявил, что, если бы не дети, они с женой охотно переехали бы в Индию, в теософскую общину. Я не очень этому поверил, а оказалось, что он действительно направился в Индию, побывал и в Тибете и взял с собой и сыновей, тогда прелестных, многообещающих мальчиков, преклонявшихся перед отцом.

Его художественное творчество, необычайно плодотворное, явственно отражало теософскую устремленность. Таинственные зовы, беспокойное томление, безответное моление о чуде и дерзостное утверждение чуда звучат и веят с бесчисленных полотен. Ему не годятся масляные краски, прельщающие прозрачностью и блеском, а потому он вернулся к средневековой темпере, придающей строгость и суровость вызывающим загадкам. Ему и «натура» не нужна была, между отвлеченностью и реальностью для него не существовало грани. Я понимал, что не мог бы так поддаться впечатлению рериховского творчества, если бы смотрел на его картины в нормальной обстановке, поглощенный своим делом, прикованный к минутным благам жизни привычкой и средой. Но ведь это не значит, что самих загадок не было, а лишь то, что, не случись катастрофы, выбросившей из колеи и лишившей всего, что обольщало, я продолжал бы «пить из чаши бытия с закрытыми глазами».

Мы начали совместные прогулки в середине января, при 25 градусах мороза, среди зимней чуткой тишины, нарушаемой лишь унылым похоронным церковным звоном, все учащавшимся по мере увеличения числа раненых в больнице, и мерили версты во всех направлениях, заходяжили в подгород-

ный монастырь, где приветливо встречали и сердечно беседовали симпатичные монахи.

Как-то незаметно подкралась весна и сразу бурно вступила в свои права, нас вдруг поразил странный задорно-веселый шум, все кругом торопливо заговорило, неистово защелкали воробьи, зажурчали ручейки, отовсюду капало, таял и млел тяжелый снежный покров, и в душе бурлила светлая тревога, заставлявшая ускорять шаги навстречу чему-то неизведанно радостному – только бы не упустить его. Закоснелый горожанин, я впервые переживал весну на лоне природы, но, что было мне непонятно, и Рерих никогда не видел ее вне каменных стен.

Не забыть одной прогулки, приведшей нас в большой парк на берегу Ладоги. День выдался какой-то совсем особенный. На высоком небе ни облачка, солнце ласково припекает, и ослепительно сверкает его отражение в веселых проталинах, и тишина такая, будто время остановилось, приготовившись к великому празднику, и я все ловил себя на мысли, что сегодня предстоит торжество. Мы пробрались в беседку на крутом обрыве над озером, еще покрытым льдом. Воздух был насыщенный, густой, мы не вдыхали, а пили его, и голова слегка кружилась, хотелось что-то сказать, слова просились на язык, но не могли прорваться сквозь задышающееся в тисках восторга горло, и мы лишь обменивались улыбающимися взглядами. Но как же было тяжело и стыдно, когда, ослепленные сиянием, одурманенные, мы медленно вернулись в город и столкнулись со знакомыми, которые осыпали нас очередными новостями, рассеявшими весенние чары и пригвоздившими к безотрадной действительности. Я чувствовал себя пойманным с поличным: хотел улизнуть от тяжести прожитого полувека, а меня схватили за шиворот и взвалили ее на свое место.

Новости гласили, что финляндское восстание подавлено и на днях восстановится сообщение с Петербургом, но о поездке в «де цуге» уже не упоминалось, словно и надежды такой не возникало. Начались дорожные сборы, хлопоты о скорейшем получении пропуска через жестоко усмиренный Выборг, и наши «хождения по северным путям» с Рерихом резко оборвались. Теперь пути наши разошлись – он и не помышлял о возвращении на родину, оставался в тихой пристани, мы отправлялись в плавание по бурному морю большевизма. За все время пребывания в Сердоболе мы не получили из Петербурга ни одного известия и не могли сколько-нибудь конкретно представить себе, что нас там ожидает, где старшие женатые сыновья, существует ли еще «Речь», цела ли наша квартира и т. д. Эти томительные вопросы властно врезались в порядок дня, а я еще сам бередил их, чтобы заглушить сладостное воспоминание о блеснувшей мне улыбке весны.

С Рерихом я снова встретился на короткое время, около года спустя в Выборге и Гельсингфорсе, но в беженской политической сутолоке мы не возвращались к прошлому. Потом в Берлине руководимое мною издательство выпустило одну из его книг, «Цветы Мории»... А теперь имя Рериха получило совершенно исключительное значение... В 24 странах создано 63 общества его имени, посвященные культуре, искусству и знанию. В Нью-Йорке устроен музей Рериха, содержащий свыше тысячи его полотен. Кроме того, он создал ряд образовательных учреждений в Америке, был инициатором «Пакта Рериха», предложившего «Знамя мира». Но это уже не тот взыскующий Рерих, а широко вещающий непреложные истины древних мудрецов, разукрашенные пышным словесным орнаментом. Мне трудно узнать его теперь, когда он всегда «в толпе», в которой не знаешь, кого встретишь. Но я храню благодарную память о том интимном, чуть оглядываемомся

Рерихе, так любовно скрасившем тягостное пребывание в Сердоболе раскрытием своего опыта одухотворенной жизни во время наших хождений по северным путям.

* * *

С тревожным нетерпением приближались мы к злобно ощерившейся родине. К числу немногих впечатлений, которые на всю жизнь сохраняют свою первоначальную яркость, относится и переезд через границу в Белоострове. Вместо «бурного моря» перед глазами развернулось какое-то «сонное царство». Был чудесный весенний день, солнце ласково согревало толпу людей на перроне, неряшливо и причудливо одетых, лениво слонявшихся взад и вперед, не проявляя никакого интереса к окружающему. Особенно поражало мертвенное безразличие таможенных чиновников, всегда отличавшихся ревностью и настороженностью ищеек. Теперь их внимание было всецело поглощено несколькими ковригами соблазнительно пахнущего черного хлеба, которые мы захватили с собой, и, видя умоляющие глаза, трудно было отказать в просьбе уделить им кусок этого необычайного лакомства.

Такое же зрелище «сонного царства» ожидало нас и в Петербурге. Площадь перед вокзалом также была усеяна людьми, вяло и бесцельно передвигавшимися. Некоторое оживление замечалось только в кучках вокруг торговцев, продававших яблоки, сомнительного вида сладости, папиросы и т.п. Среди торговцев попадались новые, интеллигентные и аристократические лица – преимущественно женщины, предлагавшие разнообразнейшие вещи домашнего обихода.

У сыновей все оказалось благополучно, и квартира оказалась нетронутой, отчасти благодаря тому, что находилась в доме шведской церкви, а главным образом потому, что тогда

Петербург начинал уже пустеть: за время нашего отсутствия состоялся перевод столицы в Москву. Это была первая символическая гримаса революции. Я вспомнил мрачное заседание кадетской фракции Совета республики (пресловутого Предпарламента) незадолго перед октябрьским переворотом, когда стало известно намерение Временного правительства эвакуировать Эрмитаж и другие ценности в Москву. Как ярко разгорелись страсти: вернувшийся к кадетам Н.Львов горячо приветствовал это намерение, потому что «давно уже пора бросить Петербург, он язва России». Против него с пламенной речью выступил Ф.И.Родичев, ярый эпигон российского западничества. Эвакуация в Москву ему рисовалась более чреватой последствиями, чем угроза немецкого захвата Петербурга: немцы в столице не останутся, а Москва не отдаст того, что в ее руки попадет. И вот наконец осуществление заветной славянофильской мысли – ликвидировать историческое значение Петербурга, петровского «окна в Европу», история подбросила – кому же? – создателям Третьего Интернационала, относившимся к славянофильским чаяниям с высокомерным презрением. И душа чарующего Петербурга от него сразу отлетела, это болезненно ощущалось на каждом шагу, а травка, пробиравшаяся уже на гранитных мостовых, казалась «травой забвенья», и гвоздило в мозг название напечатанного в «Речи» фельетона Мережковского: «Петербургу быть пусту...»

Не только квартира оказалась в неприкосновенности к услугам нашим, но, что казалось совсем невероятным, и «Речь» продолжала существовать. «Речь» считалась кадетским официозом, кадетская партия объявлена вне закона, а газету не умерщвляли. Правда, наряду с другими газетами «Речь» несколько раз закрывали и облагали непосильными денежными штрафами, выходила она уже под другим названием – «Век» и «Наш век», но, конечно, это не могло обмануть большевиков.

Мне помнится, что и в день нашего приезда «Речь» находилась в периоде закрытия, но через несколько дней вновь получила разрешение появиться в свет. Коллеги встретили меня с весьма кислой миной. Они пережили за время моего отсутствия столько страхов и ужасов, что их враждебная настроенность против редактора, отсидевшегося в «тихой пристани», была понятна. Нередки были уже тогда случаи, что лица, возвращавшиеся с юга и оставившие квартиру на попечение приятелей, встречали со стороны последних откровенное нежелание вернуть собственникам имущество, мотивируя нежелание чрезвычайными мерами, которые приходилось принимать для ограждения имущества от большевиков, и огромным риском, которому они при этом подвергались. Думаю, что если бы во главе редакции не стоял мой заместитель и близкий друг М.Ганфман, человек рыцарских душевных качеств, то и мое возвращение на редакторский пост не было бы беспрепятственным. При данных же обстоятельствах пришлось только выслушать чтение приветствия сотрудников, уснащенного едкими колкостями по адресу бросивших газету редакторов.

Не правы, однако, были коллеги в том смысле, что и ко времени моего возвращения положение отнюдь не изменилось к лучшему, и прежнее увлечение газетной работой сменилось подлинным отвращением, которое нужно было преодолевать, чтобы написать до конца бесцветную передовую статью. Русские литераторы долгие годы практиковались в эзоповом языке. Большевики сами по этой части были столь опытные, что на такой мякине их, стреляных воробьев, провести нельзя было. Но ввиду общей уверенности в мимолетности большевиков (в чем они и сами мало сомневались) возникла страсть находить между тем и то, чего там не было, и строить самые причудливые догадки, отвечавшие затаенным желаниям. Благодаря этому тираж газет значительно увеличился, и с

коммерческой точки зрения издание газеты вполне оправдывалось, но духовный смысл целиком отпал.

Поэтому в душе неотступно шевелилось желание: ах, если бы раз и навсегда закрыли! Вместо того чтобы ждать насильственного избавления, можно было покончить самоубийством... Но от заклания газеты своими руками удерживала отчасти инерция, а больше всего, вероятно, перспектива голода после потери газетного заработка. Кажется, единственным журналом, который покончил самоубийством, было «Право», просуществовавшее около 18 лет. Тотчас после переворота я стал настаивать на бесцельности дальнейшего издания, в декабре нас осталось только четверо из всего состава редакции: другие либо скрывались от ареста, либо уже покинули Петербург. Решено было объявить, но не о прекращении, а о приостановлении на неопределенное время. В последнем номере я напечатал передовую статью, в которой говорилось, что «большевистский переворот подорвал все основы правопорядка, отменив все законы, упразднив суды, заменив правосудие... усмотрением и произволом. При таких условиях, когда право задавлено силой, когда ни законов, ни судов не существует, когда вся государственная жизнь превращена в бесформенный хаос, „Право“ вынуждено умолкнуть. Задачи, которые оно себе ставило, лежат вне той плоскости, на которой разыгрывается борьба за власть». Таким образом, «Право» удалось похоронить с честью. Все другие периодические издания скончались, так сказать, под забором, вроде тех лошадей, трупы которых тогда встречались на улицах Петербурга.

Из отдельных эпизодов газетной работы вспоминаются постоянные пререкания с Ганфманом из-за оценки соотношения воюющих держав. С первого же дня войны поражение Германии представлялось мне несомненным, но все считали

такой взгляд слишком прямолинейным. Выход России из войны прогноза моего не поколебал, и как попугай я повторял его, лишь только приходилось в передовых статьях касаться этого вопроса. А поздно ночью, когда типография подавала сверстанную полосу, Ганфман начинал, пыхтя, горячо убеждать: «Что вы пишете о неизбежной катастрофе, когда германские войска по всем фронтам стоят на завоеванной земле. Дал бы нам Бог такую катастрофу». А я возражал, что несравненное военное превосходство Германии и создает роковое противоречие, которое разрешится катастрофой, и после жаркого спора мы мирились на смягчении словесных выражений. Надо оговориться, что такие высказывания нисколько не мешали появившейся тогда в Петербурге германской миссии (не помню ее официального названия) проявлять благожелательность, и офицеры оказали редакции большую услугу, ежедневно снабжая русскими газетами, приходившими из Украины¹⁰⁰ и служившими главным источником нашего осведомления.

Но все воспоминания об этом периоде блекнут перед впечатлением, произведенным екатеринбургским злодейством. Не помню, как и когда дошло до нас известие об убийстве царя со всей семьей. В моей памяти сцена выпуска номера с известием и передовой статьей, оценивающей это историческое событие, складывается так: вижу Ганфмана, держащего в

100 По условиям Брестского мира, заключенного советским правительством, Украина, как и ряд других территорий (от Пскова до Черноморского побережья, Крыма и Ростова-на-Дону), была передана Германии и Австрии. Немецкая оккупационная администрация присылала русскоязычную прессу с Украины в Петроград, командированным туда офицерам германской армии, для ознакомления с политической ситуацией.

дрожащих руках бюллетень, и по его растерянному виду догадываюсь, что случилось нечто необычайное. Мы безмолвно смотрим друг на друга, словно утратили способность членораздельной речи, и кругом царит зловещая тишина... Мучительнее всего угнетала необходимость нарушить тишину, откликнуться на страшное событие и сознание бессилия сделать это в сколько-нибудь соответственных выражениях. Кое-как, совместными усилиями статья была составлена, отослана в наборную, но внутренне мы были уверены, что номер газеты не выйдет... Но вместо ожидаемого запрещения случилось совсем иное, еще небывалое в истории цензуры. После двух часов ночи в редакции появился один из комиссаров Н.Кузьмин и, стараясь быть как можно вежливее, просил показать ему корректуру статьи, если таковая написана, чтобы «предупредить, – пояснил он, – возможные недоразумения». Этот визит показал, что большевики и сами смущены своим злодеянием, чувствуя, что оно превзошло меру того, что может вместить человеческое сознание XX века, как если бы они, например, вернулись к колесованию или заливанию горла расплавленным металлом. Смущение и заставило их воздержаться от закрытия газет, которое могло лишь усилить впечатление, и они предпочли прибегнуть к небывалому способу воздействия на содержание статей.

Вместе с тем применение нового способа давало возможность предвидеть, что, как только смущение пройдет, большевики ощутят неудобство существования независимой прессы и беспощадно расправятся с ней. А тут еще начиналось Белое движение, в Петербурге убит был комиссар печати Володарский, в Москве убит был германский посол, в Ярославле вспыхнуло восстание левых эсеров, после переворота разделивших было власть с большевиками, поднимались чехословацкие легионы... Все это требовало утомительной зоркости

цензуры, и вот 3 августа наступил долгожданный момент – все газеты были закрыты. В декрете не было указано срока, ничто не говорило, что на этот раз закрытие состоялось «всерьез и надолго». По всей вероятности, вопрос тогда и не был решен. Большевики были еще далеки от прочного овладения властью, и действия их в значительной мере носили судорожный, порывистый характер. Поэтому и ввиду бывших уже прецедентов возобновлены были попытки добиться отмены запрещения, мне же пришлось позаботиться о добыче денег, чтобы компенсировать редакции иссякший источник дохода от продажи газеты. Достать деньги в то время было нетрудно. Хотя с грехом пополам они сохраняли еще свою ценность, но национализации и конфискации значительно уменьшили привязанность к ним, приучили легче расставаться, и в несколько дней удалось собрать, если не ошибаюсь, около ста тысяч рублей. Но эти же несколько дней выяснили, что нельзя рассчитывать на возобновление выпуска газет, что запрещение их – окончательное. У меня лично оставался еще солидный источник дохода: копенгагенская оружейная фирма, изготовлявшая пулеметы системы Мадсена, затеяла постройку завода внутри России и пригласила меня юрисконсультom на жалованье в 10 тысяч рублей в год. Завод построен был в Коврове, начал он работать уже во время революции, а после переворота вместо пулеметов стали готовить автоматические ружья системы генерала Федорова.

* * *

Прекращение газетной работы дало возможность несколько оградить свою безопасность: сохраняя городскую квартиру и полицейски оставаясь прописанными в Петербурге, мы переселились в Царское Село. В Царском нам неоднократно

приходилось проводить лето, а то и зимой на день-другой приезжать. Но осенью я впервые видел этот чудесный уголок. А осень в тот год стояла необычайно прекрасная – тихие, солнечные, ласковые дни, и, гуляя по великолепному парку, окрашенному в яркие разнообразные цвета, я невольно душевно осмыслил пушкинские слова: «Настала осень золотая, природа трепетна, бледна, как жертва пышно убрана». Я видел теперь пушкинскую обстановку воочию.

Но еще и другое осмыслил я на этих незабываемых прогулках, благодаря высвобождению из-под редакторского хомута: было такое ощущение, точно пелена с глаз спала, точно впервые дана была возможность оглянуться, дать себе отчет в том, что происходит в душе и что совершается вокруг. Обязанности редактора вынуждали к самому нездоровому образу жизни. Изо дня в день я возвращался из накуренной комнаты не раньше трех часов утра домой, долго не засыпал, поднимался еще с постели, чтобы телефонировать в редакцию. В девять часов я был уже на ногах и немедленно садился за стол, чтобы прочесть почту и десяток газет, подготовить обзор печати. Около двух часов уходил в редакцию, где до шести с половиной с трудом улучал минуту, чтобы остаться одному. Вернувшись домой, тотчас после обеда садился за писание статьи для завтрашнего номера, чтобы через два-три часа вновь отправиться в редакцию на ночное бдение до трех часов утра. Если же вечером нужно было быть в заседании или пойти в гости, в концерт, в театр, то напряжение еще увеличивалось, и все время, сидя в театре, волновался, не опоздаю ли в редакцию, а готовя статью, держал перед глазами часы, чтобы не опоздать на заседание. Так под знаком «как бы не опоздать» и топотала «жизни мышья беготня», и тем не менее я всегда чувствовал себя бодрым, готовым в бой. Теперь образ жизни радикально изменился к лучшему: большую часть дня я проводил на

свежем воздухе, гулял, с большим удовольствием колол дрова, читал и писал не из-под палки, а с прохладцей, спать ложился рано. А между тем к вечеру я не то что уставал, а чувствовал себя совершенно изнуренным, выдохшимся, и было это ощущение не физической, а душевной изможденности. Задумавшись над ее причиной, я опять споткнулся о не оставлявшие меня в покое мысли об огромном значении привычки. В нормальное время жизненный обиход разворачивается в большей своей части автоматически. Поскольку те или другие действия изо дня в день повторяются, постольку работу сознания все больше заменяет привычка. Мне кажется, что даже чисто умственная деятельность, повторяемая изо дня в день, содержит значительную долю автоматичности.

Теперь, когда революция все сорвала с петель, положение резко изменилось. Не приходилось уже, встав с постели и взяв ванну, благодушествовать за утренним кофе и бегло просматривать газеты, заранее зная, где что найдешь. Горячая вода не течет больше, и нужно подумать, как ее добыть. Нужно придумать и над тем, как раздобыть хлеб и масло и распределить так, чтобы всем домашним досталось и хватило на весь день. Чтение газеты требует напряженного внимания, чтобы расшифровать ежедневно как из рога изобилия сыплющиеся декреты. С оглядкой приходится двигаться по улице, чтобы, чего доброго, не попасть в облаву. Словом, каждый шаг, каждое действие требует активного участия сознания, непрерывной мозговой работы, внутреннего напряжения. Несомненным мне казалось, что причина небывалой изможденности лежит в упразднении автоматизма жизненного обихода и непрерывной чрезмерной возбужденности сознания.

Воспоминания об этих размышлениях досаждают теперь чувством неловкости: куда было бы уместней говорить о

страшном терроре, разыгравшемся после убийства юношей Канегисером мстительного чекиста Урицкого и покушения Каплан на Ленина, о ночной настороженности при приближении автомобиля – не пробил ли твой час, о планах борьбы с захватчиками власти... Но по мере того, как давно предсказанный и неожиданно грянувший эпизод стабилизировался и разрастался в грандиозное историческое событие, так хотелось проникнуть в тайный смысл его, понять его значение, определить, чем оно чревато, взвесить шансы борьбы с ним.

На этом месте передо мною встает один из самых милых и дорогих призраков прошлого – скорбная тень моего «кузенчика» (так он всегда называл меня) В.М.Гессена, с которым мне тогда пришлось беседовать и спорить по поводу волновавших меня мыслей и который много помог мне своими большими знаниями. Он тоже провел несколько месяцев вне Петербурга, в Ростове, где двое сыновей его, студенты, вступили в отряды Корнилова. Когда же Ростов был взят большевиками, объявившими смертный приговор всем укрывающим у себя «белогвардейцев», домовладелец потребовал, чтобы Владимир Матвеевич покинул его дом. Об этом он рассказывал так: «Для выезда из Ростова требовался пропуск от местного Совета, и я с трепетом вошел в здание, уверенный, что меня тотчас арестуют, как только я произнесу фамилию Гессен. Но я получил урок скромности, который в равной мере и к тебе, кузенчик, относится. Фамилия не произвела никакого впечатления, и пропуск был выдан без всякой задержки». Владимир Матвеевич оказался прав, урок скромности преподан был и в Петербурге, когда два месяца спустя нужно было получить пропуск в Финляндию, и ни в ЧК, ни в военно-революционном отделе фамилия редактора «Речи» не вызвала никаких сомнений, просто потому, что была неизвестна. Уже на первых порах большевистского господства появилась масса новых людей,

выскачек, не имевших никакого касательства к долголетней борьбе со свергнутым режимом.

Но я возвращаюсь к кузенчику, с которым меня связывали узы тридцатилетней дружбы, хотя были мы люди настолько разные, что его все любили, а у меня врагов было хоть отбавляй. Он был яркой фигурой, судьба щедро взыскала его своими милостями. Есть люди, которые страстно любят жизнь, но она их не замечает или даже третирует. Есть другие, к которым жизнь благоволит, а они ее не любят и ничего не дают ей взамен полученных даров. Владимир Матвеевич представлял счастливое исключение: он страстно любил жизнь, любил во всей ее неприкрашенной действительности, и она отвечала ему широкой взаимностью. Она подарила ему блестящую внешность и богатое внутреннее содержание: высокого роста, стройный, с красивым лицом, с мягким взглядом больших глаз, он привлекал к себе общие симпатии, возраставшие при виде его детской неловкости и практической беспомощности. Хотя он совершенно лишен был умения пробираться вперед локтями, все же неизменно выдвигался на первые места: переселившись в 1895 году в Петербург, сразу стал центром в кружке молодых ученых; вступительная лекция в университете дала ему настоящий триумф; участие в «Праве» придало журналу яркий публицистический блеск; как член Второй Государственной думы он соперничал с В.Маклаковым за титул лучшего оратора... Но все возраставшие материальные заботы отвлекали от научной работы и обременяли непосильной преподавательской деятельностью. Он читал лекции в университете, в Александровском лицее, в политехникуме и на Высших женских курсах, все откладывая защиту докторской диссертации. И судьба, которая была к нему так благосклонна, резко отвернулась: в тяжких страданиях от саркомы в мозгу умерла жена, дважды болел загадочной болезнью сын, другой страдал лег-

кими, и Владимиру Матвеевичу пришлось навсегда позабыть, что такое светлый день и легкое настроение. Он утратил всякий вкус к жизни и лишь покорно тянул лямку ее. Вернувшись из Ростова, он прожил в Петербурге до апреля 1919 года, остро ощущая вследствие своей практической беспомощности производственные затруднения, и по совету преданного ученика переехал в новый университет в Иваново-Вознесенск, где вместе с двумя сыновьями заболел сыпным тифом. Те выздоровели, а его безмерно уставшее сердце не выдержало. Я покинул Петербург несколько раньше и, уступая требованию друга, добывавшего нужные для отъезда документы, соблюдать абсолютную тайну, распространил ее и на дорогого кузенчика и не простился с ним перед расставанием навсегда. Пусть могу искать оправдания в том, что риску подвергался не я один, а вся семья, оправдание не успокаивает сердечных угрызений, которые с новой силой дали себя знать, когда в 1923 году появление в Берлине обоих сыновей его, пылавших жгучей ненавистью к большевикам, воскресило прошлое. Один из них скончался потом в Париже от туберкулеза, другой раздел типичное бытие русского беженца, которого судьба за шиворот таскает по неизвестным тропам в поисках куска хлеба.

Кроме кузенчика, мне больше ни с кем не доводилось в то время беседовать по душам. Раза два в неделю я ездил в Петербург и обычно оказывался в одном вагоне с Луначарским, который почему-то и после отъезда Совета народных комиссаров продолжал оставаться в прежней столице и жил в Царском-Сельском дворце. Он неизменно бывал тесно окружен льстецами, жадно внимавшими его словам, а он ораторствовал и с тем же жадным вниманием сам себя слушал. А поблескивание золотого пенсне на лоснящемся широком носу создавало впечатление, что даже и оно сияет самодовольством. Мне при

этом вспоминалось, что года два назад, быть может, в том же вагоне приходилось встречать великого князя Дмитрия Павловича, который тоже был окружен почтительно внимавшими его разглагольствованиям. Но теперь было гораздо больше раболепства, а главное – гораздо больше подчеркивания своей преданности и восторга, что, впрочем, и требуют всегда нувориши.

В Петербурге я заходил в редакцию, куда еще доставлялись из германской миссии газеты и где можно было застать того или другого сотрудника. Свернув с Литейного на улицу Жуковского, где редакция помещалась, уже издали слышал я удручающее завывание пожилого человека, прилично одетого, в фуражке государственного контроля на голове, быстро севшего на ноги и не перестававшего протяжно кричать: «Подайте голодному, добрая душа, три дня не ел, подайте, добрая душа-а-а». Я мысленно посылал ему вопрос, для чего же он продолжает жить, а эта мысль, как бумеранг, возвращалась назад, и долго еще потом завывание его стояло в ушах...

Сентябрь внес некоторое оживление благодаря целому ряду появившихся у нас гостей. Приехал из Киева племянник с женой Н.Поздняковской, профессором Петербургской консерватории и выдающейся пианисткой, и квартира стала оглашаться чудными звуками рояля под ее пальцами. Она вообще была женщина незаурядная и внесла много уюта в нашу тогдашнюю бесцветную жизнь. Побывал у нас скрывавшийся Ф.И.Родичев, замаскировавший себя отпущенной длинной седой бородой: она так не подходила к красивому, словно выточенному лицу с легкой саркастической улыбкой, что казалась накладной и никого обмануть не могла. В соответствии с бородой были только потухшие глаза. Он говорил: «Молодежь, которая видела столько крови, ничего хорошего

ожидать не может». Вернулся из Киева Каминка и с женой своей приезжал к нам ночевать, чтобы оградить себя от угрожавшего ареста. В Киев он ездил по коммерческим делам, как представитель Азовско-Донского банка, контролировавшего угольные копи на Никитовке, находившиеся теперь в пользовании оккупационной власти. Во время деловых сношений с немцами, естественно, поднимались и вопросы о политическом положении, и непримиримый антибольшевик Каминка высказывался в том смысле, что жизненные интересы Германии требуют ее содействия России для свержения советской власти. Милюков был того же мнения, что и Каминка и многие правые кадеты – Нольде, Струве и другие, в противоположность москвичам, во главе с проживавшим там тогда Винаве-ром, твердо стоявшим на антантской позиции.

* * *

После отъезда гостей стало, конечно, еще тоскливее, серое однообразие жизни ощущалось еще острее. А тем временем террор все шире разгуливался. Не проходило дня, чтобы тем или иным путем не получено было известие об обыске и аресте кого-нибудь из друзей и знакомых, и все старались поглубже зарыться, по возможности реже показываться, как можно меньше напоминать о себе. Последним публичным явлением «буржуев» было чествование памяти умершего председателя Петербургского совета присяжных поверенных Д.В.Стасова. Оно состоялось в зале Тенишевского училища, с которым связано было так много радостных и бодрых воспоминаний: сколько раз приходилось здесь выступать на кадетских и иных собраниях. Теперь скудное освещение зала гармонировало с угнетенным настроением, и речи Н.С.Таганцева, А.Ф.Кони, М.В.Бернштама шевелили в душе невеселые сомнения. Стасов

сам по себе был представителем типичной заурядности, она гениально запечатлена на знаменитом портрете Серова. Но на склоне своей долголетней жизни он оставался одним из немногих активных работников «эпохи великих реформ», и из него сделали икону шестидесятих годов, рисовавшихся их участникам началом светлого, безоблачного будущего. Но нельзя было отогнать мысли: как хорошо, что Стасов уже умер, что он больше не видит и не терзается тем, что дочь его Елена, страстная большевичка, с энтузиазмом разрушает все, что было дорого отцу. Каково было Стасову умирать, видя, чем завершились шестидесятые годы.

Тенишевский зал был полон, но никакого оживления не было заметно, все вяло обменивались отрывочными замечаниями на тему – скоро ли? А между тем уже приближался первый юбилей советской власти, с юбилеем плохо вязалось неистребимое убеждение в мимолетности, и возвешение о предстоящих празднествах воспринималось как острый укол по наболевшему месту. Но вот какую неожиданную для меня самого запись я нахожу под 30 января 1919 года. Тогда Антанта проектировала созыв на Принцевых островах¹⁰¹ конференции «всех воюющих сторон в России» с участием представителей держав Согласия для выработки соглашения. К этому проекту и относится сделанная мною запись, гласящая: «Но ведь дело вовсе не в большевиках и не в державах. Большевики уйдут. Утверждают, со слов Горького, что Ленин выражает удивление, почему до сих пор никто не приходит на смену. Но что же будет, когда смена придет? Не сомневаюсь, что будет еще

101 Принцевы острова – группа островов в Мраморном море, недалеко от Стамбула.

страшной, еще тяжелее. Приехавший на днях из Украины знакомый уверяет, что некоторый порядок увидел лишь тогда, когда въехал в пределы Совет-чины. Ни на минуту не теряю веры в светлое будущее России, но ближайшие годы – и не один, не два, а столько, что их с избытком хватит на остаток жизни моей, будут тяжелы, очень тяжелы».

Сейчас, спустя ровно 17 лет, психологически мне более понятна тогдашняя упрямая уверенность в уходе большевиков (ведь и Троцкий считал это неизбежным и лишь грозил так хлопнуть дверью, что весь мир задрожит), чем смутное беспокойство о «смене». Когда много позже, уже в рассеянии нашем, профессор Л.Карсавин печатно высказал, что большевики сохранили русскую государственность, что без них разлилась бы анархия и Россию расхватили бы по кускам, и на этом сошлись бы между собою и союзники, и враги наши, – против него поднялся вопль негодования и обвинения в большевизме. Не могу не прибавить, что в «Письмах прапорщика-артиллери-ста» профессор Степун предрекал: «С самого начала войны не перестаю бояться, что к концу ее все народы Европы – и наши союзники, и враги – чем-то своим „европейским“ перекликнутся между собой и в каком-то невидимом еще сейчас смысле встанут все против несчастной России». Предсказание не осуществилось, за Россией, напротив, ухаживают, сиюсь употребить ее в качестве «головы турка». Но кто станет опровергать, что такие намерения копошились, что планы такие строились, да и продолжают разрабатываться?

* * *

Празднование юбилея началось с печального сюрприза. Уже 1 ноября была объявлена программа – митинги, танцы, фейерверк, речи на Марсовом поле, над могилами «жертв

революции». К этому настойчивые слухи прибавляли, что на два дня будет приостановлено пригородное железнодорожное сообщение. Поэтому жена Каминки, не желая два дня оставаться отрезанной от детей, настояла, чтобы на время празднования не приезжать на ночевку к нам, а находиться в Петербурге. Не станут же большевики в праздничные дни производить обыски и аресты? Вечером 5 ноября они уехали, а на вокзале в Петербурге их успели предупредить, что в квартире идет обыск и нужно укрыться где-нибудь у друзей. Оказалось, что именно в расчете на обильный улов при неожиданности ЧК открыла празднество первого юбилея массовыми арестами. Большинство после праздника было отпущено, но несколько десятков, в том числе старый сотрудник «Речи» Изгоев, были задержаны: он дал потом в «Архиве революции» яркое описание своих страшных злоключений на принудительных работах в архангельских лесах. Освобождению его много помог Максим Горький, тогда еще нерешительно топтавшийся на месте перед Рубиконом и пока занимавшийся «первоначальным накоплением» путем коммерческих спекуляций и скупкой антикварных редкостей.

Удачно избежавшийся от ареста Каминка не ушел, однако, от судьбы. Через два дня он со шведским посланником приехал в германскую миссию, в этот день было получено известие о революции в Берлине, и миссия была окружена нарядом красной гвардии. Через час-другой оцепление было снято, но Каминка с посланником попытались выйти из здания до этого, и, когда садились в автомобиль, Каминка был задержан и арестован. Снова мы стали бросаться в разные стороны, ища приближенных к новым властителям. Эти поиски привели меня, между прочим, к брату покойного издателя «Речи» Баку. Я раньше не был с ним знаком, но за месяц до юбилея он

крайне удивил своим посещением, объяснив, что ему нужна юридическая помощь в судебном процессе.

Яркую иллюстрацию первых дней советского режима дали дальнейшие сношения с Баком, который стал помогать мне в продовольственном отношении. Каждый раз, когда я заходил к нему в отлично обставленную большую квартиру на Литейном проспекте, он хвастал расширением своих знакомств с коммунистами и однажды таинственно сообщил, что близко сошелся с членом коллегии петербургской ЧК. Когда Каминку арестовали, я поспешил к Баку, хотя и не принимал всех его утверждений в буквальном смысле. Он обещал помочь, но все мешкал, и у меня стали зарождаться подозрения, не пустой ли он хвастун. Но наконец он предложил «прийти вечером», чтобы встретиться с упомянутым чекистом и изложить свою просьбу, исполнение коей он, Бак, гарантирует. Не скажу, чтобы приглашение доставило удовольствие, но делать было нечего.

Вечером я застал у Бака несколько человек с озабоченным видом, которых он, очевидно, пригласил с той же целью, что и меня. Сам он, точно метрдотель, все время переходил от одного к другому, что-то шептал, а потом озираал стол, который был обильно уставлен едой и еще обильнее питьями, но предназначен не для нас. Около 10 часов раздался резкий звонок. Бак суетливо рассовал нас по разным комнатам, и в щелку двери я увидел двух молодцов в кожаных куртках, усевшихся с Баком за стол и сразу приступивших к возлияниям. Затем по очереди хозяин вводил просителей в столовую. Меня все не звали, и настроение становилось все неприятнее. Вот уже хозяин остался только с куртками, доносился оживленный разговор, которого я разобрать не мог, и еще через несколько минут почетные гости шумно прощаются, после чего Бак уверяет, что чекист обещал просьбу исполнить, но так

как дело политическое, то «благодарности» получать не желает, а потому и непосредственная беседа с ним стала лишней. Однако обещание не было исполнено. Напротив, дело приняло грозный оборот, когда арестованного увезли в Москву, но там пришел на помощь один из бывших учеников Каминки профессор Гойхбарг, бывший сотрудник «Права», а в будущем председатель «малого Совнаркома», и добился освобождения. А тот член коллегии ЧК через месяц был расстрелян.

Пребывание в тюрьмах, с которыми Каминке пришлось впервые познакомиться, произвело на него очень сильное впечатление, и он решил нелегально бежать с женой. Но и тут подстерегала неудача: не без опасности добравшись до границы Финляндии, они натолкнулись на грубый отказ финских пограничников и должны были вернуться восвояси, отягчив свое положение, и без того угрожаемое, попыткой бегства.

Конечно, и моя мысль уже устремлялась за границу. Но планы не приобретали сколько-нибудь реальных контуров. Сын обратился к академику С.Ольденбургу с просьбой дать мне заграничную командировку от Академии наук. Вчера еще активный кадет и министр Временного правительства, Ольденбург категорически отказал, и тогда это представлялось в такой же степени невероятным, в какой дальнейшее преуспевание его под советским режимом делало странной саму мысль обратиться к нему с подобной просьбой.

Другой план исходил от сына присяжного поверенного Лихтермана, тоже кадета, работавшего в «Речи». Он неожиданно явился на мотоциклетке, одетый в ставшую уже символической кожаную куртку, и сообщил, что занимает важный пост в каком-то транспортном учреждении, имеет в своем распоряжении вагон, который вправе прицепить к любому поезду, и готов доставить меня с семьей за границу: «Я вас как

в люльке доведу». Репутация его не была абсолютно безупречной, и я уклонился от прямого ответа. Он приехал вторично. Я колебался, но он утверждал, что занимаемый им пост гарантирует от каких бы то ни было неприятных неожиданностей, не переставал предлагать свои услуги и все повторял: «Довезу как в люльке». Такая настойчивость только усиливала внутренние сомнения, он, вероятно, заметил это и на прощание с большим волнением сказал: «Помните же, что я всегда готов. А если от кого-нибудь услышите обо мне что-либо нехорошее, не верьте: я предан вам, а не им». Неблагоприятные слухи действительно появились, а затем он был расстрелян по обвинению в заговоре против советской власти. Его поведение было, очевидно, много сложнее, чем его представляли возникшие слухи, и это был случай далеко не единственный.

Конец неопределенному состоянию положил мой близкий друг; ему самому ЧК угрожала привлечением к делу об убийстве Урицкого. Он решил уехать с семьей и сумел найти новоиспеченного сановника, который за солидную взятку выдавал пропуск в Финляндию без предварительного сношения с ЧК. По отношению ко мне вопрос усложнялся необходимостью получить разрешение еще и от военно-революционного отдела для младших сыновей, бывших в призывном возрасте. Друг мой горячо доказывал, что нелепо оставаться, зная, что раньше или позже ареста не миновать, он же и Каминке предложил получить такой пропуск. Но когда я дома поставил ребром вопрос об отъезде, то встретил энергичное сопротивление со стороны сыновей: они были уже в последнем классе самого передового тогда Выборгского коммерческого училища, ежедневно из Царского ездили в школу, в которой царила очень дружная, здоровая атмосфера, и расставаться с нею было, конечно, тягостно. Я обратился за содействием к директору школы Герману, пользовавшемуся у учеников большим авто-

ритетом, но и с его стороны встретил противодействие. Он не возражал против моего намерения уехать, но горячо убеждал оставить детей. У него самого были две дочери в одном классе с моими сыновьями, впоследствии они ушли, так сказать, от советского режима в религию, сам он вскоре умер, преподаватели частью были арестованы, частью умерли.

Так как я решительно заявил, что без сыновей мы с женой не уедем, им скрепя сердце пришлось согласиться. Я обратил внимание друга на необходимость вести переговоры крайне осторожно: хорошо, если советский сановник только откажется riskнуть головой за содействие бегству редактора «Речи». А если еще и злоупотребит и напомнит начальству о моем существовании, которое до сих пор не привлекало к себе внимания чекистского ока? Но, как я уже упоминал, петербургские сановники дали фамилии Гессен урок скромности, и все нужные документы лежали в кармане, облегченном на 12 000 рублей.

Решив уехать, я стал думать о борьбе с большевиками из-за границы и хотел установить какую-нибудь связь с Петербургом. Подходящим человеком мне казался племянник моего старого друга лейб-медика Ф.П.Полякова, которого я часто навещал, приезжая из Царского и привозя молоко его дочери, моей крестнице, оправлявшейся от тифа, а он старался электрическим массажем остановить начавшееся тогда ослабление слуха у меня. Племянник Николай, кавалерийский офицер, настоящая забубенная головушка, охотно откликался на мои намеки и однажды прямо сказал: «Конечно, надо перескакивать к белым, но сделать это с умом». Дней за пять до отъезда, подходя к дому на Кабинетской, где жил Поляков, я встретил Николая. К моему огорчению, он сказал, что отправляется на однодневные маневры на границе с Финляндией. «Но через

два дня я буду обратно, и мы поговорим». Когда же я через два дня с ним снова встретился, чтобы окончательно условиться об установлении связи, не узнал моего лихого кавалериста: это был другой человек, точно его подменили. Он с увлечением рассказывал о маневрах и с настоящим восторгом – о последовавшем затем под председательством Троцкого разборе маневров. Он полностью подпал под обаяние Троцкого. «Вот это человек! Как он говорил, как резюмировал прения генералов, как всех их за пояс заткнул. Да чего они все стоят перед ним. Это настоящий полководец, он всех раздавит». Ни словом он не коснулся наших разговоров, но каждое слово и весь тон его звучали прямым презрительным ответом на мое предложение. На том моя затея и оборвалась, впрочем, впоследствии выяснилось, что вообще она была непрактична и излишня.

Последние три дня мы провели в Петербурге, в квартире старшего сына, женатого на начальнице школы. Там можно было считать себя гарантированным от неожиданностей, которые в это время были особенно неприятны и чреваты последствиями. Друг мой с семьей уже уехал и оттуда дал знать, что финляндская виза для нас имеется на границе. Благополучно проехал и Каминка с женой, и, наконец, 23 февраля наступил день нашего отъезда. Теперь мы отправлялись не на две недели, как год тому назад, а на какое-то неопределенное время, но никому и в голову не приходило, что на долгие годы, а старшие из нас, пожалуй, и навсегда покидали родину. Мы отнюдь не собирались эмигрировать, ехали опять налегке. Если бы мы хоть смутно представляли себе долгие годы изгнания, мы бы ох как пораздумали, прежде чем решиться покинуть Россию. А очень и очень многие так и не решились на это.

Поезд уходил около 4 часов дня, и в вагоне нас ждала неприятная встреча с законоучителем школы, в которой учились

дети. Он сразу не только догадался, куда мы собрались, но стал громко и развязно об этом расспрашивать и, как тогда казалось, подозрительно похикивать над нашим отнекиванием. Вагон был набит людьми, но быстро пустел на пригородных станциях, и, когда мы подъезжали к Белоострову, пассажиров осталось несколько человек. В Белоострове нам заявили, что таможенный досмотр будет только завтра, и мы провели в станционном буфете томительную, бесконечно тянущуюся ночь, терзаясь сомнениями, благополучно ли это «завтра» пройдет. Наконец оно наступило, и такому осмотру я еще никогда не повергался: огромный детина грубо и враждебно приказал раздеться чуть не догола, тщательно осматривал и ощупывал все принадлежности туалета, стучал молотком по каблукам башмаков, перетряхнул все вещи в чемоданах, а все-таки чек на финляндский банк, приобретенный у знакомого в Царском в обмен на рубли, был со мной, и я был уверен, что ищейка до него не доберется, хотя он и держал его в своих руках.

Но вот и эта процедура закончена, и нам предоставлено перейти через границу. Смычка железнодорожного сообщения с Финляндией тогда была уничтожена, и нужно было пройти несколько сот шагов до пограничного мостика через Сестру-реку. Опять стоял чудесный солнечный, но теперь зимний день, и снег ослепительно блестел. Нас было человек десять в сопровождении солдата, державшего пропуска для передачи финским чиновникам, которые встретили нас со своими списками для проверки, имеется ли виза на въезд в Финляндию. И тут, когда я считал, что все опасности уже позади, финн вдруг заявил, что для нас визы нет. Сыновья переглянулись с улыбкой, мелькнула надежда на возвращение не по их вине. А у меня буквально потемнело в глазах. Ехавший с нами датчанин, служащий в правлении, при котором я состоял юрискон-

сультотом, объяснил им по-шведски, что этого не может быть, что виза давно дана. Один из чиновников побежал в дом, стоявший на высоком берегу, через несколько страшных минут показался вновь и, широко размахивая рукой, в которой держал лист бумаги, громко и, как мне казалось, радостно кричал «ю, ю» (да, да).

Мы перешли через мостик. Совершенно изможденный бессонной ночью и пережитыми волнениями, я после пятилетнего перерыва закурил папиросу, от которой закружилась голова.

Мы стояли перед новой, неизведанной жизнью, и уж совсем невдомек нам было тогда, что мы вступили в новую историческую эпоху.